ИНОСТРАННАЯ
Литература
ИНОСТРАННАЯ Литература
10 10
1961 1961

ИНОСТРАННАЯ литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Рисунок румынского художника Жюля Перахима для журнала «Иностранная литература»

10

1961

ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ"
МОСКВА

Содержание

Я СЛАВЛЮ, ВРЕМЯ, ГОЛОС ТВОЙ! (Стихи)

ФЛОРЕНЦА АЛБУ — В ногу с Человеком.
ПЕТР КАРААНГОВ — Программа — поэма . . 3

ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ ЖИВЕТ
В НАШЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

(Зарубежные писатели о проекте Программы КПСС) 5

ЛАЙОШ ГАЛАМБОШ — Терпкая лоза (Роман) 10

В КОММУНИЗМЕ
ЖИТЬ СТРЕМЛЮСЬ (Стихи)

ГУ ГУН — К высоким вершинам шагаем мы в ногу. **ГО СЯО-ЧУАНЬ** — Воспеваю дружбу нашу. **ВЭЙ ВЭЙ** — В час отлива. **ЯНЬ И** — Неугомонный 88

ХОДЖА АХМАД АББАС — Черное солнце (Легенда наших дней) 92

МУХАММЕД ДИБ — Заря наступает (Стихи) 110

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — Особняк (Роман. Продолжение) 112

ДИНЬ-ДИНЬ-ДОЛЛАР! Перевод С. Маршака 154

МОНГО БЕТИ — Завершенная миссия (Роман. Окончание) 158

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗЫ
КОММУНИСТОВ

(Говорят зарубежные писатели) . . 199

НАШ ДРУГ, БОЕЦ, КОММУНИСТ (Неизвестные письма Джона Рида) 208

ФРИДРИХ КАУЛЬ — Обломки и наследники третьего рейха 221
ДЖОН ПИТТМАН — Рука друга 227
ЛУ СИНЬ — «Литература разных чувств» . 234
ТОЙН ДЕ ФРИС — Битва за будущее . . . 241

НОВАЯ ЖИЗНЬ, НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ю. БОГДАНОВ — Голос народа 248
М. ЯХОНТОВА — Пути развития современного реализма 253
Р. БЕЛОУСОВ — Летопись больших перемен 258
М. ЮНГМАН — Не было безымянных героев 260
ПЕТКО ТОТЕВ — Болгарские подснежники человеку-звезде 261
Р. САМАРИН — Молодость побеждает . . . 262
Н. СОКОЛОВСКАЯ — Романтика созидания . 264
О. РОССИЯНОВ — Героическое начало . . 265
Д. ПРИЕМСКИЙ — Они нашли свое счастье в борьбе 266

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ . . . 268

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ
(Хроника) 269

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . 287

Я славлю, Время, голос твой!

Флоренца Албу

В НОГУ С ЧЕЛОВЕКОМ

Перевод с румынского Роберта Рождественского

Я слышал Волгу, Урал и Тайгу.
Я видел степи,
покачивающие широкими плечами
и шагающие в ногу с Человеком.
И различал я небесный свод,
распростерший спокойные краски
над невиданными путями,
открытыми для вдохновенных масс.
Я знаю:
люди идут в коммунизм не одни!
С ними плечом к плечу шагают воды, леса и горы.
Земля дает вдвое, втрое больше зерна и плодов.
Идут по земле стада черно-рыжие,
отягощенные молоком.
И Волга течет,
раскачивая гибкие мачты.
В моря электричества все реки сегодня впадают!
А вот живые леса
и подземные угольные леса,
солнцем еще не тронутые...
Смотрите, какие богатства устремились вперед!
Вперед по пути,
указанному Лениным.
Скользят по лицам людей, по склонам гор, по плечам
степей
отблески красного знамени.
Красного-красного!..
Все заливает яркое солнце,
и открываются дали такие, что больно глазам!..
И все земные богатства, тяжело покачиваясь,
идут по широким дорогам вместе с людьми.
Вслед за великой идеей!

Петр Караангов

ПРОГРАММА — ПОЭМА

Перевод с болгарского Виктора Виноградова

Я славлю, Время, голос твой!
Ты не молчишь темно и немо:
во все концы,
над всей землей
летит великая поэма.

Пусть будут стужи лютовать,
пусть будет зной сушить нам губы —
над миром будут ликовать
ее взволнованные трубы!

Ей жить не только в этот век,
и век грядущий ею дышит.
Порабощенный человек
в своей душе ее услышит.

Ее напев уже повел
на подвиг страны, души, земли:
кто хорошо ее прочел,
тот навсегда ее приемлет.

Она зовет дерзать, идти,
она, как гимн, ведет к свершеньям...
Иного нет у нас пути:
мы не привыкли к отступленьям!

ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ ЖИВЕТ В НАШЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Леон Кручковский

Партия торжественно провозглашает!

Призрак коммунизма, который в середине прошлого века «бродил по Европе», устрашая тогдашнее поколение буржуазии, в наши дни воплотился в ясные и понятные для миллионов людей слова документа, опубликованного под названием проекта Программы Коммунистической партии Советского Союза. Однако это не только слова. Проект Программы — результат учета исторических фактов. Именно поэтому его слова ясны и понятны миллионам. За каждым из этих слов стоят дела, и каждое из них гарантирует миру новые свершения.

В действительности коммунизм и сто лет назад не был лишь «призраком». Уже тогда слово «коммунизм» означало будущее, то есть направление развития человеческих судеб. Уже тогда оно определяло силу, призванную осуществить историческую задачу: построение коммунистического общества. Эта сила — рабочий класс и его революционная партия.

Организатором первой, решающей победы этой силы была партия Ленина, нынешняя Коммунистическая партия Советского Союза. Она осуществила много великих свершений — от Октября до первого космического полета человека, создав необходимые предпосылки и условия, которые сегодня дали ей возможность сформулировать гордые слова:

«Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

В этих словах — несгибаемая вера в могущество творческой мысли, согласующейся с законами истории, вера людей, сильных ощущением своей неразрывной связи с сотнями миллионов трудящихся, с их неодолимым стремлением к справедливой и светлой жизни. Это та вера, которая, как говорит народная мудрость, способна «передвигать горы». Однако коммунисты хотят больше, чем передвинуть горы или изменить течение рек. Они хотят изменить именно судьбы людей на земле и озарить их блеском межпланетных полетов. И первое, и второе уже осуществляется.

Новая Программа Коммунистической партии Советского Союза озарит путь человечеству во второй половине XX века, ибо она содержит в себе такой заряд творческой воли, какого не знала еще история нашей цивилизации.

г. Варшава

Людмил Стоянов

Время работает на коммунизм

Проект новой Программы Коммунистической партии Советского Союза зиждется не только на фактах объективной действительности, но и на реальных перспективах времени.

Опыт строительства социализма в Советской стране дает партии все основания считать, что темпы этого строительства применимы и в осуществлении Программы коммунизма. Два десятилетия необходимы для того, чтобы создать материальную и культурную основу коммунистического общества. Эта реалистическая, основанная на науке, разуме, законах общественного развития, Программа Коммунистической партии уходит своими корнями глубоко в жизнь, и нет силы, способной вырвать эти корни, ибо они вросли в самые прочные и плодотворные слои истории.

Значение этого документа огромно и для стран всего лагеря социализма, и для народов, освобождающихся от колониального рабства, и для всех трудовых людей империалистического мира, чья воля подавляется с помощью армии, полиции и драконовских законов. Этот документ раскрывает перед трудящимся человечеством горизонты завтрашнего дня, мира международного братства и подлинной солидарности, где не будет голодных, бесправных и униженных людей.

Открывается новая эра, которой еще не знала история человечества,— эра, определяемая торжеством новых принципов, все решительней отстаиваемых народами, над принципами агрессивной империалистической политики. В хартии коммунистического строительства ясно показано, что в наш век силы мира превосходят силы войны. Выдвинутое Н. С. Хрущевым в ООН предложение о всеобщем и полном разоружении с быстротой молнии облетело все уголки земного шара, воодушевляя народы на непримиримую борьбу против любых агрессивных планов.

Программа КПСС, начертав величественные перспективы, раскрывает, без каких-либо словесных ухищрений и прикрас, силой своей непоколебимой логики новый облик мира, каким его увидит уже нынешнее поколение. Это будет мир без войн и катастроф, мир свободного труда, научных открытий, полного расцвета культуры, искусства, литературы!

Советский Союз завоевал признание всего прогрессивного человечества своими грандиозными достижениями в науке, в темпах строительства, в раскрытии тайн космоса, своей гуманной идеологией и политикой, своей защитой свободы порабощенных колониализмом народов, своей неутомимой борьбой за всеобщий мир и безопасность. Вот почему мы, люди XX века, испытываем к Советскому Союзу полное доверие и безграничную любовь.

г. София

То Хыу

Вера в разум и силы человека

С того дня как имя Гагарина разнеслось по всей земле, став общечеловеческим именем, проникшим во вселенную, в сердцах всех честных людей вспыхнули новые надежды и дерзновенные мечты, окрепла вера в разум и силы человека. И, естественно, стало еще горячее чувство признательности и любви к великому Советскому Союзу, который, подобно легендарному Данко, зажег немеркнущий свет над нашей Землей. И стоит только подумать о человечестве, которое раскинуло руки, чтобы обнять все далекие и близкие звезды, как каждый из нас вдруг начинает чувствовать себя бесконечно могущественным. И мы еще больше любим и ценим жизнь человека, полностью освобожденного от угнетения, темноты и невежества, мы еще сильнее тяготеем к братству людей на Земле. Советской стране всего 44 года, а человек уже готов полететь на Луну, на Венеру, на Марс. Это кажется почти невероятным.

Если все человечество будет свободным, как СССР сегодня, если все дети Земли станут братьями навеки, а колониализм полностью будет сметен с Земли, если осуществится сокровенная мечта человечества — полное и всеобщее разоружение, если все наши силы и разум будут отданы строительству счастливой жизни для всех нас — простых трудовых людей, то тогда наша Земля засияет в тысячу раз ярче, чем любая самая яркая звезда. И тогда не будет проливаться кровь отважных людей, а сердца матерей и любимых будут спокойны.

Когда я пишу эти строки, сердце мое испытывает одновременно радость и печаль. Мир еще разделен на два лагеря, а моя страна — на две части. Вот почему мое сердце не может быть спокойным...

Передо мной мои дети, весело играющие в новую игру. Пятилетняя дочурка одета в небесно-голубую пышную юбку, она изображает Землю и зовет себя «Землей, наряженной в юбку». А трехлетний сынишка изображает Гагарина. Мать поднимает его над головой, кружит, словно ракету, и ходит вокруг «Земли». Затем она медленно опускает его, чтобы головка юного летчика-космонавта коснулась украшенных алыми лентами волос его сестры, символизируя возвращение Гагарина на родную Землю, в Советский Союз. И звонкие радостные голоса моих детей сливаются в одно восторженное щебетание...

Дорогие мои советские братья и сестры, дорогой Гагарин! Я хочу, чтобы вы услышали эти восторженные слова моих детей. Так пришел к нам Гагарин, пришел ко всем детям на севере нашей страны. А на юге Вьетнама, когда Советский Союз забросил вымпел на Луну, Нго Дин Дьем запретил детям приветствовать ее ласкающий свет. Но ведь можно молча любоваться Луной, как любуемся мы родными чертами материнского лица. И дети тихо напевали песни времен Сопротивления, песни отцов и матерей, сестер и братьев, которые не склонили головы перед жестокостями американо-дьемовской клики.

В те дни, когда теплый и сердечный голос Никиты Сергеевича Хрущева сливался с радостным голосом Фам Ван Донга, доносившимися до нас из Москвы, где советские люди оказали сердечный прием посланцам дружественного Вьетнама, это бесконечно вдохновило и окрылило всех вьетнамцев от севера до юга. И любимые слова «Советский Союз» с еще большей силой зазвучали в наших сердцах, как песня любви, надежды и веры в светлое будущее, в коммунистическое завтра.

Я уверен, что великая программа построения коммунизма, которая будет принята XXII съездом КПСС, явится той многоступенчатой ракетой, которая вознесет советский народ к коммунизму, к светлому обществу мира и дружбы. И с этой горячей верой мне хочется пожелать братскому советскому народу, руководимому великой Коммунистической партией, партией бессмертного Ленина, быть всегда победоносным знаменем нашей эпохи на Земле и на пути к звездам.

г. Ханой

Эктор Агости

Осуществление мечты

Когда я и мои сверстники были молодыми (увы, это было уже так давно!), наши сердца загорались энтузиазмом при чтении различной утопической литературы, рисующей общество будущего.

Анатоль Франс в одной из своих книг попытался дать картину коммунистического общества. Мы, словно запретный плод, поглощали его произведения, предвосхищавшие будущее, передавая их из рук в руки. Но громадный энтузиазм и взлеты фантазии, которые порождали книги Франса, не могли сравниться с нашим восторгом от романа Беллами со смелым названием «2000 год». Это была захватывающая книга, пробуждающая мечты о прекрасном мире освобожденного труда, который автор описывал во всех подробностях.

Не многие книги пользовались среди рабочего класса такой популярностью, как книга Беллами. Потом мы поняли, в чем ее слабость. Она заключалась не столько в

безудержной фантазии автора, сколько в нереальности способов, которыми он предлагал воплотить в жизнь свою мечту. Это был прекрасный сон, да, не больше, чем прекрасный сон.

Беллами забыт, ибо мы поняли, что для изменения социального порядка в мире наши мечты должны быть, по мудрому совету Ленина, реальными.

Но «2000 год» в сияющей перспективе нового гуманизма остается заветной мечтой людей, которые хотят жить в мире и мирно трудиться. Теперь мы знаем, что «двухтысячный год» начался в 1917 году. Теперь мы знаем, что он наступил и шагает в звездных пространствах, демонстрируя технический гений свободного человека страны социализма. Теперь мы знаем, что «двухтысячный год» воплощен в новой Программе Коммунистической партии Советского Союза. Чтение этого документа производит неотразимое впечатление. Новая Программа ленинской партии определяет основные черты эпохи, в которую мы живем.

Осуществление мечты об освобождении человечества, формирование нового человека на основе новой высокой морали бесклассового общества, построенного на принципе высочайшей человеческой солидарности «от каждого — по способностям, каждому — по потребностям», знаменует собой конец предыстории, о которой говорилось в Коммунистическом манифесте. И «двухтысячный год» становится реальностью для людей, которые вплотную подошли к нему, разрушив классовое общество и изгоняя паразитизм даже из сознания людей.

И в этом гениальность предвидения марксистско-ленинской науки.

Марксизм-ленинизм — не утопия. Это научная теория освобождения народов, которая нашла блестящее подтверждение в развитии общественной жизни. Теперь это уже не могут оспаривать, даже самые непримиримые противники марксизма. Стало очевидным, что, каковы бы ни были оттенки и особенности развития каждой страны, основные законы и пути построения коммунизма одинаковы для всех стран. Исторический опыт Коммунистической партии Советского Союза сделал бесспорным тот факт, что победоносное строительство социализма и переход к коммунизму возможны только при диктатуре пролетариата и руководящей роли марксистско-ленинской партии. И мы не можем смотреть без восхищения на эту победу человеческого гения, благодаря которой будущее коммунистическое общество засверкало и перед нами во всем своем великолепии.

Находящаяся в первых рядах мировой битвы за свободу и вступившая благодаря героической кубинской революции на путь строительства социализма Латинская Америка сознает все свои преимущества в этой титанической борьбе. Она знает, что ее основной враг — мировой империализм — и действующая с ним заодно местная олигархия уже не являются всемогущими. В то же время страны социализма во главе с Советским Союзом являются для народов Латинской Америки надежной опорой, источником силы и щедрой помощи.

Для нас новая Программа Коммунистической партии Советского Союза верное и неопровержимое свидетельство того, что коммунизм — синоним мира. Теперь мы видим, что мечты о «двухтысячном годе» не были такими уж несбыточными. Утописты не знали пути к осуществлению своей фантазии. Теперь он стал ясным для всех. Человечество уже вступило на этот путь.

г. Буэнос-Айрес

Иржи Гаек

Величественная поэма о человеке

Проект Программы КПСС — новое и в известном смысле самое великое из всех доказательств созидательной мощи коммунизма, предъявленных современной историей. Уже за первые двадцать лет после победы Октябрьской революции Советский Союз превратился из экономически отсталой страны в одну из наиболее развитых в промышленном отношении держав. Во второй мировой войне советский народ спас не только

мою родину,— он спас все человечество от нашествия нацистских варваров. Следуя примеру СССР, за последние пятнадцать лет на путь социализма встала треть жителей нашей планеты. Великолепный взлет советской экономики, прогресс науки и техники в период между XX и XXII съездами КПСС стали самым могучим фактором мира на земле, показавшим дикость и самоубийственную бессмысленность империалистических планов развязывания новой войны. Советские люди Юрий Гагарин и Герман Титов вместе с большим коллективом ученых, техников и рабочих открыли человеку путь к звездам. Все эти этапы победоносного исторического шествия коммунизма были пройдены благодаря тому, что во главе народных масс стояла Коммунистическая партия Советского Союза, овладевшая марксистско-ленинской теорией.

Новая Программа КПСС поднимает ныне научное руководство обществом на исторически высшую ступень. Эта Программа впервые в истории подчиняет сознательному человеческому замыслу развитие всех областей советской жизни не на несколько ближайших лет, а на целых два десятилетия вперед. И это не только абсолютно точный, конкретный план завершения самых сказочных перемен в экономике, означающих такое повышение производительности труда и уровня производства, какое недоступно самым развитым в техническом отношении капиталистическим странам. Это нечто гораздо большее: это план, который наряду с развитием экономической базы намечает комплексное и гармоническое развитие всех областей жизни советского общества. Он дает нам конкретное представление об отдельных этапах, на которых будет совершен этот гигантский скачок от социалистического вознаграждения людей по их заслугам в труде к коммунистическому распределению наиважнейших предметов потребления по индивидуальным потребностям. Проект Программы говорит трезвым и деловым языком заданий, фактов и цифр, но это звучит, как величественная поэма о человеке.

Как будут жить люди, какие этические проблемы они будут решать, что будут думать, чувствовать, как будут понимать основные вопросы своего счастья, те люди, которые станут творцами и участниками этого великого будущего? Какими темпами должны обогащаться и углубляться, какой тонкости должны достигнуть литература и искусство, чтобы идти в ногу с этим будущим, с растущими культурными и эстетическими потребностями и запросами человека коммунистической эпохи? — вот первое, что приходит в голову нам, работникам литературы, при виде великолепных перспектив, открывающихся в проекте Программы КПСС не только перед советскими людьми, но в конечном счете и перед всеми социалистическими странами. И что самое восхитительное: это великое будущее уже живет в нашей действительности. Некоторые его основные элементы рождаются на наших глазах, и число их возрастает с каждым днем. Люди, которые станут его творцами и участниками,— это мы сами, и прежде всего сегодняшняя молодежь. Те, кому сегодня двадцать лет, в конце этапа, который открывает проект Программы КПСС, достигнут расцвета своих жизненных сил и полностью воспользуются завоеваниями коммунистического общества.

Да, это так. Размышляя над новой Программой КПСС, мы задумываемся о своей собственной жизни, о задачах, поставленных перед нами этим планом огромного исторического значения, о своей доле ответственности за приближение будущего, к которому КПСС ведет советский народ и к которому идут народы стран всего социалистического лагеря под руководством своих коммунистических и рабочих партий.

Нет в мире силы, которая могла бы воспрепятствовать нашей победе,— вот самое важное, что говорит всем трудящимся земного шара этот великий исторический документ.

г. Прага

Лайош Галамбош

ТЕРПКАЯ ЛОЗА

РОМАН

Авторизованный перевод с венгерского Г. Афанасьева и М. Попова

1

Прошу тебя, выслушай эту историю. Ведь ты мне друг. Знаю, что сейчас пытаюсь взлететь из бездны на обломанных крыльях.

Мне кажется, что и по мышлению, и по своему душевному и физическому складу я самый обыкновенный человек. Например, ни разу в жизни я серьезно не болел. Правда, однажды все-таки попал в больницу. Было мне тогда восемнадцать лет, и я сломал ногу во время игры в футбол. Но через два месяца выздоровел. Только с тех пор уже не гонял больше мяч по полю.

Особых увлечений я тоже не знал.

Что же интересного в моей жизни?

Может быть, то, что я уехал из города и, возможно, навсегда? Может быть, последние дни, проведенные в городе, были так хороши, что их никак нельзя забыть?

Правда, получить в городе работу по душе мне удалось не сразу. Несколько лет я ремонтировал сеялки, дисковые бороны, плуги. Иногда трактор. Случалось иметь дело с молотилкой и комбайном. Однако к самим механизмам меня не допускали. Возможно, потому, что ремонт молотилок хорошо оплачивался. У Михалика, конечно, были и более опытные слесари, чем я. Им-то он и поручал ремонт молотилок. Но я не скандалил.

Однако я соврал бы тебе, если бы сказал, что эта работа мне совсем не нравилась. Слесарное дело я изучил в Будапеште, на автозаводе. Помню, мастер говорил мне:

— Из тебя, малый, выйдет первоклассный работяга.

Первоклассного работяги из меня не вышло. Дело в том, что, окончив учебу и сдав последние экзамены, я сразу же захотел хорошо зарабатывать. Здесь-то и начались неурядицы, ведь даже рабочие с десятилетним стажем получали недостаточно. Что ж тут говорить о таких сопляках, каким был я. Честно, без разбора, выполнял любую слесарную работу, которую мне поручали, и ждал первой получки. В первый месяц заработал форинтов девятьсот.

А как тут развернешься?

Но я питал надежду в следующем месяце получить больше. Мне нужны были деньги. Ну хотя бы для того, чтобы сдержать свое слово — после окончания учебы засесть где-нибудь на всю ночь и как следует угостить тебя. Скажу откровенно, хотелось хоть разок позволить себе это.

Но разве позволишь себе такое при заработке в девятьсот форинтов? Жил я в то время на площади Телеки у одной старухи, которая драла с

меня за комнату четыреста форинтов в месяц. Разумеется, хотелось купить себе хороший костюм, ботинки, сорочку, модный галстук, зимнее пальто и красивую шляпу. Родным всегда писал, что дела у меня идут как нельзя лучше и я ни в чем не нуждаюсь. Стыдно было просить у них помощи.

Так и жил какой-то неопределенной жизнью. На заводе, среди людей, оживал, а дома меня съедала тоска. По-настоящему обрадовался, когда призвали в армию. Два года прослужил в караульной роте офицерского училища. Теперь я улыбаюсь при мысли о том, что в цветущие годы своей жизни я считал счастьем постоянно быть среди людей, которые чему-то учатся. А помнишь, как я ушел на призывной пункт, даже не попрощавшись с тобою? Позже, когда мы встретились, меня мучила совесть. Признаюсь, я чуть не сгорел со стыда.

Отслужив срок, я остался в том же городе. К этому времени у меня уже были здесь знакомые — молодые ребята, рабочие. Вместе мы проводили досуг. Они и позвали меня к себе. Доводы были убедительными: заработать можно больше, чем до армии, почему бы не остаться? К тому же и родное село недалеко. Словом, остался. Только вот с родными стал встречаться реже, чем до сих пор. Особенно после того, как у меня однажды побывала бабушка.

— Ну, зайчик мой,— сказала она,— у твоей мамаши жених завелся...

— Жених?

— Статный такой, красивый парень. Познакомишься — сам увидишь.

Во мне заговорило упрямство. Домой уже не тянуло. Узнав о помолвке, я решил, что отныне не переступлю порог родительского дома. Долго не писал родным и не навещал их.

Спустя полгода они сыграли свадьбу. Матери тогда исполнилось сорок шесть лет. На свадьбу я не поехал. Мне было стыдно, что она снова выходит замуж. Я бы, наверно, провалился сквозь землю, оказавшись на этой свадьбе.

В ту ночь я сильно напился.

Но прошлой осенью все-таки побывал дома. Было это после уборки винограда, когда вино уже бродило в чанах. Мать угостила меня вином, я выпил, молча поздоровался за руку с отчимом, который едва ли выглядел старше меня. Мы очень быстро поняли друг друга. Я невзлюбил его с первого взгляда. Истинной причины этой обоюдной неприязни я тогда еще не знал. Лучше бы мне никогда не довелось узнать ее... Однако уже тогда я почувствовал, что он ненавидит меня с того самого момента, как узнал о моем существовании. Это было неприятное чувство.

Не хотелось даже думать ни о родном селе, ни о доме, ни о родне. Дом наш стоит у самой дороги. Здесь я родился и вырос, здесь бродил, можно сказать, без друзей. На хуторе у человека не может быть друзей. Там царство одиночества. И название-то у нашего хутора и у нашей дороги ужасное: Гоноскатью — чертовы ухабы. Да, так и называется: Гоноскатью. Сколько раз я раздумывал над тем, кому пришло в голову назвать так простую полевую дорогу, петляющую между виноградниками?

Я вернулся в город и считал, что раньше чем года через два мне не придется снова побывать в деревне.

Но вышло по-другому. И не по моей вине.

Я все-таки дождался, когда Михалик, наконец, дал мне хорошую работу. Как-то ночью на заводской двор привезли автобус, принадлежавший какому-то театру. А утром начальник цеха сказал мне:

— Герге, сынок, залатай-ка эту колымагу.

Я тщательно осмотрел изрядно помятый старенький «икарус», и меня охватило какое-то теплое чувство. Весь капот машины был смят. Говорили, что шофера пришлось отвезти в больницу. К счастью, кроме него, никто не пострадал. Рассказывали, что на этом автобусе бригада артистов разъезжала с концертами по селам, помогая агитировать за кооперативы. Последний концерт закончился успешно, и крестьяне пригласили всю труппу на ужин. И здесь-то шофер не устоял перед стаканом вина. А ночью врезался в придорожный столб. Что поделаешь? Я от души радовался представившемуся случаю показать себя.

Одному богу известно, как мне надо было ремонтировать этот автобус, но я давно мечтал повозиться с «икарусом». Теперь же, когда он стоял передо мной и Михалик поручил мне ремонт, сердце мое забилось от радости. Я горячо взялся за дело.

Давно уже закончился рабочий день, а я все еще возился с автобусом. Михалик даже спросил, не нужна ли помощь. Я послал его к черту и к жене, которая давно ждет его дома.

— Жена подождет,— сказал он,— а сейчас я спешу не домой, а к главному инженеру перебросить в картишки. Обещал зайти к нему.

— Тогда торопитесь,— посоветовал я.

— Не забудь только, что артисты завтра же хотят ехать на этой развалине,— озабоченно произнес Михалик.

— Куда ехать? — спросил я.

— Ясное дело, куда. По селам,— сказал Михалик.

— Ну что ж,— ответил я,— смогут и поехать. Вечером не пойду в техникум, доделаю.

Михалик, успокоенный, направился к проходной. Покачиваясь, он нес свое тучное тело с огромным животом, распухшим от бесчисленных кружек выпитого пива.

Лишь в полночь я прервал работу, а в пять утра уже снова был на ногах. Не замечал времени, не ощущал усталости. А ведь я не привык полуночничать. Живя в городе, я ни к кому не ходил, в театрах бывал только по воскресеньям, пил, ел как полагается, одевался, насколько позволял мне мой заработок. Других забот у меня не было. С девушками не дружил. В маленьком городке можно ухаживать за девушкой, только если у тебя серьезные намерения. В этом отношении жить в маленьком городке хуже, чем в деревне. Стоит пройтись по улице с кем-нибудь, как на тебя уставится тысяча глаз, из окон заглядывают прямо в душу. За кустом не спрячешься, а если и спрячешься, то и у куста глаза найдутся. Не валяться же с цыганками, которые за пять форинтов располагаются с солдатами на берегу реки? Жениться — и мысли такой в голове не было. Отчасти потому, что я испытывал чувство какой-то брезгливости к городским девицам, которые только кажутся порядочными. Отчасти потому, что женитьбу я считал ненужным делом.

Лежу я под автобусом, осматриваю мотор, во рту кусок хлеба с салом. Когда я готовился отправить в рот последний кусочек, на него упала капля черного отработанного масла. Я заметил ее, но было поздно. А последний кусочек всегда особенно вкусен, я же был голоден и проглотил его. Во рту появился неприятный привкус, словно от тухлой сардины.

Эта капля машинного масла расстроила желудок, и часам к десяти меня начало тошнить. Я рассердился на самого себя — хорошего настроения как не бывало. Напрасно я хотел, чтобы меня вырвало,— во рту только горькая слюна, а на глазах слезы.

Михалик тронул меня за плечо:

— Готово?

— Как видите,— ответил я.

Быстрым движением вытер слезы, делая вид, что мне в глаза попала грязь. Почему я тогда притворялся, сам не знаю. Правда, я не раз ловил себя на желании казаться более счастливым, чем был на самом деле. В такие минуты я словно надевал на лицо маску и влипал в истории, которые для меня самого плохо кончались. Временами, когда я оставался один, это приводило меня в отчаяние. Я называл себя дураком и беспомощным идиотом, способным лишь на зубоскальство.

Михалик стоял рядом. Вопросительно поглядывая на меня, он сворачивал цигарку. Табак у него всегда был крупно нарезан и то и дело прорывал бумагу. Табак он никогда не покупал. У него на этот счет был свой метод: когда табак поспевал, он садился на велосипед и, совершив набег на ближайшее поле, набивал мешок табачными листьями, которые потом сушил у себя на чердаке. Таким образом он обеспечивал себя куревом на весь год. Михалик даже не делал из этого секрета. Смеясь, он рассказывал о своих «набегах» и о сторожах, карауливших табачное поле. В единоборстве с ними Михалик всегда оказывался победителем.

— Уже звонили из театра,— сказал он и закурил.

Я пожал плечами и начал складывать инструмент. Машина готова, остальное — его дело, театр получит счет и оплатит. А мне причитается за шесть сверхурочных часов, и то неплохо — куплю себе лишние две пары носков или выпью литра два хорошего вина.

— Видишь ли, у них нет шофера,— сказал мне вслед Михалик.— Нас попросили... Может, ты съездишь?

Я обернулся. С чего бы это он так подобрел ко мне?

— Они заплатят, Герге. Сотню наверняка получишь,— продолжал Михалик.— После работы выедешь, а к полуночи уже будешь дома. Ну, как?

— Сотню? Не так уж плохо! — сказал я.

— Передать им, что ты согласен?

Михалик даже не взглянул на меня. Моргая, он глядел куда-то вдаль, будто разговаривал не со мною, а с этой невидимой далью. Мне захотелось нагрубить ему, и я выпалил:

— А ну их к черту!

Но какой-то неприятный осадок все-таки остался на душе. Не такая уж я важная персона, чтобы передо мной тушеваться. Почему же Михалик избегал моего взгляда? Жили мы рядом, а были чужими, как люди, которые знают друг друга, но не имеют ничего общего. Такие люди, если хотят, могут разговаривать по-деловому, но их все равно ничто не связывает. Ни симпатии, ни наклонности.

Тогда в чем же дело?

Раньше он не боялся смотреть мне в глаза.

Автобус я повел. В «икарусе» я чувствовал себя так же уверенно, как на собственных ногах. За спиной у меня шумно болтали артисты. Иногда они громко смеялись, подшучивая друг над другом. Потом начинали так невероятно быстро читать свои роли, что я ничего не мог разобрать и только слышал, как временами раздавался голос режиссера:

— Прекрасно!

На закате мы приехали в село. Вернее, не в село, а в небольшую деревушку, где не оказалось ни электричества, ни хорошей дороги.

Полевая дорога так утомила рессоры моего «икаруса», что они порой скрипели, как несмазанные колеса крестьянской колымаги. Пока рабочие разгружали декорации и носили их в Дом культуры, я осмотрел машину. Беспокоило одно — как бы не лопнула рессора.

Но с машиной ничего не случилось. Позже, когда в Доме культуры зажгли газовые лампы, ко мне подошел руководитель группы и сказал:

— Я хотел бы попросить вас, товарищ...

Я взглянул на него.

— Вы знаете, что Шошкут довольно далеко отсюда,— продолжал он,— но хорошо было бы и оттуда доставить людей на концерт.

Я пожал плечами.

— Мы попросили в госхозе грузовик, но на нем что-то перевозят со станции... Если бы вы согласились...

— Откуда мне знать, где этот ваш Шошкут,— сказал я.

— Я бы поехал вместе с вами,— продолжал он с надеждой. И хотя я не ответил ему ни да, ни нет, он уже взобрался на сиденье. Мне не хотелось упрямиться, я сел за руль и завел машину.

Мы затряслись по неровной дороге, и я опять вспомнил о Михалике. В Шошкуте набрали человек пятьдесят, которых мой спутник рассадил в автобусе, и отправились в обратный путь. Когда мы приехали, Дом культуры был уже переполнен, и моим пассажирам приходилось то и дело становиться на цыпочки у двери, чтобы хоть что-нибудь увидеть. Я попытался было протиснуться вперед, но это оказалось невозможным, и пришлось отказаться от своего намерения. Раз я поехал с артистами, мне, естественно, хотелось посмотреть их концерт. Во всяком случае, они могли бы провести меня за кулисы. Но человека замечают только тогда, когда он нужен, и я ничему больше не удивлялся, вернулся в машину и улегся на переднем сиденье.

Михалик прежде никогда не называл меня по имени. А на этот раз он дважды сказал: «Герге». Не товарищ, а просто Герге! Он мог бы сказать и проще: «Коош, подождите минуточку».

Он обычно обращался ко мне именно так.

Но сейчас назвал меня «Герге», как обычно зовут меня в Гоноскатью или как обращаются ко мне мои друзья. Вот уже месяц, как меня избрали партгруппоргом в цехе. Быть может, именно поэтому Михалик и изменил свое отношение ко мне? Впрочем, я бы заметил это раньше, сразу же после выборов.

Или он только сейчас узнал об этом?

Я лежал на спине и смотрел прямо перед собой. Окна Дома культуры были освещены, временами оттуда доносились смех и аплодисменты. Я устал от размышлений и задремал. Может быть, сказалась напряженная ночная работа?

Мне снилось, что я еще подросток и, как прежде, ношу на рынок молоко.

В детстве меня поднимали рано, а мне так хотелось спать. Но я ничего не смел сказать, только улыбался бабушке, когда же она отворачивалась, тихонько ворчал. Пятнадцатилитровый бидон с молоком оттягивал руку. За хутором по дороге меня обычно догоняла противная Эсти.

Она и на этот раз не успела умыться — все равно утренний ветерок сгонит остатки сна. Эсти была растрепана, ее маленький пухлый рот, казалось, вот-вот готов искривиться в плаче. Она сунула мне в ладонь свой грязный кулачок.

— Герге, мне холодно,— сказала она.

Я оттолкнул ее руку.

— Чего прилипла, как смола?

— А я вчера вечером шахар ела,— прошепелявила она и подняла на меня заплаканные глаза. Было ей, пожалуй, лет восемь, и она не выговаривала букву «с».

— Герге, дай мне твою куртку!..

— Нашла дурака!

Она всхлипнула, а когда мы подошли к рынку, ей уже не было холодно. На обратном пути она весело шла рядом со мной и, запрокинув голову, выпила несколько капель молока, оставшихся в бидоне.

Мы шли мимо сада Петё. Эсти схватила меня за руку.

— Хочешь, я украду для тебя спелое яблоко?

— Укради.

У Петё раньше всех поспевали яблоки.

— Подожди меня,— шепнула Эсти.

Она поставила бидон на землю и перелезла через изгородь из глеличии. Длинные шипы кустарника больно царапали ее босые ноги, но она упорно пробиралась дальше. Я ждал. Вскоре послышались крик Болди Петё и лай его овчарки. Как угорелый, я бросился бежать, не дожидаясь Эсти, и перевел дух только у колодца.

Догнав меня, Эсти с сияющим лицом приподняла кофточку, и на траву скатилось несколько маленьких яблок.

— А вот и я. Не поймали.

У нее были большие, влажные, как у теленка, глаза. Из царапин на ногах сочилась кровь.

Я вздрогнул.

Почему мне припомнилась Эсти? Ведь прошло лет шесть, как я ее видел в последний раз. Эту девчонку я не любил только за то, что она упрямо липла ко мне. Я ее колотил. Иногда мне хотелось даже убить ее. Я всегда старался сваливать на Эсти вину за свои проделки, лишь бы только избавиться от нее. Я ходил в последний класс начальной школы, когда Ботоши, жившие неподалеку от нас, начали разводить индюшек. Из хуторов приходили подивиться на длинноногих уродливых индюшат. Людям они казались смешными. А я как-то вырезал длинный ореховый прут и, надеясь, что меня никто не увидит, стал хлестать птенцов. Шестерым переломал ноги.

Вскоре к нам пришла старшая дочь Ботоша.

— Герге переломал нашим индюшатам ноги,— пожаловалась она бабушке.

— Ты переломал ноги индюшатам? — спросила бабушка.

Я дерзко посмотрел девушке в глаза и заявил:

— Нет, не я.

— Тогда кто же?

— Я видел, как их Эсти лупила,— сказал я.— Ореховым прутом.

Конечно, взялись за Эсти. Тем временем перед домом дяди Балинта собралось много народу. Оказавшись вне подозрения, я тоже пошел туда. Дочь Ботоша позвала к воротам дядю Шани Балинта.

— Герге говорит, что это сделала Эсти,— сказала она.

Дядя Шани позвал Эсти.

— Это ты натворила?

— Я? Нет, я целый день была на винограднике.

— Она целый день была на винограднике,— подтвердил дядя Шани,— это я точно знаю.

Тогда все уставились на меня.

— Это сделала Эсти,— повторил я.

Эсти взглянула на меня, ее глаза наполнились слезами, и она не могла вымолвить ни слова. Я выдержал ее взгляд. На небе уже показался узкий серп месяца. Он повис как раз над головой Эсти. Она сказала:

— Герге не врет.

— Значит, ты врала нам? — воскликнул дядя Шани.

Я ужасно обрадовался, что Эсти зададут взбучку. Все происходило на людях. Дядя Шани не пощадил ее. А мне стало смешно, и я вприпрыжку побежал домой.

Однако ночью мне показалось, что я слышу, как плачет Эсти. Я еще больше рассердился на нее. Я чувствовал свою вину и презирал себя. А Эсти я ненавидел за это. С тех пор чувство вины перед Эсти не оставляло меня, оно превратилось в какой-то рефлекс. При одной мысли о лжи меня и теперь выворачивает наизнанку.

Но не это было главное, что оттолкнуло меня от Эсти. На другой день по дороге на рынок я повстречался с дочерью Ботоша. Она сказала мне:

— Это сделала не Эсти.

Сказала и прошла мимо. Я опустил голову. И вдруг с испугом заметил, что Эсти поджидает меня на дороге. Я хотел было пройти мимо, но она подошла и сказала:

— Я всю ночь думала, Герге... И вспомнила... Ведь это я переломала ноги индюшатам...

Так и сказала. Да еще с такой уверенностью, что на мгновенье даже я поверил ей. И вдруг я разрыдался. Я всхлипывал горько и безутешно, испытывая острую боль. Несколько секунд она растерянно смотрела на меня, затем схватила за руку и тоже захныкала.

— Герге! Герге, не плачь... мне тебя жалко...

Я вырвал руку и бросился бежать со своим большим бидоном. Молоко плескалось, но я ничего не замечал и, громко рыдая, продолжал бежать. И так до самого рынка. С тех пор при одном только упоминании имени Эсти меня охватывало какое-то неприятное чувство. Я избегал ее, а завидев издали, прятался. Теперь я носил молоко на рынок уже по другой тропке. Постепенно, медленно, правда, эта рана зарубцевалась. Как старик, страдающий одышкой, целыми днями просиживал я на террасе и скучал от безделья, но прошло и это. Мальчишеский пыл взял свое, а спустя два года мать отдала меня в ремесленное училище, откуда мне удалось попасть в Будапешт. После экзаменов я как-то встретился с Эсти. Я шел домой, а она стояла у ворот.

— Герге! — крикнула она, подбежала ко мне и бросилась на шею.

— Ну и бессовестная же ты,— сказал я.

Она покраснела и стала поправлять платье. Я заметил, как округлились ее руки. На ее больших влажных глазах заблестели слезы, я повернулся и пошел прочь.

И зачем только на пути человека попадается такое существо с изодранными в кровь ногами и безгранично преданными глазами?

Я и без того никак не могу забыть той старой истории.

И вот, сидя в автобусе, я пытаюсь дымом сигареты отогнать видения прошлого. Прохладно. Недурно бы купить зимнее пальто, а у меня только бекеша. Быстрее всего мерзнут колени, от них холод пробирается к пояснице, затем еще выше, к груди, и вот уж начинают коченеть кончики пальцев.

Свет в Доме культуры уже погас, зато через дорогу напротив засветились окна сельсовета. Меня охватила досада. Я взглянул на часы — было почти двенадцать. Словом, неплохо вздремнул, за это время уже можно было бы добраться до дому.

Вылез из машины и пошел разыскивать своих пассажиров. Открывая дверь сельсовета, я сразу понял, что выбраться отсюда будет не так-то легко. Из дома доносилась песня, никто и не заметил моего появления. Под столами в молочных бидонах стояло вино. Людей было много: крестьяне, местное начальство, артисты. Кому не хватило стаканов,

пили из крышек бидонов. На тарелках — колбаса, домашний хлеб, несколько ножей.

У всех было отличное настроение. Я подошел к режиссеру:

— Пора бы и отправляться.

Он несколько секунд таращил на меня глаза, затем ухмыльнулся.

— Прекрасно! — объявил он.— Вот наш шофер!

И усадил меня на стул. Мне пододвинули стакан, колбасу, хлеб. Всем сразу захотелось заниматься только мной. Все начали кормить меня, поить и сожалеть, что совсем забыли обо мне, называли друг друга недогадливыми остолопами, эгоистами, бездушными интеллигентиками. Я знаю, артисты — божьи избранники, и мы должны верить каждому внезапному проявлению их чувств, ведь они даже сами перед собой играют. Игра — стихия их жизни. Каждую минуту они по-разному правы. Но правы.

От всех этих речей о справедливости я чувствовал себя неловко. Колбасу взял, промочил горло несколькими глотками вина, но выпить еще отказался наотрез. В конце концов я имел моральное право торопить их.

— Пора ехать домой.

Тут-то я и увидел Еву. И поразился, каким старым стало ее лицо.

Когда я служил в армии, в Еву была влюблена вся наша рота. В том числе и я. Тогда они давали концерт в офицерском клубе. Чтобы заполнить огромный зал, на концерт пустили и солдат. Артисты играли у нас два вечера. В первый они поставили «Банк-Бан», а во второй — «Профессию миссис Уоррен». Ева играла Гертруду, во втором спектакле — дочь миссис Уоррен. У нее были длинные, до пояса волосы. Черным широким шлейфом они спадали от короны до талии.

Теперь только эти волосы и напоминали прежнюю Еву. Лицо желтое. Полное женственное тело еще дышало молодостью, но под глазами уже легла мелкая паутинка морщин.

А ведь прошло всего-навсего четыре года.

И зачем только нам суждено встречаться со своими грезами наяву? Уж не затем ли, чтобы постоянно испытывать горечь разочарования?

За столом Ева сидела рядом с молодым человеком, напротив меня. Она пила и кокетничала.

— Послушай же меня, доктор,— доносился ее голос. Но остальные слова тонули в общем шуме.

Я смотрел на Еву и на какое-то время забыл о том, что нам нужно ехать. Доктор, казалось, не обращал на нее никакого внимания. Иногда он как бы нехотя на нее взглядывал, пил, когда пили другие, но Ева не хотела этого замечать и наступала на него настойчиво и откровенно. Мне стало жаль ее напрасных усилий. Она громко разговаривала и казалась доступной и податливой. Всем были понятны ее намерения, и невозможно было допустить, чтобы она не знала этого.

— Вы не хотите проводить меня? — громко спросила она доктора.

— Мы здесь так хорошо сидим,— ответил тот.

Тогда я еще раз подошел к режиссеру:

— Нам немедленно надо ехать.

— Почему немедленно? — засмеялся он.

— Завтра в семь мне нужно быть на работе. Больше ждать я не могу.

Вместо ответа он сунул мне в руку стакан и шутливо чокнулся.

— Сервус! *

---

* Приветствие, предполагающее по-венгерски обращение на «ты».

— Через десять минут я уеду один,— повторил я.

— Прекрасно! — расхохотался режиссер и осушил свой стакан.

Что я мог поделать?

Администратор, уговаривавший меня съездить в Шошкут, не пил. Я отозвал его в сторону и сказал, что всю эту компанию надо просто поодиночке перетащить в автобус, иначе веселью конца не будет. Он согласился неохотно, но понял, что другого выхода нет.

К счастью, декорации сразу же после концерта были упакованы и погружены на крышу машины, так что с этим задержки не было. Нам действительно пришлось по одному вытаскивать артистов из-за стола и усаживать в автобус. Последней оказалась Ева.

Я подошел к ней:

— Все уже в машине.

— Уже? — Она снизу взглянула на меня. Глаза у нее были маленькие, вернее, не глаза, а зрачки. Она так сильно прищурилась, что зрачки стали еще меньше, совсем как точки.

— Мы уезжаем,— повторил я.

Ева обиженно опустила уголки губ.

— Какие вы все противные,— сказала она.

Потом вздохнула и, смеясь, обернулась к доктору:

— Пойдемте.

Тот рассмеялся и кивнул головой.

Я взял Еву под руку и вывел на улицу.

* * *

Фары «икаруса» надежно прощупывали передо мной путь. За спиной кто-то еще бормотал, но вскоре все стихло, и был слышен только храп. Ева сидела рядом со мной на сиденье, куда я ее посадил. Украдкой я поглядывал на ее лицо. Она курила, уставившись перед собой, и, оттопырив нижнюю губку, выпускала дым. Взгляд ее был неподвижным. На меня она так и не взглянула.

Мне стало обидно.

И вместе с тем неприятно, потому что она отняла у меня мою мечту.

Я заметил, что у нее короткие руки. И пальцы тоже короткие.

Она сидела согнувшись, и вид у нее был довольно жалкий.

Мне уже расхотелось смотреть на нее. В автобусе пахло вином и потом. Казалось, что весь этот запах исходит от Евы. Он заглушал милый мне запах отработанного бензина. Пересадить ее назад? Сказать, что она отвлекает меня, мешает вести машину?

Засмеет.

Я попробовал не обращать на нее никакого внимания, смотрел прямо перед собой на дорогу. И вдруг в свете фар заметил зайца. Мне не раз приходилось слышать рассказы о том, что, попав в полосу света, заяц никак не может вырваться из нее и в конце концов попадает под колеса. Самому мне не доводилось наблюдать такой картины. Конечно, может случиться и так, но все же сомнительно.

Заяц мчался впереди машины, плотно прижав уши. Он весь вытягивался в струнку, во что бы то ни стало стараясь уйти от опасности, но с дороги не сворачивал. Я прибавил газу. От рева машины он на мгновенье остановился, повернулся и, казалось, уже неминуемо должен был попасть под колеса. Но в следующий миг резко прыгнул в сторону.

Я с облегчением вздохнул.

Вдали уже показались огни города.

«Почему так странно вел себя Михалик? — снова пришло мне в голову.— Почему в этот рейс он послал именно меня? Ведь в ремонтном цехе два шофера, это их дело, и вообще откуда он узнал, что у меня есть водительские права? Может, я сам говорил ему об этом? Или он просто запомнил, как я однажды отпрашивался у него с работы, чтобы пойти заменить талон в правах?»

А ведь водитель нашего заводского грузовика — его закадычный друг. Осенью они вместе ездили в деревню закупать картошку и кукурузу. И, само собой, не забыли директора и главного инженера. Почему же Михалик не послал его? Ведь он не отказался бы от лишней сотни!

Мы уже въезжали в город, а я так и не нашел ответа. Искоса я взглянул на свою соседку.

Ева смотрела на меня.

Интересно, давно ли она так смотрит?

Мне опять стало как-то не по себе. Это был тот же пронизывающий и неподвижный взгляд, будто она смотрела не на меня, а куда-то дальше. Может, она и не смотрит, а просто сидит с открытыми глазами? Когда человек уходит мыслями в прошлое и бродит в дебрях воспоминаний, со стороны может показаться всякое, но самого главного понять невозможно.

Еву не смутило то, что я поймал ее взгляд. Значит, она смотрит не на меня.

Мне вдруг захотелось, чтобы этот рейс поскорее кончился. В городе я продолжал гнать машину на предельной скорости. Стекла домов звенели, когда мы проносились мимо. Я чувствовал это. На полном ходу я въехал в ворота театра и остановился у гаража. Потом выскочил из машины и растолкал дремавших пассажиров. Ключи от машины я передал режиссеру, который, трезвея, поеживался от ночной прохлады.

— Не потеряйте,— сказал я.

Он пошарил рукой во внутреннем кармане и вынул оттуда конверт.

— Подпишите квитанцию и верните мне.

Я разорвал конверт, вынул из него деньги, сунул их в карман и нацарапал на квитанции свою фамилию. Поблагодарив его, я направился домой.

На углу у театра меня ждала Ева.

— Вам куда? — спросила она.

Я ответил. Ночь была очень свежей, ветер трепал штанины брюк. Я засунул руки в карманы, до конца застегнул молнию бекеши.

Ева молча шла рядом. Разговаривать с ней у меня не было ни малейшей охоты.

— Как вы думаете,— спросила она,— открыт еще какой-нибудь ресторан?

— Вряд ли,— ответил я.

— Вы замерзли?

— У меня, кажется, и желудок свело от холода.

Мы остановились у ворот какого-то дома. Ева смерила меня взглядом и, достав ключ, стала отпирать дверь.

— Ну, входите же.

Не знаю, почему я последовал за ней после всего, что о ней думал. Просто так, без всякого повода. Мои иллюзии словно ветер развеял. Значит, дело было не в них.

Я подумал о том, как одинок городской житель. Дом у него есть, и ничего больше, только одиночество. Бурная и переменчивая эпоха вселила в нас какую-то духовную отчужденность.

Я смотрел на Еву. Она шла впереди.

Вспомнилась Эсти.

Я смотрел на Еву.

«Просто я замерз и иду вслед за ней»,— утешал я себя.

— Тише, а то соседи услышат,— сказала она.

Открыла дверь, и мы вошли.

Я так промерз, что у меня тряслись даже руки. Еще не осмотревшись в комнате, я плюхнулся в кресло, затянутое полотняным чехлом. Меня трясло. Тщетно я пытался унять дрожь. Это мне не удалось.

— Есть хотите? — спросила Ева.

— Где у вас туалет?

Она показала. Затем провела меня в ванную, где я помыл руки. Я долго полоскался в воде, надеясь хоть как-нибудь унять дрожь. Ни о чем другом я не думал, лишь бы избавиться от этой напасти.

Когда я вернулся в комнату, в изразцовой печке уже горел огонь. На столе стояла недопитая бутылка.

— Я думала, осталось больше,— проговорила Ева.

Я вылил остатки коньяка в чайный стакан и выпил одним духом.

Ева вышла. Из ванной доносилось журчание воды. Значит, она умывалась. Я невольно вздрогнул при мысли о холодной воде и еще ближе подвинулся к печке. Но она еще не нагрелась. Через некоторое время вошла Ева, на ней был домашний халат, и вся она пахла свежестью. Белая узкая полоска у рта говорила о том, что Ева даже зубы почистила.

Она снова вышла и принесла салями и хлеб. Нарезав салями тоненькими ломтиками, пододвинула ее ко мне. В голову пришла мысль, что я действительно голоден и поэтому так дрожу. Вилка и нож плясали у меня в руках. Они выбивали дробь по краям тарелки. Мне было стыдно. После первого куска я положил вилку и нож.

— Есть мне не хочется,— сказал я.

Ева улыбнулась и посмотрела куда-то вдаль. Она курила, все так же выпуская дым, оттопырив нижнюю губку.

Я почувствовал отвращение, отчего озноб несколько приутих.

— Я даже не знаю, как вас зовут,— сказала она.

— Герге,— ответил я.— Гергей Коош.

Ева улыбнулась, словно загадав мне загадку. Но я уже знал, что за этой улыбкой нет ничего. Кроме желания. И не был уверен, смогу ли удовлетворить это желание. Я решил поцеловать ее, а там видно будет.

Я встал и подошел поближе к Еве.

Поцеловать себя она не позволила. Я видел, ей хотелось, чтобы я боролся за этот поцелуй, и мне опять стало жаль ее. Я знал, что не способен сломить даже это ее притворное сопротивление.

И не пытался.

Я стал разглядывать фотографии на стене.

Ева включила ночник и радио. Комната наполнилась музыкой.

На большинстве фотографий — Ева. На многих она была не одна, а с каким-то мужчиной. Фотографии вернули меня в мир старых воспоминаний. На фото была другая Ева, и я не осмеливался взглянуть на эту, с постаревшим лицом.

— Вот уже девять месяцев, как муж ушел от меня.

Я не смел повернуться.

Затем услышал, как она вышла из комнаты, унося хлеб и салями. Я быстро разделся. Бросив одежду на спинку кресла, нырнул в постель. Одеяло охватило меня приятной прохладой. «Что же делать? — подумал я.— Пожалуй, я поступил правильно. Что бы я сказал ей, если бы захотел уйти?»

Разговаривать не хотелось.

Вошла Ева и увидела меня в постели. Она приняла это как должное. Тихо сняла халат и легла рядом. А я все никак не мог согреться. Меня охватило отчаяние.

— Закурить бы хорошо,— сказал я.

Она посмотрела на меня.

— Только не сейчас...

Она повернулась ко мне, и грудь ее обнажилась. У нее были молодые полные упругие груди с маленькими острыми сосками...

Одевался я, наверно, слишком поспешно. Она следила за мною, оставаясь в постели.

— Завтра я зайду за тобой,— сказала она.

Я кивнул и улыбнулся своей обычной улыбкой. Затем замедлил движения и начал одеваться тщательно, словно собирался в театр. Мне хотелось показать, что я не спешу.

Было еще темно, когда я вышел на улицу. Впереди меня в сторону станции шли два железнодорожника. Я поднял воротник бекеши. Хотелось закурить, но оказалось, что сигареты и спички я забыл у Евы.

Оставалось только идти домой. Когда я подошел к дому, в котором жил, мне стало стыдно.

Заснуть я так и не смог. У меня было такое ощущение, словно я чем-то запачкался. В шесть утра я был уже на ногах. Зашел в первое попавшееся «Эспрессо» и выпил две чашки крепкого черного кофе Затем немного коньяку и опять кофе. Сердце начало работать как мотор. В голове совершенно прояснилось, но мыслей не было.

С утра приступили к ремонту комбайна. В литейном цехе уже изготовили три маленьких шестеренки, Варкоц обтачивал их на токарном станке. Я стоял рядом с ним и ждал, когда детали будут готовы, чтобы сразу же приступить к сборке. А пока я помогал Варкоцу.

Было часов восемь, когда ко мне подошел Михалик.

— Герге, сынок,— позвал он.

Я с трудом выбрался из-под комбайна.

— Ну как, все было в порядке? — спросил он.

— А почему бы и нет?

— Да я просто так спрашиваю,— произнес он, подтягивая брюки на своем большом животе.— Трудишься?

Я молча посмотрел на него.

— К вечеру, пожалуй, и этот будет готов,— сказал он, похлопывая по обшивке комбайна.— И пойдет. Поработает еще на полях.

— Да вы не крутите, выкладывайте, что надо,— сказал я.

— Что надо? Мне? Мне от тебя ничего не надо, Герге. Я только хотел сказать, чтобы ты зашел к директору, он вызывает тебя.

Взглянув на Михалика, я вытер ветошью руки и направился к директору.

Наш директор — высокий мужчина с подстриженными ежиком волосами и припухшими глазами. Со спины он выглядит совсем молодо. Разговор со мной он начал издалека, с той деловитой холодностью, с какой обычно зачитывают постановления.

— Есть решение,— сказал он,— направить вас в родное село. Я полагаю, что вы, как коммунист, полностью согласны с постановлением нашей партии о перестройке сельского хозяйства. Надеюсь, что, оказавшись дома, в меру своих сил вы будете способствовать претворению этих решений в жизнь. В этом ваш долг. Покажите хороший пример. Убедите вступить в сельскохозяйственный кооператив своих родных и

близких. Агитируйте и убеждайте. Строить на селе социализм — вот ваша задача. Ваша трудовая книжка до окончания этой кампании останется здесь, у меня. У вас есть какие-либо возражения?

Я смотрел на директора и улыбался. Ты уже знаешь эту мою улыбку. Да и что мне оставалось делать?

Ошибаешься, если думаешь, что у меня были возражения по существу вопроса. Мне не нравился только метод. Но говорить об этом с нашим директором я не мог. Думаю, он и не понял бы меня. Мужчина неохотно целует женщину, даже любимую, если делает это по приказу. Но, если его просят, почему бы не поцеловать?

Моя душа словно покрылась панцирем.

Ведь могу же я поехать домой. Дом есть дом. Да и еду-то я к родной матери, к бабушке, к дедушке. У нас три хольда виноградника. С этим можно прекрасно прожить. Нужно только сдержать свои чувства, копаться в земле и жить. Ведь так тоже можно жить.

Но тогда что я скажу людям? Как посмотрю им в глаза? Ведь то, что у человека на душе, долго не скроешь. Рану, которая кровоточит и гноится, не в состоянии иногда излечить даже хирург.

Ей нужен свет, солнечный исцеляющий свет. А потом она заживет, зарубцуется и, возможно, от нее и следа не останется.

Я уже давал себе однажды клятву. Когда мать вторично вышла замуж, решил, что не переступлю больше порога родительского дома. Поклялся — и не сдержал клятву. Не смог.

Человек дает много клятв, но, преодолев кризис, начинает стыдиться их. Стоит ли рассказывать о своих клятвах?

Не стоит.

Я получил причитающиеся мне деньги, оделся и, ни с кем не попрощавшись, ушел.

Завернул в какой-то ресторанчик и выпил бутылку коньяку. И лишь после этого пошел домой, на квартиру. Захмелев, я завалился в постель и проспал до вечера. Когда проснулся, голова ужасно трещала. Но все же я упаковал свой чемодан и отправился на вокзал.

Через полчаса я уже ехал в поезде. Ветер гнал в сторону паровозный дым и искры. Казалось, искры вылетают из меня. От этого в голове стоял какой-то дурман.

2

Бега времени я не замечал. Вот и сейчас не могу тебе сказать, в котором часу ночи я приехал домой. Домой? Но ведь до Гоноскатью был еще целый час ходьбы.

Что я скажу дома?

Правда, в первые минуты я могу не объяснять, зачем приехал. Просто приехал навестить своих родных. Они подумают, что ненадолго. А на второй день обязательно спросят: «Надолго приехал?» Что я отвечу на это?

А не сказать ли прямо: приехал помочь вам организовать в селе кооператив? Бабушка, пожалуй, такого не поймет. А мать вскочит и скажет:

— Это в моем-то доме! Подумай-ка, сынок, о чем ты говоришь?

А что скажет отчим?

О, если бы этого человека не было под родной крышей! Он ведь мне чужой. И, как чужой человек, считает меня нахлебником.

Сказать, что меня уволили? Но разве это убедительно? Если бы меня уволили, я мог бы найти работу где-нибудь в другом месте. Что же

все-таки сказать? Как мне объяснить им все это? Наш директор не предполагал, что значило для меня вернуться домой. Он даже не в состоянии понять, что такое Гоноскатью! Ведь это совсем другой мир. Как же я скажу им все? Однако я знал, что самая большая беда не в этом.

Душа моя была закована в какой-то ледяной панцирь, он парализовал мою волю. Если бы я мог сказать самому себе: «Поезжай домой, встань на партийный учет и делай свое дело, как требуется». Уже от одного этого мне стало бы легче, несмотря на все семейные неурядицы. Но я не был способен на такое.

Вдали при свете луны уже можно было различить Гоноскатью. Казалось, что холмы громоздятся друг на друга, а виноградные лозы, вившиеся по подпоркам, настолько сливались с темнотой, что видны были лишь контуры кустов. Во дворе Петё протяжно и тоскливо залаяла овчарка. С похмелья меня мучила жажда. К тому же чемодан оттягивал руку, как пятнадцатилитровый молочный бидон, который в детстве мне приходилось носить на рынок. Но я утешал себя мыслью о том, что до колодца осталось совсем немного, вода в нем славилась на всю окрестность. Там-то уж я попью вволю.

Этот колодец был моим излюбленным местом отдыха. Еще мальчишкой я долгое время боялся заглядывать внутрь его. В окрестности было мало колодцев, наверно, потому, что до воды в наших краях не так-то уж легко добраться. У колодца всегда стояло множество бочек. Их никогда не убирали отсюда, наполняли водой, временами меняли ее, так что вода всегда оказывалась под рукой, если нужно было приготовить раствор для опрыскивания.

Подъехать к колодцу можно было лишь с одной стороны; здесь ставили обычно повозку, пока хозяин поил скотину. С незапамятных времен над колодцем висела на цепи огромная деревянная бадья, схваченная в нескольких местах железными обручами. Но доставать воду из колодца было нетрудно, так как на другом конце журавля висели здоровые чурбаки и старые ведра, наполненные песком.

Я уже отчетливо различал журавль на фоне ночного неба.

Вдруг он закачался и стремительно начал опускаться вниз. Донесся всплеск воды, и в сумраке над холмами рассыпался смех. «Парни забавляются»,— подумал я, увидев, как журавль быстро пошел вверх. Был слышен скрип его оси.

Но вот журавль снова опустился и снова поднялся, и мне показалось, что этой забаве не будет конца. Когда я подошел ближе, шум у колодца усилился — такое развлечение показалось мне опасным и грубым. «Замутят воду,— подумал я,— и попить не удастся».

Я уже различал фигуры собравшихся у колодца людей. Они не были похожи на парней, и одежда на них была не праздничная. «Что же они здесь делают? Зачем мутят воду?» Время поливать и опрыскивать виноградники, когда крестьяне задерживаются у колодца до ночи, еще не наступило.

— Эй! — крикнул я.

Один из них обернулся. Я не узнал его.

Раздался тихий, протяжный свист. Все вмиг бросились врассыпную. Согнувшись, они бежали по узким проходам между бочек, в сторону виноградников на холмах. Их было человек пять.

Это показалось мне подозрительным.

В недоумении я подошел к колодцу. Бадья была внизу. Поставив чемодан на землю, я принялся тащить ее наверх.

Она показалась мне необыкновенно тяжелой.

Совсем рядом в воздухе просвистел вывороченный из земли кол, к каким у нас подвязывают виноградную лозу. Я выпустил журавль и укрылся за срубом.

Кол глухо шлепнулся рядом со мной и отскочил в песок.

Немного обождав, я высунул голову из-за сруба, затем встал. Вокруг была тишина — ни шороха, ни звука.

В глубокой ночной тиши я слышал свое дыхание. Передо мной слабо вздрагивал журавль.

Однако жажда была настолько сильной, что я не сумел до конца осмыслить случившееся. Взялся за журавль и снова начал тащить бадью наверх.

Холодный свет луны, казалось, делал тишину весенней ночи еще более глубокой. И вдруг в глубине колодца послышался стон. Мгновенно я понял, почему бадья была такой тяжелой. Собрал все силы и сделал последний рывок.

К бадье за пояс был привязан человек, да так, что он не мог ни за что ухватиться руками. Голова его свесилась на грудь, весь он как-то скрючился. Лицо было в ссадинах, по скуле широкой полосой стекала кровь.

Я вытащил из колодца мокрого, избитого человека и с трудом перетащил его через сруб. Ножом разрезал веревки, отпустил журавль и уложил человека на песок. Откинув назад спадавшие на лицо волосы, носовым платком начал стирать с его лица кровь.

И тут я узнал его. Это был дядя Шани Балинт — отец Эсти.

Я склонился над ним. Он был в сознании, но настолько слаб, что не мог приподняться.

— Что с вами сделали? — спросил я.

Он слабо улыбнулся и пошевелил рукой, словно хотел отмахнуться от чего-то.

— Кто это сделал? — спросил я.

— Не все ли равно,— тихо ответил он.

— Как это все равно! — воскликнул я.— Мне в голову тоже запустили колом.

— Значит, поджидали,— сказал дядя Шани.

— Меня?

— Конечно.

— Не думаю,— возразил я.— Еще утром я и сам не знал, что приеду сюда.

Дядя Шани сделал усилие, чтобы приподняться. Но без моей помощи ему вряд ли удалось бы это сделать. Покачиваясь, он подошел к колодцу, оперся о сруб. Осмотрелся. С его одежды стекала вода.

— Они были пьяны,— произнес он.

— Я провожу вас домой,— сказал я и взял свой чемодан.

Мы молча шли рядом. В голову приходили странные мысли, но сосредоточиться на них не было времени. «Почему он сказал, что меня поджидали? Зачем эти люди спустили дядю Шани в колодец? Что кроется за этим? Есть ли тут какая-нибудь связь, или это случайное совпадение?»

— Им это даром не пройдет,— сказал я дяде Шани, чтобы как-то утешить его.

— Возможно,— прошептал он.

— Есть еще милиция.

— Для этого нужно кому-то заявить туда.

— А вы?

— Я?

— Конечно вы.

— Я ничего не знаю,— сказал он.

Я мельком взглянул на него. В этот миг я заметил в нем что-то такое, чем он походил на свою дочь, когда она была еще девчонкой. И сейчас, как тогда при встрече с Эсти, меня охватило раздражение. Я перестал поддерживать его под локоть. Пусть идет один, если может. Стоит ли помогать такому человеку?

— Тогда я заявлю.

— На кого? — спросил он.

— На этих преступников.

Я чувствовал, видел, как дрожит дядя Шани. Ночь была свежей, его мокрая одежда прилипла к телу. Он повернул ко мне лицо и опять слабо улыбнулся:

— А ты по-прежнему большой ребенок.

Мы уже подошли к его дому, и я ничего не успел ответить. Ему, наверно, сейчас так же холодно, как было холодно мне вчерашней ночью, когда я брел по улице с Евой. Толкнув калитку, я быстро подошел к дому и постучал в окошко.

— Кто там? — донесся голос изнутри.

— Открывайте быстрей!

Скрипнула кровать, промелькнула белая юбка, послышалось шарканье босых ног, сопенье и чей-то хриплый сонный голос:

— Эсти, где же спички?

И снова — шарканье, быстрые и тревожные движения. Чиркнула спичка. Чья-то рука поднесла язычок пламени к лампе, приподняла стекло, и комната осветилась.

— Кто там? — снова раздался голос тетушки Йолан.

— Да открывайте вы поскорее,— сказал я,— не замерзать же тут человеку.

Услышав во дворе голоса, с кровати спрыгнула и Эсти. Она выбежала в прихожую и загремела засовом. Дверь открылась. Я подтолкнул вперед дядю Шани.

— Боже мой! — воскликнула Эсти, всплеснув руками.

Тут же выбежала тетушка Йолан. Обе запричитали, подхватили Балинта под руки и повели в дом. На меня никто не обратил внимания. Все были заняты дядей Шани, суетились вокруг него, беспомощно всхлипывая.

И все же я не смог преодолеть желания переступить порог прихожей.

— Что они с тобой сделали, боже мой, что они с тобой сделали?! — голосила тетушка Йолан. Балинт, не проронив ни слова, прошел в комнату.

Я не выдержал и выпалил:

— Искупали!

Обе женщины удивленно уставились на меня. Казалось, только теперь они заметили мое присутствие.

— Герге! — воскликнула Эсти.— Вот видишь, я знала!

Ее заплаканное лицо осветилось странной улыбкой. Бретелька ночной рубашки сползла с плеча, но Эсти не замечала этого и продолжала стоять передо мной. Во мне шевельнулось старое чувство неприязни.

— Напоите его горячим вином,— посоветовал я.

А в следующую минуту, когда все еще стояли молча, словно ожидая чего-то, я неловко поклонился:

— Спокойной ночи!

И вышел из дому.

Навстречу мне, откуда-то из сада, выбежала собака, проводила до самых ворот, принюхиваясь издали, но так и не решилась тявкнуть.

«Герге! Вот видишь, я знала!» — Так сказала мне Эсти.

«Значит, поджидали»,— вспомнились слова дяди Шани. Во мне скопилось столько горечи, что я невольно выругался в прохладную пустоту лунной ночи.

Проснулся я поздно. Солнце стояло уже высоко в небе, и его жаркие лучи круто падали в комнату. Болела голова. В горле невыносимо пересохло: ночью, добравшись до дома, я тотчас же завалился спать. Губы вспухли и потрескались, кожа на лбу словно отстала от кости. Я лежал, не шевелясь, хотя спать уже не хотелось.

Я слышал, как открывается дверь, но даже не взглянул в ту сторону. К кровати приближались шаги, словно кто-то шлепал по полу босыми ногами. Надо мной склонилась бабушка.

— Я вскипятила тебе вина,— сказала она.

Широкая, добрая улыбка притаилась в морщинках вокруг ее рта. Из-под бледно-лиловых век, необычно молодо сияя, на меня смотрели большие темные зрачки.

Я не сказал ей ни слова, не ответил на ее улыбку — она выпрямилась и пошла к выходу. Казалась она сильной и крепкой, и, когда двигала руками, на ее спине вырисовывались мускулы. Трудно было поверить, что бабушке уже за шестьдесят. В детстве я не раз слышал слова восхищения: «Какая красивая и молодая у тебя бабушка!» Но только сейчас по-настоящему почувствовал, какая она крепкая. А ведь она всю свою жизнь работала. Тринадцати лет ее отдали в служанки. Проработав в людях семь лет, она кое-что сэкономила и купила себе один хольд виноградника. Тогда на ней и женился дедушка, Андраш Шимон. У него тоже был свой хольд виноградника на склоне холма, его хорошо видно из дома. Со временем, после постройки дома, они собрались с силами и прикупили к двум хольдам еще один. Они хотели ребенка, но только одного. В то время богатые владельцы виноградника, жившие в городе, всячески притесняли их; акционерное общество городских чиновников стремилось скупить здесь все виноградники, однако крестьяне устояли против соблазна продать землю. А деньги им предлагали немалые. Но продать землю — значит потерять ее, а самому идти копаться в песке на противоположном склоне холма Гоноскатью, на малоплодородных холмах Гат, Халас и Пири, где уже бедствовали крестьяне другой половины села, которые продали землю. Эти две половины постоянно враждовали. Виноградари презирали землепашцев, а те завидовали более удачливой доле виноградарей. Однако и здесь и там находились изворотливые хозяева, которые жили припеваючи. Земля отнимала у человека все силы, и казалось невероятным, что бабушка еще крепко стоит на ногах. Мужских рук в нашем хозяйстве всегда недоставало. Дедушка до сих пор страдал от раны, полученной в первую мировую войну, и был плохим работником, а отца убили, когда мне не было еще и полутора лет. Убили случайно пьяные люди колом из засады. Да и я, едва оперившись, сбежал из дома. У моей матери в молодые годы было немало женихов, но бабушка ни одного из них не пускала даже на порог. В этом отношении она была тираном.

— У тебя уже есть наследник,— часто говорила она матери,— зачем тебе еще замуж выходить?

Но наследник быстро вырос и упорхнул из гнезда, а мать и не заметила, как прошла ее молодость. Бабушка часто говорила мне:

— Выбери ты немного времени. Пойдем перепишем на тебя виноградник.

— А зачем он мне? — спрашивал я.

Этого бабушка никак не могла понять. В ее голове просто не укладывалось, что на свете могут быть люди, которым не нужна земля. Таких в Гоноскатью называли ненормальными. Да и католическая религия считала это тяжким грехом. Я знал, что бабушка все еще тешила себя надеждой на то, что я, как заблудшая овца, рано или поздно прибьюсь к стаду.

Дверь снова открылась, и, тихо ступая, в комнату вошла бабушка. Она несла наполненную до краев литровую кружку вина, осторожно, стараясь не пролить ни одной капли. От вина шел пар и пахло пряностями.

Я быстро сел на кровати, откинул назад свои взлохмаченные волосы и потянулся за кружкой.

— С сахаром? — спросил я.

— Конечно, и сахар есть, и корица,— сказала бабушка.

Я припал к кружке. Вино приятно освежило горло, разлилось теплом по телу, согрело желудок. Я испытывал истинное наслаждение. Запрокинув голову, я благодарно улыбался бабушке, подмигивал ей и снова пил.

— Озорник,— сказала она.

Только сейчас я как следует рассмотрел ее. Заметил, что она вздыхает. Она присела на стул у моей кровати, сняв с него сигареты и спички. Ее руки устало покоились на коленях, на меня она смотрела с таким благоговением, словно молилась перед алтарем. Ее обнаженные мускулистые руки были испещрены синими шрамами, словно их секли мокрой веревкой. Да и сами шрамы чем-то напоминали витой веревочный узор.

Бабушка перехватила мой взгляд.

— Вкусно? — спросила она.

Я оторвался от кружки.

Взглянул на бабушку, не зная, с чего начать. В голове роились тысячи вопросов, и на все хотелось получить ответ. Окинул взглядом комнату. Напротив, у стены, стояла другая кровать. Ночью, когда я приехал, на ней спали мать и отчим. Увидев меня, мать приподнялась, слабо улыбнулась, притянула к себе и поцеловала. Отчим притворился спящим, но по нервному вздрагиванию его век я понял, что он не спит.

Я снова взглянул на бабушку:

— А хорошо мне здесь будет?

Она не поняла моего вопроса.

— Здесь, в этой комнате? — пояснил я.

— Может, тебе лучше будет в летней кухне?

— А помнишь, бабуся,— начал я,— маленьким я всегда спал с тобою. Забирался к тебе под одеяло и сворачивался клубочком, как ежик. Помнишь, я и в солдаты-то хотел идти только с тобой?!

— Обманул,— сказала она и улыбнулась.

— А помнишь,— рассмеялся я,— мне уже пошел четвертый год, а я три ночи подряд накладывал в постель. И каждый раз ровно в полночь.

— Да полно тебе...— сказала бабушка.

— Это было форменное безобразие, бабушка, я и тогда уже был озорником. Пришла мама,— продолжал я,— и посадила меня в таз с холодной водой. Мне было холодно, но я и пикнуть не смел. Вымыв меня, она надавала мне таких шлепков по заднице, что я весь посинел, но так и не пискнул ни разу. Я был таким же синим, как вот эти шрамы у тебя на руке, бабушка...

Она быстро взглянула на шрамы и провела по ним рукой. Смущенно улыбнулась.

— Вот намедни с чердака упала,— сказала она.— Старею.

Я отхлебнул еще немного вина. Допытываться, отчего все-таки у нее на руке появились шрамы, мне не хотелось.

— После того как мама вымыла и отшлепала меня,— продолжал я,— она опять положила меня к тебе и сказала: «И за что только такое наказание! За что?»

— Устала она очень,— проговорила бабушка.

— Знаю.

— Она много работала.

— Она всегда работала.

— Не нужно было нам ее будить тогда,— сказала бабушка.

И здесь я неожиданно спросил:

— Скажи, бабушка, зачем мать снова вышла замуж?

Я не смотрел на нее, продолжая большими глотками пить вино. Выпил все, до дна. А бабушка все молчала. Я не мог больше удержаться, чтобы не взглянуть на нее.

— Земле нужны мужские руки,— сказала она.

Бабушка встала и взяла у меня пустую кружку. Постояла немного надо мной, ожидая новых вопросов, но спрашивать у меня уже не было охоты. Я сбросил с себя одеяло и потянулся за брюками.

— На сколько приехал? — спросила она.

Я ответил скороговоркой, словно это не представляло для меня никакого интереса:

— Не знаю еще. Может, недели на две, а может, месяца на два. Устал я. Отдохнуть хочу, бабуся.

Она продолжала неподвижно стоять в дверях, затем спросила:

— Может, будешь спать в маленькой комнате?

— Нет.

— А где же?

— Лучше в летней кухне.

— Тогда я скажу дедушке, чтобы он привел в порядок кушетку.

Роса. Слезы весны мельчайшими изумрудными капельками висят на виноградной лозе. Лоза еще голая, и слезы срываются на землю. Я попробовал одну слезинку. Казалось, на язык попала капля дистиллированной воды. И, лишь после того как я проглотил ее, во рту остался слабый, терпкий привкус сахара. Такая же терпкая и сама лоза. Многого требует она от человека: труда, терпения, фантазии, если хотите. Но лоза не только берет, она и щедро одаряет человека своими бесценными, налитыми соками земли виноградными гроздьями...

Рядом со мной дедушка щелкал ножницами и что-то насвистывал. Он кивнул мне:

— Из этих слез вино будет. Много влаги тянет лоза из земли. Так много, что ты бы, сынок, и не поверил, если бы не увидел своими глазами. Лоза, сынок, куда усерднее человека. Вот возьми меня. Сорок лет уже прошло со времени старой войны. А я только и знаю, что топчусь на месте да соплю, куска хлеба и того не могу себе заработать. Часто кажется: стоит подналечь разок — и все наладится. Желание работать есть, и все

же ничего не получается. Вот и здесь уж четвертый день обрезаю лозу, а работы-то всего на полдня.

Дедушка был сутулым и тощим. Из-за сутулости руки его свисали до самых колен. Сколько я знаю его, он всегда был ленивым и медлительным. В доме с ним никто не считался. Если он начинал о чем-либо говорить, его сразу же обрывали. А если не обрывали, то и не слушали. Но это его нисколько не смущало. Если ему удавалось добраться до вина, он выпивал сразу три литра. Но пьянел уже с трехсот граммов. От него всегда прятали ключ от винного погреба, разливную кружку, резиновый шланг и плетеную бутыль. Если в воскресенье к обеду приносили вино, у него то и дело приходилось отнимать и прятать бутыль с вином. Дедушку это нисколько не обижало. Он тут же начинал разыскивать ее, заглядывал в сундук, под кровать, в ларь с мукой, что стоял в кладовой. Однако делал он это молча и никогда ни у кого не спрашивал, куда ее спрятали. Если же ему случайно удавалось найти бутыль, он выпивал ее содержимое одним духом и через минуту был мертвецки пьян. Тогда ему было уже не до обеда; если его пытались усадить к столу, он, бывало, сваливался со стула. В конце концов его отпускали, и он плелся в какой-нибудь угол, где отсыпался до самого вечера.

К пьянству в Гоноскатью относились сурово. Виноградарством здесь начали заниматься лет шестьдесят назад, и в нравах молодежи еще были живы строгие нравы землепашцев. До сих пор виноградари оставляли для себя из нового урожая совсем немного вина. Заранее рассчитывали, сколько его потребуется для праздников, остальное сразу же продавалось. Если кто-либо оставлял себе двести-триста литров, его считали настоящим мотом. Позже, правда, некоторые поняли, что если вино продержать до весны, то за него можно больше выручить. Конечно, в этом случае много вина расходилось дома, но все-таки выгода была явной. Пьянство считалось здесь преступлением. Если соседям по какому-либо случаю доводилось выпить вместе четыре-пять стаканов вина, то об этом долго вспоминали: «Ну и хорошо же мы тогда выпили!»

На первых порах дедушка пытался объяснить свое пристрастие к вину болезнью. Потом он как бы выпал из местного общества; его постепенно забыли, а если и вспоминали, то как о хламе, с которым мирятся поневоле. Дедушку вообще не считали человеком.

Но он не обижался и не обращал на это никакого внимания. Возможно, дедушка и сам полагал, что он бездельник, и целиком свыкся с тем мнением, которое сложилось о нем у односельчан. Частенько он любил повторять:

— Если бы я был настоящим мужчиной! Но я не мужчина.

При этом в его голосе не слышалось ни тоски, ни печали. Он произносил эту фразу деловито, иногда даже с нескрываемой гордостью. По утрам он вставал, ел что давали, целый день бездельничал, а вечером снова ложился спать, не испытывая никаких угрызений совести.

— Ты слышал, сынок,— сказал он,— зашевелился на селе народ. Будоражат его. Сук под собою рубят. Ведь лет пять назад Мишка Цифра, Гедеон, Жупак и Жиндеи объединили землю, помнишь, организовали кооператив, а чего добились? Ничего. Теперь все село зашевелилось. Люди горло готовы перегрызть друг другу. Один хочет, другой не хочет. У нас в Гоноскатью, слава богу, никто не хочет. Никто. Но там, на пашнях, на пшеничных и картофельных полях, все горит. Лишь бы сюда не перекинулось... Лишь бы Шани Балинт к нам не занес этот пожар. Эх, если бы я был мужчиной, сходил бы я к ним в Халас да сказал бы: бросьте вы эту пустую затею. Но я ведь не мужчина.

— В летней кухне нужно подремонтировать кушетку,— сказал я,

— Ну что ж, подремонтируй, сынок,— сказал дедушка.

— Мне бы гвозди да молоток.

— Посмотри в сарае, там, наверно, есть.

И поскольку я по-прежнему стоял рядом, он продолжал изрекать свои премудрости:

— Человек должен рабогать на своей земле. Тогда он и человек. Неужто делать то, что делает Жиндеи? Ты ведь его знаешь. Это тот Жиндеи, у которого жена девятерых родила — в таких делах он мастер. Раньше батрачил. А был у него хоть когда-нибудь свой клочок земли? После реформы получил. А прежде? Что зарабатывал за лето, ему едва хватало до февраля. А после февраля всей семьей ходили взаймы просить. У одних — мучицы, у других — жиру, картошки, сала. Так жили до мая. Пытались разок-другой еще подзанять, но никто уже им не давал. Если ты человек, то изволь обеспечить себя на круглый год. Тогда они совсем по-скотски начали жить: воровали свекольную ботву с полей, мелко рубили, варили супец и хлебали его до нового урожая. Супец из свекольной ботвы! Вот и пойди за ними. Ботош, старик, связался было с ними годков семь назад. Парторгом тогда на селе был отец Лаци Лукача. Позвал он к себе Ботоша. «Ты настоящий хозяин,— говорит он ему,— организуй в Гоноскатью кооператив». А Ботош ему в ответ: «Боже упаси».

Дедушка радовался, что нашел, наконец, внимательного собеседника. Он, видно, давно так ни с кем не разговаривал. Я все еще стоял рядом с дедушкой, покуривал сигарету, и слова его доносились до меня назойливым жужжанием; порой я не улавливал даже связи между ними, но ощущал вокруг себя какой-то беспредельный глубокий мрак, несмотря на этот весенний, солнечный день.

— Слава богу, у нас народ и не помышляет об этом,— проговорил дедушка.— И слушать не хотят. И говорить не хотят. Вроде бы и не слышали. Вроде бы и нет этого для них. Слава богу. Это вот люди, сынок...

— Люди? — спросил я.

— Хорошие люди, настоящие. Стоят они на своей земле, твердо стоят, и сам черт их не сдвинет с нее. А сами они не сдвинутся. Дураком будет тот, кто сдвинется. Видишь ли, сынок, я бы тоже мог отлежаться в окопе, да хотелось мне рыцарский крест получить, а к нему пятнадцать хольдов полагается. Вот и прострелили мне легкое-то, а теперь я уже не человек. Кто не сдвинется, сынок, тот человеком останется. Зачем двигаться? Куда? Идти к Мишке Цифре и его дружкам? Ведь засмеют. Теперь он если заимеет новую рубаху, так и по холоду в ней ходит, куртки не наденет, лишь бы все его обнову заметили. Вот уже пять лет, как он председательствует. А что толку? Отдал кооперативу три хольда земли, а весной, когда уже есть было нечего, тайком пошел на реку рыбу ловить. В полночь вышел, на рассвете вернулся. Наловил сумку мелочи, принес жене, а та сварила, без жира, вот они ее и ели. Вареную рыбу, сынок... Вот до чего он дошел со своим кооперативом. Раньше у него по крайней мере кусок хлеба был. Какой же ему резон было срываться с земли?

— Хлыст ему надо было взять в руки,— сказал я.

— Хлыст? Хе-хе! — сказал старик.— А зачем?

— Чтобы заставить людей работать.

— Ну-ну! Хе-хе, а ты бы заставил? — засмеялся дедушка и завертел худой шеей.— Хлыст!

— Раз до них так не доходит. Работать не хотят, а хлеба ждут...

— Пусть им хлеб и дают те, кто кооперативы строит! Пусть они и дают. Если они этот самый кооператив организовали. Нам такое ни к чему, у нас свой хлеб есть. Мы и не сдвинулись. И не сдвинемся. Лишь бы к нам ветер искру не перекинул...

— Само загорится.

— Такого еще не бывало.

— Значит, будет.

— Человек разжигает огонь, сынок. А кто осмелится зажечь его здесь, у нас, того люди заставят поплясать...

Я смотрел на хилого человека с трясущимися руками. И меня вдруг поразила мысль о том, что все услышанное мною от деда сказано не им самим. Старик был не способен найти такие точные и решительные слова. Нет, он пустомеля. Он лишь повторяет то, что говорят другие. Эти чужие и далекие для него проблемы не умещаются в его маленькой голове, и он рад отделаться от них. Расскажет и тотчас же забудет. Возьмет он, бывало, кусок хлеба, вынесет его собаке, отламывает небольшие кусочки и сует ей под нос. А когда она вот-вот готова схватить кусочек, отдергивает руку. Так и забавляется, как ребенок. Потешается над собакой. В такие минуты, поглощенный этой игрой, он забывает обо всем на свете.

Старик положил свою трясущуюся руку мне на плечо. Глаза его странно светились. Вокруг беззубого рта играла детская улыбка.

— Нынче ночью,— шепнул он мне на ухо, оглядываясь, не слышит ли нас кто-нибудь,— ночью проучили-таки Шани Балинта. Хе-хе. Это он хотел пожар разжечь...

В недоумении я посмотрел на дедушку, чувствуя, как во мне нарастает гнев. Он немного отступил от меня и, хитро подмигнув, продолжал:

— Мы ничего не знаем, ничего не слышали. Бабушка говорит, нас это не касается... А тебе я говорю об этом... для твоей же пользы. Ты бы угостил старичка пачкой сигарет.

Я отдал ему начатую пачку, далеко отбросив в сторону окурок. Затем вышел в сад и начал рассматривать лопающиеся почки орешника. Гнев мой прошел. До меня доносился голос бабушки, которая о чем-то спорила с дедушкой, однако его голоса не было слышно.

Почему у меня должна душа болеть по всякому поводу? И почему я должен думать за всех? С меня хватит и своих забот. Меня никто никогда не учил, как помочь этим людям. Хоть бы в себе самом разобраться.

Я хочу рассказать тебе честно, какое душевное состояние у меня тогда было. Ты, наверно, помнишь, как в ноябре 1956 года я позвонил тебе. Да, это было второго ноября. Твои слова очень помогли мне тогда, и я поступил так, как ты мне советовал,— в тот же вечер я пошел в горком партии. На заводе у нас в те дни никого не было. Я беспокоился за партию, как за самого близкого и родного человека. Не подумай, что это пышные фразы, ведь ты меня знаешь. Прочитав сообщение о создании новой партии, я сразу же позвонил тебе, а вечером пошел в горком и попросил меня зарегистрировать. Членом партии я стал еще на заводе «Икарус». Нет, не корыстные цели привели меня в партию. Не легко было второго ноября решать — оставаться коммунистом или нет. И я пошел. В горкоме записали мои данные, номер старого партбилета и обстоятельно побеседовали со мной. Пообещали сразу же известить, как только я понадоблюсь. Вот и сейчас, вернувшись домой, я был почти в таком же состоянии, как и тогда в ноябре.

Однако не буду забегать вперед.

С отчимом, Имре Цанко, я встретился только вечером. Накрывали на стол. Дедушка уже давно сидел, покрякивая и беспокойно глотая слюну, сгорая от нетерпения в ожидании ужина. Потом он встал, подошел к печке и принялся заглядывать в кастрюли, пока бабушка не прогнала его:

— Сядешь ли ты, наконец, за стол?!

Он опять присел, окончательно изнемогая от ожидания; глаза его слезились.

Мама изредка посматривала в мою сторону, но всем своим существом следила за движениями мужа, готовая исполнить малейшее его желание. Вот она вскочила, вынесла во двор воду и помогла отчиму умыться после работы.

Имре Цанко, высокий и стройный, гладко зачесывал назад свои длинные светлые волосы. Его глубоко сидящие серые глаза сверкали холодным блеском.

На лице ни морщинки, ни единой складки. А на лбу матери уже пролегли три глубокие борозды, и в копне ее черных волос уже попадались серебристые нити.

Что я знал об Имре Цанко? Немногое. Сам он из соседней деревни, весной прошлого года был призван в солдаты, служил неподалеку. Пройдя трехмесячную переподготовку, демобилизовался. В то время он частенько приходил с друзьями к нам на хутор купить хорошего вина. Так он и познакомился с моей матерью. Солдаты помогали двум уже немолодым женщинам, ведь в хозяйстве не было мужчин.

Имре Цанко прижился здесь.

В конце второй мировой войны он служил в армии, жениться тогда ему было еще рано, а потом война для него затянулась. После месячной подготовки их отправили на фронт, а через неделю Имре Цанко был ранен и попал в плен. Из плена он вернулся домой только весной 1949 года. Говорили, что он очень болен, у него был вздутый живот, и врачи не знали. что с ним делать. Но потом, то ли от лекарств, то ли просто так, Имре Цанко выздоровел. К этому времени он остался один в семье со своими престарелыми родителями. Его юношеские годы прошли, девушки-ровесницы обзавелись мужьями, а жениться на девушке моложе своего возраста ему не хотелось.

Тогда-то он и попал к нам в семью и остался совсем.

Вот и все, что я знал о своем отчиме, который всего лишь на семь лет был старше меня и на двенадцать моложе моей матери.

Наконец ужин был подан: ароматный куриный суп с лапшой и рагу в большой кастрюле. Не успели поставить лапшу на стол, как дедушка уже потянулся за ложкой, но бабушка шлепнула его по руке.

— Подожди зятя-то,— сказала она.

В комнату вошел Цанко, грудь его была мокрой. Мама следовала за ним по пятам, затем опередила его, сняла с гвоздя и подала ему полотенце. Отчим долго вытирался, словно нарочно тянул время. Затем не спеша стал надевать рубашку, застегнул пуговицы и набросил себе на плечи безрукавку.

От нетерпения дедушка уже шаркал под столом ногами. Когда все расселись, бабушка сказала:

— Наливай, деточка.

Я понял, что бабушка обращалась ко мне, ведь я был здесь гостем.

Я потянулся было за половником, но мать меня опередила. Мне стало стыдно. Сначала она налила мужу, наполнив его тарелку до самых краев, и спросила:

— Луку хочешь?

— Конечно,— ответил отчим.

Она положила ему зеленого луку и только после этого передала половник мне. Я видел, как Цанко помешал суп в тарелке и, взглянув на бабушку, проговорил:

— А мы неплохо живем.

Ему никто не ответил. Но от этой короткой фразы все вдруг почувствовали себя напряженно. Словно электрический разряд парализовал сидящих.

Лапша была действительно вкусной. Рядом со мной, чавкая, уже ел дедушка. Однако отчим все еще не притрагивался к еде. Он с брезгливым видом помешивал ложкой в тарелке.

— Уж не праздник ли сегодня? — спросил он, поднимая глаза.

— Гость у нас,— ответила бабушка.

— А-а!— протянул Цанко и только теперь попробовал лапшу.— Вот, оказывается, почему у нас такой торжественный ужин.

— В моем доме ужин такой, какой я сготовлю,— сказала бабушка.

— В вашем доме! А где же перец, черт возьми?— закричал отчим.

Мать вскочила, чтобы разыскать перец. Но я крепко схватил ее за руку и усадил обратно на стул.

— Если папаше нужен перец, он и сам возьмет,— сказал я и даже улыбнулся уголками губ. Я продолжал есть.

Имре Цанко опешил, метнул в мою сторону злой взгляд и принялся хлебать лапшу без перца. На лбу у него выступили мелкие капельки пота, его рука иногда вздрагивала. Так он и не проронил ни слова, пока не доел всю лапшу. Дедушка уже давно опорожнил свою тарелку. Доев первое, я попросил бабушку:

— Подвиньте поближе кастрюлю.

Цанко бросил на меня косой взгляд.

— А я и не знал, что твой щенок такой невоспитанный.

Я взял дедушкину тарелку и положил в нее две косточки с мясом, затем две косточки положил себе и добавил к этому побольше галушек. Дедушка захихикал от удовольствия.

— Невоспитанный,— продолжал отчим,— как свинья.

Я взглянул на него и улыбнулся ему прямо в лицо своей обычной улыбкой. Тихо и отчетливо я произнес:

— Мне хочется, чтобы за этим столом было тихо...

Мать со слезами на глазах посмотрела на меня.

— Сыночек! — сказала она.

— ...и мирно,— закончил я.

Кулаки Цанко сжались, глаза сузились и стали совсем маленькими.

— Понятно? — спросил я.

Он неожиданно расслаб, потянулся за кастрюлей, положил из нее галушки на свою тарелку и вновь сосредоточенно принялся за еду. Я тоже словно бы обессилел — за столом воцарилось спокойствие. Конечно, я чувствовал, что на этом разговор не кончился, знал, что он будет иметь последствия, однако нисколько не боялся.

Я сидел с таким важным видом, будто был хозяином дома, а на самом деле чувствовал себя изгнанником и лишь для виду дал выход своей злости. Все же в моих словах, должно быть, ощущалась сила, так как в комнате установилась тишина.

— А вина разве не принесли, бабушка?

— Как же, принесла, сынок, принесла.

И она торопливо пошла в горницу, откуда вскоре послышался скрип открывающейся дверцы шкафа, где на этот раз было припрятано от дедушки вино.

Ну что ж. Я наполнил стаканы себе и дедушке. Выпили. Мы пошли уже на четвертый заход, дедушка начал рассказывать какую-то бесконечную историю, а Цанко все еще не прикасался к своему стакану, хотя я налил и ему. И, лишь увидев, что вина в кувшине осталось совсем немного, он потянулся за своим стаканом и осушил его. Я снова наполнил его стакан, слушая рассказ дедушки. Через некоторое время кувшин был пуст.

— Где ключ от погреба? — спросил я. Бабушка, стоявшая у печки, встрепенулась, достала из кармана ключ и протянула его мне.

— Уж больно понравилось вино,— сказал я,— готов выпить еще литр.

— Точно, точно, еще литр,— подхватил дедушка.

Мать украдкой устало улыбнулась мне, словно опасаясь, что муж заметит ее улыбку. Спускаясь в погреб по прогнившим ступенькам лестницы, я думал о матери, и в голову мне пришло неприятное и унизительное сравнение. Я долго не мог выбросить его из головы. Воздух в погребе был спертый, стены трухлявые, на бревнах наросла плесень, от бочек веяло сыростью.

Почему же, глядя на мать, я вспомнил Еву? Ведь в глубине души я тоже чувствовал к матери сыновнюю любовь, выше которой нет ничего на свете. Отчего же воспоминание о Еве покрыло эту любовь налетом, как плесень — прогнившие бревна погреба?

Мне стало бесконечно жаль мать.

Наполнив кувшин, я вернулся в комнату и налил вино в стаканы. Мы закурили, выпили, и у меня поднялось настроение. Отчим попробовал еще раз испортить его — а может быть, это уже было его привычкой,— он сказал:

— Хочу помыть ноги. Вода есть?

При этом посмотрел на меня, будто хотел спросить: «Ну, что ты скажешь на это?» Я сначала взглянул на мать, затем на бабушку. Еще раз наполнил стаканы и чокнулся с матерью. Цанко встал, взял ведро и вышел за водой.

Я продолжал сидеть за столом лишь потому, что мне хотелось дождаться, пока отчим уляжется в постель. Сон и хмель валили меня с ног. Я уже не мог разобрать, о чем говорил дедушка, язык заплетался у него во рту.

Когда Цанко вымыл ноги и пошел спать, я тоже забрал свой пиджак и пошел в летнюю кухню.

— Хороший был ужин,— сказал я бабушке и поцеловал ее в щеку.

Мать, наверно, тоже ждала, что я пожелаю ей доброй ночи. Но между нами словно выросла фигура Цанко, и я не мог подойти к ней.

Я не думал, что Цанко зол от природы. Каждый человек, даже самый образованный, с самыми твердыми убеждениями, борется за свои собственные интересы. Почему же Цанко должен быть исключением?

Я уже лежал на кушетке и докуривал последнюю папиросу, когда дверь в кухню открылась и вошла мать. Она присела на край кушетки и время от времени повторяла:

— Сынок, сынок...

Я не смотрел на нее, но чувствовал, что она качает головой, повязанной платком. Ничего не ответил ей, ни о чем не спросил. Она заплакала. Я отвернулся к стенке и притворился спящим. Вскоре я действительно уснул тяжелым хмельным сном.

Не знаю, сколько времени мать еще сидела на краю кушетки.

3

Я решил купить в лавке рыболовные снасти, чтобы как-нибудь убить вторую половину дня. Облюбовав белую нейлоновую леску, я попросил отмерить двадцать пять метров. Затем подобрал целый комплект крючков. Когда я попросил еще самый большой крючок, заведующий лавкой Лаци Лукач удивился.

— А вдруг захочу поймать щуку,— сказал я.

Кроме меня в лавке было человек пять — ждали, когда привезут жиры. Когда я входил в лавку, Лукач говорил им, что машина вот-вот должна подойти.

Вернее, жиров ожидали четыре женщины, а пятая, жена Меньюша Петё, покупала пять кило рафии — больше продавец и не отпустил бы — и медный купорос. Она стояла в сторонке от четырех женщин, которые уже были членами кооператива. Было похоже, что эти четверо не принимают ее в свой круг. На жену Петё, дочь Ботоша, я взглянул лишь украдкой: до сих пор сгорал от стыда при мысли о проклятых индюшатах. По лицу Лукача, который был моим сверстником, я заметил, что он хочет заговорить со мной, но сделал вид, будто интересуюсь только покупкой. Мне хотелось поскорее уйти из лавки.

В это время к магазину подъехала машина, и не успел я расплатиться, как Лаци Лукач выбежал принимать товар.

— Упустил девку, вот и присмирел,— сказала одна из четырех — Жиндеине, родившая кучу детей. Сначала я не понял, что речь идет обо мне. Обернувшись, я заметил, что все пятеро смотрят на меня.— Не следовало бы тебе так высоко задирать нос,— теперь уже прямо в глаза сказала мне Жиндеине.

— С чего вы это взяли? — спросил я.

— Лаци не хуже тебя.

— Конечно не хуже.

— Отчего же ты не разговариваешь с ним? — проговорила женщина с расплывшейся фигурой.

— Неохота,— ответил я,— а захочу, так и с вами, Жиндеине, потолкую с удовольствием, уж поверьте мне.

— Со мною тебе, сынок, толковать не о чем,— сразу нашлась Жиндеине, и все рассмеялись.— Разве что с дочерью Ботоша — с женой Меньюша Петё...

Я взглянул на дочь Ботоша. Она холодно и надменно смотрела на меня, не сводя глаз.

— Соплив я еще для этого,— сказал я.

— Точно,— откликнулась дочь Ботоша.— Даже очень соплив.

— А я думала, — подмигнула Жиндеине,— ты за этим и приехал...

— Зачем?

— Чтобы поговорить с ней.

— С женой Петё?

— И с нею, и с ее мужем, и с отцом,— продолжала Жиндеине.

Несколько секунд я в недоумении смотрел на четырех женщин, лицо мое залила краска. В третий раз я напал на след, над которым недоумевал в самом начале. «Ждали, значит», — зазвучал в ушах голос Шани Балинта. «Герге! — сказала в тот вечер Эсти.— Вот видишь, я знала!» Я подошел вплотную к Жиндеине. Лаци Лукач как раз появился в дверях лавки.

— И с Лукачем тоже? — спросил я.

— Иди, чего ты пристал ко мне,— сказала Жиндеине,— будто и не знаешь! — засмеялась она. Затем наклонилась к моему уху и прошеп-

тала: — Отец Лаци уже год как у нас. В кооперативе... С Лаци тебе о другом надо поговорить... Об Эсти!

Я повернулся к прилавку и спросил:

— Сколько с меня?

— Успеешь, старина,-- ответил Лаци.

— Я хочу рассчитаться сейчас.

— Да ты не в духе, брат! Дай хоть товар принять. Не можешь подождать?

— Нет.

— Ну что ж, с тебя шестнадцать семьдесят.

Я положил деньги на прилавок, сунул снасти в карман и направился к двери. На ходу я бросил в сторону женщин:

— Сплетницы.

И вышел на залитую солнцем улицу. Я был зол на всех и чувствовал себя словно попал в окружение. На тех, к кому мне следовало бы примкнуть, был зол потому, что они полагали, будто знают меня лучше, чем я сам. На других, таких, как Имре Цанко,— за их холодность и беспощадность. А не лучше ли уйти от всего этого? Прогуляться немного, посидеть на берегу реки, подышать воздухом, понаблюдать за игрой поплавка и забыть обо всем на свете?

Легкий ветерок охладил меня. Тихо брел я по тропинке к реке. Вдали синела вершина Токайской горы. Она казалась такой далекой, словно до нее никогда нельзя было добраться. По одну сторону дороги земля была уже вспахана, на ближайших участках — лошадьми, а подальше, на месте бывшего имения Рабаи — тракторами.

Я остановился у куста орешника, чтобы срезать себе удилище. Нож у меня был тупой, и пришлось немало повозиться, пока удалось срезать два подходящих удилища. Очищая их, я поглядывал на холм, склоны которого покрывали виноградники. Это был богатый, огромный участок. Сколько семей копошится сейчас на склонах этого холма? Бегают за купоросом, выпрашивают взаймы опрыскиватель или несут его к жестянщику починить, клянчат бочки и чаны, которые, как всегда, вовремя не готовы, неделями ждут пресс, да и то неизвестно, что еще скажет Ботош, когда подойдет очередь. Ведь он, самый сговорчивый, за сутки берет десять литров вина. А вот двое других виноградарей, у которых есть пресс, дают его в долг за отработки. Пять дней окучивать, десять дней подвязывать лозы, три дня работать в жаркую пору уборки, и кто знает, сколько дней еще опрыскивать? За один только пресс люди обрабатывают им весь виноградник. А хозяин покуривает себе трубку, сидя под вишней, да ждет урожая. Таковы старый Иллеш — «американец» и его приятель с шишковатым лбом — Вероньяк.

Зачем человек обременяет себя лишними заботами? Почему нужно принуждать его видеть собственную выгоду? Откуда это глупое упрямство?

Я аккуратно обрезал концы удилищ и хотел было положить их на плечо, как заметил, что передо мной стоит дочь Ботоша. Ее глаза презрительно улыбались.

— Ну?— сказала она.

Я видел, как бьется жилка на ее шее. Значит, и она волнуется. Однако она умеет владеть собой. На ее лице никогда ничего не прочтешь. Но что ей нужно было от меня?

— Ну что ж, поговори со мной,— сказала она.

— С тобой?

— Поговори, говорун,— и рассмеялась каким-то странным, гортанным смехом.

— Оставь меня в покое.

— А я жду этого интересного разговора,— продолжала она.

Я крепко сжимал удилище и дрожал от негодования.

— Оставь меня,— повторил я.

— Ага!— засмеялась она.— Или ты сперва решил и мне ноги переломать? Как индюшатам?

— Пошла прочь!

Она пошла. Я поднял удочки на плечо. Ноги с крупными икрами легко несли ее. На них отчетливо играли мускулы. Красивые черные волосы были распущены и спускались ниже пояса. Она принужденно рассмеялась, и в ее смехе чувствовался страх. На ходу она выкрикнула:

— Эх ты, агитатор, агитатор!

Ее странный и насмешливый голос еще долго звенел у меня в ушах и терзал меня в моем бездействии.

Видел ли я, как играет на воде поплавок? Я смотрел на поплавок, но, казалось, не замечал его. Над водной гладью веял легкий ветерок, покрывая ее рябью. Время от времени я вытаскивал леску из воды и, когда на крючке не было приманки, насаживал новую. Но страстное желание поймать что-нибудь так и не проснулось во мне. Иногда волны прибивали леску к берегу, и крючок за что-то цеплялся. Мне казалось, что это клюет рыба, и я дергал удочку. А вытащив на крючке хвост коричневой тины, на миг забывал все свои невзгоды и искренне огорчался.

Позади меня на зеленый коврик весенней травы тихо уселась Эсти. Я и не заметил, как она пришла. Бывают минуты, когда человек хочет, чтобы рядом с ним был тихий безмолвный друг, а если его нет, то он приходит к нему в его воображении. Я, конечно, менее всего хотел присутствия надоедливой Эсти. Ведь для меня она продолжала оставаться все той же маленькой прилипчивой девчонкой с пухлым ртом, от которой в детстве я так и не смог отделаться. И вот она сидит здесь, на берегу реки, зажав меж колен кувшин для воды, сидит и ждет меня.

— Ты что, за водой пришла?— спросил я.

— За водой.

— Зачем она тебе?

— Голову хочу помыть.

Я снова забросил удочку и уселся у самой воды. Уставившись на поплавок, я вдруг ощутил желание снова очутиться в городе и стоять где-нибудь в очереди за билетами в кино.

Помолчав, Эсти проговорила:

— Хочу вымыть голову в речной воде.

— Что ж, это хорошо,— сказал я,— речная вода мягкая.

— Да, мягкая.

В эту минуту я почувствовал полное безразличие ко всему на свете, будто человек, сидевший у меня за спиной, снял с меня все бремя тревог, вызванных дочерью Ботоша. Далеким, как сон, показался и разговор с Жиндеине.

— Перед дорогой нужно вымыть голову,— сказала Эсти.

Я долго молчал, потом спросил:

— Перед какой дорогой?

— Завтра едем на помолвку.

Я кивнул головой и достал сигарету. Собственно говоря, я как будто в отпуске, думал я, дни идут, а я ничего не делаю, затем вдруг подойдет время, и я опять возьмусь за работу. И если бы я не чувствовал за всем этим горечь принуждения, все было бы прекрасно. В кармане у меня было три тысячи форинтов, с такими деньгами мне не нужно было ломать себе

голову: на питание и на вино хватит. Как бы мне хотелось чувствовать себя хорошо!

— Я не придавала этому значения,— сказала Эсти,— Лаци Лукач тоже, но мама хочет, чтобы мы венчались у священника, как заведено.

— Зачем же противиться родителям?— спросил я.

— Вот именно, зачем?

— Ну что ж, иди набери воды.

Эсти, словно по моему приказу, встала, оправила юбку и подошла к самой воде. Она стояла, высматривая местечко, где удобнее зачерпнуть воду. Отсюда, сбоку, ее лицо казалось необычно маленьким. Глаза, как и в детстве, были влажными и большими, словно у теленочка. Она, наверно, ждала, что я помогу ей зачерпнуть воды, но я в это время был занят рыбой, которая вдруг угодила на крючок. Рыбка оказалась крошечной. Таких рыбок, как у нас говорят, двенадцать штук одной кошке и то мало, чтобы наесться досыта. Рыбешка блеснула на солнце серебром и упала к моим ногам.

Низко нагнувшись, Эсти зачерпнула кувшином воду. Выпрямилась и, не дождавшись, когда я посмотрю в ее сторону, пошла вверх по склону. И уже на ходу окликнула:

— Герге...

— Что?

— Отец спрашивал, когда ты зайдешь к нам?

— Отец?

Она обернулась, ожидая моего ответа.

— С какой стати я должен заходить к твоему отцу?

— Ведь это он просил, чтобы тебя направили сюда на работу.

Я взглянул на нее. Затем положил рядом удочку и подошел к ней поближе.

— Он просил?!

— В парторганизации как-то шел разговор о том, чтобы пригласить агитаторов из города и из хороших кооперативов, в помощь нам. Тогда я и сказала отцу: зачем же приглашать чужих, если есть Герге... Вот парторганизация и написала письмо на твой завод...

Я был ошеломлен.

— Написали?— заикаясь, повторил я.

— А ты разве не поэтому приехал? — взглянув на меня, спросила Эсти.

Старая боль вновь обожгла меня. На глаза навернулись слезы, и я вспомнил разговор с директором.

— Ты не подумай, что папа торопит,— продолжала Эсти,— из «Красной звезды» агитаторы прибудут только на следующей неделе. А ты ведь не гость.

Я вздрогнул.

— Разве нет?

Мой взгляд, должно быть, не сулил ничего хорошего. На лице Эсти я заметил испуг.

— Так когда же зайдешь, Герге?

— Словом, все это ты подстроила?— спросил я.

Она насторожилась. Я видел, что и сейчас она готова защитить меня от невидимого врага.

— Герге!

— А я-то думал, что такая мысль родилась в голове идиота. Мне только этого и не хватало! Я, видите ли, не соображал, что мне надо. Прямо-таки места себе не находил, оттого что мне не хватало... этой грязищи... этой глуши... этого песка... и керосиновой лампы! — кричал я на

Эсти.— Что ж, я действительно был крестьянином. Мне по душе этот запах. Отчего бы мне и не просветить серых крестьян. Ведь здесь все такие слабенькие. А в городе есть этот дурак Герге. Сорвем-ка его с места, он как раз нам нужен. Он еще ничего путного не сделал, а уже сбежал в город, так пусть вернется и потрудится в селе. Пусть возьмет крестьян в ежовые рукавицы, пусть скажет: «Эй, вы, голытьба, у вас в сарае только кукурузные кочерыжки, а в кооперативе будет и люцерна, и овес, и отруби... Здешние не смеют сказать вам этого, ибо, ибо...» Стоит ли здешнему портить отношения с односельчанами? Пусть уж это сделает тот, кто пришел издалека. Пусть поработает! Если сможет!— и я еще раз повторил:— Если сможет!

Эсти совсем перетрусила.

— Герге!— промолвила она.

— Видеть тебя не хочу!

Но она продолжала стоять передо мной, не смея пошевелиться, будто опасаясь, что, если она сделает движение, я ударю ее сзади.

Грустным взглядом она окинула меня с ног до головы. Такого взгляда я никогда не видел. Выражал ли он сожаление? Не знаю. Она будто заглянула в самую глубину моей души. Эсти выплеснула из кувшина немного воды и начала подниматься по склону. Только на самой вершине она оглянулась.

Я отвернулся и бросился на траву.

Почему мы причиняем боль своим же друзьям? Почему я даю ей пощечину всякий раз, как только встречаюсь с ней?

Меня разбирало любопытство: а что бы я сказал, если бы со мной захотели поговорить по душам? Если бы мне сказали: «Видите ли, товарищ Коош, это очень ответственная работа, и партия поручает ее в первую очередь тем, на кого можно положиться, тем, кто полностью согласен с ее целями и кто с первой минуты был готов бороться за достижение этих целей. Ведь мы боремся за правое дело. Не может быть никакого сомнения в том, что речь идет о правом и крайне необходимом деле. И за него не полагается никакой награды. Более того, борьба за это дело связана с трудностями, неприятностями и неприязнью со стороны крестьян. Так ответьте нам: кто может сказать, что охотно берется за это? Ответьте».

Все взвесив, я заставил себя дать ответ собственной совести.

Сейчас, когда Эсти была уже далеко и меня никто не видел, я ощутил даже некоторую гордость и улыбнулся облакам. Ведь не я один уехал из нашей деревни в город. Многие стали рабочими, учителями, даже врачами. А выбор пал, возможно, только на меня одного.

Но зачем мне оказали эту честь, отвесив вместе с ней пощечину? От нее у меня голова пошла кругом. Не лучше ли все это бросить, и пусть оно идет своим чередом?

Я был один, никто не мог мне возразить. С облегчением я смотал длинную нейлоновую леску и сунул ее вместе с крючками в карман. Смеркалось. Единственную рыбешку, которую мне удалось поймать, я выбросил в реку — пусть живет. Опираясь на удилище, медленно выбрался на берег.

От голода в животе урчало. Хотелось съесть огромную краюху хлеба с колбасой или салом, чтобы унять голод.

Размашистой походкой я удалялся от берега.

Имело ли смысл затевать с тобой весь этот разговор, если бы я не рассказал тебе, как очутился на самом дне пропасти, пытаясь отречься от самого себя? Ты знаешь, как я жил прежде, поэтому совершенно излишне что-то приукрашивать в моей жизни здесь, в деревне.

Лучше расскажу, что случилось со мной, когда я возвращался с рыбалки. Почти у самой реки я сломал удилище и брел теперь по пыльной дороге, размахивая руками. Я думал о том, как было бы хорошо, если бы я наловил много рыбы, нанизал ее на прут и нес домой; у бабушки появилась бы работа, и она по привычке начала бы ворчать на меня за то, что я прибавил ей хлопот, но затем все-таки положила бы маленьких щурят и окуней на залитую маслом сковороду и стала жарить их, пока они не зарумянились бы и не захрустели на зубах. А я, утолив рыбой голод и выпив несколько стаканчиков вина, пошел бы спать.

Но я возвращался с пустыми руками.

Подходя к повороту дороги, откуда сквозь голые ветви деревьев уже виднелся дом старого Ботоша, я заметил у его ворот группу людей. Но уже в следующее мгновение люди исчезли, и от дома Ботоша шагал один лишь мужчина, похожий на Имре Цанко. Никого больше на дороге не было, и я готов был подумать, что люди мне только почудились.

Мне захотелось посвистеть. Я сломал сухую яблоневую ветку и, размахивая ею, стал сбивать верхушки придорожных сорняков. Так и подошел к дому Шаму Ботоша. Я уже знал, что все хозяйство Ботош переписал на своего зятя Меньюша Петё. Но славу старого хозяина не так-то легко затмить новому, особенно если старый был таким человеком, как Шамуэль Ботош. Всю свою жизнь он был беспокойным хозяином. В девять лет начал работать свинопасом в имении Рабаи. В школу он не ходил, в солдатах научился читать и писать, чтобы из далекой чужой стороны написать письмо жене, которую любил больше жизни. Поговаривали, что это она, Мари Фазекаш, сделала его человеком. Во всяком случае, все видели, что, пока он не привел эту женщину к себе в дом, он был почти нищим, а с ней дела у него пошли в гору. За два года они купили землю, старый Ботош принялся лечить скотину, а на десятом году у них было уже три хольда виноградника. На краю этого участка они со временем отстроили себе красивый дом, купили разную утварь и инвентарь — авторитет их был признан в самых дальних уголках села. Но вот уже давно его жена не поднималась с постели, врачи вырезали ей матку, люди начали поговаривать, что она больна раком. В конце виноградника, на свободном клочке земли семья Ботоша пробовала высаживать новые культуры — табак, перечную мяту, наперстянку,— и все ей удавалось. Как-то они выкорчевали весь старый виноградник и засадили участок самым лучшим сортом — харшлевелю. Проделали огромную работу, однако, несмотря на то что нового винограда пришлось ждать долго, они все же не бедствовали. Развели индюшек, начали выращивать малину, землянику и летом каждый день носили продавать ягоды на базар. Все знали, что в усадьбе Ботоша живет настойчивый и умный хозяин.

Напротив их двора у подножья холма раскинулся сельскохозяйственный кооператив. Некоторое время в кооперативе не было общего двора, и скот содержался в личном хозяйстве, сообща проводили лишь трудоемкие работы, а более легкие каждый выполнял самостоятельно. Урожай и тот убирали врозь. Кооператив этот вовсе не был примерным коллективным хозяйством, вступившие в него перебивались кое-как из года в год и скрепя сердце терпели своего председателя Михая Цифру. Может, и сам Цифра не так уж старался, как следовало бы. Однако осенью прошлого года парторганизация начала вникать в нужды кооператива, а нынешней весной уже принялись за строительство скотного двора из материалов разобранной усадьбы Рабаи.

Когда я подошел к дому Ботоша, старик стоял у ворот и, покуривая свою трубку, наблюдал за строительством скотного двора. Я поздоровался с ним, он весело посмотрел на меня и спросил:

— Ну как дела, стручок?

— Так себе, дядя Шаму,— ответил я.

Я пошел дальше, заметив мельком дочь Ботоша, которая пересекала двор. Но не успел я сделать и нескольких шагов, как из-за кустов с садовыми ножницами в руках вышел Меньюш и загородил мне дорогу.

— Нет ли у тебя спичек?— спросил он.— Сигарета погасла.

— Подожди,— ответил я и начал шарить у себя в кармане. Я достал спички и дал Меньюшу прикурить.

— Уже три дня как дома,— проговорил он,— а к нам и носа не кажешь.

— Яблоки-то еще не поспели,— пошутил я.

Меньюш рассмеялся, его широкий курносый нос совсем расплылся по лицу.

— Если бы не жена,— сказал он,— пригласил бы тебя на стаканчик вина. Хороший ты парень.

Я посмотрел во двор, и на душе стало необычайно легко.

— Может, перелезем через изгородь,— предложил я.— И проберемся к погребу с тыла.

— А и то верно,— засмеялся он и взял меня за руку, помогая перелезть через изгородь из гледичии.

Я смотрел во двор и совсем успокоился, не заметив там ни души. «Мне просто везет,— подумал я,— эта глазастая дочь Ботоша не высовывает нос из дома». В то же время я удивился тому, как Меньюш Петё уверенно шагал к погребу, даже не оглядываясь на двор, откуда его могла заметить жена.

— У вас не был сейчас Имре Цанко?— спросил я.

Меньюш взглянул на меня и пожал плечами:

— Он редко у нас бывает.

— Это был не он?

— Сегодня я его не видел,— ответил Меньюш.

Дверь в сарай, над которым находился погреб, была открыта, к стене прислонен самодельный столик, на котором стоял кувшин с харшлевелю и два стакана. Казалось, все было заранее приготовлено. Словно ждали кого-то. Вдруг мне послышалось, будто в погребе кто-то разговаривает. Меньюш кашлянул, стало тихо, а мне уже показалось невероятным, чтобы в погребе кто-то мог быть. Со старым Ботошем я только что встретился у ворот, дочь его была в доме.

Разве что младший брат Меньюша, Болди Петё? Но с ним я повстречался, когда шел в лавку за крючками. Он вез удобрения для виноградника. Болди сказал, что отвезет удобрение, разбросает его да нароет лунок. Это займет немало времени, даже если бы ему помогали жена Меньюша или старик Петё. Больная раком тетушка Мари никак не могла оказаться в темном сыром погребе. Она-то и в кровати с трудом поворачивается на другой бок и едва справляет свою нужду.

Меньюш вытер пальцами свой вздернутый нос, подмигнул и сказал:

— Ну что ж, выпьем?

— Выпьем.

— За твое здоровье.

— За твое здоровье.

Я выглянул из-под навеса: дядя Шаму все еще стоял у ворот и курил, пуская вверх клубы дыма и задумчиво наблюдая за ними, будто вспоминая прошлое, золотые дни минувшей юности.

— Можно бы и дядю Шаму пригласить,— сказал я.

— Он свое и без нас выпьет,— сказал Меньюш.

— Хорошее вино харшлевелю,— сказал я, поставив на стол пустой стакан.

— Хорошее.

Меньюш опять наполнил стаканы и подмигнул. Он подождал, когда я поднесу стакан ко рту, затем поднял свой и выплеснул вино через плечо. Я улыбнулся ему своей обычной улыбкой.

— Не нравится мне,— сказал я,— когда хорошее вино переводят.

Он тоже улыбнулся и проговорил:

— Мошки попали в стакан.

— Без них вина не надавишь.

— А я не люблю.

Кто-то снаружи захлопнул дверь погреба. Сразу стало темно. Загремел засов.

— А это вы здорово придумали,— сказал я.

— Ерунда, сейчас зажжем лампу — и все,— сказал Меньюш.

— И то хорошо.

Я сел на стул, он шарил в кармане, искал спички, затем засветил огонек. Над столом висел фонарь. Меньюш зажег фитиль и опустил стеклянный колпак. Он подождал, пока нагреется стекло, и вывернул фитиль. Стекло было так начищено, словно его натирали содой, фонарь ярко светил над столом. Меньюш снова сел и наполнил стаканы.

— Ненавидите меня?— спросил я.

— Просто не хотим видеть,— ответил он.

— Зови остальных из подвала,— сказал я.

Он посмотрел на меня холодным свирепым взглядом, было видно, как бились жилки у него на висках. Все же он встал, сопя сошел по ступенькам и крикнул в погреб:

— Выходите!..

Младший брат Меньюша — Болди все-таки был уже здесь, за ним вышел сын Эшковача и Вероньяк с шишковатым лбом. Они вышли молча и встали вокруг стола. Я внимательно осмотрел их с головы до ног. Болди держал в руке плеть, которой погонял быков, когда вез удобрение на виноградник. Эшковач принял вызывающую позу. Презрительно выпятив нижнюю губу, он смотрел на меня так, словно перед ним была дохлая хищная птица пустельга. Вероньяк испуганно моргал глазами,— видно, чувствовал себя неловко — и переминался с ноги на ногу.

— Плохо вы поступаете,— сказал я ему.

Он ничего не ответил, лишь на его шишковатом лбу собрались морщины.

— Кому-кому, а вам следовало бы уже знать,— сказал я,— что против ветра не помочишься.

Вероньяк в отчаянии посмотрел на своих приятелей, его пышные усы задергались. Он вот-вот готов был расплакаться, выдавая свое безволие и слабость, и эта физическая слабость сочеталась у него с внутренним бессилием. Я сунул руку в карман, мне хотелось курить. Но этот жест до смерти напугал Вероньяка, он вскрикнул:

— У него оружие...

Все невольно отпрянули, а я спокойно достал из кармана пачку сигарет и спички. Ничего другого у меня там не было. Оружие я держал в руках только в армии, да и то не каждые сутки, а лишь когда заступал в наряд. Я сунул в рот сигарету, но не прикурил — волновался. Вместо этого я поднял стакан, наполненный вином.

— За ваше здоровье,— сказал я.

Ответил только Меньюш Петё:

— За твое здоровье.

Мы выпили.

— Уезжай обратно в город, Герге,— начал Меньюш.

Я посмотрел на него. В глазах у меня зарябило, может быть, от дыма. Я опустил голову и долго вертел сигарету в руках.

— Я бы уехал, Меньюш,— ответил я.

— Не нужно было тебе вообще приезжать домой.

— А я и не хотел...

Меньюш снова наполнил стаканы. Зашевелились и трое остальных, закурили, стали искать, на что присесть. Вероньяк сел на старую корзину, Эшковач — на край бочки, а Болди — на корточки.

Выпили. Меньюш по очереди наполнял стаканы. Вина в кувшине основательно поубавилось.

— У нас шесть хольдов виноградника,— снова заговорил Меньюш.— Работаем до седьмого пота, но живем хорошо, жаловаться нечего...— Он достал из кармана бумажник и похлопал по нему рукой. — Вот посмотри, сколько в нем денег. Одни сотенные, и сколько... Сроду у меня не шло дело так хорошо, Герге. Все делаю своими руками, значит, имею право хорошо жить. Шани Балинт хотел разжечь пожар в Гоноскатью, Герге. Нам нужно было показать, что мы в силах погасить этот пожар...

Я и раньше подозревал, что именно они спустили дядю Шани в колодец. Кто же, если не они? Только там, у колодца, их было пятеро, а здесь пятый я. Кто же был пятым?

— Нет никакой выгоды, Герге. Вот Цифра да Жиндеи пять лет бьются в кооперативе, а чего добились? Цифра кормит семью вареной рыбой. Сейчас вот отец Лаци Лукача стал председателем, Шани Балинт — парторгом, а где гарантии, что будет лучше? Все говорят: будет. Да вот что-то не видно. Не много мы хорошего видели, Герге. Словом, мы хотим жить так, как живем. Оставьте нас в покое.

— Я и не собираюсь вам мешать.

— Конечно, нас никто не обижает, но мы опасаемся, что все же придется вступать. Понял?

— Я не хочу вам мешать.

— Позвали и других к нам,— сказал Меньюш.— Из Ньирмезё пригласили, из «Красной звезды». Говорят, «Красная звезда»— хороший кооператив. Из реки воду пустили на поля. Я еще не видел. И не верю. Оттуда и придут убеждать нас, уговаривать. Если ко мне придут, Герге, я не скажу ни слова. Буду нем. Всех в колодце не искупаешь. Да еще милиция придет, тогда как быть?

— Тогда как быть? Как быть?— повторил Вероньяк.

— Эту плеть для тебя приготовили,— сказал Болди.

Я взглянул на него и снова улыбнулся.

— О, боже мой, боже мой,— пролепетал Вероньяк.

Эшковач сплюнул перед собой и бросил на меня взгляд, полный презрения.

— Мы не сдвинемся с земли, Герге,—сказал Меньюш.—Те, что придут к нам из Ньирмезё, не наши, их мы не тронем. Но с вами мы можем кое-что сделать.

— Мне нет до вас никакого дела,— сказал я.

— А ведь ты коммунист,— проговорил Эшковач.

— Я тоже слышал, что коммунист,— сказал Болди.

— Слышал?

— Слышали.

Плеть закачалась в руке Болди. Я взглянул на дверь, затем на Меньюша. Все в напряженном ожидании уставились на меня. Воздух ка-

зался мне плотным и удушливым. Кровь с силой стучала в висках. Тихо и униженно я проговорил:

— А вы и поверили этому?

— Я не поверил,— сказал Меньюш.

— Ну вот, видите...

Нечто похожее на глубокий вздох вырвалось у этих людей из груди.

Я взглянул на них и ощутил приступ отвращения.

Одно только слово жгло мозг: «Сумасшедший!» Затем я подумал о том, какой же я все-таки мерзавец. Вспомнилось детство, и ясно-ясно представилось, как навстречу мне идет дочь Ботоша и, поравнявшись со мной, говорит: «Это сделала не Эсти».

Огромная, тошнотворная волна захлестнула меня с головой.

А в голове одна мысль: «До чего же я мерзок!»

Я с трудом подавил в себе неприятное чувство тошноты. Во рту пересохло.

Ни о чем другом я не мог думать, только о том, какой я мерзавец.

Глаза мои уставились в одну точку — на презрительно оттопыренную нижнюю губу Эшковача. Я смотрел на нее, и тошнота снова подкатывала к горлу. Я чувствовал, что уже не могу больше бороться с ней, и встал со стула. Мне надо было двигаться быстро и решительно, но тело уже не слушалось. А ведь стоило только выбросить вперед руку, и можно было разбить эту презрительно выпяченную губу. Нет, это была уже не человеческая губа, а какой-то клюв, безобразный клюв индюка. И над этим клювом нахальные и самодовольные глаза. Шатаясь, я отступил в угол и старался напрячь все свои силы. «Нужно думать о чем-нибудь одном, и тогда все будет в порядке,— размышлял я.— Только бы взять себя в руки. Ничего другого не допускать, только взять себя в руки. Сосредоточиться и собраться с силами».

Я выпрямился. От приступа тошноты губы слегка дрожали. Я повернулся:

— И дверь заперли,— сказал я.

— Стукни три раза ногой — откроют,— сказал Меньюш.

— Откроют?

— Да.

— И за то спасибо,— сказал я.— Не слишком ли много вас на одного... Некрасиво. Подло...

Они смущенно переглянулись.

— А он вот еще и не поверил!— сказал я, глядя на Меньюша.

Все молчали.

— Не поверил?

— Нет,— сказал он.

— Ну что ж, еще поверишь!

Я ждал. И смотрел на всех четверых. Вероньяк дрожал, поглаживая шишковатый лоб, Эшковач подобрал отвисшую губу. Я трижды стукнул каблуком в дверь. не сводя взгляда с людей, молча стоявших в нерешительности. Слишком неожиданным и крутым был поворот.

Снаружи загремел засов. Едва почувствовав, что дверь открыта, я нажал на нее спиной. Створка двери приоткрылась, но я продолжал стоять на пороге.

— Хорошее у тебя вино, Меньюш,— сказал я.

Он кивнул головой.

— Спасибо за угощенье.

За моей спиной с трубкой в зубах уже стоял дядя Шаму Ботош. Он положил руку на мое плечо и, выдыхая мне в ухо табачную вонь, спросил:

— Ну как, стручок?

Я посмотрел на него, отстранил рукой и, не попрощавшись, пошел через двор. В дверях кухни стояла дочь Ботоша, провожая меня любопытным взглядом. С ней я тоже не попрощался и спокойно вышел из ворот, словно только что был здесь в гостях. С улицы я заметил, что в погребе по-прежнему горел свет.

Только ты мог понять, в какую ужасную пропасть я попал. Я откровенно расскажу тебе правду об одном моем старом приятеле, вместе с которым работал. Приятель этот оказался самым настоящим карьеристом. В дни мятежа 1956 года он не брезговал никакими средствами, чтобы продвинуться вверх,— ораторствовал, горлопанил, подстрекал и действовал. А после переломных событий четвертого ноября он в течение тридцати минут сделал поворот на сто восемьдесят градусов и перекрасился без зазрения совести. Мне и раньше казалось, что верить ему опасно, но такого и я от него не ожидал. Этот приятель старательно уклоняется от встреч со мной и, думаю, даже обижается на меня. Но, быть может, просто у него нет сил посмотреть фактам в лицо.

Теперь я оказался наедине с собственной совестью.

Я остановился на дороге и ждал, когда вслед за мной выйдет кто-нибудь из компании Меньюша. Физически я протестовал против драки, но в душе желал ее. Я был достоин наказания. Легче, когда другие выносят о нас суждение, нежели самим отчитываться в случившемся. Если судят другие, то приговор бывает быстрым, жестоким, может даже беспощадным, но за ним сразу наступает конец. Если же все нужно приводить в порядок самим, то на протяжении нескольких недель мы ощущаем беспокойство. Вот и теперь я ждал, думал, что меня будут преследовать и я получу должное, но из ворот дома Ботоша никто не выходил, лишь призрачный свет озарял вход в погреб, напоминая чем-то пустую тыкву с зажженной в ней свечой. Со стороны реки доносился весенний хор лягушек.

Медленно я пошел к дому, хотя идти туда мне совсем не хотелось. Внезапно меня охватило страстное желание поговорить с дядей Шани Балинтом или, может, с отцом Лаци Лукача, но для этого нужно было иметь силу воли и чистую совесть. Я шел медленно. Вообще не хотелось копаться в своей душе. Первую волну кризиса я миновал, еще в погребе меня поразила мысль о том, в какое безумие я впал, и хотелось верить, что потом я все же взял себя в руки и нашел правильный путь. Но я знал, что душевного покоя теперь не обрету. Как было бы хорошо сейчас, если бы меня тревожили только заботы, подобные тем, которые я испытывал несколько дней тому назад, когда садился в поезд, отправляясь в родное село.

Скажу откровенно, я не хотел вспоминать о случившемся и принуждал себя думать о другом.

Я пытался вспомнить прежние разговоры, хотелось до конца продумать все, что произошло у Евы, и вообще думать о чем угодно, лишь бы это было прошлое, лишь бы забыть о настоящем. А еще лучше было бы думать о том, что не касалось лично меня.

Я еще раз оглянулся на двор Ботоша.

«Ну как дела, стручок?» — спросил меня старый Ботош. С каким простым, добродушным лицом сказал он это, хотя уже тогда знал, что тут же запрет меня в погребе. Можно ли вообще заглянуть в душу дяди Шаму?

В детстве я любил бывать у него. А когда он приходил к нам охолостить поросенка, то часами просиживал со мной. Мы садились в сарае,

дядя Шаму, как правило, был уже навеселе. Он доставал из внутреннего кармана жилетки свою жалейку и начинал наигрывать.

— Разучи-ка, стручок, эту песенку! — говорил дядя Шаму.

Он наигрывал мелодию, а я подпевал:

Девушка-девица травку косит,
Ветер-бесстыдник юбку заносит,
Эй, ты, ветрило, стой, не балуй,
Если уж дуть,
То как следует дуй...

Затем следовала другая песенка:

Зимняя кукушка,
Тетя с бородою,
С бородой такою —
Не закрыть полою...

Услышав ее в первый раз, я взглянул на дядю Шаму.

— У тети не бывает бороды,— сказал я.

Старый Ботош покатывался со смеху. Он захлебывался от хохота, похлопывая меня по спине. Потом за ним пришла тетушка Мари, болевшая сейчас раком, и начала стыдить.

— Ботош,— говорила она,— и до каких пор ты будешь валять дурака?

— Послушай ты, женушка,— говорил сквозь смех дядя Шаму,— этот стручок сказал, будто у тетушек не бывает бороды. Ты слышала такое, скажи на милость?

— Вот дитя-то,— вздохнула тетушка Мари и в замешательстве ушла. Много прошло времени, пока я понял, что старый Ботош был действительно ребенком, его сердце было вечно молодым, и он не знал грани между дозволенным и запретным. Он скрашивал людям серые сельские будни везде, где бы ни появлялся.

— Ну как дела, стручок?

Может ли прежний чародей заманить меня в ловушку, толкнуть в капкан?

Там, в погребе, меня поймали в капкан. И теперь его острые зубья глубоко ранили мою совесть. Я отрекся. Отрекся от своей веры. И перед кем? Просто перед знакомыми, перед односельчанами, которые совсем и не враги мне, которых просто гонит страх, и они не знают сами, что делают.

А как бы я поступил, столкнувшись лицом к лицу с врагами?

А может, это и есть враги?

Можно ли представить, что Меньюш Петё мой враг? Или дядя Шаму Ботош? Или хотя бы его дочь?

«Неважно, каким образом, под каким предлогом,— думал я,— но все же я вернулся сюда. Разве я вернулся в родное село не из-за них? Ведь только ради них я и приехал сюда. Как я посмотрю теперь им в глаза? Ведь они никогда не забудут моего горького самоотречения. Где я возьму силы, чтобы снова прямо посмотреть им в глаза?»

В вечерней мгле передо мной выросла чья-то фигура в шубе. Я не разглядел, кто это был. К тому же вообще не хотелось ни с кем встречаться, и, поравнявшись с человеком, я ускорил шаги. Однако он окликнул меня:

— Это ты, Герге?

Я остановился.

— Я.

— Везет,— проговорил человек в шубе.— Спички вот забыл дома, а Лаци Лукач уже закрыл лавку.

Он подошел ко мне. Я полез в карман, достал спички, зажег и поднес язычок пламени к трубке, торчавшей из его рта. Спичка осветила небритую физиономию Жиндеи. Его легкие, как мехи, втягивали табачный дым.

— Засорился мундштук,— сказал я.

— Мои сопляки песок ковыряли этой трубкой,— сказал Жиндеи.— Уж я им задал ремня. Такой мундштук, да из такого вишневого дерева, братец, достать дело нелегкое. Для этого вишню нужно срезать обязательно зимой, когда ветки у нее промерзли... В промерзшем дереве потом проволокой прожигают отверстие, тогда мундштук получается добротным. Ты не дашь мне спички?— попросил он.

— Берите.

— Всю ночь без трубки человек не выдержит. А сорванцы дели куда-то колпачок и фитиль от моей зажигалки,— продолжал он.— Сам смастерил из патрона. Маленький такой был колпачок. Нальешь, бывало, бензина, он через час уже весь выдохнется. А без курева как же всю ночь терпеть?

— Вы что, сторожем заделались?

— Да, будь оно неладно.

— Ночным?

— Да еще каким!

Он предупредительно поднял указательный палец и улыбнулся. Я было приготовился к длинному разговору, так как знал Жиндеи. Талант его проявлялся не только в поразительной плодовитости его жены, но и в бесчисленных анекдотах и историях, которые он рассказывал долго и основательно. Но сейчас он лишь моргал и улыбался, ограничившись несколькими словами.

— Спешу я,— сказал он.— Мне уже на месте надо быть. Иду подменить Мишку Цифру у плотины. Ты еще не раз про это услышишь. Отец Лаци Лукача, наш новый председатель, достал какое-то оборудование. Землю теперь поливать будем, браток! Машина еще не собрана, охранять нужно, а то наш народ быстро все растащит...

И он действительно торопливо зашагал дальше, унося мои спички.

Если до этого я в отчаянии пытался найти какую-то мысль, за которую можно было зацепиться и отвлечься от воспоминаний, то теперь в этом не было никакой необходимости — я словно сразу обрел равновесие. Хорошо помню то время, когда у себя в имении еще хозяйничал Рабаи. Люди часто дивились его умению вести хозяйство, тому, как он, вернее, его управляющий умел брать от земли все сполна. Бывали такие весны, когда Рабаи уже к середине марта засаживал картофелем четыреста хольдов.

— Вымерзнет ведь! — говорили люди.

Но картофель не вымерзал и удавался на славу. А в мае Рабаи уже вагонами отправлял на рынок молодой картофель. Возни с ним было немного — весь выкапывали в мае, а участок засевали кукурузой-скороспелкой. Осенью снимали с этой земли второй урожай. Бывало, участок сначала засевался ранним горохом, а потом, в начале мая, его сменял технический картофель. Большие участки земли у него были всегда заняты капустой, морковью, огурцами и другими овощами. А люди поговаривали, что деньги сами текут к Рабаи рекой.

Несмотря на это, по его хозяйству было видно, что он не разменивался на мелочи. Осенние овощи он подкармливал искусственными удобрениями, а как только сходила талая вода, уже высаживал табачную рассаду высотой сантиметров в десять, и не позднее, чем другие. Даже из-за границы приезжали к нему поучиться и подивиться на его

поля. При управляющем он держал двух-трех агрономов. Ходили слухи, что некоторые из них, проработав у Рабаи пять-шесть лет, уходили в университет преподавателями.

Только какая польза от этого была для Жиндеи? Или для Мишки Цифры? Их дети, едва успев подрасти, шли на поля Рабаи на прополку, а как только им исполнялось двенадцать лет, особенно в войну, батрачили за восемьдесят филлеров в день. И радовались еще, если удавалось попасть поденщиком к Рабаи. В то же время две дочери Рабаи учились в Швейцарии, сын слушал лекции в Болонском университете, а жена путешествовала на автомобиле по Европе. Поговаривали, что во время одной заграничной поездки в Монте-Карло Рабаи за одну ночь проиграл в рулетку сорок тысяч пенгё. А той же весной Жиндеи украдкой ходил на поля Рабаи за свекольными листьями, чтобы хоть этим накормить семью.

Но кто сейчас думал об этом?

Разве что Лукачу пришла в голову мысль о том, какое хозяйство можно вести на этой земле. А ведь он и в самом деле мог об этом подумать. Янош Лукач не один год ходил в лучших работниках у Рабаи. Вплоть до того времени, когда по особому распоряжению хозяина в 1942 году его отправили на фронт.

Я так и не узнал, почему для этого нужно было особое распоряжение. И вообще, какой грех отыскал Рабаи в простой жизни Яноша Лукача?

Я смотрел на другой склон Гоноскатью, где не было виноградников, где холм внезапно обрывался, а затем покато спускался до самой низины. На другой стороне низины виднелись развалины усадьбы Рабаи. А в полутора километрах от них из материалов разобранной усадьбы строился кооперативный двор.

В раздумье долго я стоял на краю дороги.

Был ли я недоволен, возвращаясь в родное село? Я поехал, как по приказу, даже не простившись с техникумом, где все-таки закончил третий курс. Вот приехал, и ничего не хочется делать. Чем же объяснить это? С таким же успехом мог бы слоняться по городу — были бы только деньги.

Ведь я согласился поехать в родное село без колебаний. Согласился именно потому, что понимал: перемены на селе необходимы. Тогда почему же до сих пор не включился в борьбу? Может быть, потому, что не хотелось начинать ее первым? Вот какие мысли приходили мне в голову. Странно противоречивые мысли. И все же это было ближе всего к действительности. А тут еще — родное село. Если бы послали меня в чужие края, пожалуй, эти бесплодные мысли и не пришли бы мне в голову.

Планов было много, но как только я взялся за щеколду калитки, все они исчезли. И все же на душе было пусто всего одно мгновенье. Затем мне стало стыдно и в то же время смешно. У меня не хватало смелости предстать перед судом собственной совести. А в ушах еще звенел вызывающий смех дочери Ботоша и ее слова: «Агитатор! Агитатор!»

«Так ты же и есть агитатор! Разве не права эта женщина?»

Хотелось смеяться над теми четырьмя, что остались в винном погребе.

Но поведение старого Ботоша меня угнетало.

Я знал, что дядя Шаму любил меня. Возможно, и сейчас любит так же, как и раньше, когда учил распевать свои песенки. Вопрос только в

том, почему он заманил меня в ловушку? Чем объяснить такие крайности? Какие противоречивые чувства движут здесь людьми?

А мог ли и дядя Шаму оказаться там, у колодца? Может быть, это он запустил в меня колом?

Вот так же, из-за куста, случайно, убили моего отца. Поджидали другого, а тут как раз отец возвращался домой с собрания кружка хозяев. В то время господа из города зарились на холм с виноградниками, а члены кружка в отчаянии пытались оказать им хоть какое-нибудь сопротивление. Весело насвистывая, спешил отец домой, когда бандит колом угодил ему в висок.

С тех пор виноградного кола в Гоноскатью боялись больше, чем ружья. Таким колом мог запустить в меня только человек, который недавно живет в Гоноскатью.

Но кто, кто же этот пятый?

Я вошел в кухню.

Воздух был тяжелым, застоявшимся. Язычок пламени в керосиновой лампе вздрогнул, когда я закрыл за собой дверь. На столе красовалась цветистая глиняная миска с лапшой, залитой сливками. Дедушка сидел за столом, мама перевязывала руку Имре Цанко, бабушка ставила на стол тарелки.

— Наконец-то....— сказала она.

Отчим стоял спиной к двери; быстрым, холодным взглядом он смерил меня с головы до ног, его брови взметнулись, как у человека, которого внезапно постигло разочарование.

— Задержался немного,— сказал я бабушке.

— Садись скорее,— сказала мама.

Бабушка улыбнулась и покачала головой:

— У тебя тут много хороших знакомых, не удивлюсь, если ты совсем перестанешь ужинать дома.

— Эх-хе! Когда я был парнем,— произнес дедушка, глотая голодную слюну и не спуская глаз с миски,— меня бабы прямо-таки заманивали в избы. Заходи, кричат, Андраш, есть немного сала, поджарим с яичками, а?

Мать наполнила тарелку мужа, затем мою и свою. Я попросил положить мне не очень много. Видно, харшлевелю, которым угостил меня Меньюш Петё, насытило меня. Бабушка положила себе совсем немного лапши на широкую голубую крышку от кастрюли, остальное потянул к себе дедушка. Цанко с упреком посмотрел на старика, но смолчал, вздохнул и лишь большими порциями принялся отправлять в рот лапшу. Руку, которую мама перевязала ему белым лоскутом, он положил на стол. Я сказал, обращаясь к бабушке:

— Забыл рассказать вам одну историю. Когда я шел от станции домой, чемодан здорово оттянул мне руку, хотелось пить, и я решил пойти к колодцу. И тут кто-то запустил в меня виноградным колом.

— Господи помилуй, Герге! — воскликнула мать и положила вилку.— Герге!

Я посмотрел на Имре Цанко. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Мне только показалось, что он на секунду перестал жевать, а может быть, именно в этот момент собирался глотать. Но уже в следующий миг он спокойно отправлял в рот новую порцию лапши.

— Тяну ведро наверх,— продолжал я,— и вижу: к журавлю человек привязан.

— Эх-хе! — прочавкал дедушка.

— Парни, видно, развлекались,— сказала, смеясь, бабушка. В руках у нее была деревянная ложка, та самая, с которой она никогда не

расставалась. Смех у нее был непринужденный, как у человека, сказавшего правду от чистого сердца. И тут заговорил Цанко.

— Сопляки,— сказал он.— Выпьют стакан вина и уже ничего не соображают...

— Пожар раздувал Шани Балинт, вот что! — прошамкал дедушка с набитым ртом.— Эх-хе, если б я был мужчиной.

Стало тихо.

Я просто не мог себе представить, чтобы бабушка не любила меня. Ей я был дороже всего на свете, она и сама чувствовала, как много значила для меня. Если внук даже в солдаты хотел идти со своей бабушкой — такое не забывается. Тогда как же это чувство могло уживаться в ней с недоверием ко мне?

Вот и старый Ботош — зачем он запер за мною дверь?

Может быть, они поступают так потому, что любят меня?

— Завтра к полдню закончим работу на винограднике,— проговорила мама.— А после обеда надо бы начать посадку арбузов.— С улыбкой она обратилась ко мне: — Помнишь, сынок, ты так любил сажать арбузы?

Я отодвинул от себя тарелку, улыбнулся ей. Мне действительно было ее жаль.

— А какие семена? — спросил я.

— Чаньские,— ответила она.

Эти тоже неплохие, но мне больше нравился сорт каса. Жаль, что он постепенно исчезает. Однажды мы с дедушкой принесли из Варьюлапоша домой на плечах один арбуз этого сорта. Мы несли его, охватив брючным ремнем, и оба так измучились, что готовы были бросить на дороге, если бы пришлось нести еще с километр. Дома взвесили: потянул семнадцать килограммов.

— Дьявольски большой арбуз,— сказал я вслух.

В кухне сразу воцарился мир. Не хотелось нарушать этот покой, и все же меня подмывало подлить масла в огонь.

— Мы запаслись семенами,— продолжал я,— и соседям дали— дяде Шани Балинту тоже. Да не уродились на той земле, крохотные выросли, с кулачок...

— Для этого нужен хозяин,— сказал отчим.

Я закурил, сильно затянулся.

— Пятерым одного нетрудно привязать к журавлю,— сказал я.— Тут никакого фокуса нет.

Я не смотрел ни на кого, но почувствовал, как все обернулись в мою сторону. Долго сидели молча. Дедушка продолжал есть. Он скреб по краям миски вилкой, и миска при каждом его движении издавала неприятный звук. Мама встала со стула и пошла в спальню стелить постель.

— Помоги мне убрать посуду,— попросила бабушка.

— Я и так целый день спины не разгибала,— ответила мать.

— Четверых из них я уже знаю,— сказал я.— Такой уж я любопытный человек, ничего не поделаешь.

— Не хочешь ли стаканчик вина? — спросил отчим.— С удовольствием принесу.

Я смотрел на его руку с белой повязкой. Есть люди, которые пугаются самой пустяковой раны, не переносят вида крови, им становится дурно от крошечной царапинки на коже. Вот и эта повязка на руке Имре Цанко была такой маленькой, что, возможно, в ней не было никакой нужды.

— Хочешь? — повторил он.

Бабушка наливала в таз воду. Я продолжал смотреть на Цанко, а потом спросил:

— Никак рана?

— А-а, ножницами царапнул на винограднике,— махнул отчим рукой.

— Гледичия! — хихикнул рядом со мной дедушка.

Имре Цанко побледнел.

— Старый дурак,— буркнул он.— Где у нас гледичия?

Я бросил окурок в поддувало печки и, слегка улыбнувшись, посмотрел на Цанко:

— Наверно, поцарапались, когда перелезали через изгородь Меньюша Петё,— сказал я.— Правда? — И опять слегка улыбнулся.

— Эх-хе! Видал! — засмеялся дедушка.

Губы Цанко задрожали. Глаза прищурились, налились кровью. Он рванулся к дедушке и схватил его за руку.

Но я взял старика под защиту и, пока бабушка с тревогой наблюдала за нами, тихо отстранил отчима.

— Уходи из моего дома,— сказал мне Цанко.

Я был взвинчен, дыхание у меня перехватило.

— О-о?

— Уходи из моего дома!

— А чей это дом? — спросил я.

От бессильной ярости глаза отчима стали мутными. Он начал икать.

— Не гневи бога.

— Чей же это дом? — повторил я.— Бабушка, скажите, чей это дом?

Но бедная старуха не смела и шелохнуться. Тихо было и в спальне. Цанко все еще стоял, но на глазах у него показались слезы. Не выдержал. Мягко осел на стул, уронил голову на край стола и затрясся от рыданий. Дедушка вышел. На его лице был написан сильный испуг, он торопливо прошел в другую комнату и тихо прикрыл за собой дверь.

Мне стало жаль отчима. Я подошел к нему, положил руку на плечо.

— Не сердитесь,— сказал я.

Он взглянул на меня, не пряча мокрого от слез лица.

— Ты ничего не знаешь,— сказал он.— Ты ничего не знаешь... Ничего, поверь мне...

Несколько мгновений я молчал, затем произнес:

— Давайте спать.

— Давай,— сказал Цанко.

Тяжелой, грузной походкой он вышел в спальню. Я снова закурил и долго смотрел на прикрытую дверь.

— Цыган ты!

Я обернулся к бабушке.

— Цыган! — повторила она.

В этот момент бабушка казалась величавой и могучей. Она напоминала несокрушимый монумент с тряпкой в руках.

Я выскользнул из кухни.

4

Спать не хотелось. Я знал, что буду вертеться в постели, но не засну. Вышел в сад, походил немного, полюбовался звездами. На небе тонкий серп луны — и ни единого облачка. Большая Медведица казалась пьяной. Она будто пыталась взобраться на вершину холма, ее кривая лапа протянулась к середине небосвода.

Вблизи вдруг кто-то закашлялся и засопел.

Я оглянулся, но никого не увидел. Подумал, что почудилось. Воздух благоухал, а я все ждал, словно вот-вот должно случиться что-то значительное. Меня наполняло чувство неопределенного ожидания. Казалось, события произойдут сами собой, и я либо останусь на берегу, либо их стремительный поток подхватит меня и понесет с собой. Ни во что вмешиваться мне не хотелось.

Я подошел к воротам, прислонился к столбу, когда-то пропитанному смолой. Кашель послышался ближе. Напротив в канаве что-то зашевелилось, и в темноте показался силуэт человека. Я хотел скрыться и бросил сигарету, чтобы она не выдала моего присутствия, но было уже поздно.

— Герге! — позвал человек.

Когда он приблизился, по шишковатому лбу я узнал Вероньяка. Он был подавлен, весь как-то ссутулился.

— Что вам нужно?

— Открой калитку, Герге.

Я открыл, он огляделся и торопливо вошел, сделав знак следовать за собой. Потом направился к кухне и уже дошел до террасы, когда мне удалось схватить его за руку.

— Лучше в летнюю кухню,— сказал я.

Не раздумывая, Вероньяк повернул и зашагал прямо к летней кухне. В нос мне ударило запахом пота и мочи. Помню, такой же отвратительный запах поразил меня впервые, кажется, весной 1944 года. У нас тогда не было телеги, и бабушка попросила Вероньяка, который все равно ехал на мельницу в Ньирмезё, подвезти туда и наши два мешка пшеницы. Бабушка усадила меня рядом с мешками — я был еще худеньким подростком школьником. Там, где сейчас кооперативный магазин, в те дни была бакалейная лавка Давида. Этот Давид славился большой черной бородой. У него было пятеро детей и жена, тетя Нелли, очень красивая светловолосая еврейка. Патент на лавку в то время у него, по-видимому, отобрали, так как он складывал по утрам остатки своих товаров в большую корзину и, сгорбившись, разносил по хуторам. Я всегда помнил Давида веселым человеком и очень удивился, когда вдруг заметил, что за какие-нибудь два месяца в его черной бороде появились целые пряди серебряных волос. С тех пор какая-то жалость постоянно влекла меня к нему и его ребятам. Из-за них я даже подрался однажды с сыном Вероньяка, сбежавшим в декабре 1956 года за границу. Както в воскресенье, когда мы, как обычно, крутились вокруг игроков в кегли, этот мальчик, который был мне ровесником, заметил седого Давида, снимающего ставку. Вероньяк-младший подскочил к нему, дернул за бороду и начал дразнить, как собаку.

— Давид, р-р-р! — зарычал он.

Кое-кто засмеялся.

— Давид, р-р-р! — еще более осмелел Вероньяк. Давид продолжал стоять и смотреть на мальчишку своими маслянисто-коричневыми глазами.

— Давид, р-р-р! — повторил Вероньяк.

— Брось,— попросил я.

Но он не послушался. И хотя никто уже не смеялся, все продолжал рычать.

— Перестань! — закричал я.

— Давид, р-р-р!

Я подставил ему подножку и толкнул сзади. Вероньяк угодил носом в пыль, а я, оседлав его, перевернул и стал молотить кулаками. Вырвав-

шись, он в слезах пустился бежать домой, пригрозив рассказать обо всем своему отцу, а я целый день в страхе ждал наказания, но так ничего и не произошло. Может быть, он не посмел рассказать дома, за что я его побил.

Отправившись с Вероньяком-старшим на мельницу, мы по пути остановились перед домом Давида — здесь на телегу погрузили еще два мешка зерна. У Вероньяка были хорошие лошади, даже по песчаной дороге они легко везли восемь-десять центнеров. Сейчас было значительно меньше, каких-нибудь четыре центнера, и все же, когда мы тронулись в путь, Вероньяк сказал, что на телегу садиться нельзя, пойдем пешком. Тетя Нелли шла рядом с нами.

Так мы и брели весь долгий путь. Увидев что-либо интересное, я, снедаемый детским любопытством, сворачивал в поле проверить, не остались ли семечки в одиноком забытом подсолнухе, залезал в худые карманы пугала, подбирал цветной черепок, осматривал выброшенную за ненадобностью посуду.

Вероньяк и тетя Нелли шли по дороге рядом с телегой и разговаривали. Когда мне, наконец, надоело бегать, я тихо поплелся сзади.

Вдруг Вероньяк сунул мне в руки кнут, расстегнул штаны и, не останавливаясь и даже не отступив в сторону, прямо у нас на глазах начал делать свое дело. Краска стыда залила мне лицо.

— Дядя Пали! — хотел я его остановить.

Он обернулся и, громко хохоча и подмигивая, сказал:

— Ну! Будто Нелличка или ты, Герге, уж и не видывали такого?

Я заметил, как тетя Нелли побледнела, а мне тогда впервые ударил в нос этот вызывающий отвращение запах, который почудился и сейчас, когда мы шли к летней кухне.

Я открыл дверь и полез в карман за спичками.

— Не зажигай света,— сказал Вероньяк.

— Почему?

— Прошу тебя, не зажигай,— сказал он.

— Мы же не влюбленные.

— Увидят.

— С улицы не увидят, далеко.

— Прошу тебя, не зажигай,— повторил он.

В его голосе звучала такая мольба, что я положил спички в карман и присел на край кушетки. Показал ему, где стоит кресло. Слышал, как он устраивается в нем.

Постепенно глаза привыкли к полумраку, снаружи в окно проникал слабый свет луны.

— Герге...— начал Вероньяк.

— Слушаю,— отозвался я.

— Ты меня знаешь, сынок. Должен меня знать,— сказал он.— Я богу молюсь, чтобы никого не обидеть. Старый я дурак, Герге.

Я молча сидел на кушетке. Запах, который, по-видимому, шел от Вероньяка, заполнил теперь всю летнюю кухню.

— Я, сынок, скотина,— продолжал он.

— Не лучше бы такому старому человеку дома сидеть? Особенно вам.

— Истинно! — сказал Вероньяк.— Дома надо бы сидеть. Святая истина, Герге. Поэтому стоит ли обращать внимание на то, что старый дурак сует нос не в свое дело. Стоит ли, сынок, скажи?

К чему же клонит Вероньяк? Он не трусил, как во время нашей встречи в винном погребе, но все же в его голосе чувствовалась какая-то неуверенность.

— Стоит ли обращать на это внимание, а, Герге?

— Смотря на что,— ответил я.

— Там ведь только плоть моя была, а плоть человека, если хочет, видит, а не хочет — не видит. Душа же моя молилась в церкви, сынок,— сказал он со вздохом.

— Работали бы вы лучше, а не шатались,— сказал я.— Земля бы и отблагодарила вас.

— Святая истина,— сказал Вероньяк.— Так и будет, сынок мой, Герге, поверь мне. Что мне нужно, кроме покоя? И я бы успокоился, сынок, если бы ты меня успокоил.

— Какое мне до вас дело?

— А ведь только и нужно сказать, что, мол, не видел я его. Что тебе стоит сказать, что ты меня не видел? А глупому старику — утешение.

Я помолчал. Затем тихо произнес:

— Идите домой.

— Герге, сынок,— взмолился он.

Я встал с кушетки и направился к двери.

— Сколько я вам добра сделал, ты только вспомни. На моей земле всегда была работа. Если нужны были поденщики, кого я звал? Твоего отца, твою мать, хоть ты и не помнишь этого. Платил я хорошо, Герге. А виноградный пресс? Сколько раз я давал его вам? А когда у вас не было опрыскивателя, кто вам помог?

— Дядя Шаму Ботош,— сказал я.

— Он тоже, Герге, истинно... неужто так трудно сказать старому дураку: я вас не видел?!

— Видел,— сказал я.— Но это не имеет никакого значения.

— Герге!— заскулил Вероньяк и схватил меня за руку.— За добро платят добром...

Я открыл дверь, так как моему терпению пришел конец. Широко распахнул ее, и свежий ветер ворвался в кухню.

Вероньяк снова сжал мою руку и что-то совал в нее. Это были деньги. Не знаю, сколько. Я узнал их на ощупь и сунул их ему обратно в карман.

— Вы храбрый человек,— сказал я.

— Пусть останется между нами, голубчик, сынок мой.

— ...и подлый человек.

Он упал передо мной на землю, не выпуская моей руки. Судорожно сжимая ее, он прижался к ней лицом и зашептал:

— Виноват я... виноват... о-о, грешник я, прости меня, бедного грешника.

Я поднял его на ноги и кое-как выпроводил из кухни. Потом провел по двору, открыл калитку и вытолкал на улицу.

Он стоял, беспомощно опустив голову.

Все это казалось мне нелепым, но я понял смысл его горькой исповеди.

— Идите спокойно домой,— сказал я.

Он взглянул на меня виноватыми влажными глазами. Его самоуничижение больше всего бесило меня. Теперь он окончательно потерял всякое человеческое достоинство, если вообще когда-либо обладал им.

И как только человек может дойти до этого?

Я подумал о его пятнадцати хольдах виноградника, и мне явственно почудилось, что от них исходит такая же вонь, как и от него самого. Я видел, что он еще что-то хочет сказать, что-то совершенно ненужное, но так и не открыл рта.

Старик ушел, не попрощавшись. Просто растворился в сумраке.

Окно словно взорвалось: с грохотом и звоном на пол посыпались стекла. Кушетка стояла напротив окна, и кирпич угодил мне прямо в бедро. Но и удар и боль я почувствовал не сразу. Я взглянул на окно и услышал топот ног убегающего человека. Соскочил с постели, выбежал во двор. Хлопнула калитка. Я бежал, ни о чем не думая. Знал только, что если буду бежать изо всех сил, то догоню. Человек, разбивший окно, замедлил бег. Он казался молодым, возможно это был Болди или сын Эшковача. Я ничуть не сомневался, что догоню его, кто бы он ни был.

Уже можно было дотянуться до него рукой, схватить за пиджак, но мне захотелось заглянуть ему в глаза. И вот я бежал рядом, и сын Эшковача мог убедиться, что бежать дальше бесполезно.

— Никогда бы и не подумал,— сказал я.

Он взглянул на меня, задыхаясь от бега. Сейчас он был действительно красив — этот восемнадцатилетний юноша с горящими глазами.

— Лучше б ты с девушками гулял.

Я взял его за руку, и мы пошли. У меня уже созрел план, а пока мы только шли рядом.

— В твои годы, а может, мне было немногим больше, я снимал комнату у одной отвратительной старухи на площади Телеки. Квартира у нее была из пяти комнат, и все пять она сдавала квартирантам, а сама спала в кухне. За каждую получала четыреста форинтов в месяц. Никто ее не любил, никто на свете; у нее и родственников не было, так и жила она одна как перст. А для того чтобы она могла жить, пять человек должны были страдать. Рядом с моей была комната одной девушки лет шестнадцати. Работала она в цирке, подавала иллюзионисту всякие предметы во время представления. Иллюзионист увез ее из Шопрона, где жили ее родители: мать — учительница, отец — адвокат, неудачник, лишенный права заниматься адвокатской практикой и работавший кладовщиком в кооперативе. Прошло уже около двух месяцев — достаточное время, чтобы заметить девушку, но я хоть и чувствовал, что мне чего-то не хватает, все-таки не смел даже взглянуть на нее. Однажды мы встретились с ней в ванной. Я заметил ее, когда уже вошел туда и закрыл за собою дверь. Хотел было выбежать, но девушка рассмеялась, а я чуть не сгорел от стыда. Прислонившись к двери, чтобы я не сбежал, она сказала: «Красивые у тебя глаза». И добавила: «Ты будешь счастливым — у тебя такие губы...» Я стоял, не смея произнести ни слова, и мне казалось, что меня раздели донага. Потом девушка ушла, а я целый день только о ней и думал. Ночью я не мог заснуть, все вертелся в постели, попробовал читать — не помогло. Тогда я набрался храбрости и постучал к ней из своей комнаты. Было тихо, я постучал еще раз. «Кто там?» — раздался ее голос. «Это я, ваш сосед,— отозвался я,— идите ко мне». Она тихо засмеялась: «Иди лучше ты ко мне». «Я не пойду»,— сказал я. «Ну и я нет»,— ответила она. «Идите ко мне»,— повторил я. «Я не пойду — это точно»,— сказала она. В отчаянии я снова лег в постель, хотелось плакать — так и заснул. Уже рассветало, когда я проснулся и увидел лежащую рядом девушку. Мне показалось, что это сон, а она рассмеялась, вскочила с кровати и сказала: «Эх ты, парень!» И ушла. А я все смотрел на дверь, за которой она исчезла. На следующую ночь она постучала сама, и я услышал ее вопрос: «Придешь?» Я не ответил. А на другой день иллюзионист перевел ее на новую квартиру. Потом я несколько раз видел ее во сне — мне снились ее упругие бедра, снилось, что я скотина.

Эшковач, успокоившись, с интересом слушал и посмеивался.

— Снилось, что ты скотина?— спросил он.

— Да.

— Как это может сниться?

— Кто знает!

Мы шли, как два хороших друга, миновали дом Шани Балинта и вышли на узкую тропинку, которая вывела нас на другой край Гоноскатью, где жили Эшковач, Вероньяк и Иллеш-американец.

— Куда мы идем?— спросил Эшковач.

— Неважно,— сказал я.

Но для него только это и было важным. Он умолк, с опаской поглядывал на меня и замедлял шаг, словно давая понять, что дальше не пойдет.

Мне пришло в голову, что старый Эшковач, пожалуй, не имеет никакого представления о том, где бродит по ночам его сын и чем занимается. У нас парень дружит с девушкой под надзором родителей; конечно, отец и мать не ходят вместе с ними, для наблюдения есть и другие средства. Что же думает старик о похождениях своего сына? Но спрашивать об этом не хотелось.

Когда мы приблизились к калитке, Эшковач остановился.

— Что ты задумал?— спросил он.

— Входи смелее,— сказал я.

— Не пойду.

Я открыл калитку.

— Иди,— сказал я.

Он подскочил ко мне, подставил лицо:

— Дай мне в морду, Герге. Но не веди к отцу.

— Да мы и не пойдем к нему, не бойся,— сказал я.

Мы подошли к летней кухне, она была такой же, как и наша. Я еще помню, как мама говорила: у всех уже есть летние кухни, даже у Эшковачей, только у нас одних нет... Мы открыли дверь, вошли, и я распахнул окно.

— Выставим,— сказал я, показывая на раму.

Юноша стоял, не понимая моих намерений. Окно открывалось наружу, я вышел и снял обе оконные створки.

— Одну понесешь ты, вторую — я.

Он молча с готовностью повиновался. Сейчас я никак не мог представить его себе таким развязным, как тогда, в винном погребе. Рисовался, наверно? Или ему нравилась эта игра? Мы долго шли молча, минуя дома. Изредка лаяли собаки, но скоро и они замолкли. Возле колодца мы остановились на минутку, я улыбнулся Эшковачу и спросил:

— Колом запустил тоже ты?

— Имре Цанко, сзади,— сказал он.

— Тебе все-таки надо бы завести девушку,— сказал я,— или какую-нибудь ветреную бабу.

Он засмеялся, и мы пошли дальше. Вдруг лицо его стало серьезным, он остановился, взглянул на меня и спросил:

— А если не ветреную?

Я с любопытством посмотрел ему в лицо. Ресницы его дрогнули, но он выдержал мой взгляд. Застыдился, видно, выдав мне свой секрет. Чтобы успокоить его, я сказал:

— Твоя судьба...

И, помолчав, добавил:

— Человек всегда остается человеком.

Когда мы, наконец, подошли к нашему дому, я снял разбитую оконную раму со своей летней кухни и вставил на ее место раму Эшковача. Свою отдал ему.

— Мы в расчете?— спросил я.

Он судорожно глотнул и сказал:

— Странный ты человек, Герге.

— Глупый,— сказал я.— Ну, сервус.

И протянул ему руку. Он по-мужски пожал ее и, как хорошему другу, сказал:

— Сервус.

И ушел с двумя разбитыми оконными створками под мышками.

А я зажег лампу, снял брюки и увидел на разбитом бедре запекшуюся большими сгустками кровь.

Принес воды, чтобы обмыть и чем-нибудь перевязать рану.

У меня, вероятно, была небольшая температура, я никак не мог заснуть. Все чудилось, что рядом стоит дядя Шани Балинт и я говорю ему:

— Надо донести на них.

Он виновато улыбается и спрашивает:

— На кого?

— На неизвестных преступников,— говорю я.

Он долго молчит, затем произносит:

— Ты все еще большой ребенок, Герге.

— Нет-нет! Они уже известны!— кричу я.— Я знаю их имена... Всех до одного.

— Тогда ты тем более ребенок, Герге.

Я улыбнулся и закрыл глаза. Знал уже, что рядом никого нет и что спорю с дядей Балинтом только в воображении, но вдруг в споре происходит поворот, и я выкладываю козырь: «Я же не хуже вас, дядя Шани, и сделал то же, что и вы. Это нетрудно. Даже, мне кажется, было очень легко. Я думал только о том, как осуждал бы себя, если бы поступил подобно, например, сыну Эшковача. Как же можно иначе разобраться в поступках людей?»

Рана горела, тупая боль пронизывала ногу. Но если стараться забыть о ней, боль кажется не такой уж сильной. Подумал, что надо встать, сходить на село в аптеку и купить ультрасептиловый порошок и марлю. Они все равно нужны — нельзя же ходить с открытой раной. Интересно, когда человеку переваливает за двадцать, раны заживают не так легко, как в детстве. Когда мне было лет семь, я очень любил перочинные и даже кухонные ножи — ведь ими можно строгать и резать. Я всегда таскал ножи с кухни, за что бабушка часто устраивала мне взбучку.

— Паршивец,— кричала она,— руки б твои отсохли, куда опять задевал нож?

Однажды я взял нож и, желая убедиться, острый ли он, приложил его к толстому натянутому сухожилию между большим и указательным пальцами левой руки. Конечно, порезался, и сразу же кровь залила всю руку. Я понял, что сделал большую глупость, но плакать не осмелился, даже не посмел пойти к бабушке перевязать рану, испугался, что она еще побьет. Нож я отнес в кухню, а сам скрылся в дальнем конце сада и сыпал на руку песок до тех пор, пока кровь не остановилась. Уже будучи взрослым, человек иногда приходит в ужас от тех глупостей, которые совершал в детстве. Для меня остается загадкой, как при таком врачевании рана все же зажила. Да еще за три дня!

А сейчас наверняка рана будет затягиваться более трех дней, хорошо, что ее не видно.

Дверь летней кухни приоткрылась, бабушка просунула в нее голову. Улыбнувшись, она по-детски произнесла:

— Доброе утро.

— Доброе утро, бабушка.

— После обеда отец останется дома,— сказала она.— Пойдешь с матерью сажать овощи?

— Не знаю,— ответил я.

— Ну, подумай. Пора вставать — завтрак готов.— И бабушка тихонько прикрыла за собою дверь.

Валяться в постели действительно уже не имело смысла. Я отыскал туфли, надел брюки и с трудом сделал первые шаги. При ходьбе боль словно бы утихла. «По крайней мере, не буду бегать,— подумал я,— особенно, когда в этом нет необходимости».

Выпив молока без хлеба, я поспешил в аптеку. Торопился не за лекарствами — просто мне не хотелось сидеть дома. После бессонной ночи солнце больно слепило глаза, но вскоре я привык к его ярким лучам, и они меня больше не тревожили. Издали посмотрел на кооперативные постройки, сорвал цветок с абрикосовой ветви, склонившейся над дорогой. Долго разглядывал четыре маленьких лепестка, тоненький пестик, потом отбросил цветок в сторону.

Передо мной был дом Шани Балинта. Дальше идти почему-то не хотелось.

Может быть, рассказать ему о том, что произошло со мной вечером и ночью? Подумает, что хвастаюсь. Мол, не один он тормошит людей.. А может, пойти и сказать: «Я здесь, дядя Шани, распоряжайтесь мной»?

Ни того, ни другого говорить не хотелось, только очень хотелось встретиться с ним. Я взглянул на фасад его дома, который еще был виден сквозь кроны нераспустившихся деревьев. Шани Балинт построил этот дом собственными руками, сам оштукатурил, собирался украсить его фасад резьбой. Вокруг чердачного окна белело пятно в форме сердца, а ниже — огромная гроздь винограда, вылепленная из глины.

Хотелось посмотреть на дядю Шани. И только на него. Я вошел во двор, перед шалашом из сухой виноградной лозы встала собака и, виляя хвостом, подбежала ко мне. Почесалась о мою ногу.

— Ну ты, Чэпи!— сказал я старой уродливой овчарке и прочел в ее глазах восторг.

Постучал в застекленную дверь, которая вела в прихожую. Никто не ответил. Нажал на дверную ручку — дверь оказалась запертой. Взглянув на часы, я увидел, что уже минуло девять. Кто же мог думать, что в такое время хозяина легко застать дома?

Я снова вышел во двор, заглянул в сад. Возле ямы лежала куча виноградных лоз, чуть подальше стоял небольшой стог сена. Перешагнув через невысокую изгородь, я очутился в саду. Собака опередила меня и скрылась за стогом сена, словно указывая мне путь, но тут же вернулась, навострила уши и тявкнула.

Из-за стога выглянула Эсти.

— Сервус,— сказал я.

Она посмотрела на меня, ожидая, пока я подойду поближе, и только тогда заговорила:

— Мы уж думали, ты вообще не придешь.— Она улыбнулась, опустив голову.— А я все говорила, что придешь... придешь...

Рядом со стогом была навалена куча картофеля. Перед Эсти стояли две корзины — в одну она клала мелкий семенной картофель, в другую — покрупнее, для еды. Один мешок был уже наполнен семенным картофелем и завязан. Он лежал тут же. Второй мешок, с крупной картошкой, был еще полупустым.

— А где отец?— спросил я.

— Ушел в сельсовет,— сказала Эсти.

Я присел на мешок с картофелем — так меньше беспокоила рана.

— А мать?

— В городе. Поехала на рынок — деньги нужны.

Помолчали. Я посмотрел на Эсти. Она показалась мне какой-то особенной: вся освещенная солнцем, она стояла на коленях у самого стога и перебирала картошку. Я долго молчал, она взглянула на меня и робко улыбнулась.

— Когда вернется домой дядя Шани?— спросил я.

— Кто его знает,— сказала Эсти.— Сегодня приезжают агитаторы, их надо разместить. А вечером будет собрание.

То, что мне нужно было узнать, я, по сути дела, узнал, теперь следовало бы встать и идти в село. И все же двигаться не хотелось — пожалуй, впервые в жизни мне было приятно рядом с Эсти. Захотелось погладить ее по голове, вознаградить за все те неприятности, которые я ей причинил. Но разве можно сказать ей об этом? Да и руки не слушались, не шевелились.

Эсти снова взглянула на меня и тотчас опустила глаза. Я видел, как, по-прежнему стоя на коленях, она задумалась, руки ее перестали перебирать картофель. Я опасался, что она заговорит о чем-нибудь таком, что нарушит этот покой, и все же не сдвинулся с места.

— Герге!

— Да.

— Я хочу сказать тебе кое-что, Герге,— произнесла она,— теперь же должна сказать.

Я тихо ответил:

— Скажи, Эсти.

Мгновение еще она колебалась, затем спокойно посмотрела на меня. Лицо ее горело.

— Мне очень тебя недоставало, Герге,— сказала она.— И сейчас, и всегда-всегда. Я много думала, почему страдаю и почему именно по тебе. Сколько я себя помню, мне не нужны были ни друзья, ни подруги, никто, кроме тебя. Уже в десять лет я думала, что у меня дурная кровь. Ведь это ненормально, если я с детства люблю тебя.

Я не ответил. Мне это и так было давно известно. И отталкивал я ее, возможно, потому, что за нее не нужно было бороться. Позднее привязанность Эсти стала для меня мучительной. Потом я избавился от нее, а расстояние, видно, не пробуждало воспоминаний. Но должно было настать время, когда необходимо сказать друг другу в глаза все.

В этом Эсти оказалась смелее меня.

— Я всегда тебя любила,— заговорила она вновь.

— Я не заслужил твоей любви, Эсти.

Она, уже не глядя на меня, перебирала картофель. Мне показалось, что глаза ее влажны, потому она и не поднимала их. И вновь у меня не хватило мужества сказать ей: Эсти, не откладывай, выходи замуж за Лаци Лукача, он славный парень, и вы прекрасно поймете друг друга. Не хватило мужества. Вместо этого запинаясь я произнес:

— Ночью у нас окно вышибли. Я, знаешь, сплю в летней кухне, туда в окно кирпичом запустили.

Снова молчание, натянутая и нелепая тишина. Если бы она раньше была такой, какой я увидел ее сейчас, мог бы я воспользоваться ее чувствами? Мне, правда, никогда не везло с женщинами. Всего лишь раз, в одно серое октябрьское воскресенье я оказался большим нахалом. Токарь Варкоц пригласил меня к себе на квартиру: есть, говорит, у меня немного вина, а выпить не с кем, с женой скучно — она целый день не вылезает

из постели, валяется в пижаме. Зашел я к ним, и, пока токарь ходил за вином, я — к его жене. Повозились немного и, услышав шаги мужа, едва успели отскочить друг от друга. Потом все вместе пили вино, Варкоц много, я в меру. К десяти часам токарь так накачался, что не мог даже сидеть. Раздев, я уложил его в постель, а жена перешла ко мне на кушетку, на этот раз она была только в одной курточке от пижамы.

И так же вот играть с бедной преданной Эсти?

Она встала, подняла корзину с картошкой — я помог ей, придерживая мешок за края,— высыпала ее в мешок, вытряхнула и опустила корзину на землю. Я набрался смелости и погладил ее по голове.

Эсти неправильно поняла мой жест или просто не хотела сдерживать свои чувства. Она прильнула ко мне, и теперь я уже не мог ее не поцеловать. Ее пухлые и влажные губы были упругими и жадными. Меня обдало жаром, трепет ее молодого тела передался и мне и вызвал страстное желание. И все же мой рассудок остался холодным. Я сказал:

— На холмах картофельные бурты вскрывают, Эсти.

Она посмотрела вдаль и тоже сказала:

— Вскрывают. Только поздно.

— Поздно,— согласился я.

— Ты придешь на собрание, Герге?— спросила она.

— Думаю, что приду.

— Потом будет концерт, из города приедут артисты,— сказала она.

Я быстро взглянул на нее.

— Артисты?

Влюбленная и счастливая, Эсти продолжала болтать. Она не отпустила бы меня ни на минуту, но я уже знал, что вечером в клуб не пойду. Мне не хотелось случайно встретиться там с Евой. Ведь не мог же я сказать об этом Эсти. И я не сказал ничего. Пожал руку и торопливо зашагал в село, чтобы купить в аптеке ультрасептиловый порошок и марлю.

Все во мне перепуталось.

Сарай был высотой с дом. Его крыша покоилась на столбах, стены были из плетеного камыша, дверь, навешенная на прочную раму, тоже камышовая. Бабушка складывала здесь всякое барахло. В углу стоял старый диван со сломанной ножкой — он был, наверно, старше бабушки,— а под ним ящики для инструмента. На стене висели коса, серп, полотняная сумка, изрядно потрепанная корзина. В другом углу были сложены мотыги, рядом с ними клепки, а в третьем углу валялся опрыскиватель, огромный моток лыка, мешок с медным купоросом. Посередине стояло старое просиженное кресло.

В сарае было нечто похожее на чердак. На этот чердак, набитый сеном, можно было подняться по широкой лестнице. Здесь любили нестись куры, хотя бабушке это и не нравилось, так как корова не ела сено, почуяв куриный запах. А если там еще окажется и перо, то корова ни за что не прикоснется к нему.

Аптекарь никак не хотел выдать мне лекарство без рецепта. Пришлось идти к врачу, который старательно перевязал мне бедро и за пятьдесят форинтов выписал все, что требовалось. Он даже советовал мне дня два не выходить из дому. Такой ушиб, сказал он, может вызвать тромбоз. На меня его предостережение не подействовало. Вернувшись домой, я все же взял два одеяла и отправился с ними на чердак в надежде, что запах сена навеет на меня сон. Потом я подумал, что с пустым желудком не засну, спустился вниз, отрезал большой ломоть хлеба,

намазал его салом, посыпал черным перцем и, накрыв сверху паприкой, с жадностью съел. Бабушка наблюдала за мной с таким выражением лица, словно она сама ела хлеб с величайшим аппетитом.

— Ей-богу, и мне захотелось хлеба с перцем,— сказала она.

Я вошел в комнату и достал из шкафа свой темный костюм. В нем портной в свое время сделал специальный боковой карманчик, где у меня обычно хранились деньги. Достал оттуда пятьсот форинтов и протянул их бабушке.

— На соль, на перец,— сказал я.

Бабушка отказывалась от денег, но я-то знал, как она рада этой помощи. Несмотря на свой строгий нрав, старуха даже всплакнула при мысли о том, что у нее есть такой внук; она обняла меня за шею и сказала:

— Оставайся дома, зайчик мой, оставайся дома.

Затем поднялась со скамейки, извлекла из сундука завернутую в скатерть плетеную бутыль с вином, выглянула за дверь, не идет ли кто из мужчин, и налила мне поллитровую кружку.

— Пей, да поскорее,— сказала она.

Когда я выпил — а вино после хлеба с салом пришлось кстати,— она спросила, не скрывая радости:

— Еще одну?

— Нет-нет,— ответил я.— Пойду немного посплю.

Она помолчала, прикоснулась к моей руке и кивнула головой, словно хотела сказать: отдыхай, зайчик мой, отдыхай хорошенько. Я знал, она и колыбель мою покачала бы, если бы я лег в колыбель.

Но я пошел на чердак. Отчим чинил во дворе изгородь, дедушка молча и неторопливо подбирал для него прутья. Я вошел в сарай, поднялся по лестнице наверх и повалился на одеяла.

Мне приснилось, будто я падаю с чердака. Проснулся, открыл глаза. И, когда увидел свет, пробивавшийся сквозь щели в крыше сарая, сразу забыл, что мне снилось. Забыл, о чем думал, засыпая. Была ли в моих размышлениях хоть какая-нибудь система? Приятно лежать на спине и смотреть на крышу. Вдруг я услышал шепот:

— Вы обещали, если я женюсь на Терезе, после свадьбы переписать все хозяйство на меня. Обещали ведь?

Затем заговорила бабушка:

— Не помню.

Я придвинулся к краю чердака.

Внизу у дивана стояла бабушка, рядом с ней — Имре Цанко. У ее ног находился ящик с инструментами, выдвинутый из-под дивана.

— Вы же прекрасно знаете, что иначе я никогда бы не женился на вашей дочери,— сказал Цанко.

— Полюбил — вот и женился.

— Полюбил? Господи, полюбил! Такую каргу! — произнес Цанко.

Бабушка нагнулась к ящику. Цанко схватил ее за руку и с силой привлек к себе.

— Послушайте. Завтра поедем в город и перепишем хозяйство на меня. Понятно? Если вы этого, наконец, не сделаете, я вышвырну всех вас из дому.

— Хозяйство принадлежит сироте,— сказала бабушка.

— Сироте! Этому сопляку? Мне-то вы что обещали? Что обещали?

— Обещание,— сказала бабушка,— красивое слово...

— Значит, я не в счет?

— Ты и так получаешь свое: ешь, пьешь, одеваешься...

— Выходит, я батрак у вас?

— Муж,— сказала бабушка.

Мгновение Цанко стоял молча, оцепенев. Его большие руки были опущены и напряжены, словно он собирался раздавить бабушку. Она презрительным взглядом смерила его с ног до головы.

Я лежал на чердаке, не смея шелохнуться, и дрожал от страха, словно мне довелось заглянуть в бездонную пропасть. У меня не было времени, чтобы осудить себя за то, что я невольно подслушал этот разговор.

В следующий миг я удивился бабушкиной силе. Безмолвно боролась она с сильным мужчиной. Оттолкнула его. Цанко бросился за ней.

— Послушайте!..

— Не касайся меня, добром говорю.

Бабушка откинулась назад и в отчаянии крикнула:

— Герге!

Цанко остановился и кинул взгляд на дверь. Воспользовавшись его замешательством, бабушка широко распахнула дверь и выбежала. И уже во дворе истерически закричала:

— Герге, внучек! Герге!..

— Я убью этого щенка,— тихо произнес Цанко и вышел из сарая.

Медленно, словно чем-то оглушенный, я спустился с чердака. Одеяла остались наверху, на сене. Я осторожно выглянул в дверь и выскользнул из сарая. И, только уже подойдя к дому, нарочито громко спросил:

— Бабушка, вы меня звали?

Старушка выбежала из кухни.

— Герге!

Она крепко обняла меня и зарыдала.

— Герге, внучек...

— Ну говорите же! — попросил я.

Она вдруг перестала рыдать.

— Герге! — сказала она и замолкла. Посмотрела в сторону изгороди, где по-прежнему работал Цанко.— Я так испугалась...— Такая мышь... а может, крыса, слышишь... забежала на кухню...

— И выбежала? — спросил я.

— Выбежала,— сказала бабушка.— Выбежала.

— Тогда все в порядке.

— Ох, слава богу.

— Пойдемте,— сказал я,— возьмем немного хвороста... Ведь вам все равно скоро готовить ужин, правда?

— А как же.

Она пошла со мной. Мы приблизились к Имре Цанко. Я взглянул на отчима и сказал:

— На бабушку напала крыса...

— Еще что,— сказал Цанко, краснея.

— Как-то надо эту крысу уничтожить.

— Но как? — спросил Цанко.

— Если бы я был мужчиной! — сказал дедушка.— Эх-хе,— и сокрушенно махнул рукой.

Если бы он был мужчиной! Меня охватило чувство сострадания и отчуждения. Если бы он был мужчиной! А был ли он когда-нибудь мужчиной?

Я молча ломал старые, сухие и подгнившие прутья и складывал их в бабушкин фартук. Чувствовал, как во мне росло желание расшевелить этих людей, как-то сдвинуть их с места. Надо бы сделать что-то всем понятное и простое.

— На следующей неделе у нас организуется кооператив,— сказал я.— Такой пожар невозможно затушить.— И словно эта мысль только сейчас пришла мне в голову, добавил:— Надо бы и вам вступить в него.

Бабушка посмотрела на меня так, будто увидела впервые, и подошла ближе.

— Не сходи с ума,— произнесла она.

— Надо бы вступить,— повторил я.

— Когда стану римским папой, тогда вступлю,— высказался Цанко.

Бабушка продолжала смотреть на меня.

— Зачем ты вернулся домой? — спросила она.

— Могу и уехать,— сказал я.

— Зачем ты приехал домой, Герге?

— Вы ведь всегда звали меня домой. Но я могу уехать. Могу уехать, если и бабушка так хочет,— ответил я и улыбнулся.

— Глупый,— сказала бабушка и засмеялась. Она успокоилась и зашагала в кухню. Шла быстрой и молодой походкой, и мне показалось невероятным, что ей уже около семидесяти.

Когда бабушка скрылась в кухне, я повернулся к мужчинам и уставился на отчима. Цанко почувствовал мой взгляд, он ждал, сжимая в руках лопату. На лице его застыл вопрос:

— Зачем ты вернулся домой?

Я перевел взгляд на лопату, и так как мы стояли вплотную друг к другу, мне ничего не оставалось, как тоже взяться за ее черенок. Сдавленным голосом отчим спросил:

— Зачем ты вернулся домой?

— Та крыса...— сказал я и улыбнулся своей обычной улыбкой.

— Зачем ты вернулся домой?

— ...она не в кухню, а в сарай забежала, эта крыса,— сказал я и посмотрел на него в упор. Он не выдержал моего взгляда и так громко рассмеялся, что даль отозвалась эхом.

— Старухам и ласточка кажется ястребом,— сказал он.

— Может быть.

— А ты ответь,— сказал отчим.— Зачем ты вернулся домой?

— Должно быть, из-за крыс,— сказал я.— Пойду возьму с чердака одеяла, еще сгрызут.

Но продолжал стоять.

Потом отпустил черенок лопаты.

Он дрогнул в руках Цанко.

Я отступил.

— А впрочем, не так уж и важно обо всем знать,— сказал я.

Пот выступил у него на лбу, едва слышным голосом он проговорил:

— Матери... матери не говори, сынок.

Я взглянул на него, пытаясь разгадать, какая еще пакость скрывается за этим. Какая?

А Эсти ждет меня. Собрание уже началось. Рядом с ней сидит Лаци Лукач. Он о чем-то умоляет ее, нашептывает на ухо ничего не значащие слова, смысл которых лишь в интонациях. Но Эсти ничего не слышит, она рассеянно смотрит на дорогу и ждет меня, хотя уже потеряла всякую надежду дождаться.

Эсти!

Пойдем со мной на берег реки и, если сердце твое, как и мое, наполнено счастьем, поговорим с тобой о чем-нибудь совсем постороннем.

Я не знаю хороших, ласковых слов.

Хорошие, ласковые слова пусты.

Лживы они — хорошие, ласковые слова.

Еще учеником я очень любил одну девочку, но она ни разу не пришла ко мне на свидание. Однажды она поцеловала меня в лоб. Как сейчас помню, ее маленький мокрый носик оставил на моем лбу влажный след, и я не посмел стереть его. Помню, как Като потянулась ко мне, позволила обнять себя за талию, и я почувствовал ее ребра, ее мягкую и маленькую грудь. И тогда же я понял всю безысходность своей любви, которая всякий раз вспыхивает вновь при встречах с этой девушкой или при мысли о ней. Но уже давно, очень давно я не видел ее. Не помню ее лица, помню только походку, небольшую детскую складочку на лбу и локоны. Встретившись на улице, я, пожалуй, не узнал бы ее — память о ней сохранила, должно быть, только моя любовь.

Рассказать об этом Эсти? Печальны эти воспоминания, и нет в них никакого толку. Никакого.

Эсти рядом со мной. Но почему бы и мне не стать рядом с ней? А если сказать ей однажды: «Я люблю тебя, Эсти» — означало бы это, что я действительно ее люблю?

Надо бы пойти на собрание. Но как быть, если Эсти увидит меня с Евой? Стыдно будет. Стыдно.

Доклад закончился, и, должно быть, уже начался концерт. Я посмотрел на часы — было около десяти. Да, концерт начался давно. Кто же привез сюда артистов? Кто из шоферов привез их? Сейчас шофер, наверно, спит в машине, вытянувшись на переднем сиденье. И я в свое время любил поспать. Надо бы поспать.

Надо бы надеть пижаму, иначе к утру совсем замерзну. Но лень сковала меня, неохота даже потянуться за пижамой.

Хорошо бы до утра поиграть в карты, на пиво. Как бывало в армии — на десять филлеров. К утру проиграл бы форинтов десять. Но зато хорошо побыть среди людей. И ни о чем другом не думать, только следить за картой да время от времени потягивать легкое вино с содовой.

Хорошо бы побывать в театре.

Или посидеть в кино и посмотреть такой фильм о любви, где влюбленные не объясняются.

Хорошо бы поговорить с дядей Шани Балинтом. А может быть, и с Эсти. Да, с Эсти.

Хорошо бы побродить в лесу, посидеть у костра и поглазеть на трехметровые языки пламени.

Или поспать.

Вдруг послышалось, как кто-то рукой ищет дверную скобу. Я не обратил на это внимания. Зайти может только бабушка. Мама, посидев однажды молча на краю моей постели, больше не заходит ко мне. А дедушка только и знает, что ест да спит. Наверно, бабушка, а может быть, Имре Цанко. Дверь приоткрылась, раздались тихие шаги. Не мужские. Потом шаги удалились, и я услышал, как дверь заперли.

Должно быть, бабушка.

Шелест платья и больше никаких звуков.

Если что нужно, пусть скажет, тогда и откликнусь.

Тишина. Кто-то на ощупь продвигается ко мне, затем присаживается на край кушетки. Гладит мои волосы рукой. Легкой и шероховатой ладонью. Затем вдруг всем телом приникает ко мне.

— Не гони меня,— сказала Эсти.

Я повернулся к ней, приподнялся на локте.

— Дверь я заперла.

Глаза ее светились, и мне казалось, что в них я увидел отражение собственных глаз.

— Я не осталась на концерт,— сказала она.— В начале собрания Лаци выбрали в президиум. Выступал секретарь обкома партии. Говорил хорошо, только немного длинновато. Завтра в полдень начнем. Речь-то была не очень длинной, много задавали вопросов. Потом вышел Вероньяк и заявил, что желает вступить в кооператив. А папа сказал ему, что завтра принесут ему бланк заявления. Тогда я и решила уйти к тебе.

Эсти говорила тихо, словно обязана была во всем отчитаться передо мной.

— Боишься? — спросил я.

— Очень боюсь, Герге,— сказала она.

— Не бойся.

Она чуть прикрыла глаза.

— Папа ждал тебя.

— Завтра утром пойду к нему,— сказал я.— Может быть.

Со стороны нашего дома донесся пронзительный крик, я насторожился, но снова стало тихо. Опершись на локте, я лежал рядом с Эсти.

— Тебя никто не заметил?

— Не знаю.

— Хочешь, чтобы о тебе слава пошла по селу?

— Разве это имеет значение?

Она села на кровати и улыбнулась.

— Видишь — мне не стыдно...

Я обнял ее сзади за плечи и поцеловал.

Нас охватило страстное желание. Ни о чем другом не хотелось думать. Мы обнялись в горячем порыве, но вдруг она решительно высвободилась из моих объятий.

— Эсти, милая, не мучай меня...

Она отодвинулась и посмотрела мне прямо в глаза.

— Сама пришла,— сказала она,— а вот сейчас какой-то страх сковал мои ноги.

— А ты доверь их мне.

Она снова прильнула ко мне и, обняв за шею, тихо-тихо сказала:

— Глупые они — дрожат.

Недолгим был ее страх. Звезды мерцали в окне, понимающе мигая,— раз, два, три...

— О, Герге,— сказала Эсти,— какой ты хороший, какой хороший. Мне очень недоставало тебя, и я пришла. Слышишь, до этого я была еще девушкой, а сейчас даже не помню — так давно это было.

Волной захлестнула меня жалость к ней, хотелось плакать. Я жалел ее чуткое, жаркое, маленькое тело, ее чистую невинную душу, ее ясный ум — так жалел, словно все это досталось другому. Я жалел ее, как ребенка, которого обучили цирковому номеру, и он проделывает в воздухе головокружительные трюки.

— Эсти!

Она прильнула ко мне, прижав голову к моей груди.

— Тебя выдадут замуж за Лаци Лукача,— сказал я.

Сонно и беспечно она пробормотала:

— Не хочу об этом думать, Герге.

— Я боюсь за тебя...

Она гладила рукой мою грудь. Я чувствовал ее по-матерински нежную и обжигающую улыбку. Чувствовал ее пухлые маленькие губы.

— Мне жаль тебя,— сказал я.

Она дотянулась до моего лица и поцеловала.

— Сама хотела.

— Я провожу тебя домой.

Мы помолчали.

— Тебя надо бы посадить под замок,— сказал я.

Снова звенящая тишина.

— Ты хорошая.

Она потянулась за платьем, собираясь одеться.

— Я страдаю по тебе,— сказал я.

Она обняла мои колени и положила на них голову.

Так мы и сидели на краю кушетки, когда тишину вновь нарушили крики и стоны. Послышалась возня и глухие удары. Затем раздался крик, призывающий на помощь:

— Герге!

Я вскочил.

В окнах нашего дома горел свет.

— Подожди! — сказал я Эсти.

Дверь, запертая на цепочку, открылась не сразу. Наконец я нащупал задвижку, распахнул дверь и выбежал во двор. Здесь крики слышались отчетливее:

— Вот я тебе покажу! Я тебе покажу!

Я боялся, что кухня, откуда доносилась возня, окажется запертой. Осторожно нажал на ручку. Дверь подалась.

Я вошел.

Первой, кого я увидел, была мать, которая в слезах неподвижно стояла на пороге горницы.

На земляном полу кухни лежала бабушка. Над ней с веревкой в руках стоял Имре Цанко. Он был взбешен.

— Я тебе покажу,— приговаривал он, взмахивая веревкой,

Бабушка неподвижно лежала на полу.

Я подошел ближе.

Теперь Имре Цанко заметил меня.

— Я тебе...— Он осекся и опустил веревку.

Я не такой уж сильный. И кость у меня тонкая. Но в тот момент я почувствовал прилив такой силы, что моя рука как бы сама рванулась вперед, а кулак угодил прямо в нос Имре Цанко. Он качнулся в мою сторону. Левой рукой я держал его за воротник рубашки, а правой бил. Он выронил веревку, но я уже не мог владеть собой. Все напряжение, которое сковывало меня до сих пор, нашло выход в этой бурной разрядке. Я видел, как в воздухе мелькал мой кулак. Мне казалось, что это вовсе не мой кулак. Я уже опомнился, а кулак все еще продолжал наносить удары. Остановил меня лишь истерический крик и цепкие руки моей матери.

— На отца! — кричала она.— Поднял руку на отца!

— Он мне не отец! — ответил я.

— Тогда и ты не сын мне! Ты мне не сын!

Я смотрел на бабушку, которая все еще лежала на полу.

— Убирайся отсюда,— сказала мать.

Я взглянул на метавшуюся в истерике женщину. В ее глазах горела смертельная ненависть ко мне. Затем она бросилась в угол к мужу, обняла его голову, прижала к себе, покрывая ее поцелуями.

— Мой единственный,— причитала она.

Я поднял бабушку с пола и уложил на скамью. Мокрым полотенцем протер лицо. Ушибов на нем не было. На ее руках алели следы от ударов. Кофта на спине была порвана в клочья.

Достав со шкафа уксус, я протер им лоб и виски бабушки. Теперь я понял, что это был не первый случай. Вспомнил темные шрамы на бабушкиных руках, которые поразили меня в день приезда домой. Еще раз протер полотенцем ее лицо. Наконец она приоткрыла глаза. Всегда живой и пристальный взгляд ее теперь померк.

— Герге,— тихо проговорила она.— Зайчик ты мой.

— Подождите,— сказал я,— сейчас принесу лекарство.

Не взглянув ни на мать, ни на отчима, я побежал в летнюю кухню. Эсти уже ушла. Кровать была заправлена, мне даже на миг показалось, что Эсти вообще не приходила, что все это плод моего воображения.

Выдвинув ящик стола, я достал порошок и марлю. Лунный свет падал через окно на стол, освещая маленькую, тонкую перчатку Эсти. Задвинув ящик, я бегом вернулся в дом.

В дверях теперь стоял дедушка: взлохмаченный, с беспомощно опущенными руками, он растерянно смотрел, не зная, что предпринять. И, пока я возился с бабушкой, мне казалось, что все его существо уже давным-давно беспомощно болтается где-то на краю жизни. Он вздохнул и махнул рукой:

— Эх-хе, если бы я был мужчиной!

Мать подошла ко мне, тронула за плечо и глазами показала на коробочку с лекарствами.

— Дай и мне лекарство,— попросила она.

— Пожалуйста.

Она взяла коробочку и вскоре вернула обратно. Уголком глаз я видел, как она уводит Цанко в комнату, закрывает дверь.

Я остался с бабушкой. Взглядом и жестами успокаивал ее. Попросил дедушку принести ей другое платье, но она запротестовала.

— Выйди на минутку, пока я переоденусь,— сказала она.

Я не очень верил тому, что бабушка сможет переодеться сама, но не хотел ее обижать. Вместе с дедушкой мы вышли, и я напряженно ждал, пока бабушка позовет. Но ждал напрасно, она так и не позвала, и я вынужден был войти. Она с трудом возилась со своей юбкой, ее движения были неуверенными, я помог ей одеться и застегнуть кофту.

Затем мы перешли в маленькую комнату, и я уложил ее в кровать. Она не спала, только смотрела на меня, силясь улыбнуться. Я перенес сюда лампу, достал из ящика завернутую в скатерть бутыль с вином и стал неторопливо пить. Пил я один, так как дедушка, едва коснувшись подушки, уже беспечно спал, словно ничего не случилось.

— С каких пор это продолжается? — спросил я.

— О, внучек мой...

К рассвету усталость овладела ею, и она задремала, но я продолжал сидеть за столом.

Не помню, когда я опустил голову на руки, но проснулся с онемевшими руками и ногами. Мне почудилось, будто я старик. В голову пришли слова Эсти: «Слышишь, до этого я была еще девушкой, а сейчас даже не помню — так давно это было». Казалось, давным-давно прибежал я в дом из летней кухни.

Совсем другой человек вывел бабушку в кухню и усадил на стул. Это был решительный человек.

Я позвал дедушку, мать и отчима и, когда все собрались, сказал:

— Мне хотелось бы сообщить вам следующее. Первое: сейчас мы с бабушкой пойдем к врачу. Я заявлю на Имре Цанко в милицию. Второе: бабушка давно хотела переписать на меня землю. Я согласен. Соответствующий документ оформим в сельсовете. Если вообще в этом будет необходимость...

И умолк. Затем вышел в горницу и переоделся в новый костюм. Когда я снова вернулся в кухню, здесь все еще стояла глубокая тишина.

— Идем, бабушка,— сказал я.

Старушка опасливо покосилась на мать, но все же встала, я взял ее под руку. По пути забежал в летнюю кухню и положил в карман перчатку.

Мы уже подошли к калитке, когда дверь кухни распахнулась и мать закричала нам вслед:

— Мама! Ты этого не сделаешь!

Бабушка на мгновение остановилась, но тут же снова зашагала рядом со мной. Всю дорогу она не вымолвила ни слова, лишь крепко сжимала мою руку.

В полдень я сходил в милицию, где оставил заявление. Доктор дал нам справку, подтверждающую избиение. Он сказал, что ссадины заживут дней через восемь. На обратном пути мы говорили мало, бабушка целиком полагалась на меня, но взгляд ее сделался задумчивым и грустным, и было трудно угадать, о чем она думала.

Было еще совсем рано, когда мы вернулись домой; я снова уложил бабушку в постель. Мать и Имре Цанко сидели в кухне, за скотом во дворе присматривал дедушка. Они сидели с безразличными лицами, мать все хотела заговорить со мной, но я не давал повода. Цанко был подавлен и поеживался. Он ни на кого не смотрел. Его нос распух и был белым от мази. Под глазами легли большие тени. Я знал, что он ужасно напуган, и потребуется время, пока он возьмет себя в руки. И хотя этот страх не выражался явно, все же я догадывался о нем после случая с гледичией.

Я принес с чердака сало, съел немного и сказал матери:

— Приготовьте бабушке кофе!

Она кивнула и бросилась за посудой.

Уходя, в дверях я произнес:

— Позову милицию, если опять что-нибудь случится.

Мать заплакала.

— О-о, сынок...

— Мне все будет известно,— сказал я и быстро вышел, закрыв за собой калитку.

Я не мог поступить иначе, другого пути не было. В голове было светло, ничто, даже мое будущее, уже не тревожило меня, хотелось только, чтобы в нашем доме, во всем Гоноскатью был мир. Ради этого я готов был на все. Ради этого я и спешил к дяде Шани Балинту — ведь уже ночью я точно знал, как мне следует поступать.

Я решительно вошел во двор, не задумываясь даже над тем, что могу встретиться здесь с Эсти. Она тоже принадлежала к прошлому, которое было у меня до того, как я поднял руку на человека. Меня коробило при мысли об этом. Надо бы похоронить это прошлое, забыть о кулачном бое.

Я постучался и, не ожидая ответа, открыл дверь. Тетушка Йолан встретила меня пытливым, удивленным взглядом. Затем улыбнулась.

— Никак Герге,— сказала она.

— Дядя Шани дома? — спросил я.

— Бреется. Проходи и присаживайся.

Я сел на стул, дядя Шани с намыленной бородой выглянул из соседней комнаты.

— Вас жду,— сказал я.

— Я ждал — и ты подождешь,— улыбнулся он.

Из хлева вернулась Эсти с подойником, полным молока. У нее было очень красивое лицо. Она показалась мне поразительно красивой. И такой спокойной и уверенной, какой я никогда еще ее не видел.

— Сервус,— поздоровалась она.

Я кивнул и закурил. Долго прикуривал папиросу, лишь бы не смотреть на нее, лишь бы не бередить сердце, лишь бы не тосковать. Тетушка Йолан вышла за бидонами, а я протянул Эсти перчатку.

— У меня оставила.

— Знаю,— ответила она.

Эсти не взяла перчатку. Я взглянул на нее и увидел лучистую улыбку, бездонные затуманившиеся глаза. Они дурманили и тревожили и делали ее такой уверенной в себе. Они ласкали мое лицо и, словно пальцы, пахнувшие парным молоком, нежно ощупывали его, как трепетные язычки пламени.

— Во мне все поет от счастья, Герге,— сказала она.

Со двора вернулась тетушка Йолан с тремя двухлитровыми бидонами. Она налила в них воду и сполоснула. Затем сняла с шестка цедилку, обмыла ее и стала процеживать молоко. Я положил перчатку на край стола. Тетушка Йолан взглянула на нее, улыбнулась и спросила:

— Примеря́лся?

Эсти засмеялась и порывисто вышла в горницу. Скоро она вернулась, взяла веник, налила в лейку воды. Через раскрытую дверь я видел, как струйками воды она рисует на полу огромные розы, затем начинает подметать. Комнату наполнил приятный запах влажной пыли.

— Ну вот, Эсти уходит от нас,— сказала тетушка Йолан.

Я посмотрел на нее, но ничего не сказал.

— На троицу свадьбу сыграем. Я все говорю: обвенчайтесь в церкви, а то я со стыда помру, если они только в сельсовете распишутся. Как ты думаешь? — спросила меня тетушка Йолан.

Я заглянул в горницу, на стене между окнами висело изображение Христа.

— Лаци коммунист,— продолжала тетушка Йолан,— мой Шани тоже. Мой Шани говорит, что это не имеет значения, но ты подумай, каково мне. Дочь такого большого коммуниста и такой старомодной женщины. Принять смертный грех на свою душу? Или обидеть моего Шани? Что ты скажешь, Герге?..

— Если бы речь была обо мне, я бы знал, что делать,— сказал я.— Речь-то не обо мне.

— Потому что ты пес неверный,— засмеялась тетушка Йолан.— Упустил девку. А ведь ты мне больше нравишься, чем Лаци, хоть Лаци и пскладистый, хороший малый. Эсти будет счастлива с ним.

— А вы уверены в ее счастье? — спросил я.

Тетушка Йолан заглянула в комнату, где Эсти все еще мела пол. Она долго смотрела на дочь, затем повернулась ко мне с таким выражением лица, словно хотела сказать: «Подрасти еще надо тебе, пока научишься понимать, что оно такое — счастье». Но не сказала, лишь пытливо спросила:

— А ты разве не видишь?

Я ничего не ответил, побоялся.

Дядя Шани щеголем вышел из комнаты, похлопал меня по плечу. На нем были сверкающие праздничные сапоги, бриджи из серой шерсти и пиджак из такого же материала. Воротник рубашки был расстегнут, выглядел дядя Шани молодцевато.

— Не знаю, как и разговаривать с тобой.

Я встал и посмотрел ему прямо в глаза:

— Считайте, что я только что приехал домой.

Он щипнул короткий ус, прищурился, но ни единым жестом не выдал своих мыслей. Ничего не сказал мне, подошел к буфету, достал из него длинную белую бутыль с палинкой*.

— Для тебя припасена,— сказал он.

Взглянул на Эсти, и она сразу поняла его, вышла за стаканами. Но не внесла их в кухню, а поставила на стол в горнице и позвала:

— Пройдите сюда.

— Что ж, идем,— сказал дядя Шани.

За стол мы сели друг против друга. Эсти придвинула к нам стаканы, взяла бутыль, наполнила оба стакана. Ее движения были спокойными, уверенными. На ее сильной натруженной руке проступили вены.

— Пожалуйста,— сказала она.

Дядя Шани взглянул на меня, поднял свой стакан и едва заметно подмигнул:

— Я вроде старше тебя,— сказал он,— сервус!

Я был так уверен в себе, что ответил:

— В отцы мне годитесь.

— Годился бы! — засмеялся дядя Шани.

— И годится,— тихо произнесла Эсти.

Я быстро взглянул на Эсти; она стояла рядом с нами, на ее щеках горел румянец. Я поднял свой стакан и чокнулся с дядей Шани.

— Сервус,— сказал я.

Эсти побледнела как полотно.

Кровь отхлынула от ее лица, колени подгибались.

Я видел, как она взяла веник, сгребла на совок мусор и молча вышла из комнаты.

Я наполнил стаканы. Мы тут же выпили.

— Скоро свадьба,— сказал дядя Шани.— В эту пору трудно понять девушек.

Но я не кивнул в знак согласия, я лишь смотрел на дядю Шани, потом сказал:

— Могу я уплатить членские взносы?

— Прикрепительный талон есть?

— Конечно.

— Вот это мы и сделаем в первую очередь.

Он принес небольшой железный ящичек с партийными документами, записал мою фамилию в ведомость, выдал тридцатифоринтовую марку и, взглянув на меня, спросил:

— В какой группе хочешь работать?

— В той, которая приезжает в Гоноскатью.

Он слегка удивился, затем произнес, улыбнувшись:

— А ты все-таки не из робкого десятка.

Мы выпили еще раз и пошли в сельсовет. Попрощался я только с тетушкой Йолан. Эсти куда-то исчезла. Но меня это и не тревожило.

Из соседнего кооператива «Красная звезда» приехали к нам шесть агитаторов, шестерых прислал обком партии и областной совет, двена-

---

* Венгерская водка.

дцать агитаторов выделило наше село. Среди этих двенадцати был Янош Лукач, дядя Шани Балинт, Эсти, Михай Цифра, Жиндеи, два середняка, пользующиеся на селе авторитетом, председатель сельсовета, агроном, председательница женсовета, секретарь комсомольской организации и я. Таким образом, двадцать четыре агитатора взялись сделать наше село кооперативным. Еще вчера вечером после собрания в присутствии секретаря обкома их разделили на четыре бригады, каждая из пяти человек. Четверо агитаторов должны были находиться в сельсовете. В их числе был один из членов обкома, дядя Шани Балинт, Жиндеи и щупленький агроном кооператива «Красная звезда».

Как появилась Эсти, я не заметил. Когда вернулся в сельсовет, она была уже там и разговаривала с отцом Лаци — Яношем Лукачем. Я бегло взглянул на нее и заметил большие перемены. Она по-прежнему была красивой и необыкновенной, но в ее голосе, в ее движениях появилось что-то от обманутой женщины.

В сельсовете царил беспорядок. Агитаторы размахивали брошюрами, обменивались ими, обсуждали трудности своих участков, переругивались. Агитаторы из Ньирмезё чувствовали себя как дома. Было видно, что они не впервые участвуют в таком деле. Один из них жевал шкурку от свиного сала и улыбался, наблюдая за тревожной суетливостью новичков.

— Главное — не бояться,— говорил он.— Здесь крестьяне тоже не дураки. Три года назад я сам был единоличником. Когда вступил в кооператив, у жены желудок свело судорогой, целую неделю выхаживал ее врач, пока не встала на ноги. А сейчас заведует птицефермой, задела лась куриным главнокомандующим. Это, пожалуй, повыше петуха.

Вокруг засмеялись. В комнате по-прежнему было шумно и оживленно.

— А если во двор не пустят? — спросила председательница женсовета.— Я ведь сгорю со стыда, если в дом не пустят. И разревусь Господи боже мой, а если выгонят, что тогда?

— Не бойтесь,— сказал мужчина, жующий шкурку.— Со мной однажды вот что случилось. Один пригрозил натравить на меня собаку. Ну и ладно, думаю. Раз не зашел, второй раз прошел мимо и даже не взглянул на его дом. Кругом уже все вступили в кооператив, а к вечеру он сам вышел к воротам, окликнул меня и спрашивает: «Что же в мою калитку никто не стучится?»

Человек этот понравился мне своим спокойствием и уверенностью. Я подошел к нему и спросил:

— Вы, товарищ, в какой бригаде?

Он взглянул на меня, не вынимая изо рта шкурки и по-прежнему болтая ногами. Затем сказал:

— Я, брат, не знаю.

Подумав немного, я спросил:

— Со мной пошли бы?

— Мне совершенно все равно,— сказал он.— Главное — делать дело.

И отвернулся. Достал из-за щеки шкурку, осмотрел ее и произнес:

— Такую дьявольски соленую шкурку мне еще не доводилось жевать.

И снова сунул ее в рот.

Вскоре дядя Шани Балинт зачитал список бригад, и я узнал, с кем пойду в Гоноскатью. Сначала шла бригада, которой досталась новая часть села, затем те, кому предстояло работать в Варошдюлё и Кечкеш-

хедь. А дальше лучше бы и не читал. Янош Лукач вместе с Эсти пошли в Уйфалушу — будто, кроме старика, некого было с ней послать.

В мою бригаду попал середняк-односельчанин по имени Денеш Фаркаш, один невзрачный, как белорыбица, старик из Ньирмезё, руководитель областного статистического бюро и дядя Михай Цифра. Денеш Фаркаш с неприветливыми, густыми и седыми бровями, нависшими над глазами, был молчалив, и я понял, что он включен в группу лишь для солидности. Старика-белорыбицу звали Шимон Бак. По его словам, он — бригадир животноводческой бригады кооператива «Красная звезда». Большеголовый и лысый статистик часто моргал, и я догадывался, что он ко всем чертям посылает всю эту затею, предпочитая сидеть в конторе и поменьше встречаться с людьми. Что можно сказать о дяде Михае Цифре? Поглаживая черные закрученные усы, он твердил:

— Наконец и у меня есть фабра. В господа выбился, мать твою...

А мой друг, жевавший свиную шкурку, ушел в Кечкеш вместе с председательницей женсовета.

Грузовики стояли у сельсовета, и агитаторы уже садились в кузов. Я подошел к дяде Шани и сказал:

— Ты же прекрасно знаешь, дядя Шани, что Гоноскатью самый трудный участок.

— Конечно, знаю,— сказал он.

— А выделил мне самых слабых агитаторов.

— Откуда ты взял, что они самые слабые?

— Посмотри на них.

Дядя Шани взглянул на меня и сказал:

— Не говори зря, Герге.

Что я мог поделать? Из репродукторов вырывалась какая-то избитая пештская песенка, рычали грузовики, пора было трогаться в путь.

Грузовик дернул. Стоя на прицепе, Михай Цифра воскликнул:

— Курс на Гоноскатью! Впереди виноградари!

Отчего ж не дрогнуло при этих словах мое сердце? Отчего ж не охватил меня боевой задор? Видно, не каждому коммунисту удается быть агитатором. Я спрашивал себя: «По плечу ли мне такая задача? Справлюсь ли я с ней?»

Машина остановилась перед усадьбой старого Петё. Из его сада еще в детстве Эсти воровала для меня яблоки-скороспелки. Перелезая через изгородь, она тогда сильно поцарапала ногу. Я думал, что хозяином усадьбы теперь стал Болди со своей женой, похожей на подростка, которую он привез из местечка Шац. Болди был еще сопляком — на два года моложе меня. Жизнь щадила его, не пришлось ему служить и в армии, так как он оказался единственным кормильцем в семье. А когда Меньюш перебрался к Ботошам, отец переписал на него оставшуюся часть хозяйства. Во дворе Петё всегда была злая сторожевая собака — помесь дворняжки с овчаркой. Когда машина остановилась перед его домом и мы постучали в калитку, собака вскочила, но, услышав мой голос, успокоилась, поджала хвост и поплелась обратно к конуре.

Мы вошли во двор, и я вовсе не размышлял над тем, какая нам уготована встреча. Возьмется ли Болди опять за плеть? Пусть. Мне нужно было убедить его, и я надеялся сделать это.

Постучались в прихожую. Оттуда послышался голос старого Петё, словно он поджидал нас. Но дверь открыл не он сам, а жена Болди, на лице которой, казалось, не было ничего, кроме больших глаз. Мысленно я поставил ее рядом с Эсти, и она показалась мне десятилетней девоч-

кой. Подвижной она была, видно, только в постели — даже резвой, как рыба, угодившая на крючок. А днем вряд ли можно долго терпеть ее лень.

Я пропустил впереди себя Денеша Фаркаша, Шимона Бака, Михая Цифру и статистика только для того, наверно, чтобы самому закрыть за собою дверь. В прихожей было светло. Вошедшие поздоровались, пожали руку старику, и мне ничего не оставалось как тоже, не мешкая, протянуть руку. Болди спустился с чердака, в его руках был пыльный резиновый шланг, в углу валялся разобранный опрыскиватель, который он чинил до нашего прихода. Мы пожали друг другу руки так, будто встретились сейчас впервые после многих дней разлуки. Взглянув на меня, он покраснел. Затем взгляд его стал суровым.

— Ну что ж, садись и ты,— сказал он.

Его маленькая жена принесла из комнаты стул. Я улыбкой поблагодарил ее, а Денеш Фаркаш, двигая густыми бровями, уже заводил разговор со старым Петё.

— Вряд ли кто может сказать,— говорил он,— что я плохой хозяин. А вот теперь еще и бригадиром стал. Землю поливать будем из реки, как бывало в имении Рабаи. Помнишь, я говорил тогда: надо уступать, надо идти со всеми вместе. А ты все тянешь, брат?

— Тяну,— сказал старый Петё, вынимая изо рта трубку с длинным мундштуком.

— А к чему? — спросил Денеш Фаркаш.

— Черт его знает,— сказал старик,— авось и так до смерти дотяну.

Я сидел на стуле, не вмешиваясь в разговор, а в голове роились мысли, которые надо было высказать здесь, перед Болди, но фразы казались какими-то беспорядочными и, главное, никак не приходились к месту. «Надо бы сказать что-нибудь»,— думал я.

— Так-таки и не решаешься? — спросил Денеш Фаркаш.

— Мне не много надо.

— Что же так?

Я смотрел на Болди, который сжал в руках резиновый шланг, скрутил и отпустил.

— Если рассудить трезво, то упрямство здесь излишне,— сказал статистик, и, хотя в его словах звучала истинная правда, мне сразу стало стыдно оттого, что он заговорил. Не ему бы произносить эти речи — они не шли ему, и в этом, мне казалось, была его главная беда.— Во всех уголках земли,— говорил он,— специалисты знают, что без крупного хозяйства невозможен подъем производительности труда, а другого пути в национальном масштабе нам не дано. В Соединенных Штатах в 1935 году,— продолжал он,— крестьян вовсе не спрашивали. На поля вышли тракторы, перепахали землю, опрокинули домишки, ежели они оказались на пути. Полтора миллиона крестьян, извините, просто были выброшены на улицу, многие из них умерли с голоду, потому что, как писал товарищ Стейнбек, при укрупнении хозяйства крестьянам некуда было податься.

— Возможно,— сказал старый Петё, посасывая трубку.

— У нас, в Ньирмезё,— произнес Шимон Бак,— уже все вступили в кооператив, и я бы не сказал, что мы стали жить хуже.

— И это возможно,— сказал старый Петё.

Михай Цифра резким дзижением расстегнул куртку.

— Так в чем же дело, черт возьми! — воскликнул он.

Старый Петё спокойно взглянул на него и произнес:

— Ты, брат, не кричи на меня, не громыхай.

— Гром громыхает.

— Я и говорю, не кричи.

— Вот бумага, подписывайте,— сказал Цифра,— и все будет в порядке. Видит бог, я даже готов с вами расцеловаться...

— Не мой черед,— сказал Петё.

Наступила тишина, агитаторы поглядывали на меня, не зная, как быть дальше. Я достал сигареты, предложил Болди, но тот отказался. Я закурил и с легкой дрожью в голосе сказал:

— Вот мы пришли, Болди...

Он ничего не ответил, только бросил на меня быстрый пытливый взгляд.

— Мы хотим организовать в Гоноскатью кооператив,— сказал я.— Помочь людям сделать шаг вперед.

Болди накрутил на локоть резиновый шланг.

— Простаком меня считаешь,— спросил он,— одурманить пытаешься?

— Никакого тут дурмана нету,— сказал я.— То, что люди десять лет проповедуют, не может быть дурманом.

— Так чего же ты хочешь? — спросил он.

— Хочу, чтобы ты вступил в кооператив.

— А я не хочу.

— Так уж заведено,— сказал я,— кто-то из нас должен уступить.

— Я уступать не собираюсь,— сказал он.

— На рынке тоже так,— сказал я,— кто предлагает товар, тот и держится тверже.

— Никто еще не сказал мне, что в кооперативе будет лучше,— сказал он.

— И я не говорил. В первый год жизнь вряд ли улучшится. Об этом нечего и думать. Ты только представь себе, что будет, если объединится весь поселок. Шестьсот хольдов виноградника! Сколько понадобится машин, хорошо оборудованных винных погребов, бочек, помещений для скота. И всем этим кооператив должен обзавестись. К тому же из шестисот хольдов виноградника двести надо сбросить со счетов, так как толку от них все равно нет: лоза на них застарела, пошла дикая поросль. Что толку от виноградника Иллеша-американца? А сколько хороших корней на пятнадцати хольдах Вероньяка?

— Так чего ж ты меня тянешь туда, если сам не обещаешь ничего хорошего?

— Человек потому и человек, что он может рассчитывать не только на самого себя, но и на других. На страну, на весь народ, на общее дело...

— Чихал я на все,— сказал он.

— А ведь и у Вероньяка, и у Иллеша должен быть такой же хороший харшлевелю, как у Меньюша.

— Из-за них я и должен рисковать? — спросил Болди.

— Человек рискует, когда рядом с ним никого нет,— сказал я.— А если вместе с тобой все село, если за тобой стоит вся страна?..

— Я и сам крепко стою,— сказал он.

Я ничего не ответил. Тихо было в кухне, жене Болди нравилась запальчивость мужа — на ее лице светилась улыбка, и мне вдруг захотелось, чтобы рядом со мной была Эсти.

— Мне казалось, что ты умнее,— сказал я.— Впрочем, что можно ожидать, если тогда в погребе...

Болди словно хлыстом ударили — голос его зазвучал на высоких нотах:

— А я не вступлю, понял? Не вступлю. И ты мне не угрожай, я ни-

чего не сделал. Я был там, но ничего не сделал. Ты меня не принуждай, я не настолько глуп.

Я выждал, пока он немного успокоится. Статистик тем временем встал, собираясь уходить. По его виду можно было определить, что чувствовал он себя скверно. Михай Цифра, как обычно, улыбался, покручивая ус и посматривая на Шимона Бака, который сидел с самым равнодушным видом. Денеш Фаркаш спросил старого Петё:

— Ты понимаешь своего сына?

— А черт его знает,— признался старик.

— Ты хочешь забрать меня, я знаю,— сказал Болди.— Упечь за решетку, если не вступлю в кооператив. Пусть, мол, Болди Петё сгниет там, потому что Герге Коош испугался кнута. Ну так забирай, забирай...

Я взял его за руку, отнял резиновый шланг и бросил в угол.

— Дурак.

— Забирай!

— Осел ты.

— Или не заберешь? — вызывающе засмеялся он.

— Если ты, Болди, силой хотел взять, то и я, думаешь, так поступлю? Нет, Болди, это не по-моему, не по-нашему...

Он стоял с пылающим лицом, не зная, что ответить.

— С января,— сказал статистик,— по области арестовано всего семь человек. Извольте, могу уточнить.

Он вынул из кармана какие-то скомканные бумаги, исписанные цифрами.

— Три человека — за кражу со взломом, двое — за расхищение общественной собственности, а один — за убийство родного брата.

— А седьмой за что? — спросил Болди.

Статистик посмотрел в сторону женщины с детским лицом:

— Прошу прощения, мне бы не хотелось, чтобы вы слышали это.— Затем, повернувшись к Болди, произнес: — Я бы сказал, за преступление против нравственности. Злодей был гомосексуалистом, под мостом у него было пристанище. Кошмар!..

Старый Петё хихикнул в своем углу, вынул изо рта трубку и далеко сплюнул.

— Недели две назад в Шацах тоже слух прошел,— сказал Шимон Бак,— будто у нас, в Ньирмезё, пятерых увезли на машине. Собрались десять шацких крестьян, пришли к нам и по домам расспрашивают: «Кого у вас взяли, люди добрые?» — «Кто взял, господи, впервые слышим». Идут дальше, опять спрашивают: «Кого у вас увезли, люди добрые?» — «Хромого Пишту Вереша».— «В наручниках?» — «Черта с два, в праздничном костюме».— «А куда увезли?» — «В агрошколу. Будь они неладны — тоже выбрали! Не могли найти лучше». Идут они дальше, на край села, спрашивают: «Кого увезла машина, люди добрые?» — «Да вы, никак, рехнулись!..» После этого шацким мужичкам стало ужасно стыдно. Оно и понятно, разве поверят им дома, когда они расскажут правду. Хотелось бы знать, поверили им или нет?

— Сват тоже рассказывал про это,— произнес в углу старый Петё и показал на женщину с детским лицом.— Отец вон той девочки. Человек он — правдолюбец.

Стало тихо, затем я спросил Болди:

— Так как же быть, Болди?

— Мы говорим на разных языках, Герге.

— Я здесь родился и никому не желаю зла. Только добра желаю, Болди.

— За это я готов угостить тебя стаканом вина,— сказал он.

Я встал. В его голосе прозвучала оскорбительная нотка, но я смолчал.

— Не примешь? — спросил он.

Я улыбнулся:

— От тебя? Чтобы ты потом сказал, что я под пьяную руку агитирую. Не хочу грех на душу брать.

— Под пьяную руку?..

— Ты только народ не будоражь,— сказал я.

Тут он запальчиво выкрикнул:

— Да пойми ты, наконец, я не хочу быть нищим!

Разговор можно было считать законченным. Правда, я еще говорил о том, что лодырь заслуживает прозябания в нищете, что глупо гнаться только за своей личной выгодой, но мы так и не сдвинулись с места. Не попрощавшись, я вышел к машине, за мной — остальные. В машину мы не сели, а молча отправились пешком, и я чувствовал, как все были удручены неудачей. Правда, я и не ждал легкого успеха, так как знал, что ветер в Гоноскатью меняет направление медленно. Не ждал я и легкого ветерка, только не предполагал, что он перерастет в ураган, хотя уже многие признаки говорили об этом. Не приметил я, как надвигались грозные события...

Мы побывали еше у трех хозяев с наделом в один-два хольда. Они были вчера на собрании, и тут мы договорились легко. Они кое-как перебивались из года в год и не чаяли освободиться от хлопот с землей. При своей земле они бесплатно ходили на поденщину, чтобы отработать на лето опрыскиватель или чан, в котором давят виноград. Я видел, что они только ради приличия тянут время, удерживают нас в доме, угощают вином и закусками, перед тем как подписать заявление, с которым связаны все их надежды.

С этими тремя заявлениями в десять часов вечера мы и вернулись в сельский совет. Результаты не блестящие. Остальные три группы принесли с собой по десять-пятнадцать заявлений, и настроение у них было приподнятым. Председательница женсовета не хотела отпускать руку моего друга, жующего свиную шкурку, не отставала от него ни на шаг и каждому твердила:

— Волшебник! Мой бригадир — волшебник!

Я не решился сдавать в сельсовет свои три заявления и, только когда меня заметил дядя Шани Балинт, в смущении подошел к нему.

— Ну как, Герге?

Я молча положил перед ним бумаги, он посмотрел на подписи, подумал немного, взял меня за руку и спросил:

— Пойти мне завтра с тобой?

В его глазах засветились озорные огоньки.

— Нет! — сказал я.

— Ну что ж, тебе видней,— сказал он.— А может, пойти?

— Хотите доказать, что вы умнее меня?

Сразу став серьезным, он холодно и отчужденно произнес:

— Я, сынок, всего-навсего глупый мужик!

Я оцепенел.

— Да,— ответил я,— вы глупый мужик, если думаете, что в Гоноскатью за полдня можно собрать пятнадцать заявлений.

Он взглянул на меня, и я никогда в жизни не забуду выражения его глаз.

— А я думал, мы с тобой на «ты»,— сказал он.

Спазма сдавила мне горло, я любил и ненавидел этого человека. Мне казалось, будто не он, а Эсти стояла передо мной, Эсти, которую

можно обидеть и оттолкнуть, сорвать как цветок и выбросить, которую можно безумно желать и ненавидеть за ее слепую привязанность.

Наверно, он заметил, что происходит со мной, обнял меня за плечи и, как сыну, сказал:

— Ступай домой, Герге, отоспись.

Глотая слезы, я поспешил домой. По пути я обогнал Эсти, которую провожал Лаци Лукач. Слезы высохли мгновенно, сердце сжалось, в отчаянии я готов был убить ее. Я остановился, подождал их. Затем молча зашагал рядом. Так мы шли долго, до самого магазина, в котором работал Лаци. Здесь мой друг детства спросил:

— Я открою магазин, зайдешь?

— Открывай.

Эсти остановилась в дверях, Лаци снял крышку с винного бака.

— Два по сто?

— Три по сто,— сказал я.

Он разлил вино в два стакана, но я сказал, кивнув в сторону Эсти:

— Ей тоже налей.

Лаци наполнил третий стакан, мы выпили. Вино было неприятным. Горло сдавила спазма, но я все же проглотил отвратительную жидкость. Затем выпил еще два стакана, каждый раз опасаясь, что не смогу проглотить новую порцию.

— Тебе не нравится вино,— сказал Лаци.

— Не нравится.

— Зачем же пьешь?

Я посмотрел на него словно сквозь туман.

— Четыре года я никого не любил. И теперь вот не могу поверить, что влюблен.

Лаци стоял за винной бочкой, и мне было совершенно безразлично, что он здесь и что я стою напротив него.

— Возможно, мы подеремся,— сказал Лаци.

Я ничего не ответил, допил вино и, не взглянув на Эсти, вышел на улицу.

В дом я не заглянул. Умывшись в кадке с дождевой водой и едва раздевшись, усталый, я повалился на кушетку в летней кухне. Долго мне казалось, что заснуть не удастся, и все же незаметно я погрузился в глубокий сон.

За всю ночь я ни разу не шелохнулся, мне снились тревожные сны. Чудилась огромная гора, вращающаяся на кончике крохотной иголки. С вершины скалы будто срывается маленький камешек, который быстро катится вниз, превращается в глыбу и погребает меня.

А в пять часов утра я уже снова был в сельсовете. В половине шестого наш грузовик остановился у дома Эшковачей. Мы вылезли из кузова, но, так как двор казался вымершим, я попросил всех подождать у калитки, пока не узнаю, проснулись ли хозяева.

Предполагать, что Эшковачей нет дома, было трудно. В углу двора спокойно отдыхал скот. Видно, с утра ему уже задали корм, иначе его рев был бы слышен далеко вокруг.

Дверь, ведущая в кухню, была заперта на замок. Может быть, действительно никого нет дома. Нехитрый прием увильнуть от встречи с агитаторами: уйти из дому пораньше и вернуться попозже.

Я пересек двор, чтобы заглянуть в летнюю кухню. Оконная рама, которую сын Эшковача принес от нас, была уже вставлена, но в ней еще торчали осколки разбитого стекла.

Я заглянул в разбитое окно.

Заглянул — и не поверил своим глазам.

Внутри, на плетеной кровати лежали сын Эшковача и дочь Ботоша — жена Меньюша Петё. Оба спали, накрывшись до подбородка одеялом. Я отступил от окна и прислонился к стене. В голову пришла мысль: зачем мне вообще нужно было затевать тогда разговор с этим мальчишкой? Зачем я подбодрил его сделать этот шаг?

Подойдя к углу кухни, я увидел на земле широкую молочную лужу. Разлито было, по крайней мере, литров десять молока, такого жирного, что его не впитывала земля. «Если Меньюш Петё узнает, что здесь была его жена,— подумал я,— он убьет этого сорванца». Я не знал, что предпринять.

Вот никогда бы не подумал, что дочь Ботоша может изменить своему мужу. Но, видно, такова уж страсть этой женщины, которой перевалило за тридцать, подумал я и вспомнил икры ее ног, которые бросились мне в глаза, когда я у реки вырезал удилище.

Потом в голову опять пришла мысль, что именно я помог свершиться этому. Разве все это не было предрешено уже тогда, когда я прогуливался вместе с сыном Эшковача с оконной рамой под мышкой? Вспомнилось задумчивое выражение его лица, когда он спросил меня: «А если не ветреная?» Тогда я прервал свой рассказ и скупо ответил: «Твоя судьба».

Теперь же мне нужно было что-то предпринимать. Удрученный, я вернулся к калитке и попросил шофера:

— Дай сигнал.

Окрестность огласилась протяжным звуком.

— Давай, давай,— крикнул я.

Мои спутники не понимали, для чего нужно сигналить. Статистик ежился от прохладного утреннего воздуха, а дядя Михай Цифра, наоборот, был без пиджака, в одной рубашке.

— Вам не холодно, дядя Михай?

— Что ты, брат, в новой-то рубашке! — сказал он и кивнул в сторону дома.— Не гудеть, а в дверь барабанить надо!

Покашливая, я снова подошел к летней кухне и постучался в дверь. Вскоре изнутри донеслась возня, затем послышались шаркающие шаги.

— Кто там?

— Выйди, Питю,— сказал я.

Он высунул голову, насупив брови, но, узнав меня, по-мальчишески стыдливо улыбнулся.

— Да ты выйди, не бойся,— сказал я.

Мы подошли к углу кухни, где еще стояла молочная лужа, я взглянул на него и предложил сигарету.

— Это ты выплеснул?

— Ну, а если я?

— Раз ты, значит, ты. Только зачем?

— Спрашиваешь!

Я улыбнулся, потом серьезно сказал:

— Хоть бы окно изнутри чем-нибудь завесил — шалью или одеялом...

Он стоял, опешив, с сигаретой в руке, и земля, казалось, заколебалась у него под ногами.

— Иначе нельзя было, Герге,— сказал он.— Мои родители уехали в город, а ей я посоветовал сказать дома, будто она тоже поедет в город продать немного молока — вот этого. А что еще придумаешь...

— Когда вернутся родители? — спросил я.

— Еще засветло.

— Я пришел с бригадой агитаторов, понял?

— Я помогу тебе.

— Хорошо, если просто будешь молчать.

— Я от всего сердца хочу помочь тебе, Герге. Так или иначе, хозяйство будет моим, так что отцу все равно. Он поймет.

— Еще потом жалеть будешь и проклинать меня на чем свет стоит,— сказал я.

— Я уже тогда решил, Герге, ночью. И отцу намекал, но он ни шиша не ответил.

Я положил руку на его плечо.

— В таком случае, мы еще вернемся, Питю,— сказал я, уходя.

Он робко окликнул меня:

— Герге!

Я знал, о чем он хочет просить меня, и от чистого сердца успокоил его:

— Я не люблю сплетничать.

Эшковач продолжал стоять перед кухней, пока наша машина не двинулась дальше. Мне было жаль его, и все же какое-то хорошее настроение овладело мной и не покидало на протяжении всего дня. Оно не покидало меня несмотря на то, что мы переползали от одного дома к другому без всяких результатов.

Иллеш-американец, например, даже не пригласил нас в дом, а разговаривал с нами на веранде. На нем был голубой фартук, он оглядел нас своими насмешливыми голубыми глазами, из нагрудного кармана свешивалась серебряная цепочка часов, словно чей-то большой язык. Он внимательно выслушал нас, но ничего не сказал в ответ. Ни да, ни нет. А ведь он знал, что ему была бы оказана честь, если бы его приняли в члены создающейся кооперативной группы, он мог убедиться в этом еще и потому, что мы не торопили его. Мы не надеялись сразу перетянуть на свою сторону трех крепких хозяев Гоноскатью, а только пытались раскрыть перед ними перспективы. Но Иллеш ничего не ответил, и мы пошли.

Он все же проводил нас до ворот, и, когда мои спутники уже взобрались на машину, Иллеш-американец взял меня за руку.

— Послушай! Меня это не устраивает,— сказал он.— Я десять лет работал в Америке, работал, как пять негров. Вернулся домой, получил эти восемнадцать хольдов. Что ж, теперь я должен отдать их этой голытьбе? Это меня не устраивает, Герге.

— Верно,— сказал я,— вас это не устраивает.

— Ну, вот видишь. Восемь лет я твержу это каждому встречному. Наконец, хоть ты меня понял. Надеюсь, вы меня не обложите опять двойным налогом?

Машина тронулась, и мне надо было спешить. Иллеш все еще ждал моего ответа, но я побежал, лишь бы не отвечать ему, да и сказать-то мне ему было нечего.

В этот день наши результаты были еще менее отрадными, чем накануне. Вечером мы принесли в сельсовет всего-навсего два заявления, одно из них от Эшковачей. Встречаться с дядей Шани вообще не хотелось. Я отдал заявления Денешу Фаркашу, который отнес их в сельсовет, а сам уселся на валун перед домом в ожидании возможных особых распоряжений на следующий день. Здесь я и узнал, что на остальных участках в кооператив вступила половина крестьян, а дня через два можно надеяться на девяносто процентов. Я знал, что если встречусь с дядей Шани, то легко от него не отделаюсь, завтра же он прицепится ко

мне, и тогда все пойдет прахом. Тогда вновь придется подымать паруса и возвращаться в город, который уже не тянул меня так сильно, как раньше.

Я попрощался с агитаторами и поспешил домой, избегая всяких встреч после неудачного дня. Но летняя кухня в этот вечер словно превратилась в место паломничества, до самой полуночи меня не оставляли в покое. Сначала пришла мать — я узнал ее по мягкой руке и по заботливости, с какой она укрыла меня одеялом, думая, что я сплю. Как и в день моего приезда, она села на край кушетки и молча всплакнула. Бабушка так не поступила бы — она и не сделала этого, когда зашла в кухню. Суровая и твердая, она и не подумала поправлять на мне одеяло, и мне почему-то больше нравилась эта ее суровость. Бабушка нарочито шумно расхаживала по кухне в надежде, что я проснусь. Но мне не хотелось вставать, хотя я и не спал,— мысли мои были заняты совсем другим.

К полуночи пришел Имре Цанко и долго стоял в дверях. Я повернулся на левый бок, прикрыв на всякий случай сердце. В нервном напряжении, затаившись всем своим существом, я ждал удара. Цанко подошел ко мне, потрогал за плечо, но мне не хотелось с ним разговаривать, и я притворился глубоко спящим. Потеряв надежду разбудить меня, он ушел, и я, успокоившись, погрузился в сон.

Мне снова снилась гигантская гора, вращающаяся на острие крохотной иголки, снилось, будто опять с вершины скалы срывается камешек, превращается в глыбу и с бесконечным грохотом погребает меня.

Я проснулся вспотевший и усталый. Едва умывшись, я уже бежал в сельсовет к назначенному времени. Мы погрузились на машину и снова двинулись на Гоноскатью, чтобы попытаться, я бы сказал, совершить невозможное. Я твердо верил в себя и, несмотря ни на какие неудачи, надеялся на успех. На этот раз я уже свободнее и увереннее разговаривал с людьми, мои аргументы множились, хотя здравомыслящие люди и не нуждались в них — они и так понимали, что улучшение жизни каждого человека, экономические интересы всего народа требуют перехода к крупным хозяйствам.

Но на здравомыслящих и дальновидных людей в Гоноскатью рассчитывать было трудно. Старая мораль и старые нравы господствовали здесь безраздельно и новая рубашка Михая Цифры никак не могла быть лучом света в темном царстве. А мое положение в Гоноскатью было таким двойственным, что многие меня не понимали.

К полудню мы побывали у семи-восьми хозяев, и только один из них подписал заявление. Да и этим похвастаться мы не могли — человек был невзрачным, слабохарактерным. После обеда наступила очередь Шамуэля Ботоша, которого я постоянно избегал. С его домом были связаны горькие воспоминания моего детства, затем привязанность ко мне дяди Шаму и, наконец, последний случай, когда я подвергся новому унижению.

Нет, смелости во мне не было, была лишь воля. Мне предстояло встретиться с мужчинами этого дома и отстоять свою веру. Я не знал еще, с чего начну, но это, откровенно говоря, меня и не волновало.

В этом доме я позволил себе то, чего везде избегал. Как только мы сели, дочь Шаму, которую совсем недавно я видел в кровати у Питю Эшковача, принесла и поставила на стол бутыль вина. Тут же появились и свежие погачи *, словно их специально испекли к нашему приходу.

---

* Соленые лепешки с запеченными шкварками.

Я знал, что мы пришли к хлебосолам, которые угощают вином даже своих заклятых врагов.

Я попытался сразу взять быка за рога.

Вспомнив, как жена Меньюша Петё посмеялась надо мной, я взглянул на нее и сказал:

— Ну вот мы и пришли поговорить.

Она ничего не ответила, на ее щеках горел широкий румянец, словно она только вчера вышла замуж.

— С тобой поговорить, Меньюш,— сказал я ее мужу.

Меньюш Петё вытер свой вздернутый кверху нос, прищурился и холодно рассмеялся.

— И с вами, дядя Шаму,— сказал я.

Выговорить эти слова было для меня самым трудным делом. Старик наполнил стаканы.

— Чокнемся, стручок,— сказал он.

Я не возражал. Мы подняли стаканы. Потом еще раз. Горьковатое харшлевелю обжигало горло.

— Этот парнишка Герге,— говорил дядя Шаму, обращаясь к остальным,— вырос у меня на руках. Думаю, я сделал доброе дело. Правда, Герге?

Мы засмеялись, я махнул рукой, а жена Меньюша ушла в горницу и долго не выходила оттуда. Я взял большой кусок хлеба и стал неторопливо отщипывать от него небольшие кусочки.

Дядя Шаму усердно наполнял стаканы вином, а после четвертого стакана его глаза уже заблестели.

— Дай-ка мне тарогато *,— сказал он Меньюшу.

Меньюш вышел в другую комнату, было слышно, как он открыл дверцу шкафа и вскоре вернулся с инструментом, горловина которого была заткнута белой льняной тряпкой. Дядя Шаму вытащил тряпку, взял небольшую фиоритуру, пробуя инструмент. Из соседней комнаты послышался страдальческий голос больной раком тетушки Мари:

— Шаму, уймись ты, Шаму...

— Замолчи,— бросил он и тихо запел:

Замесило, напекло
Нынче все наше село
Вкусные погачи.
Я отведал, вкус узнал
И любовью запылал.
Замесило, напекло
Нынче все наше село
Вкусные погачи...

Мы слушали, затем выпили еще раз. Дядя Шаму не допускал исключений — все должны были осушить стаканы. Подождав, пока Меньюш снова наполнит их, он опять поднес к губам тарогато и запел:

Расскажи мне, сынок, где ты был, где ходил?
На Гокайских холмах был я, батюшка.
Расскажи мне, сынок, кого видел ты там?
Трех красавиц младых видел, батюшка.
Расскажи мне, сынок, с ними делал ты что?
Целовал, целовал я их, батюшка...

Здесь старик перестал петь, потому что надо было еще раз выпить. Меньюш тут же наполнил стаканы, а дядя Шаму продолжал петь про парня и трех молодух до самого того куплета, где говорится, как молодухи оставили парня едва живым в одной тенистой беседке Токая.

---

* Венгерский духовой инструмент, род кларнета.

К концу песенки мы снова должны были осушить стаканы, и Ботош завел уже новую мелодию.

Зимняя кукушка,
Тетя с бородою,
С бородой такою —
Не закрыть полою...

У песенки было продолжение, но старик взглянул на меня и спросил:
— Помнишь, стручок?
Разжевывая хлебную корку, я ответил:
— Помню.
Дядя Шаму положил тарогато на колени и принялся долго и усердно прочищать клавиши. Затем произнес:
— Все-таки пришел?
— Пришел.
Шаму Ботош отдал инструмент Меньюшу, облокотился на стол, долго смотрел мне в лицо, наконец спросил:
— Ты в своем уме?
— Разве дядя Шаму был в своем уме, когда запер за мною дверь винного погреба?
В его больших карих глазах сверкнули молнии.
— Ты прав.
— Странное дело — любовь,— сказал я.— Вы заперли меня в погребе, чтоб я на своей шкуре припомнил старые законы Гоноскатью. Но я не принял их, дядя Шаму. Я приехал сюда, чтобы рассказать вам о новых законах Гоноскатью.
— Иоанном Крестителем стал?
— Это уж как хотите...
— Только мы не православные,— сказал он,— а католики.
На мгновенье я попал в тупик: ведь католики действительно не празднуют день святого Иоанна Крестителя, это православный праздник. Но затем, засмеявшись, я нашел выход:
— И те, и другие — христиане.
— Тогда мы станем язычниками,— сказал дядя Шаму.
— Язычникам святой Стефан заливал уши расплавленным свинцом.
— Ты не святой Стефан.
— Нет, я не святой Стефан. Я его гонец.
Дядя Шаму взглянул на меня и предложил:
— Выпьем.
— Выпьем.
Мысли мои были ясными, голова — свежей, как после купанья в реке.
— Я всегда считал вас крепкими хозяевами.
— Меня не считай,— сказал старик.
— Мы не любим попов,— сказал Меньюш.— И никаких проповедей не любим.
— Шестьсот хольдов виноградника...— начал было я.
— Мне до них нет никакого дела,— сказал старик,— свои я выстрадал. Пусть кто-либо скажет, что это не так!
— Свои? — спросил я.
— Мои!
— Чужие,— сказал я.— Уже его — Меньюша Петё!
Меньюш соскочил со стула, его лицо загорелось красными пятнами, вне себя от ярости он заорал:
— Вон отсюда!

Из соседней комнаты выбежала жена Меньюша, схватила его за руки и умоляюще простонала:

— Меньюш... Меньюш...

— Вон отсюда! — кричал он.— Чего тебе от нас нужно? Нас агитируешь, загоняешь в кооператив, а сам потом шляпу на нос и — прощай Гоноскатью?! Это вы умеете! А ты сам попробуй! Сам-то не вступаешь? Других затащить — дело легкое, браток! Но на мою шею не накидывай петлю. Зря агитируешь! Убирайся отсюда подобру-поздорову... И не сули мне ни рай, ни ад — мы сами о себе позаботимся. Убирайся к чертовой матери!

Итак, нас постигла еще одна неудача. Было очень горько сознавать это. Не потому, что Меньюш Петё выставил нас из своего дома. Нас это особенно не встревожило бы, если бы в моей кожаной сумке лежало несколько других заявлений. Но там было всего-навсего одно, а солнце уже клонилось к закату. Что я мог поделать? Какие найти слова? Хоть бы пришла директива о том, что крестьяне должны вступать в кооперативы. Но директивы не было, и у нас не было никаких средств принуждения.

Молча я подошел к машине и сказал своим спутникам, что сегодня больше не переступлю порог ни одного дома.

«Уеду куда-нибудь подсобным рабочим,— думал я,— буду жить спокойно, на жизнь всегда сумею заработать, но зато никто не посмеет меня оскорблять. Почему я должен терпеть это? И должен ли я вообще терпеть? Кто мне может диктовать свою волю, пусть я даже сто раз согласен с этим человеком? Почему я должен смотреть, как люди плачут и бранятся, и подвергать себя испытаниям? Кто это возместит мне?»

Но тут же меня больно поразили мои собственные мысли:

«Боже мой, до чего же так можно дойти! Ведь это же значит отрекаться от себя же, как и там, в погребе, перед Меньюшем Петё. Как может человек настолько забываться? Неужто я так и не отделаюсь от этого малодушия? Разве не стыдно вспоминать о том, как тогда я трусливо бежал? А ведь из пушек еще не палили!

И разве не прав Меньюш Петё? Ведь я только и делаю, что говорю. Легко сказать: создадим кооператив, а затем махнуть шляпой — организуйте, а я поехал в город жить своей жизнью. Какой жизнью? Какие узы связывают меня с ней? Учеба? Насколько ж я стану умнее, если окончу техникум? Тогда мне не придется ремонтировать машины, я буду лишь выписывать наряды на ремонт. Значит, именно это ждет меня? Значит, к этому я стремился? И так — всю жизнь? Сидеть в конторе, уткнув нос в бумаги? Разве это по мне? Разве мне нравится бездельничать? Разве я хочу увязнуть в рутине? Неужто мне так и не доведется познать радость борьбы? Неужто я должен все время отсиживаться в тылу далеко от линии фронта? Если в моих жилах течет кровь, если моя вера тверда, разве я не способен на большее? Значит, я — никто, значит, я — ничто? И разве не прав Меньюш Петё?»

— В сельсовет,— сказал я шоферу.

Машина двинулась, ветер ударил мне в лицо. По мере того как машина набирала скорость, я чувствовал, как исчезала во мне инертность и пассивность стороннего наблюдателя.

В сельсовете я разыскал дядю Шани. Он оживленно разговаривал со своей дочерью. Когда я подошел, они умолкли, и мне показалось, что дядя Шани смотрит на меня с мрачным любопытством. Я взглянул на Эсти, она потупила взгляд и была такой бледной, как в тот раз, когда я выпивал с дядей Шани на брудершафт.

— Ты ко мне? — спросил дядя Шани.

Я взял у Эсти папку, которую она держала под мышкой, достал из нее бланк заявления, тут же заполнил и передал дяде Шани.

— Я остаюсь здесь,— сказал я.

Лицо Эсти начала заливать краска.

— Завтра с утра снова примусь за Гоноскатью.

Дядя Шани повеселел. После моих слов на его лице еще отражалась борьба противоречивых чувств, он разглядывал дочь, затем меня и никак не мог рассердиться.

— Странный ты человек, Герге,— сказал он.

— Я только учусь быть человеком.

В помещении сельсовета снова стало людно. Теперь сюда собрались не только агитаторы, но и вступившие в кооператив крестьяне. Они говорили об инвентаре, о подготовке к организационному собранию. Здесь было такое же оживление, как и за окном, где вступала в свои права весна. Я взглянул на Эсти и спросил:

— Придешь, Эсти?

Она подняла на меня взгляд, но я уже направился к выходу. Пробираясь сквозь толпу, я чувствовал, что́ Эсти следует за мной. Я ощущал все тридцать шесть и шесть десятых градусов температуры своего тела.

Домой я пришел один. Бабушка накрывала на стол к ужину. Она двигалась с трудом, на ее руках желтели бинты, и все же ужин приготовила она сама. Дедушка возился в сундуке, он выбросил из него грязное белье, выложил отглаженные простыни и скатерти и все ворчал, тщетно пытаясь отыскать бутыль с вином. Но на него никто не обращал внимания. Воздух в кухне был спертым. Мать держала наготове телогрейку отчима, ожидая, пока он застегнет пуговицы рубашки.

Меня встретили отчужденно и холодно. Лишь лицо бабушки озарилось радостью. На столе дымился картофельный суп со свиными ножками. Улыбнувшись, бабушка радостно произнесла:

— Наконец-то...

Имре Цанко сел на свое обычное место, придвинул к себе тарелку, подул на нее, затем дал знак маме наливать.

— Только это уже ужин, зайчик мой,— сказала бабушка.

— Я люблю поужинать, бабушка.

Она достала для меня тарелку из буфета и, подождав, пока мать нальет себе и мужу, наполнила ее супом.

— Косточку хочешь? — спросила она.

— Конечно.

Затем за столом воцарилось продолжительное молчание. И только принявшись за косточку, я нарушил тишину:

— Бабушка, я остаюсь дома.

Она взглянула на меня, не веря моим словам, и покачала головой. Ее глаза выражали упрек: зачем, мол, шутишь этим — стара я уже стала для таких шуток. Она было подняла руку, чтобы дать мне легкий подзатыльник за шутку, но я закивал головой и спросил:

— Ты ведь отдашь мне виноградник? Правда, бабушка?

Цанко поднял голову, перевел взгляд с меня на мать, затем на бабушку, опустил ложку в тарелку.

— Отдашь? — спросил я.

Бабушка в недоумении только улыбалась.

— Ты всегда мне обещала,— сказал я,— а теперь, видно, жалко стало. Значит, не дашь?

Она обеими руками вцепилась в крышку стола и, сдерживая слезы, проговорила:

— Ох, Герге, Герге...

— Я остаюсь дома,— повторил я.

Теперь перестал жевать и дедушка, принося этим поистине великую жертву.

— Эх-хе,— сказал он.— Дела!..

Ни у кого теперь не оставалось сомнений в том, что я говорю серьезно. И в то мгновенье, когда за столом поняли это, наступила напряженная тишина.

— Тебе, я вижу, сегодня весело,— сказал Цанко.

— Когда перепишем землю? — спросила бабушка.

Я отдавал себе отчет в том, что берусь за трудное дело, и все же сказал:

— Ты даже не спрашиваешь, что я сделаю с виноградником?

Часто моргая, бабушка посмотрела на меня, машинально поглаживая рукой скатерть. Затем опустила голову, словно стыдясь меня.

— Я знаю, как ты поступишь,— сказала она.

— Ты, бабушка, тоже не веришь мне?

— О-о, зайчик ты мой,— простонала она.

Я принялся было за кость, как вдруг рядом со мной загремела посуда. Обернувшись, я увидел на полу разлетевшуюся в куски дедушкину тарелку. Старик топтал черепки ногами и выкрикивал, брызгая слюной:

— Не хочу пожара! Змею пригрели! Не допущу, чтобы Шани Балинт спалил село... Был бы я мужчиной, я б вам, я б тогда вам... не хочу пожара...

Бабушка встала со стула и, словно почувствовав прилив былой силы, властно произнесла:

— Замолчи!..

Дедушка трусливо и покорно сел, его губы дрожали, он что-то бормотал, зло поглядывая в мою сторону.

— В полдень я оденусь в праздничное,— сказала мне бабушка.— Ты зайди за мной, Герге, мы вместе пойдем в село.

Я кивнул головой в знак согласия.

Не собрав посуды, бабушка вышла в соседнюю комнату и закрыла за собой дверь.

Мать и Имре Цанко почти в один голос спросили меня:

— С нами-то что будет?

Я уже собирался идти, когда услышал этот вопрос. Я посмотрел на мать, ее лицо было черным, она выглядела постаревшей, морщины густо пролегли вокруг глаз. Мне хотелось быть ласковым с ней, но я не мог забыть о том, как она безмолвно наблюдала за избиением бабушки.

— Вы взрослые, самостоятельные люди,— сказал я.

Закурил и вышел из кухни.

Рано утром я снова был со своей бригадой в доме Шаму Ботоша. Его дочь, стыдливо избегая моего взгляда, поздоровалась с нами, опасаясь, по-видимому, что я выдам ее тайну. Я хотел успокоить ее улыбкой, но она уже отвернулась и торопливо пошла в огород, прихватив стоявшую у изгороди мотыгу.

Дядя Шаму принял нас так, словно вчера ничего не произошло. Мы не пошли в прихожую. Солнце уже грело по-весеннему, его лучи переливались в безоблачном небе, и мне не хотелось повторять вчерашнюю попойку.

— Я вступил в кооператив,— сказал я и взглянул на Меньюша.— Теперь ты не посмеешь сказать, что я только болтаю языком.

Они молча переглянулись.

Мы долго стояли друг против друга, мучительно долго и неподвижно.

— Значит, ты веришь? — спросил, наконец, старик.

— Верю, дядя Шаму.

— Во что же ты веришь?

Я взглянул на него и ответил:

— В хорошую жизнь Гоноскатью.

— Мне и до этого жилось хорошо,— сказал старик.

— Не обманывайте себя,— сказал я.— В двадцать лет вы потеряли свою свободу. С тех пор вся ваша жизнь — нескончаемый рабочий день.

— Это мое дело.

— Разве я неправ? — с надеждой спросил я.— Сколько я помню вас, дядя Шаму, вы всегда были для меня человеком.

Старик вынул изо рта трубку, сжал ее в руке, ему, по-видимому, не хотелось больше говорить, но я продолжал стоять перед ним, и он не мог отделаться молчанием.

В воздухе поплыл странный колокольный гул. Он был не ко времени, да и гудели сразу три колокола. Шамуэль Ботош поднял глаза, взгляд его был грустным, затуманенным. Хриплым голосом он проговорил:

— Наши пути круто разошлись, стручок ты мой.

— Неправда! — крикнул я.— Неправда. Вы всегда меня понимали. Вы любили меня, вы знаете все мои мысли...

Меньюш Петё лениво наблюдал, как по дороге, к бабушкиному дому бежал народ. Навстречу людям, по направлению к нам тоже кто-то бежал. Когда человек приблизился, по одежде я узнал Эсти. Мы подошли к калитке, колокольный гул все нарастал. Должно быть, случился пожар, но дыма нигде не было видно.

— Герге! — закричала Эсти.— Цанко убил бабушку!

Мы застыли в оцепенении.

Люди бежали уже сверху, с вершины холма, на котором раскинулось Гоноскатью. Казалось, все вокруг пришло в движение, слышались возгласы:

— Тещу убил! Из-за земли!

Мы забрались в машину, но опередить людей не могли. Во дворе собрались чуть ли не все жители Гоноскатью, здесь же я увидел двух работников милиции, пытавшихся оттеснить людей за изгородь. Спрыгнув с машины, я ощутил беспредельную опустошенность. Затем меня больно поразила мысль о моей причастности к совершенному преступлению. Целыми днями я слонялся без дела, в то время как с каждой секундой приближался этот страшный час.

Я пробрался сквозь толпу во двор. У калитки, ведущей в огород, стоял в наручниках Имре Цанко. Чуть подальше, там, где начинался виноградник, у зачахшего куста лежала бабушка. А еще дальше валялся суковатый виноградный кол.

Когда Цанко уводили, мать двинулась вслед за ним, держась в отдалении. Оправдываясь и кивая в сторону Цанко, она говорила людям:

— Поверьте, он не виноват. Он говорил ей, чтоб не одевалась в черное... Он умолял ее не одеваться. А она не послушалась...

Дедушка стоял около трупа бабушки и, как всегда, невнятно и бессвязно бормотал:

— Эх-хе! Гляди-ка, умерла...

Я обвел взглядом людей. Позади них, до самых облаков, поднимался виноградный холм. Пришел и Шани Балинт. Я взглянул на него. Спросил:

— Есть тут хоть один человек, не причастный к этому преступлению?

Он молчал. Я взял бабушку на руки, чтобы внести ее в дом. Мне помогал Меньюш Петё. Рядом шел Шаму Ботош. Это он ответил мне вместо Шани Балинта:

— А я, видишь ты, думал, что мы жили, как люди.

Толпа молча двинулась за нами.

К советским читателям

Узнав о том, что мой небольшой роман будет представлен на суд читателей журнала «Иностранная литература», я невольно задумался: как поймет эту историю поколение советских людей, не знакомое с единоличным хозяйством и его отравляющей душу атмосферой? И будет ли достаточно понятной та жестокая борьба за землю и собственность, о которой рассказывается в романе? Ведь с момента событий, описываемых в книге, прошло известное время.

Это было три года назад. В стране было еще немало глухих районов, где люди жили, погрязнув в своих мелких заботах, отрезанные от всего мира. Как раз в одном из таких уголков происходит действие моего небольшого романа.

Сегодня венгерскую деревню волнуют совсем другие проблемы. Уже обобществлено более 90 процентов обрабатываемой земли.

И если три года назад самым острым был вопрос о вступлении в сельскохозяйственные кооперативы, то теперь это скорее вопрос о том, как бывшему мелкому землевладельцу научиться правильно обрабатывать 4000—5000 хольдов, кроме того, у нас еще нет достаточного количества машин, не хватает специалистов.

Но самая важная проблема сегодня — это перевоспитание людей. Она требует много времени, много терпения и, пожалуй, не легче, чем проблема социалистического преобразования сельского хозяйства.

Но это уже тема для новых произведений.

Лайош Галамбош

В коммунизме жить стремлюсь

Гу Гун

К ВЫСОКИМ ВЕРШИНАМ ШАГАЕМ МЫ В НОГУ

В руках у аньшаньского сталевара
Я видел письмо сталевара Урала.

Юймыньский нефтяник
Из первой же пробы
Наполнил для друга бакинского колбу.

На Внуковский аэродром прилетая,
Хлеб-соль принимают
Друзья из Китая.

На нашем пекинском вокзале немало
Желанных
Советских гостей побывало.

Кремлевские звезды
Большими глазами
Взирают на вольные волны Чанцзяна.

Не меркнет их свет —
Лучезарный, горячий —
Над каждою крышей, над лодкой рыбачьей.
И так же
Трибун Тяньаньмыня сиянье
До Волги дошло, поборов расстоянье.
Мы рады друг другу!
Сильны мы!
Нас много!
К высоким вершинам
Шагаем мы в ногу!
Мы преданы Дружбе!
Мы преданы Долгу!

Го Сяо-чуань

ВОСПЕВАЮ ДРУЖБУ НАШУ

Далеки дороги, высоки утесы,
Но друзья над ними
жмут друг другу руки!

Ливни проливные,
Ветры, бури, грозы —
Но для верных братьев
Не бывать разлуке!

Негасимый светоч — светоч
коммунизма —
Освещает души и сердцами движет,
Пусть же Маркс и Ленин,
Вдохновляя к жизни,
Нас ведут все дальше
И роднят все ближе!
Много вод амурских
Вдаль несет теченье,
Но Амур не станет
Мельче или уже,
Для высоких целей,
Для больших свершений
Есть у нас источник:
Дружба!
Наша Дружба!

Вэй Вэй

В ЧАС ОТЛИВА

Зари полоска все еще пугливо
Дрожит над морем шелком голубым,
Шторм отшумел.
Открыло в час отлива
Седое море
Дар своих глубин...

И вот уж вижу тени на дорогах
И слышу говор, слышу смех людской,
Мужчины,
дети,
женщины — их много —
К сокровищнице тянутся морской.

Друзья мои!
С улыбкой звезды гаснут,
Уходят спать в ушедшее вчера
И шепчут вам:
«Вот это и прекрасно,
Что на ногах вы с самого утра!»

Встречавшим столько раз рожденье утра,
Всегда готовым к подвигам любым,
Вам, трудолюбцам,
Горы перламутра
Открыло море из своих глубин!

Перевод с китайского И. Голубева

Янь И

НЕУГОМОННЫЙ

Ветерану, герою шахтерского труда

1

Ты пришел сюда подростком, в десять лет,
И согнулся под корзиною с углем.
В тесной штольне заставал тебя рассвет,
Вниз — бегом,
Потом мучительный подъем
С тяжкой ношей — на коленях да ползком...

Занемеют ноги, руки — тут хоть плачь!
Ноет, ноет под корзиною спина.
В шахту — вскачь,
Из шахты с грузом — окарачь.
Дни за днями, от рассвета дотемна.

Много крови потерял ты, много сил,
Меры не было трудам, а дням — числа...
Твой хозяин брюхо жирное набил
Да спустил к тебе в товарищи осла.

Съедет набок со спины ослиной вьюк —
Брось корзину да скотину выручай.
Чуть споткнешься — ноша падает из рук,
Уголь сыплется на землю через край.

Вместе ели, рядом спали вы с ослом.
Проработал ты на шахте тридцать лет.
Был ты худеньким когда-то пареньком,
В сорок лет — совсем скелет,
угрюм и сед.

2

Но пришла освобождения весна.
Распрямившись, вышел ты из темноты.
Революция!
Несла с собой она
Все, о чем в потемках штольни думал ты.

Ты, деливший со скотиною ночлег,
Ты, кто ползал угленошей долгий век,
Полновластным стал хозяином угля.
Заменил осла телегой человек,
Проложил на старой шахте новый штрек,
Всюду, всюду стал рабочий у руля.

Запрягаешь ты в телегу лошадей,
А душе покоя мысли не дают:
«Как бы вывезти побольше да быстрей!»
Непоседою друзья тебя зовут.

Все твердишь: «Производительность низка!
Чтобы уголь получила вся страна,
Рельсы надо... Штольня старая узка.
Не телега, вагонетка нам нужна!»

Даже в день, когда среди своих друзей
Ты сидел с женой за свадебным столом
И вокруг кричали громкое «ганьбэй»*,
Ты упорно думал, думал об одном...

---

* Пить до дна *(кит.)*.

3

На площадке автокара ты стоишь,
Целый поезд вагонеток за спиной.
Ты спешишь, неугомонный, все спешишь,
Уголь, уголь на-гора идет рекой.

«Непоседа! — часто сетует жена.—
Не поест, неугомонный, не поспит,
На работе от зари и дотемна,
И во сне-то о машинах говорит!»
Отмахнешься ты: «Да как не говорить!
Мало, мало уголька нам — вот печаль.
Ты же знаешь, нужно домнам сталь варить,
А какая же без угля будет сталь?
Получается, что прав-то я опять:
Нужно срочно старый двигатель менять,
Увеличить мощность...»
А жена: «Постой!
Что ты смыслишь в этом, непоседа мой? —
Но, сказав, она прищурится хитро,
Подает тебе и циркуль и перо.—
Право же, неугомонный... Ну и ну!»
И, растроганный, обнимешь ты жену.

4

С автокара ты пошел на паровоз,
За тобою длинный тянется состав.
Но о чем мечтаешь ты под стук колес,
Непоседа, машинистом лучшим став?

Комсомольцам на собранье как-то раз
Ты поведал о судьбе своей рассказ.
Вспомнил ослика, угля тяжелый вьюк
И корзину, что валилася из рук.
«...Со скотом меня равнял капиталист.
А теперь я человек и — машинист!
Здесь меня неугомонным все зовут:
Годы, годы мне покоя не дают.
Я хочу побольше сделать и успеть
На другую жизнь, на счастье посмотреть.

Мне, друзья мои, учиться не пришлось,
Двигать технику вперед я староват.
Жить вам в новую эпоху довелось.
Верю в вас и вашей жизни новой рад.

Молодые! Добиваться вам пора,
Чтоб конвейером шел уголь на-гора.
Беспокойный, вам покоя я не дам:
В коммунизме жить стремлюсь ведь я и сам!»

Перевод с китайского Геннадия Ярославцева

Ходжа Ахмад Аббас
(ИНДИЯ)

ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ

Легенда наших дней

Перевод с английского И. Маркова

I

Словно темно-серый саван, навалилась тяжелая мгла на второй по величине город земли. Температура в этот поздний январский вечер упала до нуля, и чудовищно громадное облако дыма как бы застыло недвижно между замерзшей землей и свинцово-холодным небом. Мириады сверкающих огней гигантского города совсем утонули в этом темном колышущемся море тумана, и казалось, весь мир отдался во власть непроглядной тьмы, безысходной смерти...

Мрачные и душные испарения ничем не походили на дождевые тучи, родившиеся от поцелуев, которые солнце дарит океану, и опустились они совсем не с небес. Нет, не от природы вели они свое происхождение, а от рук человеческих. И совсем не тот это был дымок, что приветливо вьется над домашними очагами, где жены и матери готовят еду для мужей и детей. И не тот, что вздымается над кострами, вокруг которых рабочие люди — крестьяне и рыбаки, пастухи и лесорубы, собираясь холодными зимними ночами, рассказывают друг другу не однажды уже слышанные истории и поют заунывные старинные песни.

Это черное, едкое облако изрыгалось трубами фабрик, изготовляющих миллионы метров ткани,— разумеется, не для тех, кому не на что было купить теплый свитер или одеяло, чтобы укрыться от стужи. Эта мгла извергалась заводами, выпускающими со своих конвейеров тысячи автомобилей, не находящих себе покупателей. Этот дым выбрасывали гигантские костры, на которых, чтобы предотвратить падение цен, сжигались миллионы тонн «излишнего» хлеба. И это — в то время, когда четверть населения мира жила и умирала в когтях неотступного голода. Этот смрад исходил, наконец, от засекреченных предприятий по сборке атомных бомб, по изготовлению ядовитых газов и других не менее страшных видов оружия, производивших в лихорадочной спешке всеобщую смерть.

Земля породила этот дым, стремившийся подняться к небу. Но промерзшие небеса отказывались принять ядовитые испарения, и они повисли здесь — отринутые на земле, нежеланные на небесах, поглотив свет звезд и огней большого города, что послужило, как видно, самому дьяволу в его роковых затеях.

Аэропорт Айдлуайлд в Нью-Йорке был плотно окутан сырым непроницаемым саваном, когда трансконтинентальный воздушный лайнер, следуя сигналам радара, опустился на его дорожку. Самолет этот

прибыл из жарких широт, поэтому, прежде чем открыть дверцу кабины с кондиционированным воздухом, стюардесса с профессиональной улыбкой предупредила пассажиров, что температура снаружи — не выше нуля. Это сразу же вызвало всеобщую суматоху и суетливую возню с пальто, кашне, меховыми перчатками. И только одиноко расположившийся на заднем сиденье высокий и стройный с черной бородкой негр в легкой тропической одежде, казалось, никак не реагировал на предупреждение. Как только дверь, впустив струю сырого холодного воздуха, распахнулась, он спокойно встал со своего места и двинулся по трапу, даже не подняв воротника. Сразу же превратившись в тумане в бесплотные тени, пассажиры зашагали к аэровокзалу, перекликаясь, чтобы не потерять друг друга.

— Слава богу, что я очутился здесь, когда меня уже нет,— пробормотал высокий и стройный негр в полотняной белой одежде.— Иначе я бы задохнулся в этом адском тумане.

— Что вы сказали? — откликнулся кто-то из тьмы.

— Я сказал, что мне наплевать и на туман и на холод, раз меня нет.

— Чего у вас нет?

— Меня самого. Хотя все-таки я и здесь.

Потом и эти голоса растворились в тумане, и, когда говорившие вошли наконец в ослепительно освещенный вокзал, они не могли узнать друг друга.

У барьера, где шла проверка паспортов и виз, некто в штатском шепотом приказал паспортисту быть особенно бдительным по отношению к цветным иммигрантам — из Африки в этот день ожидалось прибытие «смутьянов» без виз. Вот почему, когда пожилой седовласый негр протянул для проверки свой паспорт, его тут же спросили:

— А где же твоя виза, черный?

Тот сначала остолбенел от такого обращения, но потом ответил с достоинством:

— Моя фамилия вовсе не «черный». Вы имеете дело с тем, кто значится в этом паспорте: мистер Питер Айбрэм Джефферсон. Я американский гражданин и поэтому не нуждаюсь в визе, чтобы вернуться к себе на родину.

— Ах вот оно что, ты, оказывается, американец, черный,— проговорил чиновник, штемпелюя его паспорт.— Трудновато же, согласитесь, отличить одного негра от другого. Черные американцы выглядят точно так же, как и черные африканцы.

— К вашему несчастью, мы не только одинаково выглядим, но и одинаково чувствуем,— бросил ему в ответ старый негр, захлопывая свой паспорт и проходя через барьер.

— Слышал ты это карканье, Фред? — повернулся паспортист к некоему в штатском.— До чего же стали зазнаваться эти негры!

И в этот самый момент высокий стройный человек, словно выточенный из черного дерева, проскользнул за его спиной.

II

За вокзалом сквозь непроглядный занавес тумана смутно просачивался свет от огонька такси. Высокий человек нащупал ручку дверцы, пробрался к сиденью.

— Куда? — донесся из темноты голос водителя, запустившего мотор.

— В ООН.

Машина вслепую двинулась сквозь туман.

— Вы без багажа, приятель? — снова донесся до пассажира голос водителя, у него был сильный бруклинский акцент.

— Без,— раздалось с заднего сиденья.— Я ведь больше не нуждаюсь ни в каком багаже.

Водитель не понял, что этим хотел сказать пассажир, но промолчал. Он уже давно привык слышать за спиной всякого рода темные и даже непристойные словечки. Однако в такой беспросветной мгле надо было о чем-то говорить, чтобы не заснуть за рулем.

— У вас, должно быть, есть там друзья, в ООН?

— Да,— последовал лаконичный ответ,— и друзья, и враги.

— А вы сами откуда?

— Издалека... Можно сказать, из другого мира.

— А, значит, из Африки!

— Можно сказать и так.

Такси пробиралось в это время сквозь длинный, темный и узкий тоннель.

— Никак не могу понять, откуда взялся этот чертов туман,— продолжал разговор шофер.— Такого еще не бывало в это время года. Не видно ни зги. Всюду темно, как вот в этом тоннеле. Будто из тьмы ты снова попадаешь в какую-то кромешную темень.

— Да, братец,— донесся с заднего сиденья слабый, усталый вздох.— Темнота кругом.

— А не правда ли, все-таки странно,— заметно смягчился голос шофера,— вот едем мы с вами в одной машине, а вы не видите меня, а я — вас. Вот и в жизни ведь точно так же.— Он помолчал, о чем-то, видимо, размышляя, продолжая медленно и осторожно вести машину сквозь тьму. Потом вдруг добавил: — Давайте познакомимся. Меня зовут Патрик Генри О'Коннор. Американский ирландец. Живу в Бруклине. А вы?

— А я, пожалуй, просто человек. Вернее, был им.

— Видите ли, бадди, мне хотелось знать только одно — белый вы или черный? Судя по вашему акценту, вы вряд ли американец. Лица же вашего я не вижу. Кто вы — индиец, китаец, индонезиец, африканец?

— Любой из них и в то же время — никто. Но родиной моей была Африка.

— Теперь понимаю. Вы — из экспатриированных революционеров, с петицией в ООН.

— Можно сказать и так.

— В таком случае, я с вами, бадди. Кто бы вы ни были, за что бы ни боролись, я с вами. Мой дед был тоже повстанцем. Дональд Джон О'Коннор. Воевал с англичанами в смутные дни в Ирландии. Он, конечно, погиб, и тогда бабушка переехала с детьми в Новый Свет. С тех пор О'Конноры живут в Америке, а сердца их все-таки в доброй старой Ирландии.

Машина выбралась из тоннеля, но темнота от этого ничуть не уменьшилась. Впереди в сумрачной гуще тумана плавали какие-то расплывчатые бледно-желтые пятна света.

Всматриваясь в темноту сквозь расчищаемый «дворником» треугольник на ветровом стекле, водитель произнес не без гордости:

— Не будь сейчас этого тумана, вы бы увидели, до чего красив наш Нью-Йорк вечерами.

— Этот дьявольский туман,—ответил пассажир, погруженный в собственные размышления,— поглотил великолепие целого мира.

Некоторое время машина бесшумно ползла вместе с остальными ка-

раванами автомобилей, продирающихся через мглу и остерегающихся, как бы не врезаться друг в друга. Оба, и водитель и пассажир, были заняты своими мыслями. Потом водитель снова заговорил:

— Читали вы сегодняшнюю новость в газетах?

— Нет,— ответил пассажир.— Но я знаю, что произошло.

— Пишут, что убили... как это его фамилия? Не даются мне эти иностранные имена... Ага, вспомнил — Лумба! Нет, Лумумба. А зовут его Патрис. Почти так же, как и меня — Патрик.— Он помолчал и потом энергично заключил: — Позор!

— Да, дружище,— раздалось с заднего сиденья,— позор.

— Говорят, будто убили при попытке к бегству, но я не верю. Он не из тех, чтобы бегать от кого бы то ни было. Это настоящий революционер. Такой же, как и мой дед. Убили, а потом распускают слух, будто за то, что пытался организовать побег.

Ответа из-за спины не последовало. Тогда, после минутного молчания, водитель спросил:

— Чего это вы так стали вдруг молчаливы, бадди? О чем вы думаете?

— Я думаю о твоем деде, братец,— послышался глубокий вздох из темноты.— Я думаю, до каких же это пор будут продолжать расстреливать ваших дедов?

Шофер внезапно нажал на тормоза, и машина, чуть не перевернувшись, с визгом остановилась. Прямо перед ними возник, словно снятый не в фокус, силуэт полицейского с распростертыми, как на распятье, руками.

— Что там такое? — спросил пассажир.

— Сейчас узнаем,— ответил водитель и двинулся сквозь туман к привидению-полицейскому.

— Извините, бадди,— сказал он, вернувшись.— Но сегодня к зданию ООН без специального пропуска не разрешают подходить ни одной машине. Опасаются демонстрации цветных. Да, дружище, тут, как видно, предстоит что-то захватывающее. Можете быть уверены, Патрик Генри О'Коннор окажется в самой гуще событий. Однако дальше нас не пропустят. Вам придется выйти здесь.

— Хорошо,— ответил пассажир,— но боюсь, мне нечем вам заплатить.

Водитель не раз уже встречался с людьми, которые норовили увильнуть от оплаты. Но он сам не знал, почему этот безвестный, лица которого он даже не смог разглядеть, не казался ему одним из подобных бесчестных субъектов. Поэтому он сказал только:

— О'кей, бадди, забудем об оплате. Только помните Патрика Генри О'Коннора...

— Как могу я забыть вас? — проговорил пассажир, выходя из такси.— Возможно, и вы надолго запомните меня. Вот вам на память.— И он сунул в руку водителя какой-то небольшой, но очень тяжелый предмет.

— Что это, бадди? — спросил шофер, еще более выдавая свой бруклинский акцент.

— Это та самая пуля, которая пятьдесят лет назад впилась в тело твоего деда в Дублине.

Водитель поднес руку к мерцающему счетчику. На ладони и в самом деле лежала расплющенная пуля, еще носившая на себе следы свежей человеческой крови.

— Эй, бадди, кто вы такой? — крикнул водитель в темноту.

Но безымянный пассажир уже растворился во мгле.

III

Туман становился все гуще, плотнее, темнее. Высокое здание ООН с ярко освещенными окнами казалось сквозь непроницаемую толщу пугающей мглы тысячеглазым чудовищем, подстерегавшим кого-то. И тот, кто явился сюда сейчас в эту мрачную, укутанную туманом столицу Нового Света с залитого солнцем черного континента, вспомнил вдруг о пирамидах, которые на костях неисчислимых жертв возвели египетские фараоны, чтобы похоронить в них самих себя. Кто же окажется погребенным здесь, под этой, умопомрачительной высоты, пирамидой ООН? Может быть, она как раз и предназначена для того, чтобы послужить надгробным памятником ему самому. Ну, нет! С какой стати они будут хлопотать о таком величественном монументе над его ничтожным прахом? Ведь не побеспокоились они даже о том, чтобы поставить простой деревянный крест над его наспех вырытой ямой-могилой в безымянной деревне! И тот, кто до самого своего конца преданно веровал в евангелие Иисуса, вспомнил теперь, что ведь и самому Христу было отказано в христианском погребении. Никакого креста не было поставлено над могилой того, кто был сам пригвожден с позором к кресту. Да, традиции мученичества мало в чем изменились за истекшие девятнадцать столетий!

Думая об этом, высокий черный человек медленно продвигался в направлении к огромной, смутно проступавшей глыбе здания ООН. Вдруг перед ним выплыла из мглы белая перчатка полицейского, и хриплый, недружелюбный голос прорычал:

— Стоп, приятель, куда это ты держишь путь?

— Мне нужно пройти в ООН,— ответил он вежливо.

— Есть у тебя пропуск?

— Нет, но мне необходимо быть там по очень важному делу. Вопрос жизни и смерти!

— Прочь с дороги, или вопрос твоей жизни и смерти будет немедленно разрешен здесь на месте,— и облаченная в белую перчатку рука дюжего полицейского отпихнула его в сторону. Человек потерял равновесие, раздался зловещий глухой удар тела, упавшего на мостовую. Падая, человек успел увидеть яркий свет фар большого лимузина, освещавшего себе дорогу к зданию ООН. И даже темнота не помешала ему распознать флаг, трепыхавшийся на могучей черной машине. Это был флаг тех самых палачей и убийц, которые выпустили три, сделанные в Бельгии, пули в его истерзанное пытками тело. Теперь они направлялись в ООН, а ему, ему не было туда пути!

Он так ударился головой о край тротуара, что почувствовал, как острые камни вонзились ему в череп. Крови, однако, не показалось — она вытекла из его тела еще вчера.

— Подымайтесь, приятель,— раздался над ним из темноты нежный и мягкий, как черный бархат, голос женщины.

Пытаясь подняться, он протянул руку и наткнулся на женскую ногу в шелковом чулке.

— Извините, сестра,— отдернул он в смятении руку.

Поднявшись кое-как на ноги, он различил перед собой окутанную туманом женскую фигуру. Точеные, стройные ноги, короткая юбка, слишком пышная грудь. И, словно красный сигнал опасности,— тлеющая сигарета во рту.

— Вы назвали меня сестрой,— отбросив сигарету, произнесла она скорее с горечью, чем с удивлением.— Вы действительно считаете меня сестрой?

— Ну да,— ответил человек с черной бородкой, удивляясь, почему она столь недоверчиво отнеслась к такому естественному обращению.

Женщина деланно рассмеялась, словно услышала старый, затасканный анекдот.

— А, я теперь понимаю,— вдруг спохватилась она,— это все из-за несносного тумана. В темноте вам не видно, что я — черная. Понимаете, черная? А этот сумрак делает нас всех одинаковыми, и белых и черных.

— Я тоже черный, сестра,— просто ответил человек из Африки.

— Тоже черный? Откуда же, из южных штатов или из северных?

— Я не из этой страны. Я оттуда же, откуда пришли когда-то и вы.

— Откуда пришли и мы? — почти шепотом переспросила женщина и почувствовала, как в душе у нее будто задрожали серебряные колокольчики.— Откуда пришли и мы...— словно магическое заклинание, снова повторила она.

— Не сами пришли,— поправился безымянный уже с горечью в голосе,— вас привезли. Захватили и привезли сюда силой.

Они медленно двинулись по улице. Едва различимые во мраке силуэты их плыли, точно привидения. Даже шаги и те звучали пугающе глухо, будто эхо из другого мира.

— Слава богу,— заговорила наконец женщина,— что вы вовремя сказали, что вы черный. Иначе...

— Что иначе?

— В потемках я могла принять вас за белого, и тогда... Я раздразнила бы вас своим телом, опустошила бы ваши карманы и взамен наградила бы тем, от чего страдаю сама.

— За что? Почему?

— Потому что ненавижу всех белых.

— Почему?

— Заладили одно — «почему», «почему»,— вспыхнула женщина.— Будто не знаете — если вы действительно черный,— что для нас естественно ненавидеть белых.

— Нет, у меня этой ненависти нет. И если б была, я не пришел бы сюда. Думаю, что и вы не верите тому, что говорите. Только тяжелые испытания жизни заставляют вас говорить так. Скажите, что ожесточило ваше чистое юное сердце?

— И вовсе я не юная,— ответила она уже сдержанней, но вся еще как-то на взводе, точно готовое выстрелить ружье.— Я стараюсь выглядеть молодой, потому что такое у меня ремесло. Но когда-то и я была юной, когда жила у своих, в маленьком городе на Юге, в штате Джорджия. Там у нас, негров, свой собственный, черный, отдельный мир. Отдельные школы, отдельные церкви. А ютились мы в таких лачугах, в каких не стал бы жить и самый бедный из белых. Мы работали у белых домашней прислугой и виделись с ними только на работе. Встречаясь с белыми, мы снимали шапки, называли «сэр» или «мадам» даже самых недостойных из них, улыбались, когда они насмехались над нами, притворялись глухими, когда нас оскорбляли. И тем не менее были довольны своей жизнью. Не во всем она была такой уж плохой. В классе я всегда была первой. Мой голос в церковном хоре считался самым чистым. Я даже обещала стать красивой, и многие черные парни нашего городка были от меня без ума. А я любила только одного Генри. За него и вышла замуж. Высокий и статный, как вы, в бейсбол играл — точно молния. А когда смеялся, то зубы у него так сверкали, так сверкали, ни дать ни взять — нитка жемчуга по черному бархату...— Женщина вдруг замолчала.

— Ну, а потом?

— А потом...— и из самой глубины ее существа вырвался тяжелый вздох,— потом грянула корейская война. И белые решили, что хотя мы, черные, и недостойны того, чтобы молиться с ними в одной церкви, посылать детей в их школы или ездить с ними в одном купе вагона, однако вполне пригодны на то, чтобы воевать и умирать рядом с белыми солдатами. Я была на третьем месяце беременности, когда моего Генри отправили вместе с остальными за океан воевать с врагом, к которому он вовсе не испытывал ненависти. «Офицеры приказывают стрелять, и мы стреляем,— писал он мне,— а в кого и почему — и сами толком не знаем».

Потом я стала матерью, и рядом со мной появился маленький Генри, вылитый портрет отца. Ему исполнилось всего лишь десять дней, когда из Вашингтона пришла страшная телеграмма: «С прискорбием извещаем, что ваш муж, рядовой Генри Спенсер Линкольн, пал в сражении за бога и отечество в Корее...» Так в двадцать один год я стала вдовой, а десятидневный младенец, Генри-младший,— сиротой. А люди из Вашингтона все продолжали выражать свои соболезнования и рассылать извещения, и все новые и новые американские женщины становились вдовами, а американские дети — сиротами...

— По-видимому, среди овдовевших и осиротевших были также и белые? — спросил высокий.

— Конечно,— согласилась его спутница,— но что мне пришлось пережить потом — этого ни одна белая женщина не испытывала. Впрочем, у вас есть время выслушивать все это?

— О, времени у меня достаточно — отныне и во веки веков,— ответил он.— Время — это единственное, что у меня еще осталось. Нет у меня теперь ни денег, ни дома, ни имени, ни даже дыхания жизни. Так что все, что я могу еще подарить вам, это — время.

— Тогда слушайте, брат мой, дальше. Оставшись вдовой, я уже не могла выйти замуж снова, хотя многие порядочные люди ухаживали за мной. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь встал между мною и маленьким Генри — ведь он был не только моим, но и нашим сыном, живым воплощением моего... моего дорогого мужа. Из-за этого мне пришлось зарабатывать на хлеб самой. Я подметала полы в особняках белых господ, мыла посуду в кухне, чистила уборные и выносила помои, стирала белье, а по ночам сидела у себя за швейной машиной. Только так и могла я скопить кое-что, чтобы послать потом Генри-младшего в школу.

Она помолчала с минуту, углубившись в мысли о своем сыне. Потом заговорила медленно, тихо, словно боясь растревожить бережно лелеемую память о своем ребенке.

— Ах, если бы вы только видели моего мальчика! До того он был милый, до того хороший, с огромными черными глазами, как у отца, такими же живыми и веселыми. И в школе учился великолепно. В спорте, в играх всегда был первым. И вот однажды в газетах было объявлено, что федеральное правительство в Вашингтоне издало закон о том, чтобы и на Юге в школы для белых принимались негритянские дети. В нашем городке отобрали для этого семь самых лучших черных учеников, среди них оказался и мой мальчуган. Как же он гордился этим! В тот день, когда он должен был идти в новую школу, поднялся ни свет ни заря, выутюжил свой костюм, начистил ботинки, вымылся с ног до головы и долго причесывался перед зеркалом. Потом взял свои книги и такой счастливый, радостный, взволнованный отправился вместе со мной, не переставая болтать всю дорогу. «Мама, не беспокойся,— говорил он

тогда мне.— Я очень скоро подружусь с белыми мальчиками. И буду первым и в этой школе, вот увидишь. Ты будешь этому рада, мама?» А у меня на душе было так тяжело, какой-то безотчетный страх за его судьбу охватил меня...

Дошли мы до школы и видим — весь школьный двор окружен сотнями белых. Кто в страшных капюшонах ку-клукс-клана и с зажженными факелами в руках, кто с ружьями и револьверами, а кто и просто с ломами да топорами. А в глазах у всех столько к нам — черным — ненависти, на языках такая грязная, разнузданная ругань, что я закрыла своему Генри уши ладонями: «Бежим,— говорю ему,— скорее домой, здесь страшно». Не послушал он меня, да и не мог услышать — уши-то его были зажаты моими собственными руками. Но он увидел, как черные мальчики постарше его решительно двинулись к школе. Не успела я опомниться, как он уже шагал вместе с ними.

Приближаются они эдак торжественно к зданию школы, а в глазах такой огонь, такое сияние, словно перед ними не кирпичная коробка школы, а ветхозаветная земля обетованная, и впереди всех — мой Генри. Гляжу я на него, а в груди и страх и гордость. Идет он высокий, стройный, ну вылитый отец, и в руках держит книги — учебник закона божия, историю Соединенных Штатов и лэмбовские пересказы Шекспира. И журнал научной фантастики, в котором только перед этим прочитал рассказ о полете ракеты на луну. «Вот как только я вырасту большой, мама,— сказал он мне еще тогда,— я возьму тебя с собой в ракету, и ты полетишь прямо на луну».

В ее голосе послышались слезы, каждое ее слово трепетало, будто раненая птица в предсмертной агонии.

— Теперь мой мальчик уже никогда не возьмет меня с собой на луну. И никогда не прочтет историю Соединенных Штатов Америки. Сборник рассказов по Шекспиру, полученный им в награду за декламацию стихов об Аврааме Линкольне, был растерзан куклукскластановцами. А библия вместе с засушенным в ней розовым бутоном прострелена насквозь — когда стали лететь пули, мой маленький Генри не мог ничем остановить их, кроме как старой библией. И он приставил ее к груди, как щит. Она и сейчас у меня, эта библия, которая не смогла спасти моего мальчика. А на той самой странице, где десять заповедей, там, где «Не убий»,— пятно крови моего малютки. Эта кровь не только на библии, она и на истории Соединенных Штатов, и на рассказах по Шекспиру. И никому не смыть этих кровавых пятен — даже в этой чудовищной прачечной с вывеской «ООН», в которой стирают грязное белье, поставляемое со всех четырех стран света... Нет, только пламя моего возмездия способно выжечь эти кровавые следы, и я мщу теперь каждому белому, кто покупает мое тело на ночь...

Она затихла, а за нею и весь мир будто оцепенел в благоговейном молчании. Поезд воздушной железной дороги бесшумно крался во мраке, словно змея в траве. Так же беззвучно носились по дорогам машины. И дымные световые пятна их фар казались зловонными гнойными язвами на теле прокаженного...

Высокий ощупью нашел загрубевшую, шершавую ладонь женщины, и нежный согревающий ток сострадания хлынул от одной черной руки к другой.

— Я понимаю ваши чувства, сестра,— сказал он ей.— Но только огонь возмездия все же не может выжечь пятна невинной крови вашего сына. Потому что пятна эти — не на страницах вашей библии. Они пылают в вашем и моем сердцах, на совести каждого существа, если в нем еще сохранилось что-то человеческое.

— В чем же тогда спасение? — спросила женщина.

И он ответил ей просто и прямо:

— Проведите меня ко входу в здание ООН.

— Но кто вы такой? Откуда у вас такая власть, чтобы пытаться перевернуть мир? Там и без вас немало красноречивых ораторов. Однако все их речи не могли спасти моего сына.

Тогда он, произнося раздельно каждое слово, отчетливо, словно диктуя ребенку, проговорил:

— Меня — нет. Я — не — существую. И — в — этом — моя — высшая — власть.

— Я не совсем понимаю, чго вы хотите этим сказать,— в голосе женщины чувствовалась борьба сомнения с доверием,— но вы кажетесь мне хорошим человеком. Разговор с вами принес мне такое облегчение, словно из сердца у меня вытащили отравленную занозу. Пойдемте, я проведу вас туда.

Не успели они пройти и нескольких шагов, как их снова остановил полицейский.

— Дальше этого места проход воспрещен,— сказал он.— У здания ООН ожидаются беспорядки.

— Но мне нужно пройти в Блэк Бэпси, начальник,— ответила женщина на своем профессиональном жаргоне.— Я там живу и работаю. Вон, как раз за зданием ООН.

— О'кей,— неохотно выдавил из себя полицейский,— вы можете пройти, а этот... кто это такой? Хоть я и не вижу ни черта в этом проклятом тумане, все же он кажется мне подозрительным.

— Ах, этот,— воскликнула она, понизив затем голос до театрального шепота.— Но это же мой ночной клиент, черный, как и я. Вы уж, пожалуйста, не лишайте меня моего заработка.

Полицейский пропустил их. Из-за «проклятого тумана» он не мог увидеть, как они направились прямо к зданию ООН.

Перед самым входом высокий остановился.

— В этом гибельном тумане мы даже не смогли рассмотреть друг друга. Если мы когда-нибудь и встретимся при свете, то не узнаем друг друга. Да незачем нам и знакомиться. Я даже не стану благодарить вас, ведь по существу мы с вами — одно. Разница только в том, что вы есть, а меня нет.

— Я простая малограмотная женщина,— сказала она в ответ,— и поэтому не способна постичь смысл вашей ученой речи. Но, может быть, вы все же оставите мне что-нибудь на память о вас?

— Возьмите вот это,— и он вложил ей в руку кусочек металла.

— Что это? — спросила она.

— Пуля, которая, пройдя сквозь розовый бутон и святую библию, пронзила сердце вашего сына. Она же убила вчера и меня.— И, прежде чем женщина успела вымолвить слово, растаял в тумане, а возможно, поднялся по лестнице в здание ООН.

Женщина долго еще стояла в раздумье, поглаживая пальцами расплющенную пулю. Потом поднесла ее к губам, прижала в волнении к щеке. И ей вдруг почудилось, что свежая кровь, обагрявшая пулю, издает нежный аромат материнского молока. Того самого, которое, источаясь из ее груди, вливало жизнь в ее маленького Генри.

Медленно повернувшись, она еще медленней двинулась прочь. Но почему-то совсем не в сторону заведения Блэк Бэпси.

IV

На контроле пропусков у входа — короткий вопрос офицера охраны:

— Делегат?

И черный ответил:

— Нет, хотя и должен им быть. Мое место занял кто-то другой.

— В таком случае, вон через ту дверь, пожалуйста. Этот проход только для делегатов.

— Пресса? — задали ему вопрос у второй двери.— Корреспондент?

И тот, что некогда выпускал революционные листовки, ответил:

— Да, можете назвать меня и так. У меня есть кое-что сообщить. Очень важное. И всем-всем-всем!

— Тогда, пожалуйста, в помещение для прессы. Только приготовьтесь предъявить вашу корреспондентскую карточку. Иначе вас не пропустят.

Но в помещении для прессы было пусто. За покинутыми столами, в пятнах света от настольных ламп — бездействующие пишущие машинки, копирки, карандаши, кофейные чашки, пивные кружки, пепельницы, наполненные окурками сигарет самых различных марок. Посредине — длинный стол, заваленный последними выпусками газет, доставленными воздушной почтой из всех столиц мира:

«Таймс» — из Лондона.

«Нью-Йорк таймс» — из Нью-Йорка.

«Таймс оф Индиа» — из Дели.

«Джапан таймс» — из Токио.

«Правда» — из Москвы.

«Нью-Чайна дейли» — из Пекина.

«Аль-Гумхурия» — из Каира.

«Рангун таймс» — из Рангуна.

«Цейлон обзёрвер» — из Коломбо.

И через все первые полосы, жирным шрифтом одно и то же известие: сообщение о смерти человека, с его фотографией в траурной рамке. Странное замешательство испытывал черный с бородкой при виде одного и того же лица на всех первых страницах — это был его собственный портрет.

— Так,— пробормотал он шепотом.— Меня уже нет, но я есть. Есть повсюду и везде.

И как раз в эту минуту безмолвный пресс-зал отозвался гулким эхом на голос громкоговорителя: «Сегодня мы имеем все основания не только выражать соболезнование, но и испытывать угрызения совести».

Это был голос индийского делегата, транслируемый из большого зала ООН.

И вслед за этим — чей-то удар по столу:

«Пусть империалисты, совершившие это убийство, явятся сюда и ответят за свое преступление!» Это — реплика советского делегата.

«Доколе народы нашего континента будут продолжать расплачиваться за свою свободу жизнью своих мучеников? Доколе каждая из наших стран будет приносить кому-то в жертву лучших своих сынов?» — сказал делегат одной из маленьких африканских стран.

«Поражены и огорчены известием о происшедшей трагедии» — слова делегата Соединенных Штатов.

Черный человек улыбнулся. «Ну вот. А они думали, что три пули способны заглушить мой голос навеки!»

Громкоговоритель продолжал передавать выступления — то негодующие, то урезонивающие, то невнятные. Вдруг ему показалось, что он

здесь не один. Он осмотрелся кругом и заметил в дальнем углу человека, устало опустившего голову на стол. Подойдя поближе, он увидел, что у того был темный цвет кожи, на висках пробивалась проседь. Человек, как видно, был пьян — на столе перед ним стоял стакан с остатками виски, из-под стола к ногам пришельца выкатилась пустая бутылка.

А громкоговоритель продолжал тем временем передавать выступления делегатов.

«Эхо от трех выстрелов, оборвавших его жизнь, прокатилось по всему миру. Да услышат его глухие, и да проснутся спящие!».

Дремавший за столом корреспондент медленно поднял отяжелевшие веки и удивленно вперился взглядом в стоявшего перед ним черного высокого человека. В этом взгляде было столько недоверия, как будто он имел дело с видением, вызванным опьянением. Он медленно перевел взгляд на громкоговоритель, отцеживавший в эту минуту методичную речь английского делегата: «...искренне соболезнуя по поводу этой смерти...»

«Это не смерть, а убийство!» — перебил его чей-то голос.

«...этого убийства,— поспешно уступил англичанин,— мы в то же время обязаны стремиться к восстановлению мира в этой повергнутой в хаос стране и положить конец насилиям, допускаемым с обеих сторон».

— С обеих сторон? — машинально повторил высокий с горькой усмешкой.— Одна сторона посылает пули, другая преграждает им путь грудью. Обе одинаково виновны!

«Надо немедленно принять резолюцию о восстановлении мира в Конго»,— донесся из репродуктора еще чей-то голос.

— Заткнись! — не выдержал наконец корреспондент. Опираясь руками на спинки стульев, он проковылял к громкоговорителю и выключил его.— Резолюции. Речи. Заявления. Симпатии... Дымовые завесы из слов. Все это ложь, доложу я вам, все тлен и прах. Одно только лицемерие и полная беспомощность...— Потом внезапно умолк. В комнате сразу же наступила странная тишина. Только тиканье часов на стене да биение двух сердец. Время и два человека. Один совершенно черный, другой — не совсем.

— Кто вы? — спросил тот, что был не совсем черный. И в словах у него — такая же неустойчивость, что и в ногах.— Кто вы такой? Что вы такое? Зачем вы здесь?

— Меня нет,— ответил совершенно черный.— Я был до вчерашнего дня. Сегодня же меня нет.

— Вас нет? Ну, тогда вы спасены,— пьяный голос не совсем черного перешел на доверчивый шепот.— В наше время только тому и хорошо, кого нет. Если бы вы злою волей судьбы были, вас бы умертвили с помощью трех пуль.

— Я это знаю.

— Нет, не знаете. Если бы знали, так не пришли б в эту великую усыпальницу человеческих надежд. Ведь в ней ежедневно совершается торжественное погребение Свободы и Мира.

Высокий посмотрел на репортера с улыбкой, в которой светились сочувствие и укор.

— Но вот вы же пришли сюда? И находитесь здесь до сих пор?

Тот, что был пьян, опрокинул себе в рот остатки виски с таким видом, точно принял цианистый калий.

— Я — дело другое. Я — индиец, а это значит — идеалист, неисправимый оптимист, чудак, прозябающий на вегетарианской диете иллюзий. Приведите к нам волка в овечьей шкуре, и мы примем его с величайшим почетом, со знаменами и флагами, речами и лозунгами, а народ попросим

кричать: «Да здравствует его величество волк!» Мы из тех, что находят серебряные проблески среди самых черных туч, а наша вера в силу идей настолько велика, что самая обычная молитва, по нашему убеждению, способна превратить все атомные бомбы в сочные ананасы, а тигров-людоедов — в невинных ягнят. ООН для нас, индийцев,— это прежде всего духовный штаб. Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему я здесь?

— Да,— произнес с безмятежным спокойствием высокий,— и понимаю, пожалуй, даже лучше вас самого. Потому-то я и явился сюда, что такие, как вы,— еще здесь. В сущности, мы с вами — одно, разницы между нами никакой. За исключением того, что меня нет, а вы есть.

Индиец недоуменно взглянул на высокого.

— Не понимаю, о чем это вы говорите. Давайте лучше закажем еще одну бутылочку виски и выпьем по-настоящему. Вот тогда-то уж я сразу постигну все. В этом перевернутом вверх тормашками мире можно приобрести здравый смысл только в том случае, если встанешь на голову. Или напьешься вдрызг. Еще сегодня я пытался понять кое-какие вещи... Почему, например, были выпущены эти три пули, почему был убит именно он... И убит совершенно хладнокровно, средь бела дня! Ведь это же был не просто человек, а нация, девиз и знамя целого континента! А теперь он мертв. Убит тремя пулями. Эти три выстрела до сих пор звенят у меня в ушах, преследуют меня повсюду. И вовсе не со вчерашнего только дня. Нет, они взрываются в моем мозгу вот уже сорок два года подряд. Сорок два — понимаете? В то время как мне самому всего только сорок один год и семь месяцев!

V

В глубоких темных глазах высокого было столько доброжелательства, сочувствия и какого-то по-родственному теплого участия, что беседа с ним казалась индийцу разговором с самим собой.

— Вы никогда не бывали в Индии? Должен вам сказать, что ничего особенного в ее ландшафте нет, особенно в северной ее части, откуда я родом. Ни гор, ни озер, ни даже джунглей. Одни только бесконечные равнины, раскроенные на поля, усеянные деревнями. Но как только короткая зима сменяется весной и все заливает золотой океан цветущих горчичных нив, вся земля превращается в один сплошной волшебный ковер. Вот тут-то и начинаются весенние празднества, когда на все и вся ложится золотой оттенок, а цветы горчицы распускаются, кажется, не только у каждого на лице, но и в каждом сердце.

Вот в одно из таких весенних торжеств, сорок два года назад, мой отец и пригласил мою мать с собой на ярмарку. Своего отца я никогда не видел, только слышал о нем. Говорят, он был высок, носил лихие пышные усы, у него было опаленное солнцем лицо, гулкий раскатистый голос. Когда он, например, смеялся, так это было все равно что грохот землетрясения. Конечно, мать страшно обрадовалась такому приглашению — ведь мужья редко брали с собой жен на праздники. Когда моя бабушка, мать отца, увидела ее разодетой для праздника, ей это очень не понравилось. «Жена твоя на седьмом месяце уже ходит,— сказала она отцу,— а ты ее на ярмарку!» «В том-то и дело, что на ярмарку, а не на поле сражения»,— только рассмеялся в ответ отец. И они, веселые, отправились на праздник.

Об отце надо будет рассказать вам чуточку побольше. Он был крестьянином, так же как его отец и дед. Унаследованный им клочок земли был заложен у ростовщика, и когда он просрочил выплату заклада, то лишился и этой последней опоры своего существования. Тогда он, как

и многие другие в то время, завербовался в британскую армию и был отправлен на германский фронт. Дрался он, говорят, великолепно, получил три медали за три ранения, ну и некоторую толику денег. Тогда он немедленно вышел в отставку, выкупил обратно свою землю и снова стал крестьянином. Однако, выезжая из дому, он любил надевать свой трижды окрашенный кровью и украшенный тремя блестящими медалями мундир. Люди, видевшие его в этот раз на ярмарке, рассказывали потом, что в своем военном костюме, в украшенном пером тюрбане он был просто великолепен.

Разгуливая с женой взад и вперед по всей ярмарке, отец и не заметил, как вокруг парка, в котором происходили гулянья и торжества, высадились из военных грузовиков вооруженные люди. Наслаждаясь как ни в чем не бывало прохладительными напитками и всякими сладостями, отец с матерью даже и не подозревали, что в нескольких ярдах от них по приказу краснорожего офицера солдаты зарядили свои винтовки и приготовились к стрельбе.

Не забыл, конечно, отец и того, чтобы купить своему будущему ребенку, то есть мне, серебряную погремушку, красно-зеленый резиновый мяч и складную полотняную люльку. Когда он вручил все это матери, так та чуть не задохнулась от счастья. А в это самое время солдаты, предводительствуемые своим краснорожим начальником, уже окружили парк и блокировали все входы и выходы...

Потом родители мои остановились перед лавкой, где торговали детским платьем.

— Я бы хотела для моей будущей дочки вот эту красную шелковую накидку.

— У нас будет не дочь, а сын,— возразил на это отец.— С какой же стати он будет носить твою шелковую накидку? Он будет ходить в гимнастерке, как настоящий военный!

— Но это же будет девочка,— застенчиво, шепотом, настаивала мать.

— Нет, должен быть мальчик,— упорствовал отец.

И в эту самую минуту вдруг раздался ружейный залп, запели и зажужжали пули. Не поняв, в чем дело, отец выбежал из лавки, чтобы взглянуть на небо — откуда вдруг взялся этот неожиданный гром?.. Тут-то его и настигла пуля, пробила медаль у него на груди и впилась ему в самое сердце. И хотя я не был еще в то время рожден, клянусь, я и до сих пор еще слышу зловещий свист этой пули. Он, этот свист, преследует меня вот уже сорок два года.

О смерти отца на этой бойне мать рассказала мне потом, когда я подрос. Пуля, сразившая моего родителя, сверлила мне мозг все мои школьные годы. И я неустанно ломал себе голову над тем, как мне отомстить за него.

После поступления в колледж мне довелось прочесть что-то об ирландской революции, и я подумал, что нашел наконец способ отомстить за отца. Я много читал о подвигах героев и мучеников этой великой эпохи. Больше всех вызывал мое восхищение один из них — Дональд Джон О'Коннор. Обыкновенный безземельный крестьянин, который днем батрачил на картофельном поле хозяина, а ночами служил связным революции. Когда полиция все же схватила его, она рассчитывала, что сможет через него узнать имена остальных революционеров. Его били плетьми, подвергали всяческим пыткам, замуровывали в подземелье, а он все-таки никого не выдал. А через несколько дней его бездыханное тело было выдано семье с извещением, что он был застрелен охраной тюрьмы при

попытке к бегству... М-да, все это, конечно, бывало только в старину. Где они теперь, сегодняшние Дональды О'Конноры?!

Высокий черный сочувственно похлопал своего индийского собеседника по руке.

— О'Конноры есть, они есть и были во всех странах и во все времена, мой друг. Я, например, разговаривал с О'Коннором только сегодня. Это внук вашего Дональда. Сейчас он занимается тем, что водит такси в Нью-Йорке, однако, как и его дед, готов в любую минуту оказать поддержку делу революции. Но рассказывайте о себе. Ведь вы, как индиец, вооружены древнейшим учением о высшей справедливости жизни. Как же вы стали таким безнадежным пессимистом?

— А вот послушайте. Закончив ученье, я решил стать журналистом. Это для того, чтобы работать и сражаться с помощью пера за такой порядок, при котором ни один отец не получал бы пулю в грудь, ни одна мать не оставалась бы вдовой только из-за того, что кому-то надо выколачивать прибыль из медных рудников или каучуковых плантаций, принадлежащих другим народам. И все мы, юнцы, фанатически верили в то, что освобождение Индии послужит лишь первой ступенью к нашей утопии Мира и Счастья. А когда долгожданная свобода наконец наступила, злобное жужжание пуль по-прежнему продолжало раздаваться в моих ушах. Пули эти были отлиты еще бывшими властителями Индии, а стреляли ими уже наши собственные руки. Не сошли ли мы все с ума, стреляя друг в друга, сжигая один у другого жилища, обесчещивая своих матерей и сестер? А потом раздались три выстрела, которыми мы сразили собственного отца, задушили только что родившуюся свободу, заклеймили себя вечным позором!

После событий сорок седьмого года я уже не был в состоянии жить в своей родной стране. Я стал скитальцем, бродячим корреспондентом, паломником в чужие страны, только что обретшие или собирающиеся обрести свободу. И все это — в надежде, что, может быть, как-нибудь и где-нибудь снова восстановлю свою утраченную веру.

Так попал я в Корею, где увидел тысячи американских солдат, белых и черных, за тысячи миль от родных очагов воюющих с народом, бояться или ненавидеть которого у них не было причин. И вот однажды, возвращаясь в джипе с линии фронта вместе с другим индийским корреспондентом, Виджаем Шанкаром, мы нарвались на мину. Мина эта была изготовлена на военном заводе под Детройтом, переправлена через океан и посажена, словно рисовый сеянец, в девственную корейскую почву только для того, чтобы «по ошибке» ухлопать здесь моего двадцатичетырехлетнего приятеля. Веселый, жизнерадостный, никогда не унывавший Виджай Шанкар. Он покинул такую же цветущую, щедрую, роскошную страну, как и Корея,— штат Керала, а в ней — молодую (и полгода не прошло со дня их свадьбы) жену! И подумать только, что всего за несколько минут до «инцидента» он еще беззаботно напевал мне своим сочным глубоким голосом народную песенку родных краев, а потом переводил ее для меня со своего прекрасного малаяламского языка:

Сеть моя,
Золотая сеть!
Я закину тебя изо всех своих сил
Далеко, далеко!
Ты опустишься в самую глубь океана,
Принесешь мне богатый улов —
Красных, желтых, зеленых рыбок...
Ах, как бы поймать мне в эту же сеть,
В мою золотую сеть
Ту, что, как пальма, стройна
И миловидна, как...

Конца этой песенки я не услышал, потому что Виджай Шанкар так и не успел закончить ее. Как раз в этот момент раздался взрыв, и после него не стало нашего джипа, не стало Виджая Шанкара, не стало водителя машины корейца Мин Сана... Только обломки изуродованного металла да куски обгоревшего мяса среди рисового поля, на котором молодые ростки уже поднимали из воды свои зеленые головки. Я же чудом остался в живых, был только ранен и лишился сознания.

Очнулся я уже в полевом госпитале. На соседней койке лежал молодой негр. Он был без сознания, а вернее сказать — в бреду, так как неустанно твердил одно и то же слово: «Нет, нет, нет, нет». То он вкладывал в эти свои «нет» всю свою душу, словно отстаивал дело всей жизни, то произносил нормально, без всякого оттенка чувства, будто отказывался от лишнего куска кекса в гостях: «Нет, нет, нет...»

Наслушавшись вдоволь этих «нет», я повернулся к соседу с другой стороны. Это был розовощекий сержант, проговорившийся мне, что в госпитале он из-за «военной болезни» — сифилиса.

Я полюбопытствовал у него — что привело сюда соседа-негра и почему он постоянно бормочет все одно и то же слово «нет».

— Потому что он презренный трус,— ответил, не раздумывая, сержант.— Когда его взвод получил приказание вступить в сражение, он собрался бежать, словно крыса. Молол всякую чепуху, вроде того, почему, дескать, они должны драться с корейцами и китайцами. Хорошо еще, что сержант все это вовремя заметил, иначе мог дезертировать весь взвод...

— И что же произошло потом? — спросил я сержанта.

— Да что с ним могло произойти? — выплюнул тот свою жевательную резинку.— Согласно военным законам его поставили к стенке. Однако он почему-то не умер сразу, и теперь вот возятся с ним — хотят вылечить.— И, схватив со столика затасканный журнал с обнаженной «герл» на обложке, он уткнулся с головой в «Сексайтинг» — журнал для мужчин.

Я опять повернулся к негру и на этот раз заметил, что он пытается сказать что-то еще кроме своего «нет». Я подвинулся на своей подушке как можно ближе к его изголовью и смог различить уже совсем замирающий шепот: «Я так счастлив, дорогая моя... Если это будет мальчик, назови его в честь меня Генри, а если девочка...» Он не успел договорить — губы его так и остались открытыми, немыми, без признаков жизни. Поспешно явившийся доктор пощупал его пульс и молча кивнул санитарке. Умершего положили на носилки и унесли из палаты. И никто не позаботился о том, чтобы сообщить жене о его последнем желании.

— Жена узнала об этом желании мужа. Сын их носил имя Генри.

— Носил? А что же с ним случилось теперь?

— Теперь его уже нет. Пуля...

Но индиец не дал ему договорить.

— Не пуля, а тысячи пуль шныряют вокруг, чтобы сражать детей вроде Генри-младшего. Пули, ракеты, бомбы. Бомбы атомные и водородные, бомбы, начиненные отравляющими веществами, тифозными и чумными бактериями. Я побывал во всех уголках мира и знаю это очень хорошо. В Алжире, например, мне пришлось наблюдать, как представители прославленной французской культуры пытали арабских националистов током. Причем напряжение было рассчитано так, чтобы оно не могло убить человека, но зато способно было жечь его обнаженное тело, сокрушать кости, превращать мускулы в студень...

В Южной Африке я видел возрождающийся дух гитлеризма. На юге вот этих самых Соединенных Штатов был свидетелем куклукскла-

новских «подвигов». На моих глазах они застрелили негритянского ребенка только за то, что он хотел учиться вместе с их детьми. Э, да что там! Я видел то, чего не должны были бы видеть человеческие глаза.

— Мне все это известно, дружище. Я встретил мать этого ребенка совсем недавно.

Но индиец, не слушая, продолжал:

— Теперь вот свобода пришла наконец и в Африку. По крайней мере так говорят. Меня посылали во многие африканские страны, чтобы я мог рассказать всему миру о рождении новых государств. И я строчил восторженные статьи, напыщенные и плоские: «Новая Африка накануне рождения! Нарождается новый мир! Да здравствует победоносное черное солнце!» Все вздор, все враки! Единственно, что есть,— это господство силы. Сила и власть оружия. И не дальше чем вчера было продемонстрировано убедительно и окончательно, что те, кто осмеливаются восстать против богов насилия, будут раздавлены. Всего три выстрела, и вот... и вот...— пьяный захлебнулся в припадке почти детских рыданий.

— И вот, что же дальше? — мягко спросил высокий, хотя и знал хорошо ответ.

— Три выстрела прогремели — и вот мой отец оказался снова убитым, три выстрела — и Ганди опять пошел на мученичество. Три выстрела — и Джамила из Алжира, спасенная от смерти всем человечеством, все-таки взошла на виселицу, Сакко и Ванцетти были посажены во второй раз на электрический стул. И, наконец, вот этот удушливый всеотравляющий мрак опустился на землю, чтобы погасить все оставшиеся светочи жизни...

Наконец он умолк, и в пресс-зале воцарилась тишина. Ни звука, за исключением тикания часов на стене и биения двух сердец. Только время и человек. Два человека. Один из них черный, другой — не совсем.

Потом, тяжело и горько вздохнув, индиец снова заговорил:

— Вот передо мной лежит пресс-карточка моего приятеля Поля. Корреспондент негритянской газеты. Так вот, он ушел отсюда совсем и поклялся никогда больше не возвращаться на это кладбище человеческих надежд и идеалов. А я, я все еще здесь, раскисший от двух бутылок виски... Я хотел забыть обо всем, но не могу... Завтра же вернусь на родину... Займусь составлением речей для миллионеров-политиканов. Или начну сочинять рекламные объявления о чудодейственных восстановителях волос... Здесь мне делать уже больше нечего. Представление окончено.

— Нет, дружище, представление не окончено, оно только начинается. Мир с нетерпением ждет открытия занавеса.

— А кто его поднимет, этот занавес?

— Вы.

— Я? Каким образом?

— Поможете мне пройти в зал заседаний Генеральной ассамблеи.

— Допустим, я сумею провести вас по карточке Поля. Вы ведь такой же черный. Но что вы там можете сделать? Сможете ли вы расплавить сердца, высеченные из гранита? Заставить глухих услышать? Дать зрение тем, кто не хочет видеть?

— Да, смогу.

— Откуда это у вас такая магическая сила делать невозможное возможным?

— Я не существую. И в этом моя сила. Поспешим, иначе будет поздно.

— Ну что ж, попытаемся. Только вам придется меня поддерживать.— Индиец уцепился за черную руку своего собеседника и поднялся, еле держась на ногах.

Предъявив свои пропуска, они направились на галерею для прессы и на ходу черный сунул что-то своему спутнику в руку.

— Что это? — спросил индиец.

— Это пуля, сразившая вашего отца. Та самая, что мучила вас сорок два года.

VI

Войдя на заседание ассамблеи, высокий собственными глазами увидел, что под стражей четырех стен прямоугольного зала был заключен весь мир:

Европа.
Азия.
Африка.
Америка.
Австралия.
Черные.
Белые.
Желтые.
Коммунисты.
Капиталисты.
Нейтралисты.
Друзья.
Враги.

Делегат одной из стран западного мира увещевал собравшихся:

— Не будем поддаваться настроению минуты. Надо быть объективными. Следует выждать подробных донесений из Конго. Как совершилось это убийство и кто его совершил, все это пока еще тайна. Единственный, кто мог бы представить решающие доказательства,— это сам убитый...

И не успело еще улечься эхо от его последнего слова, как на пресс-галерее выросла высокая, безмолвная фигура черного человека с маленькой бородкой, одетого в легкие, просторные тропические одежды.

И как только он появился, словно привидение, на глазах у всей ассамблеи, авторучка выскользнула из дрогнувшей руки генерального секретаря и черная жирная клякса, брызнувшая из сломанного пера, расплылась на его белоснежном костюме.

Левый глаз британского делегата неожиданно дернулся в тике, и сорвавшийся с него монокль разлетелся вдребезги.

Алжирская сигарета выпала из онемевших губ француза, и пепел от нее запачкал его безукоризненно чистый пиджак.

На лице бельгийского делегата отразился такой испуг, что он проглотил и затем выплюнул свои грязно-желтые фальшивые зубы.

Рот американца, собиравшегося что-то сказать, так и остался широко открытым.

Красный карандаш советского представителя прорвал лежавший перед ним листок из блокнота.

Делегат Индии, старательно, с оксфордским акцентом рассуждавший до этого о премудростях английской юриспруденции, вдруг закричал на родном хинди: «Взгляните сюда!»

А в глазах депутатов от Африки, сидевших до сих пор с понурыми

печальными лицами, внезапно замелькали живые огни надежды на какое-то чудо.

И только один черный представитель, над сиденьем которого красовалась надпись «Конго», вскочил, охваченный паническим ужасом, и поспешил укрыться за спинкой кресла своего бельгийского хозяина.

А затем все услышали или подумали, что услышали, слова высокого черного, раздавшиеся с пресс-галереи:

— Друзья мои и мои...— тут он на мгновение запнулся, но потом продолжал: — ...если бы я выступал здесь перед вами вчера, я бы еще мог обратиться к вам со словами: «Друзья мои и мои враги». Но вчера я еще был жив, а сегодня меня уже нет. А у того, кого нет, не может быть и врагов. Поэтому я обращаюсь ко всем вам, как к своим друзьям. Я вполне понимаю ваше желание иметь вещественные доказательства моего убийства. У меня их было целых три — и притом крепких, как сталь. Три пули, и все три — Made in Belgium. Однако руки, которые выпустили их, были черными. Я явился сюда, чтобы представить эти пули вам, как выражаются на судебных процессах, в качестве вещественного доказательства. Но теперь в этом нет необходимости. Все три пули, которыми я был убит, я роздал своим преемникам — представителям всего рода человеческого.

После этого высокий черный призрак так внезапно исчез, что все приняли его за игру воображения. Да и как он мог проникнуть в бдительно охраняемые апартаменты ООН? И только один индийский журналист клятвенно уверял, что видел его, говорил с ним, сам ввел его в зал заседаний. Но кто поверит человеку, который был до того пьян, что еле держался на ногах?!

Однако реальностью было то, что на следующее утро, когда самолет собирался возвращаться в Африку, посетители айдлуальдского аэропорта заметили, что туман, упорно державшийся в течение трех дней, начал постепенно рассеиваться. Когда воздушный лайнер поднялся над Нью-Йорком, пассажиры собственными глазами увидели, как огромное здание ООН внизу уже поднимает свою голову из медленно рассасывающейся мглы.

Диктор, объявлявший по радио сводку погоды, сообщил, что согласно суточному прогнозу есть определенные шансы на то, что Нью-Йорк избавится в конце концов от такого необычного для зимнего времени тумана. Мощный поток теплого воздуха, поднявшийся с африканской Сахары, еще более усилился, проходя через Индию и Юго-Восточную Азию, прошел затем над Индонезией и Японией и теперь вторгся в пределы западного полушария. Это теплое воздушное течение уже рассасывает и разгоняет холодную мглу, которая, казалось, навеки окутала Нью-Йорк. С минуты на минуту, торжествующе заключил свою сводку диктор, солнце вырвет наконец и эти широты из тисков удушающего их тумана.

Мухаммед Диб

(АЛЖИР)

Заря наступает

Перевод с французского М. Кудинова

СЧИТАЛКА

Раз...
Начинать пора.
Залп... Вся эта игра
Разворотила пейзаж.

Два...
Замирают слова...
Пеплом стала трава...
Пепел, огонь и нож.

Три...
Заложник и тень.
Тень, заложник и дрожь
Полуопущенных век.

Четыре...
Что же потом?
Молчанье... Падает снег.
Тень и заложник опять.

Пять...
Это только снег.
Падает, падает снег,
И снежинок его не счесть.

Шесть...
Прищурив глаза,
Смерть наблюдает... Смотри,
Смотри, и не надо слов.

Один, два, три,
Четыре и пять.
Нет!
Ровно шесть мертвецов.

ЧАС БЕЗУМЬЯ

Пробил безумья час
Черный. Его приметы —
Ненависть, крики и ветер,
Что вытер слезы рассвета.

Мраком пещерным рожденный,
Рожденный огнями моря,
Он горя глубины мерит,
Он смерти вторит.

Его нетрудно узнать:
Он черный. Его приметы —
Виноградные лозы в крови,
Крик и безумье рассвета.

ВЕСНА РАСЦВЕТЕТ

Заря наступает, и вот
Пейзаж, нарисованный кровью,
Передо мною встает.

Но голос поет и поет,
Поет и летит над холмами
В край ссылки, печали, невзгод.

Вокруг только ветер и лед,
И буря смертельна. Но голос
Поет, что не вечно изгнанье,

Что мята опять расцветет,
И пальма плоды принесет,
И кончатся наши страданья...

О девушка с сердцем печальным,
Поешь ты в кровавую зиму
О том, что весна расцветет.

ВЕСТЬ

Слово надежды ко мне прилетело
Издалека... Мне слышится песня,
Которая сумрак ночной разгоняет
И заставляет забыть про усталость,
Забыть о беде и глазах исступленья.

О мирная песня, о добрая песня!
Биение сердца, в котором терпенье
Не может иссякнуть...
Вокруг меня сумрак, а в сумраке этом
Передо мною горит огонек.

Гори же, не меркни,
И ветра не бойся,
И ночи не бойся,
Ты утра дождешься,
И солнце взойдет!

Вечерние ветры,
О ветры глухие!
Вернитесь в края,
Что сюда вас послали,
Скажите им:
Это весна наступает
И ясные дни
За собою ведет —
Дни меда и света,
Пшеницы и света,
И хлеба для всех,
И счастья для всех.

Уильям Фолкнер

ОСОБНЯК

РОМАН

Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЛИНДА

6

В. К. Рэтлиф

— Значит, ты и к поезду не выйдешь встречать ее? — говорит Чик. Юрист даже головы не поднял, сидит за письменным столом и всем своим существом (во всяком случае, всем своим носом) погружен в бумаги, будто в комнате, кроме него, ни души нет.— Это же не просто новая девочка приезжает в наш город,— говорит Чик,— это же раненый ветеран войны женского пола. Впрочем, нет, какая же она новая девочка,— говорит,— слово не то. Вообще слово «новая» тут никак не подходит. Во-первых, она в Джефферсоне человек не новый, потому что она тут родилась и выросла. Да и если она даже и была когда-то «новенькой» в Джефферсоне или еще где, так это давно прошло, потому что если ты когда-то, где-то и была новенькой, так с тебя вся новизна слетит, когда побываешь в Испании с поэтом из Гринич-Вилледжа и будешь там бить Гитлера. Особенно если из-за этого поэта вас обоих изувечит снарядом. Особенно если ты — женщина. Так что, вернее сказать, это не просто знакомая девушка, которая когда-то тут росла, приезжает в Джефферсон, но первая девушка, знакомая или незнакомая, которая возвращается в Джефферсон с войны, раненая. Солдаты, мужчины, те приезжали, это да. Но ведь для нас это первая девушка, первая женщина-солдат, уж не говоря о том, что она действительно пострадала от врага. Разумеется, я не говорю про всякие насилия по той простой причине, что сейчас разговор идет не о насилиях.— Но его дядя даже не шелохнулся.— А я-то думал, что ты весь город соберешь на вокзал — встречать ее. Просто из симпатии, из сочувствия, я уже не говорю — из сострадания: девушка отправилась бог знает куда, в самую Испанию, из-за этого у нее и мужа убили, и у самой от снаряда обе барабанные перепонки лопнули. М-да, миссис Коул,— говорю.

Юрист и тут не поднял головы.

— Коль,— сказал он.

— А я так и говорю,— сказал Чик.— Миссис Коул.

На этот раз Юрист повторил по буквам:

— К-о-л-ь,— говорит. Но и до того, как он произнес по буквам, фамилия прозвучала у него совсем по-другому, иначе, чем у Чика.— И был он скульптор, а не поэт. И убило его не снарядом, а в самолете.

Продолжение. Начало см. в № 9.

— Ну, тут ничего удивительного нет, раз он был всего только скульптор,— говорит Чик.— Естественно, скульптор не так ловко может уклоняться от пулеметных очередей, как поэт. Скульптор привык стоять на одном месте. А может быть, это случилось не в субботу, и у него шапки на голове не было.

— Он летел в самолете,— сказал Юрист.— Самолет подбили. Он упал и сгорел.

— Что? — сказал Чик.— Неужели гринич-вилледжский скульптор, по фамилии Коль, и в самом деле не побоялся летать на самолете там, где его мог подстрелить противник?— Он смотрел на своего дядю сверху, прямо ему на макушку.— Значит, не Коул,— сказал он,— а Коль. Странно, что он не переменил фамилию. Разве их нация обычно не меняет фамилии?

И тут Юрист закрыл свою папку, ничуть не торопясь, положил ее на стол, отодвинул кресло, откинулся на спинку и заложил руки за голову. Волосы у него начали седеть, когда он вернулся еще с той войны, из Франции, в 1919 году. А теперь он стал совсем седой, и сидел он спокойно, откинувшись в кресле, волосы, как белая грива, золотой ключ — значок Гарвардского университета — на цепочке от часов, в кармане рубашки торчит простая тростниковая трубка, черенком кверху, будто зубочистка или карандаш, а он сидит себе и смотрит на Чика, чуть ли не с полминуты.

— В Гарварде тебя этому не учили,— говорит он.— А я-то думал, что после двух лет в Кэмбридже ты, может, про это и не вспомнишь, даже когда вернешься в Миссисипи.

— Ладно,— сказал Чик.— Виноват.— Но Юрист сидел спокойно в кресле и смотрел на него.— О, черт! — говорит Чик.— Я же сказал: виноват!

— Нет, ты вовсе не чувствуешь себя виноватым,— сказал Юрист.— Просто тебе стыдно.

— А разве это не одно и то же? — спрашивает Чик.

— Нет,— говорит Юрист.— Когда тебе просто стыдно, значит, у тебя еще нет отвращения к таким вещам. Тебе только противно, что тебя поймали.

— Ну, ладно, ты меня поймал,— сказал Чик.— И мне стало стыдно. Чего тебе еще от меня нужно? — На это Юрист даже не ответил.— Может, я тут ничего поделать не могу,— говорит Чик,— даже после двух лет в Гарварде. Может, я до Гарварда слишком долго жил среди тех, кого мы в Миссисипи зовем белыми людьми. Неужели тебе может быть за меня стыдно оттого, что я вовремя чего-то не узнал?

— Да мне за тебя вообще не стыдно,— сказал Юрист.

— Ну, хорошо,— говорит Чик,— значит, ты из-за меня огорчаешься.

— Нет, я из-за тебя и не огорчаюсь,— говорит Юрист.

— Какого же черта мы затеяли весь этот разговор? — говорит Чик.

Так что человеку, который десять-двенадцать лет назад не жил в Джефферсоне или вообще в Йокнапатофском округе, могло показаться, что тут заинтересованное лицо — Чик. И он так здорово заинтересован, что не только заранее готов приревновать своего дядю, но и уже ревнует его, хотя предмет ревности или, так сказать, яблоко раздора еще не прикатило домой, а он его десять лет даже и не видел. Выходит, что он ревнует не просто к девушке, которую не видел десять лет, но ревнует оттого, что ему было всего лет двенадцать-тринадцать, а она уже была совсем взрослая, девятнадцатилетняя, когда он ее в последний раз видел, а такая разница в годах — непреодолимая преграда: даже если обоим прибавить года по три, по четыре и то преграда останется, конечно

ежели из них старше она, а не он. Вы, наверно, подумаете, что мальчишка двенадцати-тринадцати лет еще не может ревновать по-мужски, что нет в нем того горючего, которым ревность разжигается и столько времени горит, да еще из-за девятнадцатилетней девушки, впрочем так бывает из-за любой женщины, от восьми до восьмидесяти лет, только вот никому неизвестно, когда же это человек еще настолько молод, что может не тратить горючее, не давать пожару в себе разгораться. Разве есть такой возраст, когда человек слишком молод, чтобы дать опутать, удушить свое сердце той единственной прядью волос Лилит, как говорится в стихах. Или слишком стар, это все равно. Да, кроме того, теперь, когда она вернется, она хоть и будет по-прежнему старше его на шесть-семь лет, но теперь она будет на шесть-семь лет старше двадцатидвух-двадцатитрехлетнего парня, а не двенадцати-тринадцатилетнего мальчишки, а это уже и вовсе не помеха. Теперь он уже не будет стоять в стороне перед этой петлей, этой прядью волос, как невинная, малолетняя жертва, теперь он уже сам будет на это дело напрашиваться, сам будет лезть в петлю, драться за право попасть в петлю. И драться не только за право и за честь быть удушенным, но и за право попасть в петлю первее всех.

Казалось, что этого-то он сейчас и добивается: нарочно дразнит и сердит своего дядю, ищет, какой бы дубинкой, палкой или жердиной его стукнуть, задирается, будто ему не то что двенадцать-тринадцать лет, а куда меньше, бьет чем ни попадя, например, тычет ему в глаза, что муж Линды — еврей, хотя если бы он дал себе труд подумать, то, будь ему даже двенадцать лет, он и тогда мог бы сообразить, что такого соперника этим не прошибешь, за такую соломинку и хвататься не стоит.

Может, оно его и выдало — то, что он все время тыкал Юристу в глаза этой соломинкой: ты, мол, сам виноват — отправил Линду в Нью-Йорк, на чужбину, где за ней и присмотреть было некому, вот она взяла и вышла замуж за еврея — может, это и выдавало Чика с головой. Ведь он ее даже еще не видел, он еще ничего не знал. То есть не знал, что уже в двенадцать лет в нем скопилось достаточно ревности, чтоб хватило не то что до двадцати двух, а и до восьмидесяти двух. Но ему еще надо было снова увидеть ее, чтобы понять: он имеет такое же право лезть в петлю ради этой самой приезжей женщины, как любой другой мужчина, и никто, будь он хоть семи пядей во лбу, помешать этому не сможет и спасти его не спасет. И когда он о ней думал сейчас, он только мог вспомнить то, что когда-то видел двенадцати- тринадцатилетним мальчишкой: не девочку, а взрослую девушку, такую же с виду взрослую, как его собственная мать, а значит, принадлежащую к той чуждой человеческой расе, к которой принадлежит весь мир, кроме двенадцатилетних мальчишек. И если б его дядя сам, первый, не обратил бы на нее внимание и, взяв Чика за шиворот, так сказать, не ткнул в нее носом, заставив его после уроков носить к ней записки, в которых назначал ей свидания в кафе-мороженом, Чик вообще и не заметил бы ее.

Так что, вспоминая ее теперь, Чик невольно вспоминал то, что ему думалось в двенадцать-тринадцать лет: *Черт, да она почти такая же взрослая. как мама.* Но сейчас ему надо было снова увидать ее и понять то, что уже понимаешь в двадцать два-двадцать три года: *Черт, ну пусть она на год-другой старше меня, все-таки из нас двоих мужчина — я!*

Так что и я и любой посторонний человек, наверно, подумал бы: вот как оно забрало его еще тогда, двенадцати- тринадцатилетним мальчишкой, подумал бы, что может быть, только мальчик двенадцати-тринадцати лет способен на такое чистое, незапятнанное, можно сказать, девственное чувство ревности к тридцатитрехлетнему мужчине из-за девятнадцатилетней девушки — да, впрочем, и из-за женщины любого возраста от восьми

до восьмидесяти,— так же, как только мальчик двенадцати-тринадцати лет по-настоящему переживает тоску, и страсть, и надежду, и отчаяние от любви; и всякий посторонний человек на моем месте, наверно, думал бы так до той самой минуты, пока Чик вдруг за здорово живешь не выдал себя с головой, тыча своему дяде в глаза тем, что муж Линды не только поэт, но и еврей. И тут даже посторонний человек понял бы, что Чик хотел этим уколоть вовсе не Линду, он хотел уколоть дядю, и не его, не дядю он ревновал к Линде Сноупс, а Линду ревновал к своему дяде. И тогда даже посторонний человек мысленно сказал бы Чику: *Может, сначала ты и не мог перетянуть меня на свою сторону, но теперь-то я наверняка за тебя.*

Конечно, надо бы этому постороннему человеку сначала поговорить со мной. Потому что я-то все помню: у меня на глазах еще тогда, давно, Юрист впервые, как говорится, вмешался в жизнь Линды. Я не о том времени говорю, когда Юрист подумал, что ее жизнь связана с его жизнью, и даже не о том, как он ее впервые заметил. Ей уже было лет тринадцать-четырнадцать, и Юрист знал ее с самого рождения или по крайней мере лет с двух-трех, или когда их там начинают вывозить на улицу в детской колясочке или выносить на руках, словом, когда впервые замечаешь, что оно не только похоже на человеческое существо, оно даже немножко похоже на некоторых хорошо знакомых тебе людей. А в таком тесном городишке, как Джефферсон, не только все друг дружку знают, но и все волей-неволей видят друг дружку по меньшей мере раз в день. так что, кроме тех лет, когда Юрист был на войне, он видел ее не реже, чем раз в неделю. Уж не говорю, что еще до того, как он ее рассмотрел как следует, он уже знал, что она — дочка Юлы Уорнер, а все жители Джефферсона и всего Йокнапатофского округа, знавшие Юлу Уорнер, невольно смотрели на ребенка Юлы с каким-то изумлением, как на маленькое чудо, потому что никто, во всяком случае ни один мужчина, хоть раз видевший Юлу, никак не мог поверить, что все это безмерное женское естество, сосредоточенное в одном обыкновенном, нормальном теле, могло быть оплодотворено таким, по сравнению с ней, ничтожным и жалким существом, как один обыкновенный мужчина, и что, наверно, понадобились усилия целого поколения богатырей, чтобы осеменить это, как говорится, прекрасное — нет, вернее, великолепное и мощное лоно.

Я не о том, что Юрист добровольно посвятил какие-то пустые свободные годы своей жизни Линде, ее карьере, как ему казалось. Я о том, что в ту минуту, когда Юла Уорнер кинула на Юриста тот самый первый взгляд — или позволила ему кинуть взгляд на нее, называйте как хотите,— она этим связала всю его жизнь с жизнью своего первого ребенка, конечно, если этот ребенок родится девочкой. Ведь бывает, что наконец встретишь женщину, которая всю жизнь должна была принадлежать тебе, да только теперь уже поздно. И этой женщине в минуту встречи лет шестнадцать, а тебе — девятнадцать (и Юристу действительно было девятнадцать в тот день, когда он впервые увидел Юлу, только Юла-то не подходила под эти условия, потому что она была на год старше Юриста), и ты смотришь на эту женщину в первый, единственный раз и тут же ей говоришь: «Ты красивая. Я люблю тебя. Давай никогда не будем расставаться»,— и она говорит: «Конечно»,— одно слово, но оно значит: «Конечно красивая. Конечно любишь. Конечно не будем». Только уж поздно. Она замужем за другим. Хотя на самом-то деле ничуть не поздно. Никогда не бывает и не будет поздно, если только — и возраст тут роли не играет — ты на всю жизнь остаешься девятнадцатилетним мальчишкой, который сказал эти слова той единственной шестнадцатилетней девчонке в ту единственную минуту из всех минут жизни, когда

ты был самим собой. Разве может быть поздно для такого девятнадцатилетнего мальчика, разве может кто-нибудь ту шестнадцатилетнюю девочку лишить невинности, будь у нее хоть сто мужей, если она и есть та, единственная, которая сразу сказала тебе: «Конечно». И даже если она носит видимое доказательство этого в животе, даже если она, у всех на виду, носит это доказательство на руках или оно цепляется за ее юбку, все равно этому девятнадцатилетнему мальчику ничего не стоит считать ее чистой и невинной, потому что ту, единственную, шестнадцатилетнюю, естественно, мог сделать матерью только он сам, хоть бы тут кто угодно бахвалился, утверждая, что он — виновник.

Только Юрист тогда ничего этого не понимал. Главным образом потому, что был ужасно занят. Я говорю про тот день, когда Юла в первый раз вышла на городскую площадь, где ее мог видеть не только Юрист, но и весь Джефферсон. Это было тогда, когда Флем уже общипал дотла и дядю Билла Уорнера и всю Французову Балку и должен был искать новое пастбище, а чем Джефферсон хуже других городов, потому что, как говорится, все спицы в конце концов ведут к ободу. А может быть, Флему нельзя было обойти Джефферсон, потому что Флем в это время как раз оттягал у меня мою половину того кафе, что мы содержали с Гровером Уинбушем, и, так как невозможно было найти способ притащить Гровера во Французову Балку, Флему пришлось хотя бы на время обосноваться в Джефферсоне и уж там оттягать у Гровера вторую половину кафе.

Во всяком случае, тут-то Юрист наконец и увидел Юлу. Вот тут-то он и ввязался в эту борьбу, не то что с голыми руками — весь он был голый, словно без кожи, оттого он и должен был проиграть в такой схватке: с одной стороны — он, Юрист, городской житель, холостяк, которому понадобилось получить звание магистра искусств в Гарвардском университете и диплом доктора философии в Гейдельберге, чтобы справиться с обыкновенными, нормальными жителями Йокнапатофского округа, а им только дай хоть изредка нарушить законы, что им мешают, раздражают их, да еще поживиться деньгами из государственной мошны, а с другой стороны — она, Юла Уорнер, ей-то никакого образования не понадобилось, хватало и того, что ей было отпущено господом богом: в том, что она дышала, стояла на месте, а иногда и прохаживалась взад-вперед, уже крылась беда и опасность для любого настоящего мужчины, стоило ему приблизиться к ней. А Юристу победить в этой схватке значило уподобиться тому пауку, у которого к концу медового месяца его любимая обгладывает последнюю ножку. Вероятно, об этом Юрист все-таки знал, как-никак ему уже исполнилось девятнадцать и он год проучился в Гарварде. Впрочем, даже без всякого Гарварда юноша в девятнадцать лет хотя бы инстинктивно разбирается в женщинах, как ребенок или животное инстинктивно знают, что огонь жжется,— им для этого вовсе не обязательно совать в огонь руку или ногу. Даже девятнадцатилетний мальчишка, если он говорит: «Ты красивая. Я тебя люблю»,— даже он должен сообразить, кто ему отвечает: «Конечно» — шестнадцатилетняя девочка или тигрица.

Словом, так или иначе, Юрист очертя голову ринулся в этот бой, и ему не только надо было желать и надеяться проиграть, для него ничего не могло быть лучше, чем проиграть, потому что проиграть значило только выскочить с немножко ободранной шкурой — и все. А он бросился в этот бой с голыми руками, без всякого оружия, у него только и была одна эта способность — всю жизнь оставаться девятнадцатилетним мальчишкой и выстоять против молодого Маккэррона, который не только наставил ему рога еще до того, как Юрист увидел Юлу, но и продолжал ставить ему рога под разными именами и обличьями даже тогда, когда

Юрист наконец сдался. И, может быть, у Флема не было никаких особых оснований переехать именно в Джефферсон, может быть, для него что одна спица, что другая — безразлично, ему бы только дойти до обода. А может, Флем и сам не знал, на каком основании он попал в Джефферсон. А может, женатым людям и не надо придумывать никаких оснований, потому что жена у них уже есть. А может быть, это женщинам не надо никаких оснований на том основании, что они ни о каких основаниях и не знают и действуют без всяких оснований, просто как им хочется, а с этим ни один человек ничего поделать не может, поэтому только дурак станет вмешиваться в их дела; женщина не станет, а мужчина всерьез принимает именно то, чего ему не понять, он и боится чего-нибудь по той простой причине, что ему это непонятно.

В общем, не из-за Гровера Уинбуша и не из-за той, второй, моей половины кафе, которая, так сказать, болталась в воздухе, миссис Флем Сноупс появилась в Джефферсоне и прошлась по улице в тот самый день, когда она попалась на глаза Юристу. Сама Юла тут была ни при чем. Все вышло из-за молодого Маккэррона. Я тут тоже кое-чему был свидетелем, а об остальном мне рассказали. Потому что в ту весну весь народ на пять миль вокруг уорнеровской лавки только об этом и судачил. Неоспоримым, как говорится, центром внимания всей Французовой Балки были события начиная с марта до заключительной развязки, или до своего рода турнира, который состоялся за мостом через ручей, неподалеку от дома Уорнера, летом, в июльскую ночь,— то есть начиная с того дня, как молодой Маккэррон неожиданно появился во Французовой Балке, так сказать, словно с неба свалился, прыгнул, будто рысь в овечий загон, на всех этих Букрайтов, и Бинфордов, и Квиков, и Таллей, которые вот уже год как привязывали своих лошадей и верховых мулов к загородке Билла Уорнера. Будто дикий олень из лесу, он, так сказать, перескочил ограду и уже топтал всю нашу доморощенную морковку, и тыкву, и баклажаны, а эти наши огородные растения до сих пор воображали или, во всяком случае, надеялись, что они представляют собой угрозу и опасность для девственной цитадели Юлы, а тут их сразу втоптали в грязь, так что они даже моргнуть не успели, а не то что прикрыть головы. Очевидно — да они и хвастали этим среди своих земляков,— они себя тоже считали молодцами и героями, пока он не явился в тот день неизвестно откуда, ну в точности дикий олень из лесу, словно он учуял Юлу за сто миль, давным-давно, прямо по воздуху, по ветру, и прилетел, словно стрела, туда, где она ждала, может, и не именно его, но непременно дикого, непременно сильного оленя, такой дикости, такой силы, чтобы оказался ей под пару, завоевал бы ее.

Да, брат. Как говорится, король-олень: дикий олень, прямо оттуда, с гор, шерсть дыбом, глаза сверкают. Конечно, все эти наши Букрайты, и Квики, и Талли тоже считались бойкими козликами в нашем, так сказать, заповеднике, в нашей загородке, во Французовой Балке, пока все эти загородки и доски с надписью «Вход воспрещен» не сбил этот приблудный чужак, незваный налетчик. Конечно, наши тоже умели и брыкаться и драться, тоже никаких запретов не знали, но они тут же мирились между собой — кто старое помянет и так далее, по-товарищески, по-ребячьи, и не только меж собой, они всем скопом, заодно, так же дружно могли и защищаться, и драться, ежели надо было проучить какого-нибудь пришлого: зачем пришел за четыре, за пять, за шесть миль, сидел бы лучше дома, чего ему тут делать,— а какой-нибудь чужак, бывало, увидит случайно где-то Юлу, а может, и просто услышит про нее от кого-то, кто видел, как она прошлась своей походочкой хоть десять-пятнадцать шагов. Услышит и явится в воскресенье вечерком, привяжет

и свою упряжку и мула у загородки Уорнеров, а потом с невинным видом пройдется по дороге, к рощице, там, где мостик через ручей, и уже эта девственная мечта по фамилии Уорнер у него из головы не выходит, но тут наша местная объединенная корпорация налетала на него из зарослей, выколачивала из него вредные мечты, поливала для охлаждения водицей из ручья, сажала на мула или в повозку, вожжи или поводья закручивала вокруг кнутовища или седельной луки и отправляла незваного гостя по месту жительства; была бы у него башка на плечах — он и не полез бы к нам, даже в нашу сторону не повернул бы.

Но этот, новый, был зверем совсем другой породы. Все они, включая и тех, случайных пришельцев, были просто бычками обыкновенной повсюду распространенной местной породы, а Маккэррон ни на кого другого даже и не смахивал, и ходил он непривязанный не потому, что боялся привязи, а потому, что так ему было угодно. Так что против него не только никто из наших не вышел бы в одиночку, но и вся их объединенная, сплоченная шайка, которая ни разу не побоялась засесть в заросли и проучить любого чужака, обнюхивавшего уорнеровскую загородку, вся она долго не могла набраться храбрости и выйти против него, а потом оказалось, что уже поздно. Нет, конечно, возможность у них была. Сколько раз она им представлялась, такая возможность! Откровенно говоря, он сам столько раз предоставлял им эту возможность, что к концу мая они даже ходить по дороге после наступления темноты не стали, даже около самых своих домов они иначе как по трое и не показывались. Потому что он был бычок совсем другой породы, прискакал с гор, точно с неба свалился, и стал, как выразился бы наш Юрист, присваивать себе то, что вот уже год или два было, так сказать, гинекологическим центром притяжения целого округа на севере Миссисипи. Нет, он не умыкнул Юлу, не прискакал на коне, не подхватил ее на всем скаку, не бросил поперек седла и не умчался прочь; он просто проник сюда и всех их ограбил; не то чтобы он их держал под рукой, можно сказать, вроде хора из древней трагедии, или вроде приправы — вот как ставишь на стол пять-шесть солонок, пока ешь арбуз,— но потом оказалось, что уже поздно, потом, по всей вероятности, насколько им, да и всему поселку стало известно, Юла уже забеременела Линдой.

Только мне кажется, что все было не совсем так. Хотелось бы, чтобы все это было иначе. Хотелось бы, чтобы все случилось как-то сразу. Впрочем, и это неверно. Хотелось бы, чтобы эти пять пугливых местных жеребцов сами были виноваты, что случилось именно то, чему они, набравшись храбрости, так отчаянно пытались помешать. Все они остановились, так сказать, у врат еще нетронутого бастиона девственности, все семеро: Юла, и Маккэррон, и наши пятеро — все эти Талли, и Букрайты, и Терпины, и Бинфорды, и Квики. Потому что самое худшее, как сказали бы эти Талли и Квики, еще не случилось. Я не говорю — самое худшее в отношении непорочности Юлы или запятнанной чести дома дяди Билла Уорнера, а я про зряшную затрату времени — два года у загородки Билла Уорнера стояли повозки и мулы, а пятеро ребят околачивались там до полуночи, вместо того чтобы уехать домой и хоть малость дать передохнуть и себе и упряжке, перед тем как выходить на заре пахать поле, а вместо отдыха они вечно жили в каких-то бесконечных заговорах: четверо по очереди сговаривались против пятого, про которого они думали, что он их в эту минуту обскакал. Я уже не говорю о том, что всем пятерым приходилось объединяться по первому же кличу против какого-нибудь приблудного чужака, который вдруг без всякого предупреждения появлялся у загородки, только и размышляя о том, что скрывается за этой загородкой.

Так что я предпочитаю думать, что тогда ничего еще не произошло. Не знаю, чего ждали Юла и Маккэррон. Вернее, чего ждал Маккэррон. Юла, та никогда ничего не ждала. Похоже, она и не знала, что значит это слово, как земля, почва, чернозем,— иначе говоря, все то, в чем зерно дает росток в нужное время,— не знает, что значит ждать, да и не нужно земле это знать. Ведь знать, что такое ожидание,— это бояться ослабеть или в себе усомниться, тогда только и поймешь, что значит нетерпенье или спешка, а Юле они были не нужны, как не нужны они чернозему. Ей только и надо было просто существовать, как существует земля в поле до той поры, пока не придет нужное время, нужный ветер, нужный дождь, нужное солнце, то есть до той поры, пока тот самый единственный, огромный дикий олень не перескочит загородку, не проникнет в загон,— с гор ли он явится, из лесу ли или с ясного неба, только вдруг окажется тут, остановится и стоит среди баранов, подняв голову, гордый такой. Да, как видно, сам Маккэррон оттягивал то, что можно назвать неизбежным концом. Может быть, именно для того и оттягивал, чтобы постоять с гордым видом среди баранов. Может, в этом-то и была причина: может, ему сначала было просто забавно поиграть с этими букрайтовскими и квиковскими барашками, подразнить их, посмотреть, долго ли они выдержат и когда же хоть на минуту забудут, что они всего лишь бараны, или по крайней мере вспомнят, что хоть они и бараны, но их-то пятеро, когда же они наконец рискнут с ним потягаться, как будто его появление и вправду только одна из тех обычных, мелких, неизбежных в таком деле случайных помех, с которыми Юла уже давно приучила их справляться.

Так что, может быть, вы поймете, чего они дожидались. Все они были верующие. Я хочу сказать, они ходили в церковь почти каждое воскресенье, а по средам — на вечерние молитвенные собрания, если только ничего другого не подворачивалось. Церковь была не хуже всякого другого места, чтобы закончить одну неделю и начать другую, тем более что в воскресенье утром пойти было некуда, разве что сыграть в картишки за колодцем, пока в церкви пели, молились или слушали проповедь; да и кто его знает, удастся ли в пятницу вечерком подстеречь какую-нибудь девочку и уговорить ее пойти в кустики, пока папа с мамой не хватились. А может быть, никто ни о чем не слыхал — ведь не Самсон и Далила первые выдумали эту притчу насчет стрижки волос. Так что это их ожидание в конце концов являлось, так сказать, последним отчаянным инстинктивным узаконенным предками приемом, к которому прибегает каждый молодой мужчина (и старый тоже), когда ему приходится столкнуться с соперником из-за своей девушки. Теперь вы, надеюсь, понимаете, чего они все дожидались. Конечно, они предпочли бы сохранить нетронутой эту девственную уорнеровскую цитадель, пока один из них как-нибудь сумеет словчить, отколоться от остальных и разграбить ее дотла. Но сейчас, когда этот незваный налетчик явился и все сорвал, они по крайней мере могли предать все на поток и разграбление, чтобы не только отомстить ему, но и навеки отбить у него охоту шнырять около Французовой Балки.

Конечно, они не стали его вероломно подкарауливать в такую минуту, когда он уже выдохся, утомился от своей победы и наслаждения, не такие они были подлецы. Но так как они все равно не могли помешать его победе, надо было хотя бы застать его врасплох, когда он всеми своими помыслами еще, так сказать, где-то витал, либо в ошалении от событий недавнего прошлого, то есть того, что было накануне вечером, либо в надежде на ближайшее будущее, то есть на то, что произойдет через несколько минут, как только он найдет подходящее место у загородки, чтобы привязать лошадь с пролеткой. Тут-то они, засада, его и подкарау-

лили. Конечно, они были неправы — ведь еще ничего не случилось. Вы понимаете, мне хочется думать, что цитадель невинности в тот миг еще не была взята. Нет, я не то хочу сказать, просто не надо мне ничего, кроме обыкновенной житейской правды: верить, что все случилось тогда же, там же, в тот же вечер, что даже этот молодой Маккэррон, который рядом с теми пятью парнями был похож на дикого оленя, окруженного баранами, что даже он, сам по себе, ничего не сделал бы и что они, все шестеро, повинны в том, что эта цитадель пала и что это лоно понесло с той ночи; июльская ночь, пролетка спускается с горы, и они, вся пятерка, слышат стук копыт по мостику через ручей, и они, пятеро, наконец набираются храбрости, чтоб разыграть этот последний отчаянный гамбит, и выскакивают из своей обычной засады, откуда они до сих пор били и гнали всяких местных и пришлых козлов запросто, походя, так что и рук вытирать не надо было.

Естественно, они не привели с собой никаких свидетелей, а минуты через две-три и последнего очевидца не осталось — он уже валялся, бесчувственный, в канаве. Так что, пожалуй, мои предположения справедливы, как и всякие другие, а может, еще справедливей — ведь я лицо заинтересованное, мне, как говорится, надо доказать свою теорему. На самом деле, может, им и трех минут не понадобилось: один выскочил первым, схватил коня под уздцы, а те четверо бросились на Маккэррона, вытащили его из пролетки, если он только еще сидел в пролетке, а не улепетывал меж кустов вверх по ручью, сразу предпочтя безопасность славе, и плевать, кто там на него смотрит,— так и раньше бывало с другими незваными гостями, если они успевали удрать вовремя.

Но на следующий день люди видели по уликам — по затоптанной траве,— что Маккэррон и не думал бежать, хотя и не по тем причинам, о которых упоминалось. Правда, улики никак не давали возможности установить, каким образом Маккэррону переломило руку колесной спицей, но стало известно, что другой, неповрежденной рукой Маккэррон перехватил эту спицу, защищаясь на дороге, в то время как Юла стояла в пролетке и обеими руками держала кнутовище со свинчаткой в рукояти и этой рукоятью, словно топором или тяпкой, колотила по головам — какая подвернется.

Длилось это не больше трех минут. Больше и не понадобилось: все шло так просто и естественно, обычное и простое явление природы, столь же простое, обычное и преходящее, как прилив или дождь,— налетит и сразу все смоет; топот ног, тяжелое дыхание, ничего не видать, только тени клубком сплетаются рядом с лошадью (а она и с места не двинулась, привыкла стоять: летом она часами простаивала на лесопилке Билла Уорнера, стояла и тогда, когда Билл выселял Эйба Сноупса из дома, за который аренда не была плачена два года,— а во Французовой Балке это казалось стихийным бедствием, вроде циклона,— и еще говорили, что Билл мог подъехать к вокзалу и вылезти из пролетки, даже не привязывая лошадь, когда проходил поезд, и только на следующее лето эту лошадь стали привязывать к той самой загородке, которую дикие кони, что Флем привез во Французову Балку, снесли начисто, вырвавшись на волю и разбежавшись по всему поселку) и пролеткой, и только иногда мелькают дубовые спицы и слышатся глухие, как стук по арбузу, удары кнута со свинчаткой по головам местных храбрецов.

А потом пустая пролетка и лошадь остались стоять, как стоит дерево, скала или амбар, на которые ливень или наводнение обрушились яростно, но мимолетно и уже отхлынули, да сохранилось еще одно вещественное доказательство — Терон Квик: целую неделю у него на затылке виден был отпечаток от свинчатки кнута, и не впервые его фамилия,

Квик *, звучала, как говорится, несколько юмористически, особенно когда он лежал в камышах, как колода. И вот тогда-то, по-моему, оно и случилось. Конечно, я не настаиваю, не утверждаю, что случилось именно так. Но я просто считаю, что иначе оно и быть не могло, кроме как именно таким образом, потому что это больше всего похоже на правду — так и должно было случиться.

Так что тут никакого перерыва не было. Я говорю про движение, про столкновение, все шло одним потоком, непрерывно, с той минуты, как эта пятерка выскочила из-за кустов и схватила лошадь под уздцы: ругань, топот, тяжелое дыхание и потом треск кустов под ногами, и вот уже топот затихает вдалеке — как видно, те четверо решили, что Терон Квик лежит мертвый; а потом — мирная тишина, и темная дорога, и лошадь спокойно стоит в упряжке, а Терон мирно валяется в камышах. И вот тогда-то, по-моему, оно и случилось: без передышки, даже без остановки; и тогда не только сдалась и пала цитадель невинности, но и лоно приняло семя, понесло плод, и этот ребенок, эта девочка, Линда, была зачата тут же, при дороге, и Юле, наверно, самой еще пришлось поддерживать сломанную руку Маккэррона, а лошадь стояла над ними, как охотничий трофей — бывают такие огромные звериные головы, их еще прибивают на стене в гостиной, или в библиотеке, или — кажется, так это сейчас называют — в кабинете хозяина дома. А может, это и вправду был трофей.

Так что Билл Уорнер и оглянуться не успел, как оказалось, что у него беременная незамужняя дочка. А раз у него, значит, у всей Французовой Балки, потому что, когда в те дни говорили «Французова Балка», то косились на дядюшку Билла Уорнера, это было одно и то же. И если Юла Уорнер была явлением природы, как циклон или прилив, то и дядюшку Билла тоже можно было причислить к таким вечным явлениям, хотя ему еще не стукнуло и сорока; он столько раз опротестовывал векселя и описывал имущество, выселял жильцов и выгонял арендаторов, что ему повиновалась вся Французова Балка, иначе жителям ее пришлось бы просто остаться на пустом месте, в двадцати двух милях к юго-востоку от Джефферсона.

Естественно, молодой Маккэррон тут же на месте должен был бы встать на защиту фамильной чести Уорнеров. После первого потрясения все решили, что, наверно, он так и намерен сделать. Он был единственным сыном состоятельной мамаши, вдовы, откуда-то из Тенесси, и судьба случайно закинула его туда, где он вдруг увидел Юлу Уорнер, так же как через год судьба юриста Стивенса и Манфреда де Спейна сыграла с ними ту же шутку. И так как он был единственным сыном состоятельной мамаши и воспитывался в одном из этих самых шикарных колледжей для детей джентльменов, то, само собой, все ожидали, что он пулей вылетит от нас туда, где ему положат в лубок сломанную руку, и уж конечно не будет дожидаться, пока дядя Билл Уорнер снимет со стенки свое охотничье ружье.

Но тут-то все и ошибались. Ведь от стихийного бедствия не убегают — оно тебя просто вышвыривает центробежной силой, а если у тебя есть хоть капля здравого смысла, так ты и сам пытаешься избежать его. Но когда оно налетит, тут уж некогда менять планы. Конечно, Маккэррон, наверно, согласился бы претерпеть именно это стихийное бедствие, хоть оно ему грозило бы потерей другой руки и обеих ног — а на это, должно быть, нацелились все остальные — Квики, и Талли, и Букрайты. Уже не говоря о том, что он учился в аристократическом колледже, где

---

* Быстрый *(англ.)*.

даже за короткое время ему привили высокие академические понятия о чести и рыцарстве, хотя бы с помощью простых примеров. Но как бы то ни было, не он первый пренебрег семейной честью Уорнеров, уже слегка засиженной мухами. Сама Юла ею пренебрегла. Так что понимайте как хотите. А в общем, может быть, и сам молодой Маккэррон понял все вовремя. Может, эта центробежная сила только один раз слегка задела его и он лопнул по швам от одного только прикосновения. Выходило, что она, Юла, это чудо природы, может быть, и не рассчитывала встретить другое такое же естественное чудо природы, но она рассчитывала, надеялась, что встретит хоть кого-нибудь настолько сильного, чтобы ответил ударом на удар, не теряя при первом же столкновении руку или ногу. Потому что в следующий раз ему могут и голову оторвать, то есть совсем прикончить, и тогда вся ее сила и власть, все бесстрашие и неустрашимость, умение брать и отдавать, а потом нести последствия того, что она есть чудо природы женского пола, все будет израсходовано зря, пропадет ни за грош.

Нет, я не говорю про любовь. Естественное чудо природы никакого понятия о любви не имеет, так же, как о тревоге, о неизвестности, о слабости, а надо уметь чувствовать все это, чтобы понять, что значит ожидание. И когда она сказала себе — а она наверняка так себе сказала: «Еще один такой случай на мосту, и ему конец»,— то думала она вовсе не о благополучии молодого Маккэррона.

Словом, так или иначе, на следующее утро его в поселке уже не было. Я предполагаю, что в ту ночь Юла сама ткнула остатки кнутовища в гнездо и погнала лошадь вверх в гору. Во всяком случае, они разбудили Билла, и Билл выскочил в одной ночной рубахе, без охотничьего ружья— должно было пройти примерно дней двадцать восемь, не меньше, прежде чем он понял, что нужно было снять со стенки ружье,— а тогда он только достал свой чемоданчик с ветеринарными инструментами и перевязал парню руку, чтоб он мог доехать домой или еще куда-нибудь, где бы им занялся не доморощенный коновал. Но малый приехал в Джефферсон через месяц, примерно в то время, когда Юла поняла, что, если она сама как можно быстрее не изменит свое положение, оно ей всю жизнь изменит. А он даже заплатил почтарю лишку, чтобы тот отнес Юле личное, специально для нее написанное письмо. Но из этого ничего не вышло, и он наконец совсем уехал. Ну и, разумеется, если кто ждал, что через шестьдесят пять или семьдесят дней после этого, так сказать, внеочередного турнира на мосту у ручья из уорнеровской резиденции раздастся дикий рев, так он ошибался: просто о свадьбе было коротко объявлено чуть ли не перед самым венцом, а Герман Бекрайт и Терон Квик тоже на всякий случай уехали из Французовой Балки, хотя я уверен, что они вовсе не хвастали, а только жалели, что не они всему причиной,— и Юлу обвенчали с Флемом; а через неделю — она понадобилась Биллу для того, чтобы, как он думал, облапошить Флема, заставив его взять заброшенную усадьбу Старого Француза в счет приданого Юлы,— Юла и Флем уехали в Техас, то есть настолько далеко, чтобы по их возвращении домой это самое новорожденное сноупсовское чадо выглядело вполне законным, то есть, вернее, правдоподобным. Не говоря о том, что никому не будет известно, сколько времени до рождения это чадо провело в Техасе, так что никто не будет ни о чем знать и никто не удивится, что у дитяти в три месяца уже режутся зубки. А если через год, когда они вернутся во Французову Балку, какой-нибудь пронырливый хитрец заметит, что младенец немножко великоват для трехмесячного, он тут же подумает — а может быть, они и провели в Техасе лишние три месяца.

Прошло ровно четырнадцать месяцев с той первой встречи, когда

молодой Маккэррон, так сказать, лопнул по швам. Но она ничего не ждала. Такое чудо природы, как Юла, не ждет. Она просто существовала, дышала, сидела с этим ребеночком в качалке на веранде уорнеровского дома, пока Флем наменял шестьдесят долларов серебром и закопал их в розарии старой усадьбы, именно там, где мне с Генри Армстидом и Одэмом Букрайтом суждено было их найти. Она и в тот день просто существовала и дышала, сидя с ребенком на повозке, когда они переезжали в Джефферсон, где Флем мог запустить когти в Гровера Уинбуша и оттягать у него вторую половину того кафе, которое принадлежало нам с ним. И она по-прежнему существовала и дышала, только меньше сидела на месте, потому что волне незачем знать, куда и зачем она бежит, туда ли, куда надо, или нет, она с Флемом и ребенком жила в палатке за кафе и время от времени проходила по джефферсоновской площади, где ее наконец и увидел Манфред де Спейн, этот новый Маккэррон, только он-то уж никак не лопнул по швам, на нем и вмятины не оказалось после столкновения с ней. Правда, он не мог похвастать какими-то особыми преимуществами, вроде того, что он — единственный сын состоятельной вдовы, которая живет в роскошных отелях во Флориде, пока он временно пребывает в этих самых изысканных закрытых колледжах, нет, ему приходилось довольствоваться тем, что его отец — кавалерийский офицер армии конфедератов, а сам он окончил военную академию в Вест-Пойнте и пошел, как сказал бы его отец, в армию к янки, отправился на Кубу в чине лейтенанта и вернулся оттуда с огромным шрамом через всю щеку (его противники на выборах распустили слух, что шрам вовсе не от испанского штыка, что будто бы его ударил топором какой-то сержант в Миссури, во время карточной игры). Впрочем, так оно было или нет, но это ему ничуть не помешало пройти на выборах в мэры города Джефферсона, как не помешало, когда подошло время, стать президентом банка вместо полковника Сарториса, и уж подавно никак не помешало ему и Юле, когда подошло их время.

Я уж не говорю о юристе Стивенсе. Нельзя сказать, что ему не повезло, когда он очутился на пути этой волны, потому что волны никакого отношения к несчастью и счастью не имеют. Это была его судьба. Его просто случайно захлестнуло, придавило, как муравья, который взобрался на ту же дорожку, какая понадобилась, приглянулась слону. Не то что он родился слишком рано или слишком поздно или не там, где следовало. Нет, он родился именно когда надо, но не в той оболочке. Это была его судьба, его удел, что он родился не в особой, плотной маккэрроновской оболочке, что Старый Хозяин сотворил его таким тонкокожим, таким — как бы это сказать? — тонкожилым, насквозь пронизанным безудержными, безнадежными стремлениями.

И вот он опрометью, очертя голову бросился в эту схватку, причем лучшее, на что он мог надеяться, это проиграть ее как можно скорее, потому что малейшее подобие, хоть самая ничтожная тень победы убила бы его, как удар молнии; а в это время Флем Сноупс тихо пасся на новых джефферсоновских пастбищах, объедая их дочиста, и жил он с женой и малолетней дочкой в палатке около кафе, сам жарил бифштексы, с тех пор как Гровер Уинбуш вдруг обнаружил, что даже половина кафе уже не принадлежит ему; а потом Раунсевеллы, которые до сих пор считали, что им принадлежит то, что миссис Раунсевелл называла «Коммерческий отель», а вся округа звала «раунсевеллские меблирашки»,— вдруг тоже обнаружили, что они ошибались и что семья Флема Сноупса жила там уже месяц с лишним до того, как Флем вытеснил оттуда Раунсевеллов, а в палатку за кафе переселил еще одного Сноупса из Французовой Балки, и теперь бифштексы жарил тот Сноупс, потому что сам

Флем стал смотрителем электростанции; а к этому времени Манфред де Спейн не только увидал Юлу, но и стал уже мэром города Джефферсона.

И все же Юрист не оставлял свои попытки, даже когда видел каждый день, как его смертельный соперник и торжествующий победитель ездит взад и вперед через площадь в красном с медными украшениями автомобиле, каких никто до сих пор не видал на всем севере штата Миссисипи, уж не говоря о Йокнапатофском округе; эта же машина как-то однажды завернула в переулок за домом, где «Дамский котильонный клуб» давал ежегодный рождественский бал, и тут, в переулке, Юрист попытался избить Манфреда де Спейна голыми кулаками, и шурин вытащил его из канавы и держал до тех пор, покамест Манфред не скрылся из виду, а потом отвел его домой, в ванную, смысл с него кровь и сказал: «Какого черта ты полез? Неужто ты не понимаешь, что ты не умеешь драться?» А Юрист, нагнувшись над умывальником и пытаясь остановить кровь из носу, ответил: «Конечно понимаю. Но каким способом, по-твоему, можно лучше научиться?»

Он все еще пробовал как-то вмешаться, начиная с той давнишней истории с покражей медных деталей на электростанции и кончая этой, последней отчаянной попыткой что-то сделать. Тогда, на электростанции, скопилась целая груда старых кранов и клапанов, медных труб, стертых подшипников и всякого такого хлама, а потом все это вдруг куда-то исчезло; Флем уже второй год царил на этой электростанции, но никаких прямых улик против воров не было, даже когда исчезли медные предохранительные клапаны с обоих котлов и кто-то ввинтил вместо них стальные втулки; все же дело кончилось тем, что городским ревизорам пришлось пойти к смотрителю станции и как можно деликатнее сообщить ему, что медные части пропали, на что Флем, перестав жевать, коротко сказал: «Сколько?» — и заплатил им, а на следующий год они снова проверили книги и нашли, что в прошлом году ошиблись, и опять пошли к нему и намекнули, что произошла ошибка, и Флем опять перестал жевать и коротко спросил: «Сколько?» — и заплатил им и эту сумму. А он (я говорю о Юристе) опять поднял все это старое дело, хотя Флем давным-давно ушел с места смотрителя станции и даже купил два новых предохранительных клапана за собственный счет как личный подарок гражданина своему городу; все эти дела со всякими доказательствами он, Юрист, поднял только для того, чтобы опорочить Манфреда, лишить его звания мэра города, однако судья Дьюкинфилд отказался слушать это дело и назначил вместо себя судью Стивенса, отца Юриста. Но никто не знал, как прошло слушание дела, потому что судья Стивенс очистил зал суда от публики и дело слушалось, что называется, при закрытых дверях: присутствовали только Манфред, Юрист и сам судья. Кончилось тем, что очень скоро, почти что сразу, Манфред вышел из зала и отправился к себе, в кабинет мэра города, а по рассказам, слухам или легендам, называйте как хотите, Юрист все стоял перед своим отцом, опустив голову, и повторял: «Что же мне теперь делать, отец? Скажи, отец, что же мне теперь делать?»

Но на следующее утро, когда я его провожал на поезд, он был вполне бодр; мало ему было, что он окончил Гарвардский университет и юридический колледж в Оксфорде, он опять уезжал учиться в какой-то немецкий город. Да, да, бодрый, свежий, лучше не надо. «Значит, так,— говорит,— прежде чем прощаться, мне от вас нужно вот что: я вам должен передать этот факел под вашу личную ответственность. Теперь вам в одиночку придется защищать форт. Теперь вам одному придется нести все бремя».— «Какой форт? — спрашиваю. — Какое бремя?» —

«Джефферсон,— говорит,— Сноупсов. Как, по-вашему, справитесь вы с ними один в эти два года?»

Вот что он тогда думал: наконец-то он бесповоротно, навеки разочаровался в Елене Прекрасной, и теперь у него была одна забота — чтоб Менелаи-Сноупсы чего-нибудь не натворили в Йокнапатофско-Аргивском округе, пока он будет в отсутствии. И хорошо, что он так думал, так ему хоть на время стало легче. А потом, когда он вернется, он еще успеет понять, что отказаться от Елены не так просто, хотя бы оттого, что всю жизнь, и не только всю ее жизнь, но и всю его жизнь она от него не отстанет. Не захочет, и все.

Впрочем, до его возвращения прошло не два года. Прошло почти пять лет. Стояла весна 1914 года, а летом началась война, и, может быть, этого — войны — он и ждал. Он не то что надеялся на войну или ждал, что она начнется специально для него, нет, он, как и многие у нас в стране, вовсе и не верил, что война близка. Но он искал чего-то, чего угодно, а чем война была хуже любого другого способа забыть, потому что хоть он умом и понимал, что теперь между ним и Юлой Сноупс лежит целый океан, но нутром чувствовал, что двух лет куда как мало, чтобы и он, и Елена Прекрасная поверили, что все прошло. И хоть он не ожидал, что его спасет война, но где-то в глубине души он верил, что провидение что-нибудь придумает, потому что, как он говорил, бог все-таки джентльмен и не станет дважды ошарашивать одного и того же человека, преподносить ему один и тот же презент, во всяком случае не в той же оригинальной упаковке.

В общем, он на войну попал. Но удивительно было, по крайней мере для меня, почему он не стал драться на стороне немцев. Удивительно не только потому, что он уже жил в Германии, среди немцев, в их окружении, но потому, что он мне часто говорил: хотя люди, которые попали на нашу сторону океана и основали Америку, были продуктом английской культуры, но в наше время германская культура ближе всего связана с современными мужественными отпрысками северной ветви старой арийской расы. И это потому, говорил он, что связь эта мистическая, и она не в том, что видишь, а в том, о чем слышишь; будто современный ариец, по крайней мере в Америке, никогда не верит в то, что он видит, но готов поверить всему, что он услышит, хоть и не сможет доказать, будто бы современная германская культура с самой революции 1848 года никогда не интересовалась и даже вроде как презирала всю внешнюю сторону человеческой жизни, все то, что воспринимается зрением и осязанием, например, скульптуру, или живопись, или гражданские законы, созданные для блага людей, и, наоборот, она, германская культура, занималась тем, что человека берет на слух, например, музыкой и философией да еще всякой путаницей, происходящей у человека в мозгах. И потому, говорил он, немецкий язык такой некрасивый, нет в нем музыкальности, как в испанском или итальянском, и той, как он говорил, манерной изысканности, как во французском, а немецкий язык жесткий, некрасивый, какой-то харкающий (есть еще такая поговорка: по-итальянски говорят с мужчинами, по-французски — с женщинами, а по-немецки — с лошадьми), и этот язык не мешает, он тебя не отвлекает от того, что ты слушаешь нервами, нутром — от мистической философии, от замечательной музыки — Юрист говорил, что у них самая лучшая музыка — от математической точности и неуклонности Моцарта через божественную страстность Бетховена и Баха, до помеси скандала в публичном доме и уличного карнавала, который грохочет в музыке Вагнера,— и все это прямо доходит до сердца современного северного арийца, ничуть не затрагивая его ум.

Но только в германскую армию он не пошел. Не знаю, чего он там наврал немцам, чтобы его выпустили из Германии туда, где он смог присоединиться к их противнику и сражаться против них, и не знаю, что он там наврал англичанам и французам, убеждая их допустить студента германского университета туда, где он мог подслушать, какой сюрприз сейчас готовят немцам. Но он все это проделал. Однако пошел он не в английскую армию, он пошел к французам, к тем самым, что, по его же словам, все время манерно разговаривают с дамами. Я так и не понял почему, даже через четыре года, когда я его спросил: «Как же так, после всего что вы говорили насчет этого самого сродства с немецкой культурой, и германская армия была у вас под самым носом, или, вернее, вы были у нее под носом, как же вы после этого все же врали и хитрили, лишь бы вам попасть не к немцам, а к французам?» А он мне только ответил: «Я ошибался». И еще через год, когда я ему сказал: «А как же ихняя замечательная, великолепная музыка, как же эта ихняя замечательная мистическая философия?» — он мне только ответил: «Все это по-прежнему замечательно и великолепно. Только слово «мистический» не подходит. И музыка, и философия рождаются из тьмы, из мрака. Не из тени, нет, из темноты, из непроглядности, из мрака. А человеку нужен свет. Человек должен жить на ярком, постоянном, беспощадном свету, так, чтобы каждая тень была определенной, отчетливой, самобытной и неповторимой: тень его собственной, личной чистоты или подлости. Все зло человечества родилось в темноте, во мраке, там, где человека не преследует по пятам тень его собственных преступлений».

В общем, прошло еще года два или три, и он вернулся домой окончательно, и Юла, которой ничего не нужно было для него делать — только дышать, существовать на свете,— уже всю его жизнь, если только она понадобится, связала с будущим своей одиннадцати- двенадцатилетней девочки, и я ему сказал:

— Елену озарял свет.

А он ответил:

— Елена сама — свет. Вот почему мы до сих пор через пять тысячелетий видим ее неизменной, ничуть не померкшей.

А я говорю:

— А как же те, другие, помните, вы рассказывали? Все эти Семирамиды, и Юдифи, и Лилиты, и Франчески, и Изольды?

И он говорит:

— Они не то что Елена. Нет в них того света, той лучезарности, того постоянства. А все потому, что они не умели молчать. И все они медленно тонут во мраке и гуле голосов, рассказывающих об их трагедиях, их страстях. Иное дело — Елена. Знаете ли вы, что не сохранилось ни единого ее слова, даже упоминания о том, что она говорила, кроме слова «да», которое она, возможно, сказала Парису?

Словом, вот как обстояло дело. Девочке исполнилось тринадцать, и четырнадцать, и пятнадцать лет, она старалась хорошо кончить школу, аккуратно посещала занятия, хорошо учила уроки, чтобы перейти в следующий класс, и, наверно, почти не обращала на него внимания, а может быть, даже и не узнала бы при встрече, если бы вдруг не заметила, что, неизвестно почему, он пытается как-то вовлечь ее в свою жизнь или хоть немного войти в ее жизнь, считайте, как хотите. А ведь он был холостяк, вдвое старше ее, и у всех на виду, потому что был прокурором округа, уж не говоря о том, что Джефферсон — город маленький, и стоит вам пойти постричься, как об этом к ужину будут знать все ваши избиратели. Так что они только и могли после школы посидеть вдвоем с четверть часика за столиком у окна в кондитерской дяди Вилли Кристиана, пока

она ела сливочное мороженое или банановый пломбир, а перед ним, в нетронутом стакане кока-колы, таял лед. Вот и все, это было единственное, что они могли себе позволить, не только ради ее доброго имени, но и ради сохранения голосов тех избирателей, которые через два года могли решить, что угощать мороженым четырнадцатилетних девочек не совсем подходящее занятие для прокурора округа.

Два раза в неделю он с ней встречался будто бы совершенно случайно, но в общем было ясно, какая это случайность: Юрист стоял у окна своего кабинета напротив школы, пока не начинали расходиться первые школьники, приготовишки и первоклассники, а потом, благодаря тому же случайному совпадению, он выходил и случайно оказывался на улице именно тогда, когда можно было окликнуть ее — сначала среди семиклассниц, потом — восьмиклассниц, потом — девятиклассниц, а она сначала немножко удивлялась и недоумевала — не пугалась, нет, а только удивлялась, что ему от нее нужно. Но это было недолго, потом прошло, и вскоре Юрист даже стал отпивать немножко кока-колы из стакана, пока лед не растаял и еще не противно было пить. А как-то я ему сказал: «Завидую я вам» — и он посмотрел на меня, а я говорю: «Счастливый вы!» — а он говорит: «В чем же это?»— а я отвечаю: «Да вы двадцать четыре часа в сутки заняты по горло. Это не всем удается. Почти что никому. А вот вам удалось. И делаете вы не только то, что должны делать, но и то, что вам хочется делать больше всего на свете. Мало того, тут у вас возникает столько занятных технических осложнений, будто вы их сами придумали, а не просто они на вас навалились. Ради ее доброго имени вы должны все делать в открытую, на глазах у тех самых людей, которые готовы погубить ее доброе имя навеки, если б только им представился случай, а вот если бы вы встречались тайно, они даже не подозревали бы, что вы друг с другом знакомы. Да, дела у вас немало, верно?»

Вы понимаете, ведь теперь-то он наконец избавился от наваждения, освободился от этого падшего ангела. Юла сама выдала ему это притирание, эту лечебную мазь для искусанного пальца: как говорил поэт, каждому мужчине хоть раз в жизни приходится в отчаянии грызть себе пальцы; а теперь эта девочка, тринадцати, потом четырнадцати, потом пятнадцати лет, сидела напротив него в кондитерской Кристиана раза два в неделю, за исключением тех случайных двух-трех недель, когда миссис Флем Сноупс с дочерью уезжали на отдых туда, где в то же время случайно отдыхал и Манфред де Спейн — теперь он уже был не мэр де Спейн, а банкир де Спейн, так как полковник Сарторис освободил место президента банка, основанного им, отцом де Спейна и Биллом Уорнером, потому что внук полковника однажды утром по дороге в город опрокинул его автомобиль в канаву, и президентом банка стал Манфред де Спейн, причем он перешел из кабинета мэра города в кабинет президента банка в тот самый момент, когда, по случайности или по совпадению, Флем Сноупс сменил место смотрителя электростанции на место вице-президента банка и одновременно сменил и ту суконную кепку, в которой он приехал в Джефферсон (сменил, но не выбросил: говорили, что он ее загнал какому-то негру за десять центов. Может, это и недорого, кто ж его знает, вдруг его финансовый гений вместе с потом пропитал эту кепку), сменил на широкополую черную фетровую шляпу, какие носят плантаторы, более подходящую для его нового положения и звания.

О да, Юрист теперь совсем избавился от наваждения, изредка он даже сидел один у окна кондитерской Кристиана за стаканом кока-колы, где таял лед, и дожидался, пока они обе приедут домой, чтобы быть на месте, когда окончатся все эти случайные летние совпадения и снова начнутся занятия в школе, и целый год, дважды в неделю, можно будет си-

деть тут — если только эта девочка в шестнадцать-семнадцать лет не встретит своего Хоука Маккэррона или Манфреда де Спейна и Юристу не придется сказать, как тому герою из книжки: «То, что вы видите, не слезы, вам только так кажется».

Шестнадцать лет, семнадцать лет, скоро будет восемнадцать, а Юрист все еще кормит ее с ложечки сливочным мороженым и банановыми пломбирами, и уже все джефферсонцы решили, что знают, к чему клонит Юрист, признаётся он в этом или не признаётся. И конечно Юла уже лет пять-шесть знала, чего ему надо. Все равно как бывает с собакой: бегает такой пес, ничего в нем особенного нет, но пес хороший, умный, что называется, всем псам пес, и определенного хозяина у него нет, но он больше всего любит околачиваться возле тебя, и даже через пять-шесть лет ты иногда подумываешь, что другого такого пса не найти и что, хотя и пять-шесть лет назад и еще через пять-шесть лет тебе лично этот пес вовсе и не был и не будет нужен, все-таки жалко его просто выгнать, нельзя, чтобы все, что в нем есть хорошего, даже если это только верность и преданность, так, зазря досталось кому-нибудь другому. Или, скажем, есть у тебя дочка, подросток, и чем старше она становится, тем больше она мешает тебе и всяким твоим личным делам: и тут-то может пригодиться не только эта верность, эта преданность, пригодиться может и сам пес, недаром же он показал, что способен оставаться верным и преданным, даже когда потерял всякую надежду поживиться хоть какой ни на есть косточкой.

Так думали все джефферсонцы. Все, кроме меня. Быть может, даже если она прогнала Маккэррона, зная, что беременна от него, то и такое чудо природы женского пола, как она, все-таки прежде всего — женщина, хочет она того или не хочет. А я уверен, что в этом женщины почти не отличаются от мужчин: если для мужчины возможно запросто, без мучений почувствовать себя отцом первого ребенка той женщины, которую он любил и потерял, но все еще не может выбросить из головы, если ему безразлично, чей это ребенок, так и женщина, народившая хоть дюжину детей от других мужчин, запросто может навязать отцовство тому человеку, который потерял ее и ничего от нее не требует, лишь бы она принимала его преданность и верность.

А так как и Линда родилась женщиной, то, наверно, к тринадцати-четырнадцати годам, а может, и раньше, когда прошло первое удивление — а это было примерно после второй-третьей порции мороженого,— она тоже решила, что знает, к чему он клонит. И конечно тоже ошиблась. Не такой он был человек, Юрист. Просто воспитать ее, а потом на ней жениться — это ему было не нужно. Для этого — то есть для простой, естественной, нормальной жизни, состоящей из постоянных супружеских стычек вплоть до развода,— она была ему не нужна, с этим справилась бы любая девица, которую он мог выбрать из толпы школьниц или других посетительниц кондитерской Кристиана. Из-за этого не стоило тратить столько сил. Ему необходимо было стать для нее единственным мужчиной, который не только считал, что у нее есть душа и что эту душу еще можно спасти от того, что он окрестил «сноупсизмом»,— от этой упорной и злой силы, грозившей ей хотя бы потому, что она в течение двенадцати-тринадцати лет считала себя кровно с ней связанной, тогда как никакого кровного родства и в помине не было,— но он еще считал, что только он один может спасти, уберечь то, что в ней таится — ну что-то вроде того переливчатого радужного шара, какие тюлени в цирке удерживают на кончике носа: он хоть и бьющийся, но все-таки не бьется, он качается на волосок от всей гадости и грязи Сноупсов и не падает, если тюлениха сама не споткнется, не упадет или не засмотрится куда-то.

Так что добивался он только одного: услать ее куда-нибудь из Джефферсона, а лучше и безопаснее было бы даже и вовсе из штата Миссисипи, сначала месяцев на десять в какой-нибудь колледж, а там, может, кто найдется и на ней женится, и она уедет навсегда — вот какой он был чистокровный, незапятнанный оптимист из оптимистов, а ведь все знали, что Флем Сноупс стал вице-президентом деспейновского банка по той же самой причине, по какой он сначала был назначен смотрителем электростанции: с одной стороны — те, кто хотел улыбаться Юле Уорнер, должны были хотя бы привыкнуть к имени Флема Сноупса, а с другой стороны — де Спейн был вынужден потянуть за собой Флема Сноупса, чтобы заполучить голос старика Билла Уорнера и стать президентом банка. И была одна причина, почему Билл Уорнер не воспользовался этим случаем и не отомстил Флему за то, что тот его обжулил на усадьбе Старого Француза, которую Билл ни в грош не ставил, пока Флем не сплавил эту землю мне, Одэму Букрайту и Генри Армстиду,— с меня он взял половину кафе, которым мы владели вместе с Гровером Уинбушем, с Одэма Букрайта — наличные деньги, а с Генри — закладную на ферму в двести долларов, не считая тех пяти-шести долларов, что жена Генри спрятала от него, зарыв их около отхожего места; не отомстил он Флему по той же причине, по какой Юла не бросала Флема и не выходила замуж за Манфреда де Спейна: пока она считалась женой Флема, она сохраняла видимость семьи и тем самым давала имя своей девочке, иначе та была бы лишена всего. Ну а когда эта девочка сама выйдет замуж или по крайней мере устроится где-нибудь подальше от Джефферсона, ей больше не понадобится ни имя Флема, ни его дом, и, следовательно, Флем ничем Юлу удержать не сможет, Флема выставят за дверь, и придется ему только в щелку подглядывать — все это он, Флем, отлично понимал.

Однако Юрист ничего этого не знал. Он до последней минуты верил, что Флем позволит ему устроить Линду подальше от Джефферсона, там, где она сможет выйти замуж за какого-нибудь случайно подвернувшегося юнца, хотя тогда Юла бросит Флема — и Флему будет крышка. Он — я говорю про Юриста — давал Линде с четырнадцати лет читать всякие книжки, а потом ее вроде как бы экзаменовал, пока таял лед в стакане кока-колы. А потом ей исполнилось семнадцать, будущей весной она должна была окончить школу, и он уже выписывал проспекты самых что ни на есть лучших женских институтов, где-нибудь поближе к Гарвардскому университету.

И тут начинаются события, о которых никто, кроме самого Юриста, не знал, а он об этом никогда не рассказывал. Так что приходится, как он сам любил выражаться, делать выводы из явных улик: дело было не только в том, что купленные для нее умные книжки и проспекты всяких учебных заведений начали покрываться пылью в его служебном кабинете, а в том, что встречи за порцией мороженого тоже отошли в прошлое. Потому что она вдруг стала ходить в школу и возвращаться из школы боковыми переулками, и только через неделю Юрист наконец понял, что она его избегает. А ведь уже через два месяца она кончала школу, и нельзя было терять ни минуты. И вот в то утро Юрист сам пошел переговорить с ее мамой и конечно никому ничего не рассказал, так что нам приходится самим делать выводы даже без всяких улик. Но недаром я вырос во Французовой Балке, в той же самой среде, в том самом окружении, откуда Флем Сноупс сам себя вытащил, так сказать, за уши, без посторонней помощи, если не считать помощи Хоука Маккэррона. Так что мне только и оставалось вообразить себя на месте Флема Сноупса, вообразить, что я держу в руках старика Уорнера только благодаря его дочке и

что ежели я выпущу из рук внучку старика Уорнера — а я и то еле-еле держу ее,— так и дочка от меня уйдет. А тут вдруг какой-то непрошеный, совершенно посторонний человек, будь он проклят, придумал целый план, чтобы отправить эту внучку туда, откуда мне, если только у нее хватит соображения, ее никак не достать. А так как дочка Уорнера мирилась со мной целых восемнадцать лет исключительно ради этой самой внучки, то ответ тут был простой — надо было только сказать жене: «Если вы разрешите своей дочери уехать учиться, я так раздую все эти ваши шашни с Манфредом де Спейном, что у вашей дочки не то что семьи и дома не останется, откуда ей можно уехать учиться, а и на каникулы приезжать будет некуда».

А так как Юла первые восемнадцать лет своей жизни дышала, так сказать, тем же воздухом Французовой Балки, что и я, то мне было совсем не трудно вообразить себя на месте Юлы Уорнер и догадаться, что она сказала Юристу: «Нет, ехать учиться ей нельзя, но вы можете жениться на ней! Все и уладится!» Поняли меня? Ведь такой верный, такой преданный друг, который оставался верным и неизменным так долго, даже не выпрашивая косточку, не только слишком большая ценность, чтоб им швыряться, но его следует наградить по заслугам, потому что дать тебе полностью осознать, почувствовать, что ты — Елена Прекрасная, не могут и тысячи Парисов, и Маккэрронов, и де Спейнов — для этого требуется что-то большее. Я говорю не только о неисчерпаемой способности любить, я говорю о власти: не только о том, что в ее власти притягивать, очаровывать и сжигать, а о том, что она властна, она способна дарить и награждать, и не то что она властна захватывать так много, что ей не справиться — потому что слова «Елена» и «не справиться» никак, ни на одном языке не вяжутся,— а просто ей дано притягивать к себе настолько больше, чем ей надо, что она даже может позволить себе расщедриться, отдать лишнее; но на то ты и Елена, чтобы никогда не отдавать целиком, что принадлежит тебе, ты только можешь поделиться чьей-то любовью, можешь вознаградить чьи-то страдания. Но ты и жестока, ты и в жестокости щедра, оттого что ты — Елена, тебе все дозволено, надо быть Еленой, чтобы стать такой жестокой, такой щедрой и в жестокости, и все же самой остаться невредимой, незапятнанной, и, может быть, тут тебе впервые доведется назвать его по имени, сказать: «Женитесь на ней, Гэвин».

И увидеть в его глазах не просто испуг, не просто изумление, как он увидел в глазах Линды в ту первую встречу, но ужас, страх, не потому, что сразу надо было ответить «нет», и даже не из-за самой просьбы, так как он считал, что это давно было спрошено и давно решено. А потому, что именно его об этом попросила именно она. Должно быть, он и так уже ни на что не надеялся с той минуты, когда понял, что и Манфред де Спейн тоже ее приметил, и с тех пор научился не ворошить в душе надежду, потому что только он один знал — для него надежды никогда и не было. Но тут, когда она сказала ему эти слова громко, прямо в лицо, ему показалось, что она громко, при всех, сказала ему, что у него никогда и не могло быть надежды, даже если бы Манфред де Спейн и вовсе с ней не встретился. И если бы он мог выпалить «нет» тут же, сразу, может, вышло бы так, будто она и не говорила то, что сказала, и он все еще не был бы окончательно изничтожен.

В общем, никто, ни один посторонний человек их разговора не слышал, так что вполне вероятно, что он до самого января еще верил, будто ничего сказано не было, как верят в чудо: во что не поверил, того и не видал. Да, чудо, чистейшее чудо, что человеку так мало нужно, чтобы все выдержать. Но то, что случилось в январе, было и впрямь похоже на чу-

до: еще весной Линда окончила среднюю школу и осенью поступила в институт, откуда каждый вечер приходила домой, а в субботу и в воскресенье весь день была дома на глазах у Флема. И вдруг, сразу после рождества, мы услыхали, что она ушла из института и поступает в Оксфорд, в университет. Да, сэр, именно туда, и жить будет в пятидесяти милях от Флема, да еще в таком месте, где вокруг нее денно и нощно будут увиваться пять или шесть сотен холостых юнцов моложе двадцати пяти лет, и каждый из них, у кого найдется два доллара на брачное свидетельство, свободно может на ней жениться. Да, это было настоящее чудо, особенно, когда я встретил Юлу на улице и спросил:

— Как же вам это удалось?

А она говорит:

— Что удалось?

И я говорю:

— Уговорить Флема, чтоб отпустил ее в университет.

А она отвечает:

— Это не я. Он сам придумал. Дал ей разрешение, даже не спросив меня. Я ничего не знала.

Но не зря мы выросли во Французовой Балке, уж не говорю — провели последние восемнадцать лет в Джефферсоне: все понимали, что Флем Сноупс чудесами не занимается, что он им предпочитает наличные денежки или по крайней мере бумажку с подписью или даже с крестом. И вот, когда все это кончилось, и Юла умерла, и де Спейн навсегда уехал из Джефферсона, а Флем стал президентом банка и даже поселился в восстановленном родовом особняке де Спейнов, а Линда уехала со своим нью-йоркским мужем драться в Испанию и когда Юрист наконец рассказал мне все, что он сам знал — а это не так уж много,— то все мои предположения подтвердились. Потому что должны же были дети Елены Прекрасной унаследовать какую-то частицу ее щедрости, даже если они унаследовали только миллионную часть материнских богатств, чтобы одарять ими людей. Уж не говоря о наследии молодого Маккэррона: хоть он и оказался недостаточно крепок и еле выдержал первую стычку у моста через ручей, все-таки у него хватило и смелости, и напора пойти на это испытание. Так что, очевидно, Флем заранее знал, что ему не придется с ней торговаться, предлагать мену. Он знал, что надо сделать именно так, как он и сделал: застать ее врасплох, после того как она уже сдалась и в течение трех месяцев привыкала к тому, что все кончено, и тут ей сказать: «Давай договоримся. Если ты откажешься ехать учиться в восточные штаты, то, пожалуй, можешь поступить в Оксфордский университет». Вы меня поняли? Предложить ей то, чего она никак от него не ожидала: в течение всех тринадцати-четырнадцати лет, что она его знала, ей и не снилось, что он способен на такой поступок.

А потом наступил тот апрельский день. С Нового года она уже училась в университете, в Оксфорде. Я как раз ехал в Роки-Форд, отвозил новую швейную машину миссис Ледбеттер, когда Флем остановил меня на площади и предложил мне целых шестьдесят центов, чтобы я завез его на минутку в лавку Уорнера. Видно, ему было к спеху, раз он предлагал шестьдесят центов, тогда как почтальон его довез бы даром, видно, и дело было тайное, потому что он не хотел пользоваться общественным транспортом: ни пролеткой почтальона, который отвез бы его даром и туда и обратно, хоть пришлось бы потратить на это целый день, ни наемным автомобилем, который довез бы его до уорнеровских ворот меньше чем за час.

Да, видно, дело было и спешное и тайное, иначе старый Билл Уорнер не влетел бы, как буря, в городской дом, к зятю и дочери на следующее

утро, еще до света, и не бушевал бы так, что перебудил всех соседей, пока кто-то (очевидно, Юла) его не остановил. И нам опять приходится сопоставлять некоторые известные факты: во-первых — эта самая усадьба Старого Француза, которую Билл отдал Флему, считая, что она ничего не стоит, пока Флем не продал эту судьбу мне, Одэму Букрайту и Генри Армстиду (не считая, конечно, тех настоящих серебряных долларов, которые Флему пришлось закопать в кустах, чтобы мы — или другие Рэтлифы, Букрайты и Армстиды, кто подвернется,— их там нашли). Во-вторых — место президента банка: мы знали, что Флем закинул на него глаз с тех самых пор, как Манфред де Спейн принял банк от полковника Сарториса. И наконец эта девочка, Линда, которая уже унаследовала от своей матери ее щедрость и вдруг получила такой щедрый подарок, какого она не только никогда в жизни не ожидала, но, наверно, и понятия не имела, как он ей был нужен, пока он не свалился на нее, словно с неба.

Оказалось, что в тот день Флем отвез во Французову Балку дарственную Линды. Может быть, когда Линда наконец пришла в себя и поняла, что ей разрешено ехать учиться, после того как она давно перестала на это надеяться, хотя ей позволили уехать не дальше чем в Оксфорд,— может быть, когда она опомнилась и поняла, кто ей это позволил, она не захотела оставаться перед ним в долгу. Впрочем, я и в это не очень-то верю. Тут дело было даже не в той капле щедрости и доброты, которую дитя Елены унаследовало от нее,— не так уж много, потому что даже дитя Елены несло в себе и другую, более обыкновенную, наследственность: известно, что и у Елены дети сами по себе не рождаются. А Линде хотелось не только отдавать. Ей хотелось стать нужной кому-то, чтоб ее не только любили и желали, а чтоб она кому-то была необходима; и может быть, тут, впервые в жизни, она почувствовала, что она владеет чем-то не просто нужным, но и необходимым другому человеку.

Вот она и составила ту дарственную, и, разумеется, Юла рассказала об этом Юристу. Вероятно, сам Флем намекнул об этом Линде, ничего сложного тут не было. Правда, я и в это не верю. Ему не нужно было об этом говорить: он достаточно знал Линду, чтобы рассчитывать на нее так же, как она достаточно знала его, чтобы понять его расчеты. Линда сама это придумала, когда поняла, что, пока он жив и здоров и зовется Флемом Сноупсом, он никогда, ни под каким видом не отпустит ее из Джефферсона. И она в отчаянии, в полной беспомощности спрашивала себя: *Но почему же? Почему?* — пока сама не ответила на вопрос — хотя ответ, может, и не выдерживал критики, но ведь тогда ей всего было шестнадцать, а потом семнадцать лет, и вот между шестнадцатью и семнадцатью годами она вдруг поняла: единственное, что он любит, это деньги. Наверно, она кое-что знала и про Манфреда де Спейна. Джефферсон не так уж велик, да и в другом городе было бы то же самое. Уж не говоря о тех двух-трех неделях летом, у моря, или в горах, или еще где, когда вдруг ни с того ни с сего появлялся — кто бы вы думали?— давнишний их сосед по Джефферсону, который «случайно» проводил свой летний отпуск в то же самое время, в том же самом месте. Что же ей оставалось думать? *Он только благодаря мне и маме надеется получить дедушкины деньги и потому считает, что если я от него уйду, так он нас обеих выпустит из рук, мама тоже от него уйдет и выйдет замуж за де Спейна, а тогда дедушкины деньги пропали для него навеки.*

И вдруг этот самый человек, который за шестнадцать или семнадцать лет жизни приучил ее к мысли, что он ничего, кроме денег, не любит и готов сделать все на свете, чтобы получить лишний доллар, вдруг он сам, без всякого давления со стороны, ничего не требуя взамен, говорит: *«Мо-*

жешь ехать учиться, если хочешь; только хотя бы первое время учись поближе к дому, скажем, в Оксфорде. Этим он как бы говорил: Я был неправ. Я больше не буду вмешиваться в твою жизнь, хоть я и уверен, что тем самым отнимаю у себя всякую надежду получить деньги твоего деда!

Что же она могла сделать, кроме того, что она сделала, как бы говоря ему: *Если вы только сейчас поняли, что моя жизнь важнее, чем дедушкины деньги, так я давно могла бы вам это сказать; если б вы два года назад сказали мне, что просто боитесь, я бы тогда же вас успокоила.* И она пошла (Юрист сам мне об этом рассказал) к нотариусу в Оксфорде, как только она там поступила в университет, и составила дарственную, по которой все, что ей могло достаться от деда или матери, она передавала своему отцу, Флему Сноупсу. Конечно, и этот поступок не выдерживал критики, но ведь ей только-только исполнилось восемнадцать, и это было все, что она могла отдать, считая, что кому-то это необходимо, кто-то этого жаждет, а, кроме того, в этом деле несомненно было только одно то, что эта дарственная вгонит в пот старого Билла Уорнера, когда Флем ему ее покажет.

Словом, в десять часов утра я остановил машину не около лавки, где Билл сидел в это время, но у ворот его дома и подождал, пока Флем выйдет, дойдет до дома, встретится там, как я полагал, с миссис Уорнер, повернет обратно, выйдет из ворот и снова сядет в мой «пикап»; и, наверно, только часа в два ночи за их ранним семейным завтраком миссис Уорнер вспомнила или наконец решилась — словом, выдала старому Биллу ту бумагу, которую с вечера ей оставил ихний зять. И уже на рассвете Билл переполошил всю улицу, где жили Сноупсы: так он орал в доме Флема, пока Юла его не утихомирила. А в тот час, когда наши изнеженные джефферсонцы обычно садились завтракать, Манфред де Спейн тоже явился в дом. И его приход все решил. Флем уже раз обжулил Билла Уорнера на усадьбе Старого Француза, потом второй раз обернул дело так, что заставил Билла сделать Манфреда де Спейна президентом, а себя вице-президентом банка, а теперь Флем в третий раз так обернул дело, что внучка Уорнера каким-то образом отказалась в его пользу от той половины наличного капитала Уорнеров, к которому Флем до сих пор никак не мог подобраться. А теперь Флем хотел только, чтобы Манфред де Спейн подал в отставку и чтоб он сам стал президентом банка, и конечно предпочел бы сделать все это втихомолку, осмотрительно, негласно, чтобы Билл Уорнер, так сказать, по-семейному предложил Манфреду уйти из банка в обмен на эту Линдину бумагу; на это должен был бы пойти и пошел бы всякий — только не Манфред де Спейн. В нем-то оказалась вся загвоздка: как видно, Юла могла справиться со всеми, но не с ним. Может, он и вправду заработал этот шрам через все лицо тем, что выволок наш флаг на какую-то высоту, там, на Кубе, и захватил не то форт, не то пушку, а может, ему разрубили физиономию топором в карточной игре, как намекали еще тогда, в предвыборную кампанию. Во всяком случае, шрам у него был на лице, а не на спине, и хотя не исключено, что кто-нибудь мог стукнуть его по черепу свинчаткой и очистить его карманы, пока он лежал без сознания, но добраться до его кармана, угрожая ему револьвером или еще чем-нибудь, не смог бы никакой Сноупс, да и вообще никто на свете.

И среди всех них — Юла, которая могла справиться с кем угодно, кроме Манфреда, могла даже утихомирить старого Билла, но заставить Манфреда замолчать она не смогла. А ведь она почти что девятнадцать лет своей жизни отдала на то, чтобы создать семью, дом, где Линда росла и жила бы так, чтоб ей никогда не пришлось говорить: *«У других детей*

есть то, чего у меня нет», и Юле тут же, сразу надо было решить: *Что я предпочла бы, будучи восемнадцатилетней девочкой: чтобы все узнали, что моя мать покончила с собой, или чтобы все осудили ее как шлюху?* И назавтра весь Джефферсон уже знал, что накануне вечером Юла приехала в центр и зашла в косметический кабинет — раньше она этого никогда не делала, ей это было не нужно — и там вымыла и завила волосы и отполировала ногти, а потом уехала домой и, наверно, поужинала или, во всяком случае, посидела за ужином, потому что было уже около одиннадцати вечера, когда она взяла револьвер и спустила курок.

А на следующее утро Юрист и его сестра поехали в Оксфорд за Линдой и привезли ее домой; по несчастной случайности все это произошло за неделю до дня ее рождения, когда ей исполнилось девятнадцать лет. Флем, получив дарственную, решил, что надо ее показать (и как можно скорее) Биллу Уорнеру, как лицу заинтересованному, и конечно Билл не должен был именно в этот день, через два часа после того как он увидал эту бумагу, подымать такой крик и шум. Мог бы и подождать недели две, а то и месяц, никто его не торопил, Флем, наверно, подождал бы, сколько надо.

Обо всем остальном позаботился Юрист: он устроил похороны, он послал во Французову Балку за миссис Уорнер и за тем старичком, методистским священником, который крестил Юлу, чтобы он проводил ее в могилу. Естественно, нельзя было требовать от овдовевшего супруга, чтоб он хоть на время забыл горе и занялся будничными делами. Не говоря уж о том, что ему надо было готовиться принять дела в банке, выждав для приличия какое-то время, потому что Манфред де Спейн сам сложил свои вещички и уехал из Джефферсона сразу после похорон. А потом, опять выждав ради приличия, но уже подольше, так как банк — это не то, что дом, там ждать было нельзя, ведь банк имеет дело с наличностью, с настоящими денежками, Флем стал готовиться к переезду в особняк де Спейна, так как де Спейн явно не собирался вернуться в Джефферсон из своего, можно сказать, последнего путешествия, предпринятого из-за Уорнеров, и не имело никакого смысла, чтобы пустовал хороший, крепкий, красиво расположенный дом. А он, этот особняк, безусловно, тоже входил в ту торговую сделку, которую заключили между собой Флем и Билл Уорнер, меняя банковые акции Уорнера на это самое финансовое рондо или «Сон в летнюю ночь», которое состряпала Линда с оксфордским адвокатом, за подписью Линды. Уж не говоря о том, что старый Билл назначил Юриста опекуном Линды и ее капитала, так что теперь эти деньги были защищены от Флема, пока он не придумает что-нибудь, чему на этот раз поверит даже Юрист. А Билл потому назначил Юриста, что никак нельзя было его обойти, да и больше назначить было некого: Юрист не только оказался в центре всех этих денежных и похоронных происшествий, но и влип в них по уши, и все же, как те водяные жуки, что неистово мечутся и скользят по поверхности загнившего пруда, он сам остался сухим и чистым.

Теперь Юрист был занят надгробием, которое решил поставить Флем. А надгробие это заказали в Италии, значит, надо было ждать, и Юрист изо всех сил старался их поторопить, чтобы Линда могла поскорее уехать, так как Флем решил, что для соблюдения дочерних приличий Линде надо дождаться, пока над могилой матери не водрузят это самое надгробие. Впрочем, что я говорю — не надгробие, а целый памятник: Юрист обыскал и обшарил не только Французову Балку и Джефферсон, но и весь Йокнапатофский округ, он охотился за каждой фотографией Юлы, раздобыл все что мог и отослал в Италию, чтобы там на мраморе высекли лицо Юлы. И тут я понял, что нет человека храбрее, чем такой

вот скромник и тихоня, если он вдруг решит, что его моральные устои и принципы требуют, чтоб он пошел на такие поступки, на какие он никогда в жизни не решился бы лично для себя, ради собственного интереса; никогда у него не хватило бы нахальства являться не только в те дома, где знали Юлу, но и в те, где имелся хоть детский фотоаппарат, и листать там все семейные альбомы, перебирать самые интимные фотографии, и все это, конечно, вежливо, благородно, но с видом человека, которому никак не скажешь «нельзя» и даже «пожалуйста, не трогайте!»

Теперь-то он мог заняться чем угодно. Потому что теперь он был доволен и счастлив, понимаете? Теперь его ничто не тревожило. Юла ушла, успокоилась наконец, и он тоже мог успокоиться: теперь ему больше никогда не придется, как выразился поэт, «грызть пальцы в горести», вечно ожидая, кто же еще появится под именем Маккэррона или де Спейна. А тут и Линда не только была навсегда спасена от Флема, но и он, Юрист, как опекун, полностью распоряжался деньгами, которые она получила от матери и деда, так что теперь она могла уехать, куда ей хочется, конечно после того как он настойчивостью и упорством добьется, чтобы эти самые заморские мастера все-таки высекли из мрамора лицо Юлы еще до второго пришествия или страшного суда; для того он и собрал все ее фотографии, отправил их в Италию, а потом ждал, пока ему оттуда пришлют рисунок или фотографию с начатой работы, чтобы он проверил, правильно или неправильно они делают, и он вызывал меня к себе в служебный кабинет посоветоваться, и у него на столе, под специальной лампой, лежал самый последний итальянский рисунок или фотография, и он говорил:

— Вот тут, около уха (или подбородка, или рта), вот тут, видите, о чем я говорю?

А я отвечал:

— По-моему, все правильно, по-моему, очень красиво.

— Нет. Вот тут неверно. Дайте-ка мне карандаш.

А иногда карандаш уже был у него в руке, но рисовать он все равно не умел, то и дело стирал и начинал снова. И хотя время все шло и шло, приходилось отсылать фотографию обратно; Флем и Линда уже поселились в особняке де Спейна, и Флем купил себе автомобиль — хотя сам он править не умел, зато его дочка хорошо правила, правда, ездила она с ним не так часто. Наконец все было готово. Стоял октябрь, и Юрист передал мне, что открытие памятника на кладбище состоится сегодня к вечеру. А я уже заранее сообщил об этом его племяннику, Чику, потому что Юрист сам себя довел до такого умиротворенного и спокойного состояния, что мы оба могли ему срочно понадобиться. Так что Чик в этот день не пошел в школу, и мы все втроем отправились на кладбище в машине Юриста. Там уже были Линда с Флемом, в машине Флема с негром-шофером, который должен был отвезти ее в Мемфис и посадить на нью-йоркский поезд; ее чемоданы уже стояли в машине, Флем сидел, откинувшись на спинку сиденья, в своей черной шляпе, которая и сейчас, через пять лет, казалась на нем какой-то чужой, сидел и жевал пустоту, а рядом с ним — Линда, в темном дорожном платье и шляпке, чуть наклонив голову и сжав на коленях руки в беленьких перчатках. И вот его открыли, этот белый памятник, и на нем — это лицо, и хоть было оно вырезано из мертвого камня, все же это было то самое лицо, которое заставляло каждого юношу никогда, до самой старости не терять надежду и веру в то, что, может быть, перед смертью он наконец удостоится ради этого лица испытать все несчастья, все горести, а может быть, и пойти на погибель. А наверху — надпись, ее выбрал сам Флем:

ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ЖЕНА — ВЕНЕЦ СУПРУГУ.
ДЕТИ РАСТУТ, БЛАГОСЛОВЛЯЯ ЕЕ.

И вот наконец Флем высунулся из окна, сплюнул и сказал:
— Все. Можно ехать.

Да, брат, теперь-то Юрист был свободен. Теперь ему не из-за чего было тревожиться: мы с ним и с Чиком поехали прямо к нему в служебный кабинет, и он все время говорил, что игру в футбол можно было бы сделать более современной, в соответствии со всеобщим прогрессом, и для этого достаточно было бы выдать по мячу каждому игроку, так, чтобы все наравне участвовали в игре, или, еще лучше, пусть мяч будет один, но все границы поля надо изничтожить, так что самый хитрый игрок сможет спрятать мяч у себя под рубахой и удрать в кусты, покружить по городу, а потом переулочками выйти к воротам и забить гол, пока его никто не хватился; а потом, у себя в кабинете, он сел за стол, вынул одну из своих трубок и потратил на нее три спички, и тут Чик взял трубку у него из рук, набил ее табаком из жестянки, стоявшей на столе, и подал Юристу, а тот сказал: «Очень благодарен»,— и уронил набитую трубку в мусорную корзинку, скрестил руки и все говорил, говорил, пока я не сказал Чику: «Посмотри за ним, я сейчас вернусь»,— и вышел в переулок; времени у меня было мало, так что достал я только пинту какой-то гадости, но все-таки на худой конец это было что-то вроде алкоголя. Я достал сахар, стакан и ложку из шкафчика, сделал пунш и поставил перед ним на стол, а он только сказал:

— Очень благодарен,— но даже не притронулся к стакану, все сидел, сложив перед собой руки, беспрестанно моргал, будто ему в глаза попал песок, и говорил, говорил: — Все мы, цивилизованные народы, ведем начало своей цивилизации с открытия принципа перегонки спирта. И хотя весь остальной мир, во всяком случае та его часть, которая называется США, считает, что мы, жители Миссисипи, стоим на низшей ступени культуры, однако кто может отрицать, что, даже если то, что я сейчас выпью, будет действительно такая дрянь, как я ожидаю, все же мы также стремимся к звездам. Почему она это сделала, В. К.? Все в ней — все ее существо, то, как она двигалась, дышала, жила,— все это было только дано ей в долг; она не имела права все это губить, она себе не принадлежала, не имела права губить себя, уничтожать. Она была достоянием слишком многих, она была нашим достоянием. Почему же, В. К., почему?

— Может, ей все наскучило,— говорю я, и он повторяет:

— Наскучило. Да, наскучило.— И тут он заплакал.— Да, она любила, она умела любить, дарить любовь и брать ее. Но дважды она пыталась и дважды терпела неудачу, она не могла найти не только человека достаточно сильного, чтобы заслужить ее любовь, но даже достаточно смелого, чтобы ее принять. Да,— говорит он, а сам сидит прямо, и слезы текут по лицу, но в душе у него мир, и нет теперь ничего на всем свете, что его мучило бы или тревожило.— Да, конечно, ей все наскучило.

7

В. К. Рэтлиф

Значит, теперь он был свободен. Он не только освободился от своей сирены, он освободился и от опеки, которую, как он узнал, она ему завещала. Потому что я говорю:

— Что это за Гринич-Вилледж?

А он говорит:

— Есть такое место без географических границ, правда для нее оно будет в Нью-Йорке, куда молодежь всех возрастов, вплоть до девяноста лет, отправляется в поисках мечты.

Но тут я ему говорю:

— А ей вовсе и не надо было уезжать из Миссисипи, чтоб найти такое место.— И тут же говорю ему то, что, наверно, Юла сама должна была, непременно должна была ему сказать и, наверно, сказала:— Почему вы на ней не женились?

— Потому что ей всего девятнадцать лет,— говорит он.

— А вам уже целых тридцать пять, так?— говорю.— Во всех газетах только и пишут про девочек, которые еще в куклы играют, а замуж выходят за шестидесяти- и семидесятилетних стариков, конечно, если у тех есть лишние денежки.

— Нет, я хочу сказать, что у нее очень много времени впереди, и я ей еще могу понадобиться, мало ли что случается в жизни. А сколько в газетах пишут про людей, которые поженились, зная, что они когда-нибудь могут полюбить кого-то другого?

— А-а,— говорю,— значит, теперь вам только и остается сидеть там, где слышен звонок междугороднего телефона или где вас легко найдет разносчик с телеграммой. Потому что едва ли вы будете ждать, чтоб она вернулась в Миссисипи. А может, будете?

— Конечно нет,— говорит он.— Зачем ей возвращаться?

— Что ж, значит, слава богу? — спрашиваю. Он не ответил.— А в общем, кто его знает,— говорю,— может, она уже и нашла свою мечту за эти... сколько дней? Два? Три? Может, он ее уж поджидал там, когда она приехала. Ведь это вполне возможно там, в Гринич-Вилледже, правда?

И тут он сказал, как я:

— Да,— говорит,— и слава богу.

Значит, теперь он был свободен. И действительно, если хорошенько присмотреться, так ему больше ничего не оставалось, как жить в мире, в тишине и спокойствии. Потому что не только он, но и весь Джефферсон в конце концов освободился от Сноупсов; впервые почти за двадцать лет в Джефферсоне и во всем Йокнапатофском округе настало что-то вроде штиля по части Сноупсов. Потому что наконец даже Флем как будто был удовлетворен: наконец-то он сел в то самое кресло, где сидели все президенты Торгово-Земледельческого банка с тех самых пор, как первый президент, полковник Сарторис, основал этот банк двадцать с чем-то лет назад, а кроме того, он жил в том самом доме, где родился второй президент банка, так что теперь, когда он запирал в сейф банковские деньги и шел домой, ему ничего другого и не оставалось, как жить в спокойствии и одиночестве, в тишине и довольстве, потому что он, во-первых, избавился от дочери, которая годами непрерывно держала его в напряжении — а вдруг она удерет туда, где ему за ней не уследить, и первый попавшийся юнец на ней женится, а он, Флем, потеряет ее долю уорнеровских денег? — а во-вторых, избавился от жены, которую вместе с Манфредом де Спейном в любую минуту могли разоблачить, а это ему дорого стоило бы: тогда он потерял бы и остальные уорнеровские капиталы, да и контрольный пакет акций в правлении банка.

Фактически Флем теперь был единственным Сноупсом, оставшимся в Джефферсоне. Старик Эйб всегда жил не ближе чем за две мили, в горах, откуда едва можно было видеть водонапорную башню,— там он поселился еще в 1910 году и оттуда не вылезал. А четыре года назад Флем сплавил отсюда А. О. и навсегда выпихнул его во Французову

Балку. А до того Флем препроводил Монтгомери Уорда в Парчмен, где уже находился Минк (впрочем, Минк по-настоящему никогда не жил в Джефферсоне, он только провел там несколько месяцев в тюрьме, ожидая, пока его навечно осудят на каторгу). А в прошлом месяце отправили и тех четверых полуиндейцев-полусноупсов, которых Байрон Сноупс (бывший банковский клерк полковника Сарториса, тот, что подал в отставку простым и удобным способом: прикарманил столько денег, сколько удалось захватить, и удрал с ними через границу США) прислал Флему наложенным платежом из Мексики, и к ним долго никто и никак не мог подойти близко, чтоб изловчиться и навесить на них ярлычки со штампом «доставка оплачена», прежде чем тот из них, у кого был в данный момент складной нож, не вспорет ему брюхо. Что же касается сыновей Эка — Уоллстрит-Паника и Адмирала Дьюи, так они прежде всего были не настоящие Сноупсы, потому что Уоллстрит явно мечтал только об одном — вести оптовое бакалейное дело возмутительным, отнюдь не сноупсовским способом, а именно — продавать каждому в точности то, что ему нужно, и в точности за ту сумму, какую тот собирался заплатить.

Да, он почти что был удовлетворен. Я говорю о Флеме и о его новом жилище. Дом был обыкновенный, два этажа, галерея, где майор де Спейн, отец Манфреда, любил сидеть, когда не рыбачил, не охотился и не занимался судебными делами, да и второму президенту Торгово-Земледельческого банка тоже хорошо жилось в этом особняке, главным образом потому, что он в нем родился. Но третий президент был не такой, как все. Он и до президентского кресла и до этого дома дошел куда более длинной дорогой. И, наверно, он понимал, что ему очень издалека пришлось добираться туда, где он сейчас оказался, да и в пути трудностей было немало. Потому что полковник Сарторис родился в богатстве и почете, и Манфред де Спейн родился в почете, хотя богатство он уже добыл сам. Но ему, Флему Сноупсу, пришлось самому добывать и то и другое, тащить, выдирать и выцарапывать, так сказать, из твердой, упорной, неуступчивой скалы, и к тому же не просто голыми руками, а одной рукой, тогда как другой голой рукой надо было обороняться, защищаться, пока он выдирал и выцарапывал то, что ему нужно. Так что Флему было мало просто жить в том доме, где люди, клавшие деньги в банк, привыкли видеть Манфреда де Спейна, в доме, куда тот, заперев их деньги, возвращался каждый вечер из банка и откуда выходил по утрам, когда надо было отпирать эти деньги. Нет, теперь этот дом, куда будет по вечерам входить Флем и откуда он будет выходить по утрам в банк, должен был стать видимым символом крушения той аристократии и знати, которая не только была слишком горда, чтобы злоупотреблять чужими деньгами, но даже в этом не нуждалась.

Так что в Джефферсоне все-таки появился новый Сноупс. Нет, его не совсем переселили из Французовой Балки, его только ввезли для временного употребления. Это был Уот Сноупс, плотник, полное его имя звучало так: «Фирма Уоткинс Сноупс», а слова «Фирма Уоткинс» когда-то были написаны с обеих сторон на стенке фургона аптекаря Мика, развозившего патентованные лекарства, так что, очевидно, был среди Сноупсов и такой, что умел читать по-печатному, хоть, может, и не мог читать по-писаному.

И вот в следующие девять-десять месяцев каждый, кто проходил, нечаянно или нарочно, по этой улице, видел, как Уот со своей артелью из родственников и свойственников сносил галерею майора де Спейна, пристраивал задний фасад к дому и устанавливал колонны от земли до самой крыши второго этажа, и хотя дом даже после окончательной по-

краски все-таки не мог потягаться с Маунт-Верноном *, но, к счастью, Маунт-Вернон находился в тысяче миль от нас, так что у завистников и недоброжелателей не было никакой возможности сравнить эти два особняка.

Словом, когда Флем запирал банк и возвращался вечером домой, он мог войти и закрыть за собой двери такого дома, чтобы люди, чьи деньги он хранил, хоть немного завидовали, но при этом даже они, эти завистники, им гордились, одобряли его, и все вкладчики ложились спать спокойно, зная, что их деньги в полной целости, в полной сохранности, в полной безопасности. А Флем тоже теперь был обеспечен, как говорится, целиком и полностью. У него даже служили негры — повариха и привратник, он же шофер, так как при Флеме уже не было единственной дочки, умевшей водить машину, хотя выезжал он не чаще, чем раза два в месяц, только чтобы не разрядился аккумулятор, не то придется ставить новый, как ему объяснил представитель фирмы.

Однако изменился, преобразился только особняк, но не сам Флем. Особняк, куда он входил около четырех часов дня и откуда выходил наутро, в восемь, мог казаться солидным, аристократическим, родовым символом Александра Гамильтона, Аарона Барра, Астора, Моргана, Гарримана или Хилла — словом, всех золотых защитников крепких, надежных капиталовложений, но человек, которого видели в дверях этого дома владельцы охраняемых им денег, остался таким же самым, привычным, каким они знали его двадцать лет: на нем был тот же пристегивающийся галстук-бабочка, с каким он приехал из Французовой Балки на тележке, запряженной мулами, и только шляпа другая, новая, но даже ту старую суконную кепку — приказчику Уорнеров она вполне подходила, но разве можно в такой кепке выходить вице-президенту банка?— даже ту старую кепку он не выбросил и уж конечно не подарил, а продал, пусть всего за десять центов, ведь и десять центов тоже деньги, а теперь все владельцы денег, препорученных ему, как вице-президенту банка, смотрели на шляпу и знали, что, какая бы ей ни была цена, ему она обошлась на десять центов меньше. И дело было не в том, что Флем сопротивлялся всяким переменам в себе самом: он не желал меняться из точного расчета, потому что доверяешь не обязательно тому человеку, который никогда не обманул доверия: доверяешь тому, о ком по опыту знаешь, что он отлично понимает, когда выгодно обманывать, а когда невыгодно.

И дом видели тоже только снаружи, до порога, а переступив порог, Флем за собой закрывал двери до восьми часов следующего утра. Никогда он никого к себе не приглашал, и до сих пор никто не придумал предлога зайти туда, так что видели это жилье внутри только повариха да привратник; он же, привратник, мне все и рассказал: в больших комнатах обстановка сохранилась, как при де Спейне, только прибавились все те кондитерские изделия, которые по совету владельца мебельного магазина накупила Юла в Мемфисе, потому что так полагалось обставлять квартиру вице-президенту банка, но Флем никогда в эти комнаты не заходил, он только обедал в столовой, а потом если не спал, то уходил в небольшую комнату в задней половине дома и там просиживал весь вечер, точно в таком же вращающемся кресле, какое у него стояло в банке: упершись ногами в каминную доску, ничего не делая, сидел, надвинув шляпу на глаза, и жевал тот самый кусочек пустоты, который начал жевать с тех пор, как бросил табак; по приезде в Джефферсон он перешел на жевательную резинку, а потом и резинку бросил (видно, понял, что люди считают вице-президента банка настолько богатым, что он может вообще

---

* Имение, где жил Джордж Вашингтон.

ничего не жевать). Привратник рассказал, что Уот Сноупс нашел в журнале картинку, как переделать камин под старинный, со всякими колонками, и лепкой, и резьбой, и как сначала Флем просто сидел, задрав ноги и уперев их в белую каминную доску, и с каждым днем царапина от гвоздей в подметках становилась все глубже. Но однажды, почти через год после того как дом был отделан, Уот Сноупс пришел пообедать, а когда Уот ушел, привратнику зачем-то понадобилось войти в ту комнату, и он все увидел: это был не то что вызов, не то что просто напоминание, откуда Флем родом, но, как говорится по-умному, самоутверждение, а может, и предупреждение себе самому: к старинной ручной резьбе каминной доски была прибита небольшая деревянная, даже некрашеная, планка, как раз на такой высоте, чтоб Флему удобно было упирать в нее ноги.

Было время, когда первый президент банка, полковник Сарторис, проезжал четыре мили от дома своих предков до банка в экипаже, на паре одномастных коней, которыми правил негр в полотняной ливрее и старом цилиндре полковника, было и такое время, когда второй президент ездил в огненно-красной гоночной машине, пока не купил черный «паккард», которым правил негр в белой куртке и шоферской фуражке. У этого, у третьего президента, тоже была черная машина, хотя и не «паккард», и тоже был негр, который умел править, хотя у него никогда не водилось ни белой куртки, ни шоферской фуражки, и этот президент никогда, по крайней мере до сих пор, не ездил в банк и домой на машине. Те два прежних президента по вечерам после закрытия банка и по воскресеньям разъезжали по всей округе, первый в экипаже, второй в черном «паккарде», и осматривали фермы хлопководов, на которые их банк держал закладные, а новый президент всем этим пока не занимался. И не потому, что все еще не верил, что закладные в его руках. Нет, в этом он никогда не сомневался. Ему ничуть не боязно было в это верить, в нем ни робости, ни сомнений и в помине не было. Просто он еще присматривался, еще учился. И не то чтоб он сразу превзошел две науки, думая, что изучает только одну — как стать респектабельным,— нет, вторую науку он превзошел еще во Французовой Балке, он с этим сюда и приехал. А научился он там смирению, именно такому смирению, которое одно только чего-нибудь да стоит: смиренно признаться себе, что ты многого еще не понимаешь, не знаешь, но ежели у тебя хватит терпения. смиренно и долго ко всему присматриваться, особенно если при этом еще оглядываться на свой путь, так ты все узнаешь. И теперь по вечерам и по воскресеньям он сидел в доме, куда никого не приглашали, а значит, никто и не мог видеть, как он сидел в этом вращающемся кресле, в единственной обжитой комнате, не снимая шляпы и жуя все ту же пустоту, а ноги его упирались в эту узкую деревянную некрашеную планку — в это вопиющее несоответствие на старинном ручной резьбы камине, в планку, похожую на изречения в рамочках, какие прибивают на стенку в той комнате, где часто сидят, думают, работают,— скажем, «ПОМНИ О СМЕРТИ», или «ЖИВИ С УЛЫБКОЙ», или же «БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ»,— чтобы не только ты сам, но и все твои посетители видели, что ты хоть понаслышке знаком с фактом существования каких-то таких неопределенных сил, которым, может быть, ты отчасти обязан всем тем, чего достиг.

Но все это — и планка, и все прочее — появилось позже. А теперь Юрист получил свободу. И наконец — разумеется, не через три дня после отъезда Линды в Нью-Йорк, но и не через триста дней — он, как говорится, получил уже полную свободу. Он стоял у окошка на почте, с распечатанным письмом в руках, когда я вошел, и случайно в эту минуту, кроме нас, там никого не было.

— Его зовут Бартон Коль,— говорит он.

— Это как?— говорю.— Кого это так зовут?
— Мечту, вот кого,— говорит.
— Коул?— спрашиваю.
— Нет,— говорит, — вы произносите «Коул», а его фамилия — Коль.
— Вот как,— говорю,— Коль. Не очень-то американское имя.
— А Владимир Кириллыч, по-вашему, очень американское имя?

К счастью, на почте было пусто. Чистая случайность, он тут ни при чем.

— О черт! — говорю.— Сто пятьдесят лет подряд, с тех пор как ваши проклятые янки из конгресса выселили нас в горы Вирджинии, один Рэтлиф из каждого поколения тратит полжизни, чтобы скрыть свое имя, а в конце концов кто-нибудь обязательно ляпнет при всех. Наверно, Юла меня выдала?

— Ладно,— говорит,— помогу вам скрыть ваш семейный позор. А он — да, он еврей. И скульптор, наверно, отличный.

— Из-за этого?— говорю.

— Возможно, но не только из-за этого. Из-за нее.

— То есть оттого, что Линда выйдет за него замуж, он станет хорошим скульптором?

— Нет. Он, наверно, и сейчас лучше всех других скульпторов, раз она его выбрала.

— Значит, она вышла замуж,— говорю.

— Что?— говорит он.— Нет. Она только что с ним познакомилась, я же вам объяснил.

— Значит, вы еще не...— я чуть было не сказал «не свободны», но спохватился: — ...не уверены. То есть, значит, она еще окончательно не решила.

— А что я вам говорю, черт побери? Забыли, что я вам сказал прошлой осенью? Что она полюбит раз в жизни и уже навеки.

— Только вы сказали «обречена полюбить».

— Будет вам,— сказал он.

— Обречена на верность и горе, вы так сказали. Полюбить сразу, и сразу его потерять, и потом всю жизнь быть ему верной и горевать о нем. Но пока что она ведь еще его не потеряла. Она, собственно говоря, его еще и не заполучила. Правильно я говорю или нет?

— Я вам сказал — будет!— говорит он.

Произошло это примерно в первые полгода. А через год та самая деревянная планка для ног появилась на старинной, ручной работы маунт-вернонской каминной доске — такая грубая, некрашеная планка, будто ее взяли прямо из поленницы,— и прибита она деревенским плотником, можно сказать, к самой неприступной горной вершине, вроде как бы к Маттерхорну респектабельности — так альпинист пыхтит, собирает все силы для последнего броска — смерть или победа! — лезет туда, старается взобраться на эту неприступную вершину, венец всех устремлений, а потом уродует ее, вырубает свое имя — имя победителя. Но он-то был не такой. Он и тут снова проявил свое смирение, но не явно, иначе на него страшно обиделись бы те, кто уважал всякие альпинистские попытки лезть в гору при помощи Торгово-Земледельческого банка; нет, он прибил эту планку у себя, в уединении, как строят тайную часовню или алтарь: не для того, чтобы цепляться за нее в отчаянной и упрямой попытке влезть в гору, а для того, чтобы класть на нее ноги, когда отдыхаешь от подъема.

В тот день я проходил мимо прокурорского кабинета, как вдруг Юрист вылетел из-за угла; как всегда, из всех карманов у него торчали бумаги, и обе руки, как всегда, тоже были полны бумаг. Я его постоянно

видел только в двух состояниях: либо он сидел более или менее спокойно, либо летел так, будто ему за шиворот насыпали раскаленных углей.

— Бегите домой, хватайте чемодан,— говорит.— Сегодня вечером выезжаем из Мемфиса в Нью-Йорк.

Тут мы поднялись к нему в кабинет, и он сразу перешел в то, другое состояние. Он бросил все бумаги россыпью на стол, взял с подноса свою тростниковую трубку и сел, а когда стал шарить по карманам, ища спички или табак или еще что, то обнаружил и там кучу бумаг и тоже бросил их на стол, откинулся в кресле, как будто он все уже перевидал и пережил и в следующие сто лет ровно ничего случиться не может.

— На новоселье,— говорит.

— Вы хотите сказать — на свадьбу? Так оно, кажется, зовется, когда пастор получает свои два доллара?

Он ничего не сказал, сидит и раскуривает трубку с таким видом, словно ювелир приплавляет еще один комочек платины к крышке часов.

— Значит, они не женятся,— говорю.— Значит, они просто, так сказать, соединяются. Слыхал я и об этом, потому-то и зовут эти гринич-вилледжские опыты мечтами: там можно проснуться рядом и не вскакивать с кровати, чтоб добежать до ближайшей регистратуры.

Он и не пошевелился. Только весь ощетинился, сразу, вмиг, даже не двинувшись с места. Сидит, весь ощетинился, как еж, а сам не пошевельнется и только говорит холодно и спокойно, потому что даже у ежа, когда он как следует ощетинится всеми колючками, голос может быть холодным, спокойным, сдержанным:

— Хорошо, хоть это и незаконно, я согласен применить к их отношениям термин «брак». Вы возражаете или протестуете? Может быть, вы найдете более подходящее определение? Ведь времени-то осталось мало — впрочем, что ж я говорю «мало»,— времени вообще не осталось. У нынешней молодежи времени и вовсе не осталось, потому что только глупцы моложе двадцати пяти лет могут еще верить и даже надеяться, что еще хватит времени у нас, у всех, кто еще жив сегодня...

— Но разве много времени нужно, чтобы сказать при пасторе «да», а потом заплатить ему, сколько полагается?

— Но я же вам только что объяснил: и на это времени не осталось, если ты прожил всего двадцать пять-тридцать лет.

— Ага, значит, вот ему уже сколько,— говорю.— Сначала вы говорили просто двадцать пять.

Но его уже вообще нельзя было остановить.

— Всего одно десятилетие прошло с тех пор, как их отцы, и дяди, и братья покончили с той войной, которая должна была навсегда освободить государственный организм от паразитов — тех наследственных собственников, тех вершителей судеб рода человеческого, которые только что убили восемь миллионов живых существ и разрушили полосу в сорок миль шириной в Западной Европе. И вот через какие-нибудь десять-двенадцать лет те же самые бессовестные дельцы, даже не потрудившись сменить имя и лицо и только прикрываясь новыми должностями и лозунгами, позаимствованными из демократического лексикона и демократической мифологии, снова, без передышки, объединяются для того, чтобы погубить единственную, заранее обреченную отчаянную надежду...

Сейчас он станет перечислять тех, кто разбил сердце президента Вильсона и погубил Лигу Наций, подумал я, но он уже понесся дальше — вот уж действительно без передышки.

— Тот, кто уже сидит в Италии, и тот, другой, куда более опасный, в Германии,— потому что у Муссолини в распоряжении всего лишь итальянцы, а у того, другого,— немцы. И тот, кто в Испании, ему только и надо,

чтобы его не трогали мы, все те, кто считает, что, если хорошенько зажмурить глаза, все само собой пройдет. Уж не говоря...

— Уж не говоря о том, кто в России,— сказал я.

— ...о тех, что сидят у нас тут, дома: всякие организации с пышными названиями, которые во имя божье объединяются против нечистых в моральном и политическом отношении, против всех, у кого не тот цвет кожи, не та религия, не та раса: ку-клукс-клан, «Серебряные рубашки», не говоря уж о туземных, местных радетелях, вроде сенатора Лонга в Луизиане или нашего дорогого Бильбо в Миссисипи, я уж молчу про нашего собственного дражайшего сенатора Кларенса Эгглстоуна Сноупса, тут, у нас, в Йокнапатофском округе.

— Уж не говоря о том, кто в России!— говорю.

— Что-о-о?— говорит он.

— Ага, понимаю. Значит, он не только скульптор. Он еще и коммунист.

— Что?— говорит он.

— Ваш Бартон Коль,— говорю.— Они не обвенчались прежде всего по той причине, что Бартон Коль коммунист. Он не может верить в церковь и в брак. Ему не позволят.

— Нет, он-то хотел, чтобы они обвенчались,— говорит Юрист.— Это Линда не захотела.— И тут уж я сказал: «Что?»— а он все сидел, сердитый, колючий, как еж.— Не верите?— спрашивает он.

— Нет, верю,— говорю.— Верю.

— А зачем ей венчаться? Что хорошего она видела в законном браке, который наблюдала в течение девятнадцати лет, зачем же ей теперь хотеть того же?

— Ну, ладно,— говорю,— допустим. Впрочем, в это я все-таки не очень верю. В то, что вы раньше сказали, я верю — насчет того, что времени осталось мало. И что, когда ты молодой, можно во многое верить. Когда ты молодой и в то же время смелый, можно ненавидеть всякую нетерпимость и верить, что есть надежда, а если ты по-настоящему смелый, так можно и действовать.— Он все еще смотрел на меня.— Я бы сам хотел быть таким,— говорю.

— Значит, надо не просто выйти замуж, а выйти за кого угодно, лишь бы законным браком. Лишь бы не сожительство. Даже вы так думаете!

— Я не о том говорю! Я хотел бы быть таким, как они. Быть непримиримым, верить, надеяться и действовать как надо. Любой ценой. Даже если для этого надо, чтобы опять стало меньше двадцати пяти, как ей. Даже если надо стать скульптором из Гринич-Вилледжа, как он.

— Значит, вы отказываетесь верить, что ей просто хочется ласки, хочется быть счастливой, как она это называет?

— Верю,— говорю я.— Всем хочется быть счастливыми.— В общем, на этот раз я с ним не поехал, даже когда он стал меня уговаривать.

— Глупости. Едем. А потом остановимся в Саратоге и поглядим на этот овраг, или гору, или откуда там ваш предок, иммигрант, этот самый Владимир Кириллыч Рэтлиф, перешел сюда, на вашу родину.

— А он тогда вовсе и не назывался Рэтлиф,— говорю.— Мы и не знаем, как была его фамилия. Наверно, Нелли Рэтлиф, на которой он женился, не то что написать — и выговорить не могла, как его звали. Он и сам, наверно, не мог. Да и фамилия у них тогда была не Рэтлиф, а Рэтклифф. Нет,— говорю,— я не поеду, хватит и вас одного. Можете найти свидетеля подешевле, зачем приглашать меня — мне же не только надо оплатить проезд в оба конца, меня еще три раза в день кормить надо.

— Свидетеля чему?— говорит он.

— В такой важный момент ее жизни, когда она собирается официально или, во всяком случае, формально объединиться или, так сказать, скооперироваться с каким-то джентльменом, то есть с другом противоположного пола, как говорится по-умному, вы, наверно, едете, чтобы объяснить — кому она родня или, во всяком случае, кому она не родня, так ведь? — А потом я говорю:— Впрочем, она, наверно, все знает.

А он говорит:

— Как же иначе? Разве она могла девятнадцать лет прожить в одном доме с Флемом и все еще верить, что он ее отец, даже если это документально доказано?

— А вы ей ничего не сказали,— говорю. А потом я ему говорю: — Нет, дело обстоит гораздо хуже. Может, вдруг этот вопрос начнет ее тревожить, может, она к вам придет и попросит: «Скажите мне всю правду, ведь он мне не отец»,— и тут она может всегда понадеяться на вас, знать, что вы ей ответите: «Ты ошибаешься, он тебе отец».— Теперь он уже не смотрел мне в глаза.— А что вы сделаете, если она задаст этот вопрос шиворот-навыворот: «Скажите, кто мой отец?» — Нет, он не смотрел мне в глаза.— Верно,— сказал я.— Этого она ни за что не спросит. Полагаю, что она не зря виделась с Гэвином Стивенсом изо дня в день и отлично понимает, что есть ложь, с которой даже он не станет бороться.— Он уже совсем не смотрел на меня.— Так что, видно, вы эту ее веру в вас ничем не нарушите,— говорю.

Приехал он через десять дней. И я подумал, что, если б этот самый скульптор мог бы застать ее врасплох и выманить из кровати к алтарю или хотя бы в регистратуру, пока она не опомнилась и не сообразила, куда ее завели, может быть, тогда он — я про Юриста — был бы наконец свободен. А потом я понял, что даже думать об этом смешно. И как только я счистил с себя эту паутину дурацких надежд, я обнаружил, что уже много лет понимаю то же, что поняла Юла, как только увидала его: никогда он свободным не будет, потому что вся жизнь его в этом, и, если он это потеряет, у него ничего не останется. Я говорю про его преимущественное право, про его стремление вечно брать на себя полную ответственность за кого-то, кто никогда не устанет взваливать на него эту ответственность, а ему в награду даже косточки не бросит. И я вспомнил, как он мне тогда сказал, что она обречена на верность и постоянство — обречена полюбить раз в жизни и потерять его, а потом всю жизнь горевать, и я сказал, что быть дочерью Елены Прекрасной все равно, что быть, например, отставным папой римским или бывшим японским императором: ей это ничего в будущем не даст.

И теперь я понял, что он был почти прав, только слово «обречена» он не там поставил: не она была обречена — с ней, должно быть, ничего не случится, обречен был тот, кому она отдавала свою верность, свою единственную любовь, и тот, кто взял на себя всю ответственность и не только не хотел, но и не ждал взамен никакой косточки,— вот кто был обречен. И можно сказать, что из них двоих больше всего повезло бы тому, на кого обвалился бы потолок, когда он ложился спать или вставал с постели.

Но, конечно, он бы мне задал жару, если бы я попробовал хоть заикнуться насчет этого, так что здравый смысл мне подсказал, что лучше промолчать. И в конце концов я действительно удержался и ничего ему не сказал: во-первых, я старался поменьше его видеть, а во-вторых, боролся с искушением как черт, вернее, как Иаков с ангелом,— а разве есть для живого человека большее искушение, чем сознательно упустить возможность потом заявить: «Ага, что я вам говорил?» А время шло и шло. Деревянную планку для ног уже прибили к камину, никто, кроме

негра-привратника, ее не видел,— и все же в Джефферсоне об этом ходила легенда, после того как привратник рассказал мне, а я, да и он, наверно, рассказали случайно кому-то из друзей: так росла легенда о Сноупсе, так воздвигался еще один памятник Флему, наряду со всеми другими памятниками, которые возводились еще с той истории на электростанции,— мы так и не узнали, вытащены ли из водяного бака все пропавшие медные части, которые во время царствования Флема на этой станции прятали туда два запуганных до смерти негра-кочегара.

И вот настал тридцать шестой год, и времени оставалось все меньше и меньше. Муссолини в Италии, Гитлер в Германии и, конечно, как говорил Юрист, тот, третий, в Испании. И однажды Юрист мне говорит:

— Складывайте-ка чемодан. Завтра утром вылетаем из Мемфиса. Нет, нет, вы не бойтесь заразы, теперь вам можно с ними познакомиться. Едут в Испанию, сражаться в республиканской армии, и, наверно, он так долго ее грыз и терзал, что она наконец сказала: «О, черт, пусть будет потвоему».

— Так, значит, он вовсе не из этих либеральных, свободомыслящих передовых художников,— говорю,— значит, он — обыкновенный серый парень, который считает, что если с девушкой стоит спать, так стоит и заботиться о ней всю жизнь, чтобы у нее была и крыша над головой и еда, а может, и немножко карманных денег.

— Ну, ладно, ладно,— говорит.— Ладно!

— Только поедем мы с вами поездом,— говорю.— Я вовсе не боюсь лететь самолетом, но просто, когда мы будем проезжать через Вирджинию, я смогу увидеть то место, где этот самый иммигрант, наш первый Владимир Кириллыч, пробивал себе дорогу в Соединенные Штаты.

Я дожидался его на углу со своим чемоданчиком, когда он подъехал, открыл дверцу машины и посмотрел на меня, а потом, как говорят в кино, надвинулся на меня крупным планом и сказал:

— О, черт!

— Собственный,— говорю,— сам купил.

— Вы — и в галстуке,— говорит.— Да вы их никогда не носили, у вас, наверно, никогда в жизни галстука не было.

— Вы же мне сами сказали,— говорю.— Ведь там свадьба.

— Снимайте,— говорит.

— Не сниму,— говорю.

— Я с вами не поеду. Не хочу, чтобы меня с вами видели.

— А я не сниму,— говорю.— Это я даже не ради свадьбы. Понимаете, в первый раз на меня будет смотреть тот край, откуда появился первый В. К. Рэтлиф. Может, я им хочу понравиться. Может, я не хочу, чтоб они меня стыдились.

Словом, сели мы на поезд в Мемфисе, а на следующий день проезжали Вирджинию — Бристоль, потом Роанок, Линчберг, потом повернули на северо-восток вдоль синих гор, и где-то впереди, мы точно не знали где, было то место, где первый Владимир Кириллыч наконец нашел прибежище, правда, мы даже не знали, какая у него была фамилия, а может, у него и фамилии не было, пока Нелли Рэтлиф — тогда писалось «Рэтклифф» — его не нашла, да мы вообще много чего не знали: как он затесался в ряды немецких наемников, в армию генерала Бергойна, которого побили при Саратоге, но только конгресс отказался выполнить условия, на которых они сдались, и разогнал всю эту шайку-лейку, и они шесть лет подряд шатались по Вирджинии без денег, без еды, а многие, как тот первый Владимир Кириллыч, и без языка. Но ему ни то, ни другое, ни даже третье не понадобилось, чтобы попасть не только в тот поселок, куда нужно, но и именно на тот сеновал, где его нашла Нелли Рэтклифф,

когда искала куриное гнездо или еще что. И никакие слова ему не понадобились, чтобы съедать то, что она ему тайком носила, может, он и про работу на ферме первый раз услыхал, когда она его наконец привела к своим домашним, и уж конечно немного слов ему было нужно, чтобы события развернулись дальше — в тот день, когда ее папаша, или мамаша, или братья, кто бы там ни был, может, просто соседка увидела, что у нее растет живот,— тогда они поженились и у того В. К. наконец законно появилась настоящая законная фамилия — Рэтклифф, а его потомок переселился в Тенесси, а потомок того — в Миссисипи, только к тому времени они уже писались «Рэтлиф», и старшему сыну в каждом поколении до сих пор дают имя «Владимир Кириллыч», и до сих пор он полжизни тратит на то, чтобы этого ни одна душа не узнала.

На следующее утро мы прибыли в Нью-Йорк. Приехали рано, еще семи не было. Что-то очень уж рано.

— Наверно, они еще и завтракать не кончили,— говорю.

— Кой черт!— говорит Юрист.— Они еще и спать не ложились. Это вам не Йокнапатофа, а Нью-Йорк.— Тут мы поехали в гостиницу, где Юрист заранее заказал нам номер. Только это был не номер, а три номера: гостиная и две спальни.— Можем тут и позавтракать,— говорит он.

— Позавтракать?— говорю.

— Нам подадут сюда.

— Это вам Нью-Йорк,— говорю.— Завтракать в спальне, или в кухне, или на задней галерейке я могу и дома, в Йокнапатофском округе.

Так что мы спустились вниз, в ресторан. Тут я говорю:

— Когда же здесь завтракают? В сумерки, что ли? А может, когда встанут, тогда и едят?

— Нет,— говорит.— А нам надо сперва сделать одно дело. Впрочем, нет,— говорит, — два дела.— Он опять смотрел на это самое, хотя, надо отдать ему справедливость, он ни слова не сказал с той минуты, как я сел к нему в машину в Джефферсоне. И я вспомнил, как он мне когда-то рассказывал, что в Нью-Йорке климат не похож ни на какой другой климат в мире, но что бывает погода, словно специально придуманная для Нью-Йорка. И в тот день была именно такая погода: утро стояло сонное, голубое, теплое, как бывает ранней осенью, когда кажется, что небо само опускается на землю мягким таким голубым туманом, а высокие здания летят в него и вдруг останавливаются, и все их грани растворяются, будто солнце не просто на них светит, а словно бы звенит, вот как провода поют. А потом вижу — вот оно: магазин, в нем громадная витрина и во всей этой витрине — один-единственный галстук.

— Погодите,— говорю.

— Нет,— говорит,— можно было терпеть, пока его видели только проводники в вагоне, но в таком виде идти на свадьбу нельзя.

— Нет, погодите!— говорю. Потому что я про эти нью-йоркские магазины на укромных улочках тоже кое-что слыхал.— Если целую витрину можно занять одним галстуком, так, наверно, за него сдерут доллара три, а то и все четыре.

— Ничего не поделаешь,— говорит он.— На то здесь и Нью-Йорк. Пойдем!

И внутри тоже ничего, только золоченые стулья, две дамы в черных платьях и господин — одет он был как сенатор или на худой конец как пастор и назвал Юриста запросто, по имени. А потом — кабинет, на столе — ваза с цветами, а за столом — невысокая полная смуглая женщина, и платье на ней, каких никто не носит, волосы с проседью и замечательные карие глаза, просто красота, хоть и чуть-чуть навыкате, она расцеловала Юриста, а он ей говорит:

— Мира Аллановна, вот это Владимир Кириллыч,— а она на меня посмотрела и что-то сказала, я сразу как-то догадался, что по-русски, а Юрист ей говорит:— Вы только взгляните. Только посмотрите, если сможете выдержать,— а я говорю:

— Честное слово, не такой уж он плохой. Конечно, лучше было бы желтый с красным, а не розовый с зеленым. Но все-таки...— а она тут говорит:

— Значит, вы любите красное с желтым?

— Да, мэм,— говорю. А потом говорю: — В сущности...— и остановился, а она говорит:

— Да, да, рассказывайте,— а я говорю:

— Нет, ничего. Я только подумал, что если бы можно было помечтать, представить себе галстук, а потом найти его и надеть, я бы представил себе такой весь красный, а на нем букет, нет, лучше один подсолнух посредине,— а она говорит:

— Подсолнух?— А Юрист объясняет:

— Гелиант.— А потом говорит:— Нет, не так. Турнесоль. Подсолнечник,— и тут она говорит:— Погодите,— и сразу уходит, и тут уж я сам заговорил.

— Погодите. Даже пятидолларовые галстуки не окупят все эти золоченые стулья,— говорю.

— Поздно!— говорит Юрист.— Снимайте!— Но только тот, что она принесла, вовсе и не был красным, и подсолнуха на нем не оказалось. А был он весь в каком-то пушке. Нет, это неверно: когда его рассмотришь поближе, он становится похож на персик, понимаете, чем дольше смотришь и стараешься не мигать, тем больше кажется, что сейчас он превратится в настоящий персик. Но, конечно, не превращается. Просто на нем пушок такой,золотистый, как спина у загорелой девушки.— Да,— говорит Юрист.— А теперь пошлите купить ему белую рубашку. Он и белых рубашек тоже никогда не носил.

— Никогда?— говорит она.— Всегда синие, да? Вот такие, светло-синие? Как ваши глаза, да?

— Правильно,— говорю.

— А как это получается? — говорит.— Они у вас выгорают? Или это от стирки?

— Ну да,— говорю,— просто стираю их, и все.

— Как стираете? Вы сами стираете?

— Он и шьет их сам,— говорит Юрист.

— Ну да,— говорю.— Я продаю швейные машины. Я и не помню, как научился шить.

— Понимаю,— говорит она.— Ну вот, этот вам на сегодня. А завтра будет другой. Красный. С подсолнечником.

Потом мы вышли на улицу. А я все порываюсь сказать: «Погодите».

— Теперь приходится покупать оба, два,— говорю.— Нет, я серьезно. Понимаете, я вас очень прошу, поверьте, что я вас совершенно серьезно спрашиваю. Как по-вашему, сколько может стоить, например, тот, что выставлен на витрине?

А Юрист идет себе, не останавливаясь, вокруг толпа, бегут во все стороны, а он так небрежно, через плечо, говорит:

— Право, не знаю. У нее есть галстуки и в полтораста долларов. А этот, наверно, долларов семьдесят пять...

Меня словно этак легонько по затылку треснули, я только опомнился, когда очутился в стороне от толпы, у какой-то стенки, стою, прислонился, сам весь дрожу, а Юрист меня поддерживает.

— Ну как, прошло?— говорит.

— Ничего не прошло,— говорю.— Семьдесят долларов за галстук? Ни за что! Не могу я!

— Вам сорок лет,— говорит.— Вы должны были бы покупать не меньше одного галстука в год, с тех пор как вы влюбились. Когда это было? В одиннадцать лет? В двенадцать? В тринадцать? А может, вы влюбились с восьми или с девяти, когда пошли в школу — если только у вас была учительница, а не учитель. Но давайте считать — с двадцати лет. Значит, двадцать лет, по доллару за галстук каждый год. Выходит двадцать долларов. Так как вы не женаты и никогда не женитесь и у вас нет близких родственников, некому доводить вас до могилы своими заботами в надежде что-нибудь унаследовать, значит, вы можете еще прожить лет сорок пять. Это уже шестьдесят пять долларов. Значит, вы можете получить галстук от Аллановны всего за десять долларов. Нет человека на свете, который получил бы галстук от Аллановны за десять долларов.

— Ни за что! — говорю.— Ни за что!

— Ладно,— говорит,— я вам его дарю!

— Не могу я принять!— говорю.

— Отлично! Хотите вернуться и сказать ей, что вам галстук не нужен?

— Разве вы не понимаете, что я ничего не могу ей сказать?

— Ну, ладно,— говорит,— пойдемте, мы и так уже опаздываем.

Мы пришли в какой-то отель и сразу поднялись в бар.

— Пока мы не дошли,— говорю,— может быть, вы мне объясните, с кем это мы должны встретиться?

— Нет,— говорит,— на то это и Нью-Йорк. Я тоже хочу доставить себе удовольствие.— И через минуту, когда я понял, что Юрист раньше никогда этого человека в глаза не видел, я сообразил, зачем он так настаивал, чтоб я с ним поехал. Впрочем, я тут же подумал, что в этом случае Юристу не надобно было никакой помощи, ведь роднит же как-то людей обида, с которой человек двадцать пять лет подряд просыпается, как, наверно, просыпался он: с обыкновенной, простой, естественной тоской при мысли, что ему вообще надо просыпаться. И я говорю:

— Провалиться мне на месте! Здорово, Хоук!— Потому что это оказался он: в висках проседь, и вид не просто такой, словно он загорел на свежем воздухе, вид у него был человека богатого, который загорал на свежем воздухе, и это было ясно и без дорогого темного костюма и даже без того, что два лакея суетились около столика, где он уже сидел и ждал,— значит, Юрист разыскал его, вытащил сюда откуда-то с Запада, так же как вытащил и меня, специально на этот день. Нет, не Юрист притащил сюда Маккэррона и меня за тысячу миль и за две тысячи миль, чтобы нам троим встретиться тут, в нью-йоркском ресторане: нас сюда привела эта девочка — девочка, которая одного из нас никогда в жизни не видела, а с двумя другими, в сущности, только была знакома,— девочка, которая не только не знала, но и не интересовалась тем, что унаследовала роковую способность своей матери — опутывать четырех мужчин этой паутиной, этой единственной прядью волос; это она, даже пальцем не пошевельнув, свела нас четверых — своего отца, своего мужа, человека, который до сих пор готов был пожертвовать жизнью ради ее матери, если только эта жизнь кому-нибудь понадобится, и наконец меня, постоянного друга всего семейства,— свела для того, чтобы мы были статистами в той сцене, когда она скажет: «Согласна», когда подойдет их очередь в регистрационном бюро ратуши, прежде чем они сядут на пароход и уедут в Европу, а там уже будут делать то, что они намеревались делать на этой самой войне. В общем, тут мне пришлось их познакомить:— Это

юрист Стивенс, Хоук,— и уже целых три лакея (видно, он был здорово богатый) засуетились вокруг, усаживая нас за столик.

— Что будете пить?— спрашивает он Юриста.— Я знаю, чего хочет В. К.: бушмилл,— говорит он лакею.— Принесите бутылку.— И ко мне:— Вам покажется, что вы опять дома,— говорит.— На вкус оно совсем как тот самогон, что гнал дядюшка Кэлвин Букрайт, помните? — Потом он посмотрел на эту штуку:— От Аллановны?— говорит.— Верно? Значит, и вы тоже пошли в гору со времен Французовой Балки, правда?

Потом он обернулся к Юристу. Допил свой стакан одним глотком, а лакей уже подскочил к нему с другой бутылкой, прежде чем он ему подал знак.

— Вы не беспокойтесь,— говорит он Юристу.— Раз я вам дал слово, я его сдержу.

— А вы тоже не беспокойтесь,— говорю.— Юрист держит Линду вот так. Она ему первому поверит, хоть бы кто другой забылся и все ей сказал.

Мы могли тут же пообедать, но Юрист говорит:

— Мы же в Нью-Йорке. Обедать в такой обстановке мы можем дома, в харчевне у дядюшки Кэла Букрайта.— И мы пошли в настоящий ресторан. А потом уже пора было ехать. Мы поехали до ратуши в такси. А когда мы вылезали, подъехала другая машина и вышли они. Он был не такой уж крупный, только выглядел крупным, как хороший футболист. Нет, как боксер. И вид у него был такой, что он не только никому не даст спуску или пощады... впрочем, это не то слово. Вид у него был такой, что он мог бы тебя побить, а может быть, и ты побил бы его, но только ты бить его не станешь, и он мог бы убить тебя или ты его мог бы убить, но только ты и убивать его не станешь. Одно было видно, что он ни на какие сделки не пойдет, так он смотрел на тебя своими светлыми, как у Хэба Хемптона, глазами, только у него взгляд был не жесткий, он просто видел тебя всего насквозь, смотрел не спеша, пристально, ничего не упуская, будто заранее знал, что увидит.

Мы вошли в помещение, длинное такое, вроде коридора, стали в очередь, пара за парой, сперва они были последними, но конца этой очереди не было, сейчас же за последними становились еще, но шли они быстро: до двери с надписью «Регистратура», и туда, внутрь. Там тоже пробыли недолго, такси нас ждали.

— Так вот, значит, Гринич-Вилледж,— говорю. Вход был прямо с улицы, но потом шел клочок земли, который можно было бы назвать двориком, хотя городские, должно быть, зовут их садиками; там даже стояло дерево, а на нем три такие штучки, которые, несомненно, весной или летом были листьями. Но внутри дома мне понравилось: народу, конечно, тьма, два официанта бегают с подносами, разносят шампанское в бокалах, им помогают и гости, и те, кто остается в этой квартире, пока Линда с мужем будут воевать в Испании,— молодая пара, их ровесники.

— А он тоже скульптор? — спрашиваю я Юриста.

— Нет,— говорит Юрист,— он в газете работает.

— Вот как,— говорю,— значит, они-то наверняка давно женаты.

Мне у них понравилось: везде сплошные окна. Вещей порядочно, но вещи, видно, нужные: вся стена в книгах, рояль и, как я догадывался, картины, потому что они висели на стенах, и я догадывался, что те вон штуки — скульптуры, но про другие я не понимал, что оно такое: куски дерева, железа, какие-то полоски жести, проволока. Но спросить я никак не мог, потому что кругом было столько всяких поэтов, и художников, и скульпторов, и музыкантов, и он должен был хозяйничать, а потом мы все — он, Линда, Юрист, Хоук и я — должны были ехать в порт, к паро-

ходу; свою мечту в Гринич-Вилледже находили многие, но свадьба, видимо, там была целым событием. А один из гостей, как видно, был не поэт, и не художник, и не скульптор, и не музыкант, и даже не обыкновенный честный журналист, он, как видно, был галантерейщик, который отпросился на субботу из лавки. Потому что не успели мы войти в комнату, как он не только стал глазеть на эту штуку, но и щупать ее пальцами:

— От Аллановны,— говорит.

— Правильно,— говорю.

— Оклахома?— спрашивает.— Нефть?

— Как?— говорю.

— Ага!— говорит.— Значит, Техас. Скотоводство. В Техасе можно сделать миллионы либо на нефти, либо на скоте, верно?

— Нет, сэр,— говорю,— Миссисипи. Продаю швейные машины.

Вышло так, что Коль подошел ко мне не сразу, а подойдя, налил еще вина.

— Вы, кажется, выросли с матерью Линды,— говорит.

— Правильно,— говорю.— А эти штуки вы делали?

— Какие штуки?— говорит.

— Вон те,— говорю.

— А-а,— говорит.— Хотите посмотреть еще? Вам интересно?

— Пока не знаю,— говорю.— Да это и неважно.

И тут мы стали проталкиваться сквозь толпу — уже приходилось проталкиваться,— вышли в прихожую, а оттуда по лесенке наверх. И там было лучше всего: мансарда, почти вся крыша стеклянная, и видно, что тут не просто люди живут, а человек приходит сюда один и работает.

Он стоял немного в стороне, чтоб не мешать, не торопить меня, пока я все не рассмотрел. Потом наконец говорит:

— Что, возмущаетесь? Сердитесь?

— Неужто мне надо возмущаться или сердиться только потому, что я этого никогда в жизни не видал?

— В ваши годы это свойственно,— говорит.— Только дети любят все новое, для них новизна удовольствие. Взрослые нового не терпят, если только им заранее не внушить, что им захочется это новое купить.

— Может, я еще мало смотрел,— говорю.

— Смотрите еще,— говорит. Стоит, прислонясь к стене, руки скрестил на груди, как футболист, снизу, через лестницу, слышно, как шумят гости, которых он должен был принимать, а я все осматриваю, не торопясь: кое-что разбираю, кое-что почти разбираю, а может, и совсем разобрал бы, будь у меня времени побольше, а кое-что, сам вижу, мне так никогда и не разобрать, и вдруг я понимаю, что это совершенно несущественно не только для него, но и для меня. Потому что любой человек может видеть, и слышать, и нюхать, и щупать, и пробовать на вкус то, что ему положено видеть, слышать, нюхать, щупать и пробовать на вкус, и никому от этого ни тепло, ни холодно, и вообще неважно, есть ты на свете или тебя нет. А вот если ты умеешь видеть, и слышать, и нюхать, и щупать, и пробовать на вкус то, чего ты никогда не ожидал и даже вообразить себе до этой минуты не мог, так, может, для того Старый Хозяин и отметил тебя, для того ты и живешь среди живых.

Но уже наступила пора для их свидания наедине. Я говорю про свидание, которое задумали Юрист и Хоук, хотя Хоук все время повторял:

— Но что я ей скажу? И ее мужу и ее друзьям?— а Юрист ему говорит:

— Зачем вам с кем-то объясняться? Я все уже устроил. Как только выпьем за ее здоровье, берите ее под руку и удирайте. Только не забудьте вернуться к пароходу ровно в половине двенадцатого.— Правда, Хоук

все еще пытался что-то сказать, стоя с ней вдвоем у выхода, он — в своем дорогом темном костюме со шляпой в руках, она — в вечернем платье, а сверху пальто. И не то чтоб они очень были похожи, нет. Для женщины она была слишком высокая, такая высокая, что даже незаметно было, как она сложена (я про то, что, глядя на нее, мужчина и не присвистнул бы), а он был вовсе не такой высокий, скорее коренастый. Но глаза у них были совершенно одинаковые. Во всяком случае, мне казалось, что каждый, кто их видит, понимает, что они родня. И он все пытался кому-то объяснить:

— Старый друг ее матери... Ее дед и мой отец, наверно, были дальние родственники, — но тут вмешался Юрист:

— Ладно, ладно, ступайте! И не забывайте о времени,— а Хоук говорит:

— Да, да, мы будем обедать в ресторане «Двадцать один», а потом поедем в Сторк-клуб*, если захотите позвонить.

Они ушли, и гости тоже скоро разошлись, остались только трое, все-- газетчики, как я узнал,— иностранные корреспонденты, и Коль сам помог жене своего нового квартиранта сварить макароны, и мы их съели, выпили винца, на этот раз красного, и все говорили о войне, об Испании и Эфиопии и что это только начало: скоро во всей Европе потухнут огни, а может, и у нас тоже. Наконец пора было собираться на пароход. В спальне стояло еще шампанское, но Юрист не успел откупорить и первую бутылку, как вошли Хоук с Линдой.

— Так скоро?— сказал Юрист.— А мы вас ждали через час, не раньше.

— Она, вернее, мы решили не ходить в Сторк-клуб,— говорит Хоук.-- Мы просто покатались по парку. А теперь...— говорит он и даже шляпы не снимает.

— Останьтесь, выпейте шампанского,— говорит Юрист. И Коль тоже что-то сказал. Но Линда уже протянула ему руку.

— Прощайте, мистер Маккэррон,— говорит.— Большое спасибо за этот вечер, за то, что приехали ко мне на свадьбу.

— А ты не можешь называть меня просто Хоук? — говорит он.

— Прощайте, Хоук,— говорит она.

— Тогда подождите нас в машине,— говорит Юрист.— Мы сейчас же выйдем.

— Нет,— говорит Хоук.— Я возьму другую машину, а эту оставлю вам.— И ушел. Она закрыла за ним двери, подошла к Юристу и что-то вынула из кармана.

— Вот,— говорит. Это была золотая зажигалка.— Знаю, что вы не станете ею пользоваться, вы говорили, что вам кажется, будто от зажигалок у трубки вкус бензина.

— Не так,— говорит Юрист,— я говорил, что всегда чувствую вкус бензина.

— Все равно,— говорит она,— возьмите.— Юрист взял.— Тут выгравированы ваши инициалы, видите?

— Г. Л. С.— говорит Юрист.— Это не мои инициалы, у меня только два: Г. С.

— Знаю. Но ювелир сказал, что в монограмме должно быть три инициала, вот я вам и одолжила один свой.— Она стояла перед ним, глядя ему в глаза, почти такая же высокая, как он.— Это был мой отец,— говорит.

— Нет,— говорит Юрист.

---

* Дорогие рестораны.

— Да,— говорит она.

— Уж не собираешься ли ты утверждать, что он тебе сам это сказал?— говорит Юрист.

— Вы же знаете, что нет. Вы заставили его поклясться, что он не скажет.

— Нет,— говорит Юрист.

— Ну поклянитесь!

— Ладно,— говорит Юрист,— клянусь!

— Я вас люблю,— говорит она.— И знаете за что?

— За что?— говорит Юрист.

— За то, что каждый раз, как вы мне лжете, я знаю, что вы никогда от своих слов не отречетесь.

Потом мы проделали второе сентиментальное путешествие. Нет. Сначала произошло вот что. Было это на следующий день.

— Теперь пойдем за вашим галстуком,— говорит Юрист.

— Нет,— говорю.

— Значит, вы хотите пойти один?

— Вот именно,— говорю. И вот я стою один в том же маленьком кабинете, и на ней то же самое платье, каких никто не носит, и она замечает, что я без галстука, даже прежде чем я успел положить галстук и сто пятьдесят долларов на столик рядом с тем, новым, до которого я и дотронуться побоялся. Он был красный, чуть темнее, чем бывают кленовые листья осенью, а на нем не один подсолнух и даже не букет, а по всему полю рассыпаны крошечные желтые подсолнечники, и в каждом — маленькое синее сердечко совершенно того же цвета, что и мои рубашки, когда они чуть полиняют. Я даже дотронуться до него не посмел.— Простите меня,— говорю,— но понимаете, я просто не могу. Я же продаю швейные машины в штате Миссисипи. Не могу я, чтоб там, дома, все узнали, что я купил галстуки по семьдесят пять долларов за штуку. Но если мое дело — продавать швейные машины в Миссисипи, то ваше дело — продавать галстуки в Нью-Йорке, и вы не можете себе позволить, чтоб люди заказывали вам галстуки, надевали их, а потом за них не платили. Так что вот деньги,— говорю.— И очень прошу вас, простите меня, будьте настолько добры!

Но она на деньги и не взглянула:

— Почему он вас назвал Владимир Кириллыч?— спрашивает. Я ей все объяснил.

— Только теперь мы живем в Миссисипи, и надо стараться быть как все,— говорю.— Вот. И я очень прошу вас, простите меня!

— Уберите их с моего стола,— говорит.— Я вам подарила эти галстуки. Значит, платить за них нельзя.

— Но вы понимаете, что я и этого не могу допустить? Так же, как я не мог бы допустить у себя в Миссисипи, чтоб мне человек заказал швейную машину, а потом я ее доставлю, а он заявит, что передумал.

— Так,— говорит,— значит, вы не можете принять галстуки, а я не могу принять деньги. Прекрасно. Тогда мы делаем так.— У нее на столе стояла какая-то штучка, вроде кувшинчика, но она что-то нажала, и оказалось, это — зажигалка.— Давайте сожжем их, половину — за меня, половину — за вас.— Но тут я ее перебил:

— Стойте, стойте! — говорю. Она остановилась. — Нельзя, — говорю.— Нельзя жечь деньги,— а она спрашивает:

— А почему?— И мы смотрим друг на друга, в руке у нее горит зажигалка, и оба держим руки на деньгах.

— Потому что это деньги,— говорю,— потому что где-то, когда-то, кто-то слишком старался... слишком страдал... я хочу сказать, что деньги

кому-то принесли слишком много обиды и горя и что они этого не стоят... нет, я не то хочу сказать... я не о том,— а она говорит:

— Я все понимаю, я отлично все понимаю. Только растяпы, только невежды, безродные трусы могут уничтожать деньги. Значит, вы примете этот подарок от меня? Увезите их домой — как вы сказали, где это?

— В Миссисипи,— говорю.

— В Миссисипи. Туда, где есть такой человек, который... нет, не нуждается — надо ли говорить о таких низменных вещах, как нужда?..— Но человек, который мечтает о чем-то, что, может быть, стоит целых сто пятьдесят долларов, будь это шляпа, картина, книга, драгоценная сережка, словом, о чем-то, чего ему никогда, никогда, никогда... о чем-то, чего нельзя ни съесть, ни выпить, и думает, что он или она никогда этого не получит, и уже давно потерял... не мечту, нет, надежду потерял — теперь вы понимаете, о чем я говорю?

— Очень хорошо понимаю, вы же мне сами все рассказали.

— Ну, тогда поцелуемся!— говорит.

И в тот же вечер мы с Юристом выехали в Саратогу.

— А вы сказали Хоуку, чтоб он лучше и не пробовал давать ей деньги?— говорю.— Или он сам своим умом дошел?

— Да,— говорит Юрист.

— Что «да»?— говорю.

— И то и другое,— говорит Юрист.

Днем мы были на скачках, а на следующее утро поехали на Бемис-Хейтс и Фрименс-Фарм. Но, конечно, там и в помине не было никакого памятника одному из гессенских наемников, который, наверно, и по-немецки не говорил, а по-американски и подавно, и уж конечно там не оказалось никакого холма или оврага, или скалы, которые вдруг заговорили бы и объявили во всеуслышание: «На этом самом месте твой предок и родоначальник В. К. навеки отрекся от Европы и примкнул к Соединенным Штатам». А два дня спустя мы вернулись домой, покрыв за два дня то расстояние, которое тот, первый Владимир Кириллыч, и его потомки прошли за четыре поколения; и потом мы видели, как потух свет в Испании и в Эфиопии и как мрак пополз через всю Европу и Азию, пока тень от него не упала на тихоокеанские острова и не достигла Америки. Но до этого еще дело не дошло, когда Юрист мне сказал:

— Зайдите ко мне,— а потом говорит: — Бартон Коль погиб. Его самолет, он летал на старом пассажирском самолете, вооруженном ручными пулеметами образца 1918 года, с самодельными бомболюками, откуда летчики-самоучки бросали самодельные бомбы,— вот как им приходилось сражаться с гитлеровской «Люфтваффе»,— и этот самолет был сбит и сгорел, она, наверно, даже не могла бы опознать его, если б и была на месте катастрофы. Что она теперь собирается делать, она не пишет.

— Вернется сюда,— говорю.

— Сюда? — говорит.— Вернется сюда? — И потом вдруг: — А почему бы ей и не вернуться, черт возьми? Здесь ее дом.

— Правильно,— говорю.— И судьба.

— Что? — говорит.— Что вы сказали?

— Да ничего,— говорю,— я только сказал, что, по-моему, так оно и будет.

(Продолжение следует)

Динь-динь-доллар!

Перевод С. Маршака

Клайд, Холи-Лох, Данун, Гурок... Когда-то эти места ассоциировались в нашем представлении со стихами Бернса и романами Вальтера Скотта. Ныне названия шотландских графств и городов мелькают на столбцах газет, полных «сдавленной тревоги, беды, что очереди ждет». В Холи-Лох, или Священном Заливе, в устье реки Клайд теперь находится американская база подводных лодок, вооруженных ядерными снарядами типа «Поларис», и по улицам Дануна и Гурока разгуливает, как у себя дома, американская солдатня.

Но шотландцы — все тот же вольнолюбивый народ, что и во времена Джемса Дугласа, любимого героя их песен и баллад, все тот же «Джон — ячменное зерно», с которым так и не смогли совладать «три короля из разных стран». Верные своим славным историческим традициям, они не желают мириться с американской оккупацией и перспективой атомной смерти. Тому свидетельство — мощные демонстрации протеста против размещения на шотландской земле американских военных баз, и в частности базы подводных лодок в Холи-Лох. Участники этих демонстраций — простые люди Шотландии и Англии — не могут противопоставить силам войск и полиции, охраняющим американские базы, ничего, кроме своего возмущения и презрения, которыми дышат возникшие в последнее время и пользующиеся широкой популярностью гневные и насмешливые, иногда пародийные песни — новый фольклор, проникнутый неистребимым жизнелюбием и свободолюбием. Но это не значит, что они безоружны, ведь «песня и стих — это бомба и знамя».

Ниже мы печатаем некоторые из этих песен в переводе С. Я. Маршака.

«ПОЛАРИС» И «ДОЛЛАРИС»

(На мотив американской песни «She'll be coming round the mountain» — «Она придет из-за горы»)

Много ль купишь ты на доллар, коль умрешь?
Много ль купишь ты на доллар, коль умрешь?
Ну-ка, дружно: динь-динь-доллар!
Много ль купишь ты на доллар,
Если сам от взрыва бомбы пропадешь!

К нам «Поларисы» пригнали для войны,
А хозяева Дануна * польщены.
Наша Мэри для стоянки
Уступила место янки
И надела многозвездные штаны.

Больше виски, больше джина припаси!
Сколько хочешь, столько с пьяного спроси.
Будет городу пожива:
Можно вдвое брать за пиво
И в четыре раза больше за такси!

---

* Данун — город в шотландском графстве Аргайль.

Рады местные трактирщики гостям —
Много долларов оставит дядя Сам.
А девчонки на гулянке
Так и льнут к военным янки,
Хоть взорвут они Шотландию к чертям!

Их воинственного лязга не осудит церковь в Глазго —
Добрым янки не чинит она помех.
Чем скорей шотландский житель
Внидет в райскую обитель,
Тем скорей его душа искупит грех!

Много ль купишь ты на доллар, коль умрешь?
Много ль купишь ты на доллар, коль умрешь?
Ну-ка, дружно: динь-динь-доллар!
Много ль купишь ты на доллар,
Если сам от взрыва бомбы пропадешь!

АРГАЙЛЬСКАЯ * ПОЛИЦИЯ

(На мотив «Johnson's Motor Car» — «Автомобиль Джонсона»)

К чему болтать о Не́льсоне, о Дрэйке-адмирале!
Пусть много вражьих кораблей на дно они послали,
Но кто сравнится в наши дни с воинственными янки
И с полицейскими, что бой вели на их стоянке!

Потомки Пиля Роберта, специалисты сыска,
Они всегда готовы в бой, где нет большого риска.
Везде — на суше, на воде — лихой они народ.
Но принял бой на Холи-Лох нежданный оборот...

Им водолазы помогли — по прозвищу «лягушки»,—
И специальные войска, и ядерные пушки.
Но все ж полиция себя прославила в бою,
Хоть в плен забрать ей удалось всего одну ладью.

Вы, космонавты из Москвы, носясь вокруг Земли,
Не приземляйте в устье Клайд ракеты-корабли.
Какие силы устоят пред грозной коалицией
Американских моряков с аргайльскою полицией!..

ПРО РАКЕТУ, ВЫПУЩЕННУЮ ДО СРОКА, И ДЕВИЦУ, СОБЛАЗНЕННУЮ ДО БРАКА

Я вам спою под рокот струн
О девушке одной,
Что к нам приехала в Данун,
Покинув дом родной...

Мила была девица,
Стройна и круглолица.
И начал волочиться
За ней один шалун.

---

* Аргайль — шотландское графство, на территории которого находится Холи-Лох.

Наследник дяди Сама
Из штата Алабама,
Он распрощался с мамой
И прибыл к нам в Данун.

Давайте смочим глотки,
И дальше я спою
О моряке с подлодки,
Стрелявшем без наводки,
И девушке-красотке,
Забывшей честь свою.

Был парень ловок и смышлен
Да и собой не плох.
«Багряным сердцем» награжден
Он был за Холи-Лох.

Он много пил — всегда до
дна,—
А между тем давали
Ему по службе ордена,
Нашивки и медали.

Он был для девушки кумир.
Когда ж она узнала,
Что у него отец — банкир,
То страстью запылала.

Она вступить мечтала в брак,
Ждала кольца от друга,
Но видел в девушке моряк
Забаву в час досуга.

Хватив однажды на земле
Одну-другую стопку,
Он у себя на корабле
Нажал случайно кнопку...

И пронеслась над Холи-Лох
Куда-то вдаль ракета,
Производя переполох
Во многих странах света.

Какая паника была
Во флоте и в Дануне!
Меж тем девчонка родила
Ребенка накануне.

И, увидав луну в окне,
Сынку шептала мама:
«Твой папа́ — первый на луне
Моряк из Алабамы!»

ДЖОН-ДЖЕК КЕННЕДИ

(На мотив детской игровой песенки «Bee-baw babbity» «Би-Бо-Бэбити»)

Джон-Джек Кеннеди,
Восвояси уходи,
Флот подводный уведи —
И долой «Поларис»!

Джон, Джон или Джек,
Ты прощай, прощай навек
И с чужих морей и рек
Убери «Поларис»!

Джек, Джек или Джон,
Уходи скорее вон,
Джон, Джон, выйди вон —
И долой «Поларис»!

Нет, нет,— скажем: нет.
Пентагону скажем: нет.
Джеку-Джону скажем: нет.
И к чертям «Поларис»!

ДЖЕК-МИЛЛИОНЕР

Зовет нас Джек-миллионер
(Какой он шустрый малый!),
Зовет нас в глубь небесных сфер
Иль в адские подвалы.

Но не желаем мы идти,
Куда желают нас вести
И Вашингтон,
И Пентагон,
И Джек-миллионер.

Какой у янки хмурый вид!
Не оттого ли он сердит,
Что снизу вверх и сверху вниз
Летят его ракеты,
А русский, взявший первый приз,
Летал вокруг планеты?

Монго Бети
(КАМЕРУН)

Завершенная миссия

РОМАН

Перевод с французского М. Амаровой

Лучшим воспоминанием, оставшимся у меня от Кала, не считая, конечно, воспоминаний об Эдиме, было празднество, устроенное в мою честь четверкой друзей. Они и раньше были связаны нерушимыми узами дружбы и братства, а теперь, по случаю торжественного события, сплотились еще дружнее, основали, я бы сказал, акционерное общество, если этот термин применим к племени, для которого понятия современной капиталистической экономики остаются пустым звуком.

Четверка молодых людей — это не кто иные, как Иоганес Гусиные Лапы, Авраам Бескостный, Петрус Сын Бога,— я перечисляю их в убывающем возрастном порядке, так как первый из них был самым старшим. Вероятно, потому я и запомнил не только их имена, но и мельчайшие черты их самобытного характера, что храню в своей памяти чувство благодарности за этот праздник. Я забыл назвать имя четвертого, который был не кем иным, как моим дорогим братом Замбо. Впрочем, по правде говоря, Замбо принял весьма ограниченное участие в организации и проведении празднества, ибо был обязан, в угоду своему родителю, обладающему властным и даже деспотическим характером, вооружившись мачете, шагать каждое утро у всех на виду к плантации какао. Прибыв на место, он в течение некоторого времени громыхал и стучал своим орудием труда, то есть делал вид, что работает. Но, как известно, даже самое бесполезное занятие занимает уйму времени. Во всяком случае, облик и имя моего красавца брата остались у меня в памяти и без его активного участия в подготовке столь памятных для меня увеселений.

Четверо молодых людей задумали устроить такой грандиозный праздник, что для его успешного завершения потребовалось четыре дня, причем последний день закончился взаимными оскорблениями, битьем посуды, лужами пролитого на землю вина, грандиозной попойкой, всеобщей вакханалией и, кажется, даже кулачной дракой, на чем я не смею настаивать, ибо вынужден был поспешно покинуть пиршество задолго до его окончания, руководствуясь дорогими для меня мотивами личной безопасности. Но... не будем забегать вперед.

* * *

Как-то ранним утром Иоганес Гусиные Лапы (или святой Иоганес из Кала), Авраам Бескостный и Петрус Сын Бога явились к дяде и нашли меня сидящим на веранде. Они были очень возбуждены и говорили

Окончание. Начало см. в № 9.

так громко, что полдеревни слышало их. Вопреки утверждениям инспектора, следившего за поведением учащихся в течение года, и директора нашего лицея, я был человеком застенчивым (может быть, по контрасту с новыми друзьями) и не любил привлекать внимание посторонних людей. Поэтому в душе я строго осудил своих трех друзей. Подойдя ко мне, они приветствовали меня с несколько грубоватой бесцеремонностью, что только укрепило мое мнение о них, как бы сурово оно ни было. А ведь одному богу известно, что я никогда не желал людям зла, являя собой пример снисходительности. Одним словом, я был в прескверном настроении. Не приди эти парни, тот день был бы худшим из всех, проведенных мной в Кала.

— Скажи-ка, друг,— спросили они меня,— где твой брат?

— Откуда мне знать, где именно он сейчас находится,— ответил я вяло,— думаю, что скоро он будет здесь. Если хотите, подождите его.

— Идем с нами, Жан-Мари,— стали они уговаривать меня поочередно.

— Сколько можно скучать в обществе стариков и детей? Раз ты сегодня никуда не приглашен, пойдем с нами.

— Старые и малые походят, как одни, так и другие, на саламандру,— сильно жестикулируя, начал излагать свои взгляды Иоганес Гусиные Лапы.— Ты когда-нибудь видел саламандру? Ну и цепкая же она, холера! Да что говорить, лучше я тебе расскажу один случай. Однажды я с моими собаками вспугнул саламандру. Поверь мне, это был лакомый кусочек. Собаки пустились вдогонку за ней и так начали ее трепать, что саламандра, чуя свой близкий конец, попыталась найти спасение на вершине баобаба. Она живо вскарабкалась по стволу. Жизнь у них, у саламандр, тяжелая. Ведь саламандру везде подстерегает опасность, можешь мне поверить. А на этот раз ее здорово помяли, да и устала она, поэтому и взбиралась не так уж быстро. А тут и я подоспел, мое копье летит куда проворнее молнии. Ну что же, ты думаешь, я сделал? Я подбежал к баобабу, задрал голову и увидел свою старую знакомую, которая лезла вверх по стволу. Тут я прицеливаюсь, призываю на помощь покойного отца и копьем пришпиливаю саламандру к белому стволу баобаба. Я видел, как долго она извивалась, потом успокоил собак, они все лаяли, боялись, видно, что саламандра ускользнет от нас. Подождал, пока эта сволочь подохнет, и тоже взобрался на баобаб. Но я не учел ее длинных когтей, загнутых, как у сатаны, которого рисуют священники на стенах церквей. Саламандра вонзила их в кору дерева, и хотя была уже мертва, но полдня ушло на то, чтобы вырубить топориком ее когти и снять мою добычу. К тому же надо было еще сбегать за топориком...

— Да,— вмешался Петрус Сын Бога,— да, а вот ты, Жан-Мари, ты человек рассудительный, ты, наверно, думаешь сейчас: «Если бы Гусиные Лапы позвал на помощь своих братьев Замбо, Бескостного и Сына Бога, саламандру сняли бы с дерева куда быстрее». Ты, мне кажется, так думаешь, а? Но если бы он нас позвал на выручку, то нам стало бы известно, что Иоганес поймал саламандру. Тогда ему пришлось бы поделиться с нами, а ему эта дележка не улыбалась, совсем не улыбалась. Он такой жадный, такой сластена, что предпочел справиться с саламандрой без участия друзей, лишь бы никто не узнал о его секрете и не помешал ему объедаться в одиночестве, без свидетелей. Знаешь, Жан-Мари, нет ничего вкуснее, чем мясо саламандры... Разве я говорю неправду, Гусиные Лапы?

— Дайте мне сказать! — вмешался Бескостный, вообще мало говоривший.— Этот тип заперся и целую неделю сидел дома один. А мы-то

беспокоились: куда он запропастился? Оказывается, Иоганес никуда не уезжал, просто лакомился своей саламандрой, ведь саламандра не каждый день попадается. Ну и скупердяй ты все-таки!

— Дорогие мои,— запротестовал крайне расстроенный Иоганес Гусиные Лапы,— горячо любимые братья мои, я никак не мог вас позвать тогда на помощь, ведь вас не было в деревне. Я всегда говорю чистую правду: в этот день вас просто-напросто не было.

— Всех троих? — скептически заметил Замбо. Услышав наш разговор, он подошел к нам.

— Да, всех троих.

— Посмотрите на него,— продолжал Замбо с негодованием, незаметно для самого себя перенимая ворчливый тон своего отца.— Может быть, ты скажешь нам тогда, по какому случаю нас всех не было в деревне? Просто удивительно, почему из-за этой саламандры, которую ты, как подлая змея, проглотил один, у тебя не случился заворот кишок?

— Господи боже мой,— с мученическим выражением на лице вскричал Гусиные Лапы,— из-за этой злосчастной саламандры, вкус которой моя глотка уже давно забыла, вы желаете моей смерти. Вам же будет хуже, если я умру. День на день не приходится. Вот смотрите, я как раз установил несколько ловушек на той стороне реки. Держу пари, что не пройдет и трех дней, как в какую-нибудь да попадется благородная антилопа. Будьте терпеливы, братья, я возмещу вам эту несчастную саламандру. На самом деле, помнится, я даже не попробовал ее мяса, а послал человеку, чью дочь хотел взять в жены. Вы помните, этот человек потребовал за свою дочь как можно больше саламандр. Старик был большой лакомка. В результате оказалось, что я послал ему мало саламандр, иначе разве его дочь не была бы сейчас моей женой?

Нас очень позабавили бессвязные и ханжеские речи Иоганеса Гусиные Лапы. Он продолжал:

— Я обращаюсь к Жану-Мари, а не к вам. Итак, дорогой друг, старики и дети похожи на саламандру. Даже мертвые, они будут держать нас в своих когтях. Так отцепись от них сегодня и пойдем с нами. И ты тоже, Замбо, пошли все вместе.

Эта торжественная речь убедила меня, и я легко согласился. Что касается Замбо, то его не приходилось долго упрашивать присоединиться к пирушке. Однако он должен был принять меры элементарной предосторожности.

— Все из-за старика,— объяснил он,— не бойтесь, я вас догоню, только другой дорогой.

— Когда ты перестанешь дрожать перед своим стариком? — иронически спросил Сын Бога.

— Ты-то можешь говорить, тебе отец все разрешает.

— Только потому, что я не позволяю так обращаться с собой, вот и все.

— Так куда же вы пойдете, в самом деле? — забеспокоился Замбо.

— Мы пойдем к живительному источнику, к купели Иоганеса из Кала,— ответил Сын Бога,— знаешь, где это?

— Да, кажется, знаю.

Замбо, стараясь обратить на себя внимание, делал вид, что направляется к плантации какао. С длинным мачете в руке он демонстративно прошествовал мимо мастерской, где работал отец.

— Уверен, что он знает, где спрятана моя купель,— ворчал Гусиные Лапы.— Ты думаешь, этот тип не знает, где она? А где он напивается, когда его терзает неутолимая жажда? Вот почему мои глиняные кувшины всегда пусты. Бедные кувшины! Замбо — хитрая бестия, до сих пор я еще

не поймал его на месте преступления. Но он попадется. И тогда я передам его тебе, Бескостный, ты ему прочтешь мораль — ведь не зря в течение двух лет ты получал по сто пятьдесят франков в месяц за то, что обучал катехизису маленьких детей. Ты ему объяснишь, что добро ближнего не есть его добро. Надеюсь, что после этого наш друг перестанет тайком лакать мое вино.

Пройдя немного лесом, мы вышли на узкую опушку, где, словно утомленные гиганты, прижавшись друг к другу, мирно дремали четыре пальмы.

Мы уселись недалеко от этих пальм, немного в сторонке. Гусиные Лапы сходил за кувшинами, поставил их перед нами, затем дал каждому ковш из скорлупы кокосового ореха, заменявший стакан, и, поглядывая на Сына Бога, наставительным тоном произнес:

— Есть тут некоторые, у кого от жажды горит в глотке, ну что же, будем разливать вино всем сразу. Постараемся никого не обидеть.

Мне пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, так как неожиданно я становился участником состязания. «Сколько времени сумею я продержаться? — думал я про себя.— Не лучше ли отказаться сразу?» Щадя самолюбие, я решил по крайней мере взять старт. Мы одновременно зачерпнули вино из кувшина самодельными стаканами.

— Слушайте, братья,— продолжал инструктировать нас Гусиные Лапы,— первые четыре стакана будем пить залпом.

— Почему? — в ужасе спросил я.

— Почему? Чтобы изобилие никогда не покидало мой дом. Разве в вашей стороне нет такого обычая?

— Кажется, нет, я что-то не слышал...

Все трое покатились со смеху. Я чувствовал себя одиноким, покинутым друзьями. Но тут появился улыбающийся Замбо. Вооружившись ковшом, он подсел к нам.

После шестого стакана мной овладели апатия и чувство отрешенности. Замбо заметил это и сказал Иоганесу Гусиные Лапы:

— Не заставляй его пить сверх меры. Он еще не привык.

Как я был благодарен ему. «Вот оно, кровное родство!» — подумал я. Мой скептицизм в отношении теории дяди Мама был в значительной мере поколеблен.

— Может быть, он и не привык,— ответил Гусиные Лапы, спокойно наполняя мой ковш вином и не спрашивая на это моего разрешения,— может быть, он и не привык, так теперь привыкнет! Скажи-ка, дорогой Замбо, как это получилось, что ты знаешь дорогу к моему живительному источнику? Объясни, пожалуйста, эту тайну.

— Это не тайна,— ответил Замбо,— ты прекрасно знаешь, что это не тайна. В первый раз ты сам привел меня сюда.

— Ты уверен? А не кажется ли тебе, что я приводил тебя к другим источникам, а?

— Не намекаешь ли ты, что я посещал твою купель в твое отсутствие?

— Я не намекаю, малыш, я просто спрашиваю.

К концу долгого и бесполезного спора мы так и не продвинулись в вопросе, был ли Замбо приведен в первый раз к животворному источнику самим Иоганесом или же он сам нашел к нему дорогу. Чтобы положить конец дискуссии, Бескостный объявил:

— Религия нас учит, что...

— Какая религия? — спросил Сын Бога.

— Католическая религия...

— Хорошо,— сказал Сын Бога,— я очень хочу, чтобы ты нам сказал, чему учит католическая религия, при условии, что ты скажешь потом, чему учат другие религии.

— А что, есть и другая религия?

— Например, религия святого Иоганеса из Кала.

— Начнем с католической. Она учит двум главным заповедям. Во-первых, добро другого не есть твое добро, поэтому нельзя его брать. Воздайте кесарю кесарево, а богу — богово. Во-вторых, никогда не делайте поспешных выводов. Не обвиняй человека без формальных доказательств его вины. Аминь!

— Ну, понес...— иронически заметил Гусиные Лапы.— Я никогда не понимал болтунов, которым достаточно одного стакана, и они уже готовы.— Потом, повернувшись ко мне, продолжал: — Говорят, тебе не понравилась Элиза? Ты находишь ее недостаточно красивой? Или боишься женщин?

— Просто это вопрос вкуса,— ответил я с уверенностью, которую придавало мне опьянение.

— Да, разумеется, это вопрос вкуса, как ты говоришь. Однако все это странно, очень странно...

— Почему же это странно? — запротестовал Бескостный.— Почему же это странно? Если он не хочет девушку, нельзя же принуждать его. К тому же я считаю, что он поступил правильно: он отомстил за нас.

— Была одна возможность, о которой никто не подумал,— сказал Сын Бога.— Жан-Мари мог договориться со мной, он пригласил бы девушку к себе ночью, но ее ждал бы я. В темноте трудно разобраться. И тогда бы я ей прописал... Хи-хи-хи! Клянусь, ей бы не поздоровилось!

— Она не могла бы ошибиться,— издевался Гусиные Лапы.— От тебя слишком плохо пахнет!

— От всех мужчин плохо пахнет,— возражал Сын Бога,— по крайней мере, от настоящих мужчин.

Тем временем мы с Замбо придумали гениальную комбинацию: я наливал себе ковш вина и ставил его подле Замбо, взамен он ставил передо мной свой пустой ковш. И до конца «заседания» никто не заметил нашего маневра.

Просто удивительно, как могут нормальные люди с одним-единственным желудком поглощать целые реки вина. Попойка закончилась, когда четыре кувшина были полностью осушены.

Мы поднялись, собираясь уходить. Пошатывался только один человек, как и следовало ожидать,— это был Бескостный. Гусиные Лапы смотрел на него с явным презрением.

— Тебе не стыдно? — выговаривал он ему.— Малыш приехал из города и пьет куда лучше тебя. Смотри — шагает как ни в чем не бывало.

В правом уголке рта Замбо, словно цветок, притаилась улыбка.

Гусиные Лапы, которого, видимо, вино совсем не брало, обнял меня за талию (единственное, что выдавало его состояние). Он твердил, что отныне я буду его лучшим другом, так как, несмотря на недостаточную тренировку, все же умею хорошо пить.

— Когда я увидел тебя в первый раз,— вкрадчиво говорил он,— то почувствовал к тебе недоверие. Знаю я этих городских, они всегда чем-то от нас отличаются. Но ты — исключение! Принимаю тебя в свои друзья, дорогой Жан-Мари!..

От него разило винным перегаром, и я всячески старался держаться от него подальше. Вдруг ему пришло в голову обучить меня песне.

Она мне так понравилась, что я не только запомнил слова, но и перевел их на французский язык, чтобы передать будущим поколениям, которые, наверно, уже не будут пить пальмовое вино и, следовательно, не узнают поэтические творения, вдохновленные этим божественным напитком.

Вот эта песня:

Часто бывает, старуха ругает, пилит, бранит меня,
И, горько вздыхая, я мать вспоминаю, сиротскую долю кляня.
«Подумаешь, важность какая!» — твержу я, себя утешая.
Но как я несчастлив и как неудачлив!
Я счастья не знаю, о мать дорогая!

Подумаешь — важность какая,
Подумаешь — важность какая!

Часто бывает, речь затевает старец кичливый про то,
Что он, мол, кудесник — нет в мире чудесней,
Что страшно его колдовство.
Тогда я, вздыхая, отца вспоминаю, отца вспоминаю я.

О, как я несчастлив и как неудачлив, печальна судьба моя.
Меня колдовство не спасет,
Беда меня всюду найдет.

Часто бывает, старуха ругает, бранью изводит меня,
И снова и снова о матушке милой в слезах вспоминаю я
И, горько вздыхая, себя упрекаю: где же характер твой?
О, если бы мать приласкала, как в детстве порою бывало,
Я снова нашел бы покой.

Где же характер твой? —
Твержу я себе с тоской.

Часто бывает, мужчина ругает, бранью поносит меня,
Тогда я, вздыхая, отца вспоминаю, отца вспоминаю я.
Бахвальством меня не возьмешь.
Ведь силы в тебе ни на грош.
Но все ж я несчастлив и так неудачлив.
К отцу я взываю, несчастную долю кляня.
Сиротская доля,
Печальная доля,
Проклятая доля моя.

Наверно, вам покажется, что эта песня не может привести в восторг мало-мальски искушенного в поэзии человека. Но поверьте, ничто не просветляет так ум, как пальмовое вино. Уж в этом я теперь разбираюсь! Если хотите убедиться лично, выпейте малую толику пальмового вина, попробуйте спеть эту песню, вот тогда и сообщите мне свое мнение. Впрочем, весьма возможно, что мой перевод не очень удачен...

Иоганес Гусиные Лапы не отстал от меня до тех пор, пока я не спел как следует песню, пока не вложил в ее исполнение ту душевную растроганность и печаль, какие должны звучать в ней, пока не выучил все куплеты наизусть. Напрасно я пытался по-дружески втолковать ему, что никого из своих родителей я еще не потерял, он неизменно отвечал мне, что в один прекрасный день я их потеряю и останусь сиротой, как он, например. Пришлось покориться и исполнить песню в плаксиво-жалобной манере, к великому удовольствию Иоганеса Гусиные Лапы. Принимая во внимание характер и настроение песни, я назвал ее «Жалоба сиротки».

Перебравшись через речку, мы шли некоторое время по лесу. Бескостный немного пошатывался, Замбо улыбался все той же улыбкой, что, словно нежный цветок, застыла в правом уголке рта, а Сын Бога убеждал всех, и не без успеха, что лучшей в мире религией является

религия святого Иоганеса из Кала. Он излагал ее основные принципы: во-первых, если тебя мучит жажда, пей все, кроме воды, и, во-вторых, никогда не упускай случая приволокнуться за девушкой в любое время суток и даже в воскресенье.

Мы весело шагали и вели такие речи, находясь в несколько приподнятом состоянии духа, и неожиданно вышли из лесу к полю. Поля деревни Кала представляли собой в тот год сплошную гигантских размеров поляну посреди леса. Просто-напросто мужчины раскорчевали участок, стараясь расчистить как можно больше площади, а потом поделили его на индивидуальные или, точнее, семейные наделы. Не приходится говорить, что это общее поле было по своей площади больше, чем территория, занимаемая деревней Кала.

Наступило время уборки урожая. В воздухе слышался запах жареного арахиса. От сухих стеблей и листьев маиса все поле приобрело желтоватый оттенок. Женщины осторожно небольшими мотыгами выкапывали из земли корни арахиса, поодаль девочки и мальчики отрывали орехи от стеблей. Над каждым участком послушно вился дымок от костра, у которого ребята, присев на корточки, жарили арахис и початки маиса. Пахло свежевскопанной землей, спелыми плодами, молодой зеленью. А кругом, словно часовой, в великолепной темно-зеленой форме возвышался лес.

Мои друзья тут же взяли по корзине и отправились через все поле, останавливаясь то около одной, то около другой женщины:

— Пожалей бедных людей, просящих милостыню! Подай немного арахиса! Господь бог отблагодарит тебя когда-нибудь. Сжалься над людьми, прозябающими в нищете. Подай немного арахиса!

Женщина отрывалась от работы, выпрямлялась и, смеясь, жертвовала горсть арахиса. Ни одна нам не отказала. Вскоре корзины были полны. Тогда Гусиные Лапы объявил:

— Ну, ребята, хватит клянчить арахис, у нас его больше, чем нужно. Пошли отсюда.

После полудня мы вернулись в деревню. Мои товарищи принялись лущить арахис, добытый столь легким путем.

Бескостный, протрезвев немного, сказал:

— По правде говоря, успехом операции мы обязаны приятелю из города. Не будь его, никто не обратил бы внимания на наши просьбы.

— Поэтому я и просил его пойти с нами,— ответил Гусиные Лапы.

На этой стадии подготовки к празднику я их и покинул. О дальнейших действиях четверки мне мало что известно. Насколько я мог узнать потом, они на следующий день отправились продавать арахис в ближайшую лавочку. А через день, как мне стало известно, опять-таки понаслышке, они пошли в соседнюю деревню, чтобы купить там по дешевой цене барана и кур, а заодно и пригласить своих подружек, без которых праздник не мог обойтись. Как я уже сказал, только четвертый день стал днем апофеоза.

* * *

Четвертый день был воскресеньем. Едва успев встать с постели, я уже получил распоряжение никуда не отлучаться и ожидать указаний от Иоганеса Гусиные Лапы и его друзей. К одиннадцати часам Гусиные Лапы прислал за мной делегацию в составе Авраама Бескостного, Петруса Сына Бога и еще трех парней, не помню их имен. Я шел по деревне, окруженный пятью телохранителями, словно американский государственный деятель между приставленными к его особе детективами.

Хижина Иоганеса Гусиные Лапы по случаю праздника приняла необычный вид. Сначала ее подмели, а это случалось довольно редко, потом ее украсили пальмовыми листьями и гирляндами из ветвей мангового дерева. Но этого оказалось мало, и организаторы развесили по стенам, за неимением других украшений, изображения святых: налево — образ сердца господня, распятый Иисус — направо и прямо — образ святой непорочной девы. Гостей было много, все девушки и парни.

— Слушайте! Слушайте! — провозгласил Иоганес Гусиные Лапы, хлопнув в ладоши.— Здесь только один приглашенный — вот этот парень из города. Для него здесь все и приготовлено: вино и закуски. Что касается всех остальных, я благодарю их за то, что они пришли чествовать нашего гостя, но им придется довольствоваться тем, что им будет подано.

Это было сказано довольно резко, но зато без всяких околичностей. Затем слово взял Замбо.

— Молодые повелители Кала! — начал он.

— Кала — деревня избранных! — отвечали ему.— Кала всегда берет верх! Кала всегда в почете!

— Предлагаю,— продолжал мой брат,— не увлекаться такой чепухой, как еда и питье. Пусть этому низменному занятию предаются невежды из соседних деревень, они и понятия не имеют, что значит хорошо принять гостя, им не знакомы даже самые простые обычаи гостеприимства. Предлагаю начать танцы, пусть царит веселье, подобающее такому дню, как сегодня.

Эту речь, как она ни была плоха, присутствующие встретили бешеными аплодисментами. Потом все спели песню, ставшую почти национальным гимном, где слово «Кала» упоминается в каждой строчке. Я ее не запомнил, ибо никогда не питал симпатии к таким крохотным и замкнутым национальным единицам, как деревня Кала, а тем более к их национальным гимнам.

Потом начался и сам праздник. На стол подавали девушки из соседних родовых кланов, и, как мне стало известно, все было приготовлено их руками, руками подружек молодых людей Кала. Несмотря на увещевания Замбо и строгие предупреждения Иоганеса Гусиные Лапы, присутствующие занялись исключительно едой и питьем, не упуская случая опрокинуть стакан вина или отведать какого-нибудь блюда. Посредине хижины поставили стол, и только я один удостоился чести сидеть за ним. Остальные расположились на полу, поставив тарелки прямо на землю. Только когда все насытились и изрядно выпили, началось истинное веселье: присутствующие ринулись танцевать ассико, кривляясь и гримасничая, исполняя его в том характерном только для деревни Кала стиле, который отличает ее от других куда больше, чем собственный национальный гимн и все другое...

Я воспользовался моментом, когда никто не обращал на меня особенного внимания, и подозвал Эдиму. Она была веселой, как всегда, ей все очень нравилось. Я заставил ее сесть ко мне на колени. Потом поцеловал и оглянулся. Увидев, что никто не смотрит на нас, я поцеловал во второй и в третий раз, теперь она сама требовала моих поцелуев. Все это было очень забавно, особенно для меня, ибо я был порядком навеселе. Я пытался заставить Эдиму выпить, но она наотрез отказалась.

Кажется, ничто не должно было нарушить всеобщего веселья, но то ли у танцующих постепенно разгорелись страсти, то ли на самом деле были причины для обиды, только под самый вечер атмосфера праздника вдруг накалилась. Началось с того, что Сын Бога сцепился с мордастым парнем, который утверждал, что его незаслуженно оскорбили. Все

обошлось без драки, и все скоро забыли об этом инциденте. Однако немного погодя Мордастый принялся вдруг весьма энергично крушить ногами тыквенные бутылки с пальмовым вином, которые, естественно, не нашли ничего лучшего, как разбиться и разлить свое содержимое. В хижине образовалось превосходное белое озеро, к великому огорчению хозяина Иоганеса Гусиные Лапы, который растерянно взирал на наводнение, не зная, что предпринять. Замбо, мой дорогой брат, распорядился удалить меня из комнаты, где назревала ссора, и не просто ссора, а драка. Вскоре после вероломного нападения Мордастого на тыквы с пальмовым вином в воздухе замелькали бутылки, к счастью, никого не задевшие.

Теперь мне довольно трудно воспроизвести подробный ход событий. Мордастый был уроженец или, вернее, гражданин близлежащей деревни. Он счел слова Замбо для своей персоны оскорблением и решил компенсировать обиду тем, что приналег на питье и на еду, поглощая их в невероятном количестве. Мяса ему подали столько, сколько он пожелал, так как его было вдоволь. Что же касается вина, то ему вежливо намекнули, что не могут полностью удовлетворить его потребностей, так как запасы вина истощились. Мордастый, не удовлетворенный этим объяснением, перешел к действиям.

Очевидно, вас интересует, почему этот чужак оказался среди молодых «повелителей» Кала. Я объясню: когда в Кала закалывают барана, как и произошло с бараном, купленным накануне Иоганесом Гусиные Лапы и его друзьями, то приглашают специально для этой цели мужчину из другой деревни, который, однако, по материнской линии все же является уроженцем Кала. Так требует обычай. Гусиные Лапы пригласил Мордастого, который и выполнил требуемую работу. Он зарезал барана и разделал тушу. Если верить Иоганесу, то этот парень был более чем достаточно вознагражден за свою услугу. Следовательно, его безобразная выходка была беспричинна и поэтому — непростительна.

Я предупреждал еще раньше, что не уверен, перешла ли эта ссора в рукопашную, но кто-то потом мне рассказывал, что драка все-таки состоялась. Что касается официальных лиц, ответственных за этот праздник, а именно: Иоганеса Гусиные Лапы, Бескостного, Сына Бога и Замбо,— то они ограничились кратким коммюнике, в котором сообщалось, что Мордастый добровольно удалился в самом миролюбивом настроении. Вы, очевидно, мало верите, что можно удалить насильно кого-нибудь без треска и грохота, да еще в миролюбивом настроении. Такого же мнения придерживаюсь и я, что, впрочем, не так уж важно. Во всяком случае, в момент, когда совершался этот акт насилия, я спал спокойным сном и поэтому не несу никакой ответственности.

Вот почему мне так хорошо запомнился этот день.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

при чтении которой у читателя сложится мнение, будто он близок к развязке этого романа. Мнение, увы, ошибочное.

Шла четвертая неделя моего пребывания в Кала, и внезапно события стали развиваться со стремительной быстротой.

Началось с того, что правитель устроил у себя праздник. Как вам известно, прежде чем мужчина возьмет в жены девушку, свадебные посланцы, женщины и мужчины из деревни невесты, согласно обычаю, должны привести ее в дом будущего мужа. По этому поводу устраивается большой праздник.

Правитель собирался жениться, насколько я понял, в седьмой раз. Последнее время он пребывал в тревоге и беспокойстве, ибо не знал, в какой именно день свадебные гости, родичи его невесты, прибудут, чтобы передать ему жену. Племя невесты намеренно не сообщало дату своего прибытия, стремясь застать жениха врасплох.

Подобное предупреждение находится в прямой зависимости от материального достатка жениха: вас предупредят, если вы бедны, но, если вы живете богато, явятся без предупреждения. Бедняка необходимо оповестить заранее, чтобы он успел приготовиться к торжественным дням. Но к чему предупреждать такого богача, как правитель? Ему незачем готовиться, у него дом — полная чаша. На самом деле у правителя, так же как и у всех живущих в достатке или стремящихся казаться богатыми, чаша-то была не так уж полна.

Не знаю, можно ли верить тому, что мне рассказывали, но правитель все время уговаривал патриарха и других старейшин своей вотчины Кала, чтобы они помогли ему, если прибытие невесты застигнет его врасплох. Добиваясь такого согласия от своих подчиненных, в первую очередь людей состоятельных, правитель, как мне тоже рассказывали, пользовался приемами, которые по своей окраске резко различались: от нежно-розовых, то есть уговоров, основанных на шантаже, с обязательными заверениями в дружбе и братстве, с призывами к чувствам чести и патриотизма, во имя которых всякий порядочный гражданин своей страны обязан оказывать помощь своему повелителю, особенно когда последний рискует потерять авторитет перед родней жены,— и до густо-черных, что должно было означать настоящее запугивание в случае непослушания и прямые угрозы применить административные взыскания.

Я знаю, что вы станете возражать: возможно ли, что после революции, которой по существу и была Октябрьская конституция 1946 года*, правитель мог запугивать граждан административными карами? Не правда ли, вы задаете себе такой вопрос? Все потому, что вы так же, как и я, живете в городе, я тоже некогда думал, что такое невозможно.

Я объясню вам истинное положение вещей. Даже когда угрозы правителя не имели под собой никакого юридического основания, они все же производили определенное воздействие: односельчане или, вернее, подчиненные плохо, а иногда и совсем не разбирались в статьях Октябрьской конституции 1946 года. Они не могли поэтому ссылаться на нее, к тому же они не забыли, каким могуществом обладал правитель до октября 1946 года, и считали, что власть его все так же неограниченна.

В действительности угрозы правителя были далеко не голословны: люди, обладающие властью, пользующиеся поддержкой и советами начальников, стоящих выше их по иерархической лестнице, то есть представителей колониальной администрации, ввели новую систему угнетения, с первого взгляда казавшуюся вполне законной. Эта система согласно раз и навсегда заведенному распорядку, действующему с обезоруживающей точностью машины, позволяла держать народ в повиновении и даже грабить его без зазрения совести. Так, например, в отдаленных районах страны распространялось специальное предписание, провозглашавшее как основной принцип запрещение принудительных работ, но тем не менее в нем имелось одно неясно сформулированное положение, по которому власти имели право мобилизовать рабочую

---

* Ряд реформ, проведенных французскими колониалистами после второй мировой войны в африканских владениях, согласно которым африканцы получили некоторые права (избирательное право, возможность создавать политические партии и т. д.).

силу в случае бедствия, грозящего населению. Понятие «бедствие, грозящее населению» само по себе вызывает сомнение, тем более что колониальная администрация, обладающая неограниченной властью, оставляет за собой право толковать его по своему усмотрению.

А вот и другой пример: если у кого-нибудь возникало желание приобрести охотничье ружье, швейную машину, автомобиль и прочие вещи, то за разрешением следовало обращаться к правителю. Этим все сказано. Короче говоря, власть правителя была не пустым звуком, а реальностью.

Однако еще задолго до прибытия родственников невесты правителя одолевали всякие страхи, несмотря на многочисленные обещания помощи, которые он получил довольно сомнительным путем.

Что все-таки происходило? Правитель этого кукольного королевства подвергался нападкам со стороны безжалостной оппозиции, безжалостной потому, что состояла эта оппозиция главным образом из молодежи — людей того возраста, который не знает пощады. В Кала молодежь была уверена, что цель ее существования — противостоять правителю. Правда, оппозиция была настроена очень анархически, так сказать, оппозиция больше на словах, однако и она приносила свои плоды. Как только правитель вырывал у кого-либо из своих односельчан обещание помочь деньгами или натурой, тотчас же один или несколько молодых людей отправлялись к этому человеку и долго объясняли ему, что у правителя нет никакой действительной власти и что не стоит с ним церемониться.

Таким образом, каждая победа, одерживаемая правителем, благодаря противодействию оппозиции в любой момент могла обратиться в поражение. Но новое восходящее поколение своей недисциплинированностью доставляло слишком много беспокойства старикам и потому не имело широкого влияния. А несколько побед, завоеванных оппозицией, не могли сокрушить могущество правителя. В конечном счете молодежь все же заставляла его умерить свои аппетиты.

* * *

В этом краю новости распространяются с потрясающей быстротой, и если соплеменники невесты думали застать правителя врасплох, они сильно просчитались.

Утром, во вторник, после пиршества, устроенного Иоганесом Гусиные Лапы и его друзьями, разнеслась весть, что посланники невесты вот уже два дня как снялись с места и остановились где-то неподалеку от Кала и должны прибыть в деревню в тот же день. Были получены сведения о числе и составе свадебной делегации, точный перечень подарков, даже такие подробности, как содержание песен, которые гости затянут, войдя в деревню.

В этот день в Кала женщины не вышли на полевые работы, мужчины также остались дома. Всем хотелось лицезреть новую жену правителя, которую до сего времени еще никто не видел.

Свадебный кортеж вступил в Кала в полдень, в самый зной. Шествие открывала толпа молодых безвкусно и крикливо разряженных женщин, за ними, выпятив голые животы, выступали старые скряги, вооруженные мухобойками, то есть пучками конского волоса, укрепленными на палке. В набедренных повязках, свисающих по самые щиколотки, старцы шествовали, надувшись от важности, с умильным выражением лиц от предвкушения обильной трапезы, на губах у них, казалось,

застыли слова приветствия, уверения в дружбе и вечной признательности. Тут же в толпе плелись равнодушные ко всему бараны, некоторые из гостей несли в корзинах кур и петухов.

Прибывших встретило довольно жидкое завывание женщин из Кала: «Ую-ую!» — уж больно было жарко.

Когда свадебное шествие втиснулось в дом правителя, встречавшие вдруг обнаружили, что никто из них так и не увидел невесту, а впрочем, не успели разглядеть и других девушек.

— Вроде там была с цветной шелковой повязкой на голове, тебе не кажется, что это она?

— Нет, невеста, наверно, была в светлом платье, разрисованном человечками на пирóгах...

— Ну, что ты, совсем девчонка.

— Вот и говорят, что она молоденькая.

— Не может быть, уж больно молода, все-таки замуж выдают.

— Вечером увидим.

Новобрачную представили только вечером. У правителя оказалось достаточно деликатности, чтобы пригласить на эту церемонию и меня. Он даже уточнил: дядя должен меня сопровождать — уточнение, на мой взгляд, излишнее. Как ни увиливал Замбо, мне все-таки удалось убедить его пойти с нами.

* * *

Во дворе, перед домом правителя, гремели тамтамы и трещали ксилофоны. От этих звуков земля сотрясалась, как от топота слонов. Около музыкантов под покровительственным взглядом яркой луны кружились девушки в неистовой сарабанде, зрители хлопали в ладоши, как будто ритм, отбиваемый тамтамами и ксилофонами, казался им недостаточным. Над этим неистовым грохотом, напоминающим раскаты затяжной грозы, над этим несмолкаемым глухим ревом, подобным водопаду, низвергающемуся в пучину, иногда взвивался протяжный стон женских голосов, таких чистых и хрупких, что они казались жалкими, ненужными и чужими в этом хаосе звуков, словно бабочки, затерявшиеся в листве мангового дерева, сокрушаемого ураганом.

Наше трио в составе дяди Мама, Замбо и меня, обойдя сторонкой танцующих, медленно поднялось по ступеням, ведущим в большой зал дома правителя. При нашем появлении правитель поспешно поднялся нам навстречу, как будто мы представляли при его величестве великую державу, которой необходимо оказывать особые знаки внимания. В тот вечер правителя словно подменили: он был почти красив, не казался таким толстым, лицо не было таким отечным, а мундир командира отделения, украшенный галунами на плечах и орденами на груди, придавал ему даже некоторую величавость. Высокого роста, широкий в плечах, он напоминал Аполлона в старости, только его манера грубо браниться по каждому поводу и без повода никак не вязалась с красивой внешностью и вызывала отвращение у окружающих.

Когда мы вошли, все замолчали. Правитель провел меня через весь зал, заставляя здороваться за руку с каждым из присутствующих. Казалось, этой церемонии не будет конца, ибо гостей было несчетное множество. Затем нас подвели к самым почетным местам. Мы сели. Кто-то придвинул небольшой стол, уставленный многочисленными бутылками с пальмовым вином, красным вином, американским виски, коньяком. Сначала я пил умеренно и все пытался увидеть Эдиму среди девушек, подававших на стол. Но напрасно таращил я глаза, оглядываясь по сторонам: Эдимы не было. Что произошло? Уже два дня я ее не видел,

со дня праздника у Иоганеса Гусиные Лапы, закончившегося для меня стратегическим отступлением, о котором вы помните.

Замбо сидел около меня веселый и благодушный, хотя зрелище свадебного торжества никак не могло содействовать подобному настроению. Казалось, Замбо отрешился от всего земного и бренного и пребывал в прекрасном расположении духа. Рядом восседал дядя Мама с непроницаемым и таинственным видом. Легко было заметить, что я находился в центре внимания присутствующих. Но меня мало интересовало это обстоятельство — исчезновение Эдимы не давало мне покоя. Что с ней могло приключиться?

Со двора неслась все тот же неистовый грохот, исполняемый в бешено дьявольском ритме.

Я так и не узнал причину отсутствия Эдимы и принялся, как часто бывает в подобных обстоятельствах, неумеренно поглощать напитки.

Внезапно раздался оглушительный вой, точно несколько десятков поездов одновременно подошли и тут же отошли от перрона вокзала, разрывая воздух пронзительными, тоскливыми гудками. Находящихся в зале такой звуковой эффект ничуть не смутил, а я, кажется, вздрогнул. Мой брат ущипнул меня и, задыхаясь от смеха, проговорил:

— Не бойся, братец. Это ведут малютку, предназначенную для правителя, для этого старого хрыча. Подожди, мы сейчас посмеемся вволю.

Грохот тамтамов и ксилофонов усилился, достигнув наивысшего предела. Толпа женщин ринулась по лестнице, они теснились и тяжело топали по ступеням, стараясь как можно пронзительнее исторгнуть из своей груди: «Юу-юу!..» В центре толпы шла девочка, примерно одного возраста с Эдимой, на лице ее были написаны смущение, удивление и стыд. Все с тем же адским шумом толпа женщин ввалилась в зал. За ними, продолжая играть на своих инструментах, следовали музыканты. Иногда мне казалось, что от этого грохота и гвалта должны лопнуть не только мои барабанные перепонки, но и я сам...

Девушки, только что плясавшие во дворе при лунном свете, грудью пробивали себе дорогу сквозь плотный строй гостей...

Наступила тишина. Глава делегации встал и, взяв молодую жену правителя за руки, начал не торопясь излагать родословную и героическое прошлое ее предков, не забыв при этом упомянуть и об их ратных подвигах во времена германской колонизации. Далее он взволнованным голосом отметил особое значение празднуемой свадьбы, которая должна принести счастье всем, и особенно их племенам.

Он закончил свою речь следующими словами:

— Правитель, вступай же во владение своей женой!

Как верны оказались эти последние слова.

Правитель, у которого был вид торговца, совершившего удачную сделку, так бережно опустил свою новую жену в кресло, что как ни отвратительно было зрелище старого кабана, утаскивающего беззащитную девочку, оно не вызвало во мне особенного возмущения.

Музыканты опять заиграли, женщины снова затянули: «Юю-ую!» — девушки захлопали в ладоши, мужчины медленно и важно закивали головами, словно только что было оглашено коммюнике о национальной победе. Девушки образовали круг, правитель вышел на середину, и началась в высшей степени комическая сцена. Вытянув руки, правитель стал сгибаться и разгибаться в неумолимом ритме маятника, он тряс плечами и неистово вращал тазом с ловкостью, удивительной для такой громадной туши. Через каждые две-три минуты кто-нибудь подходил и прерывал танец, обнимал правителя, громогласно провозглашая:

— Правитель, ты танцуешь так хорошо, что я не могу отказать себе в удовольствии подарить тебе две тысячи франков.

Или:

— Правитель, я дарю тебе двух баранов.

Или еще:

— Правитель, я дарю пятьдесят килограммов какао...

Каждый гость проделал эту церемонию, и всякий раз при оглашении списка даров правитель подходил к новой жене, чтобы обнять ее. Я говорю обнять, хотя на самом деле это означало, что правитель брал жену на руки и долго прижимал ее к груди, как и полагалось делать столь жадному человеку, как он. В такие моменты музыка играла громче, а девушки затягивали песню, специально сложенную в честь правителя, слова которой я, конечно, забыл.

Нас, Замбо и меня, все это порядком развлекало, и мы весь вечер только и делали, что старались сдержать душивший нас смех. Дядя Мама сдержанно улыбался, и все же эта улыбка не выдавала его собственного мнения по поводу происходящих событий. В самом деле, мне никогда еще не удавалось узнать истинного мнения дяди Мама о правителе, его действиях и поступках.

Правитель продолжал трястись в танце. В полной офицерской форме, затянутый, словно солдатик колониальных войск на параде, он задыхался, обливался потом, но так и не снял даже широкого кожаного ремня.

В зале стало жарко. Было трудно дышать. Внезапно я обнаружил, что рядом со мной уже нет Замбо, он словно улетучился. Правитель все трясся и трясся, мундир потемнел от пота. На меня начинал действовать алкоголь...

После получасового отсутствия вернулся Замбо, с загадочным и в то же время торжествующим видом. Он ущипнул меня и, убедившись, что никто нас не слушает, прошептал:

— Братец, ты ведь очень устал, а?

— Я, устал? Нет. Что ты, дружок.

— Нет, ты очень устал, у тебя даже голова разболелась.

— Спятил ты, что ли?

— Не упирайся, не будь таким болваном. Слушайся меня: скажи отцу, что ты устал и тебе нездоровится.

— Да почему?

— Делай, что говорят!

Я сделал, как он сказал. Дядя Мама в свою очередь поставил в известность правителя, прошептав ему на ухо это сообщение. Правитель прервал свой танец, и между ним, его приближенными и дядей Мама состоялось продолжительное совещание. В конце концов правитель дал мне знак приблизиться и, дружески положив влажную от пота руку на мое плечо, сказал:

— Сын мой, если тебе нездоровится, иди ложись. Завтра я пришлю тебе подарки. Ложись и прими лекарство. Очень жаль, что ты заболел в первый день свадьбы. Ну, ничего. Лечись хорошенько, и ты выздоровеешь еще до окончания празднества.

Затем он отпустил меня. Дядя Мама обратился к Замбо.

— А ты чего ждешь? Проводи брата домой!

Не торопясь, мы покинули свадебный праздник. Дядя Мама остался.

Как только мы вышли, Замбо начал пританцовывать, повторяя без конца:

— Здорово придумано, а? Меня вдруг осенило, как устроить, чтобы тебя надолго оставили в покое.

Я был, конечно, благодарен своему братцу, который только и занимался тем, что пытался пробить брешь в стенах моей тюрьмы. Но новая затея Замбо благодаря его стараниям, как и следовало ожидать, превратилась, конечно, в медвежью услугу. Я все более и более убеждался, что в Замбо сидит какой-то бес фрейдизма, ибо он с упорством маньяка задавал серым клеткам своего мозга сложнейшие задачи, как устроить для меня любыми способами свидания с женщинами, которыми я непременно должен был обладать. К счастью, природа не наделила его воображением, а не то бы мое пребывание в Кала было чересчур бурным. Короче говоря, в тот вечер Замбо был на седьмом небе от своей затеи.

Как только мы вернулись домой, Замбо втолкнул меня в комнату с поспешностью, удивившей меня, так как обычно он обращался со мной весьма любезно и внимательно, и сказал:

— Подожди, я скоро вернусь.

Я сразу же догадался, что он задумал какое-то дельце, о котором я еще не знал. Говоря по правде, с тех пор как я познакомился с Эдимой, я, в сущности, уже не стремился к физическому сближению с ней, совершенно позабыв о своем желании перейти в категорию настоящих мужчин. Трудно объяснить причину. Думаю, что частые прикосновения к телу Эдимы, какими бы легкими они ни были, приносили мне некоторое облегчение. При тех сложных, даже противоречивых чувствах, которые я испытывал к Эдиме, я, наверно, никогда не посмел бы по собственной инициативе добиваться близости с ней. В столь щекотливом положении, конечно, нужна была помощь моего деревенского брата, так же как нужны Александры Македонские, чтобы разрубать гордиевы узлы.

Я еще не оправился от изумления, как вернулся мой дорогой брат, таща за руку Эдиму. Бедняжка! Трудно было разобрать, по своей ли воле она пришла. Вероятно, она и сама не знала. Вид у нее был испуганный и вместе с тем лукавый, казалось, что все происходящее и пугает и в то же время забавляет ее. Как удалось Замбо осуществить свой дьявольский план? Не берусь разгадывать эту тайну.

Не проронив ни слова, Замбо вышел из комнаты, оставив нас наедине. Меня бы не удивило, если бы он стал подслушивать у двери. С непонятной мне грустью я смотрел на Эдиму. Девушка поглядывала на меня искоса, с лукавой полуулыбкой, засунув палец в рот, словно ребенок при виде незнакомого человека. Кажется, я вздохнул и подумал про себя: «Хоть я и выпил изрядно, но, видимо, все-таки не в форме. Надо еще выпить»,— а вслух сказал:

— Садись, Эдима. Давно не видел тебя. Где ты пропадала?

Ее объяснения я слушал невнимательно. Наклонившись, я пошарил под кроватью, извлек бутылку и раза два-три приложился к горлышку. Несколько глотков виски моментально привели в действие все ранее поглощенные мной напитки, и я опьянел.

Эдима сидела на кровати довольно далеко от меня.

— Сядь поближе, крошка,— игривым тоном сказал я.

Она покачала головой. Пришлось подойти к ней. Она отвернулась. Я взял девушку за руку. Она живо выдернула ее и как-то странно усмехнулась. Это меня ободрило. Сердце бешено колотилось, словно дикий зверь сотрясал решетку своей клетки, пытаясь вырваться на волю.

Я снова взял Эдиму за руку, и опять она с силой высвободилась. Сопротивление девушки только раззадорило меня, я схватил ее за обе руки, она яростно отбивалась. Откуда такая злость у Эдимы, ласковой и доверчивой Эдимы? Я крепко держал ее руки, не сознавая в тот момент, что делаю, какую цель преследую. Должно быть, мужчина — это комплекс, система механизмов: приведенные в движение, они уже не в состоя-

нии остановиться до тех пор, пока не иссякнет энергия, питающая эту систему.

Завязалась борьба. Мы боролись молча, без всякой к тому причины, но тем не менее свирепо. Мы катались по кровати. Никогда не думал, что у такого ребенка может быть столько силы, даже если она росла в деревне.

Мы боролись долго. Эдима старалась оцарапать меня не для того, чтобы причинить боль, а чтобы оставить на мне свои отметины. Я ничего не понимал. Волею сложившихся обстоятельств, а может быть, и под влиянием алкоголя я стал актером в комедии не столько странной, сколько бессмысленной, по крайней мере так мне казалось.

Я был очень возбужден. В разгар схватки я улучил момент и еще раз приложился к бутылке. Потом я сбросил рубашку, так мне было жарко, и опять кинулся в атаку на Эдиму. Я жаждал продолжения битвы, но она, запыхавшись от возни и давясь от смеха, сказала:

— Нет, нет, я слишком устала, я не хочу больше бороться.

А я уже вошел во вкус...

* * *

Уже несколько дней продолжался праздник. В доме правителя гремели тамтамы и ксилофоны. Утреннее затишье к полудню нарушалось праздничной суматохой. А по вечерам, сразу же после захода солнца, когда женщины и девушки возвращались с полей, свадебное веселье вновь закипало вокруг дома правителя.

Что касается меня, то я не выходил из дому под предлогом болезни, ловко придуманной Замбо: даже дядя Мама, казалось, не испытывал никаких подозрений и верил в правдоподобие моего недуга.

Я все более утверждался в мысли, что Замбо — превосходный парень. Ему принадлежала не только ниспосланная небом идея моей болезни, но он к тому же сумел успешно отразить натиск всех доброжелательных друзей, а их здесь было в избытке, и каждый непременно считал своим долгом нанести визит больному. Лишь избранные, и, конечно, в первую очередь знаменитое трио в составе Иоганеса Гусиные Лапы, Бескостного и Сына Бога, приходили навещать меня. Замбо всегда устраивал так, чтобы во время этих посещений нам никто не помешал. Молодые люди располагались в большой комнате. Я выходил к ним, и мы вместе смеялись над нашей проделкой — ведь они знали, в чем дело. Частенько при этом мы распивали бутыль пальмового вина разлива фирмы «Иоганес Гусиные Лапы».

А праздник все продолжался, и участвовала в нем вся деревня. Каждый вечер Эдима приходила ко мне. Теперь мы не боролись. Случалось даже, что мы не предавались любовным утехам, а садились рядышком и, обнявшись, долго разговаривали. Она расспрашивала меня о городе, околдовавшем ее окончательно. Напрасно пытался я отговорить ее от мысли поехать туда.

Эдима рассказывала мне сказки и пела песни родной деревни. Однажды она спела песню, которой учил меня раньше Иоганес Гусиные Лапы. Но она пела ее в тысячу раз лучше, нанизывая куплеты один за другим. Эдима обладала исключительной памятью, и в один вечер я услышал около пятнадцати куплетов этой песни. В ее исполнении песня не была такой нелепо смешной, как она звучала у Иоганеса Гусиные Лапы, и в то же время не была слезливой — просто становилось грустно на душе. Эдима очень любила ее.

— Почему тебе так нравится эта песня?— спросил я девушку однажды.

— Наверно, потому, что и я когда-нибудь останусь сиротой,— отвечала она.— Все дети осиротеют не сегодня, так завтра.

Удивительное совпадение: Гусиные Лапы говорил мне почти то же самое. Тогда я сказал:

— Почему ты думаешь, что останешься сиротой? Может статься, ты умрешь раньше отца с матерью. Кто знает?

Она задумалась на мгновение, потом отрицательно покачала головой:

— Бывает, дети умирают раньше своих родителей. Но так не должно быть, обычно родители все-таки умирают раньше...

После некоторого раздумья она продолжала:

— Все же в мире много сирот, и я пою для них. А потом, всегда тоскуешь о ком-нибудь или о чем-нибудь.

— Что ты хочешь сказать?

Она засмеялась.

— Вот, к примеру, когда ты уедешь, разве я не останусь сиротой и не буду тосковать по тебе?

Ну и девчонка! Поразительное исключение среди других. Когда я думаю о том, что мог бы сделать человек, пусть даже и не обладающий особыми талантами, но достаточно здравомыслящий, чтобы заинтересоваться судьбами близких ему людей и хотя бы постараться их понять, разобраться в них, я вспоминаю об Эдиме. Какой могла бы она стать... А кем стала по вине людей и условий жизни! Я не могу не сожалеть о ее судьбе, и при мысли о ней сердце мое сжимается от печали.

Счастью нашему, конечно, не суждено было длиться вечно, ибо земной рай устроен так, что в один прекрасный день он исчезает, и люди вспоминают о нем, как о прекрасном сне.

Однажды вечером все было разрушено...

Эдима пришла ко мне, когда в доме ее отца веселье было в самом разгаре. Мы предавались страстным ласкам. Эдима стала совсем взрослой. Лежа рядом, мы разговаривали о самых обыденных вещах, не припомню уж о чем. Я готов был слушать Эдиму без конца: удивительный склад ее ума поражал меня, подобно тому как это случается с путешественником, попадающим в новую страну, где все изумляет его...

Со двора донесся шум. Мы услышали громкий голос возмущенной женщины и тихий голос Замбо, который, как мне показалось, сконфуженно старался успокоить женщину.

— Мать пришла,— испуганно сказала Эдима, приподнявшись на постели.

— Мать?— в замешательстве проговорил я.

Внезапно, словно разъяренная фурия, в комнату ворвалась мать Эдимы. Она будто знала, что ее дочь находится здесь, а не в других шести или семи комнатах. Замбо появился одновременно с ней — вероятно, для того, чтобы предупредить возможный разгром. Конечно, поза, в которой мы, Эдима и я, находились, не нуждалась в объяснении, мы даже не успели одеться. Поток грубой брани обрушился на нас:

— Господи, что это? Моя дочь, моя девочка, мой ребенок с мужчиной! Пожалей меня, боже! Какое несчастье! Девочка! Я ее родила совсем недавно! А этот городской, неужели он не мог найти себе девку постарше? Вставай, пропащая негодница, бессовестная дрянь! Такая испорченная девчонка позорит своих отца и мать!..— и так далее...

Она схватила Эдиму за руку и голую стащила с постели. Напрасно Замбо старался успокоить мамашу, он делал это больше для вида, как бы не веря в силу своих слов. Его поведение удивило и разозлило меня.

Мать принялась колотить Эдиму, не переставая осыпать ее ругательствами. Неужели она вытащит ее на улицу нагишом?

Женщина вопила на весь дом:

— Выходи, пусть все полюбуются на тебя, пусть узнают, какая ты шлюха!

— Мама,— умоляла Эдима, заливаясь слезами,— мама, прости меня! Прости меня, разреши мне хоть одеться!

Мать отпустила ее, не переставая кричать:

— Подумать только... каждый вечер она пропадала, эта шлюха!.. Я-то думала, она играет с подругами. Она все делала не так, как другие.— Теперь она непосредственно обращалась к свидетелям этой сцены: к Замбо и ко мне.— Она все делала не так, как другие дети. За ней надо было смотреть в оба, но что поделаешь, ведь у меня их пятеро. Не могу же я все время следить только за ней. Если бы кто-нибудь пришел и сказал: «Эдима с мужчиной!»— знаете, что бы я сделала с ним? Я бы его убила! Так нет же, мне довелось увидеть это собственными глазами! Боже мой!..

Я не пытался защищать Эдиму. Меня словно пригвоздили к кровати. Это не трусость. Я никогда не был трусом, бог тому свидетель, никогда не был им. Просто-напросто я был ошеломлен.

Не переставая браниться, женщина схватила дочь за руку и грубо выволокла ее из комнаты.

К счастью, в наших краях, как вы знаете, трудновато устроить скандал по такому поводу.

Когда мы остались одни, Замбо принялся хохотать, причем смеялся он искренне, от всей души.

— Черт возьми! Он еще смеется! Над чем? — возмущенно спросил я.

Долго смеялся Замбо и, только успокоившись, снизошел до объяснения:

— Так ты ничего не понял, братец?

Я смотрел на него, правда ничего не понимая.

— Здорово разыграна комедия?

— Комедия?

— Ну да, братец. Ты не знаешь женщин из Кала. Я объясню тебе. Здешние женщины продувные бестии, они на все пойдут ради хвастовства.

— При чем тут хвастовство, не понимаю.

— Женщина хотела просто-напросто объявить на всю деревню, что ты предпочел всем девушкам ее дочь. И все, что произошло,— очередное представление.

— Да ты спятил!

— Да, да, представление, поверь мне. Я родился и вырос здесь. Кому, как не мне, знать нравы нашей деревни. Не расстраивайся из-за Эдимы. Видел, как она била ее? Какие это пощечины! Больше треска, чем силы. И вот что я тебе скажу. Всю ночь мать будет голубить и утешать свою дочку за то, что побила ее, хотя побои были так, для вида.

Я приподнялся на кровати и с удивлением сказал:

— Ну и странный образ мышления у твоих земляков.

— Вот так-то, брат. Какие есть, такие и есть.

Помолчав, Замбо продолжал:

— Что тут странного? Каждая мать хочет выдать замуж свою дочь за человека уважаемого.

— А разве... она хочет, чтобы я женился на ее дочери?

— Да... пожалуй...

Я никогда не думал серьезно о женитьбе на Эдиме. Эта мысль по-

казалась мне необычной, странной и смешной, как если бы мне вдруг объявили: «Тебя назначили епископом», или «Ты получил звание генерала армии», или еще что-нибудь в этом роде, совершенно неожиданное. Жениться на Эдиме!..

— Меня женить на своей дочери? Интересно, как она думает обстряпать это дельце?

— Скоро узнаем. А пока наберись терпения.

Намерение жениться на девушке является не только подтверждением вашей любви к ней (в том случае, если вы по-настоящему любите ее). Все равно, как бы вы ни сопротивлялись, рано или поздно вам придется жениться. Поэтому и мысль о женитьбе может помочь вам познать собственный характер и призвание. Одни считают, что будущая жена, даже если она любима, будет обузой. Люди подобной категории — либо артисты, либо дельцы. Для других же, если жена не является необходимым условием их процветания, то составляет по крайней мере существенную часть комфорта. Это категория домоседов, которые в конце концов превращаются в обывателей — буржуа. Подумав о женитьбе на Эдиме, я понял, что принадлежу к первой категории. Разумеется, мое предположение еще было неясным, неопределенным, как бывает в незрелом возрасте. Всю ночь я провел в раздумье: «Жениться на Эдиме, жить все время с Эдимой? Хорошо, лучше не придумаешь!..» Но тотчас же я говорил себе: «Черт возьми, а что я буду делать с ней потом? Нельзя же все время предаваться любовным утехам. Бог мой, это хорошо время от времени. Только бы она изредка оставляла меня в покое. Что делать с женой, если она всегда будет рядом?»

В эту ночь я почти не спал, терзаемый мучительными сомнениями, женюсь ли я на Эдиме, в случае если мне предложат это сделать, или не женюсь. К утру у меня созрело убеждение, что я не только женюсь на ней, если меня заставят, но даже потребую ее руки, если мне забудут предложить ее. Я решил не заглядывать вперед. «Все уладится! Подумаешь, какое происшествие!»

Эдима!.. До чего все обманчиво, зыбко... Разумеется, не Эдима, а то, о чем я сейчас вспоминаю и рассказываю вам... Сама жизнь обманчива! Вот в чем дело. Удивительно, до чего же она обманчива, наша жизнь! Конечно, когда тебя затянуло в омут, когда ты погряз, словно в топком болоте, трудно, даже невозможно представить, до чего она, наша жизнь, обманчива. Но стоит чуть отойти в сторонку...

Эдима... Мой старший брат часто говорил с цинизмом молодого человека, слишком рано познавшего женщин: «Братец, к чему двум невинным существам соединять жизнь, любить друг друга? Ведь они будут робко, несмело учиться любви. Возможно, всю жизнь они так и не познают настоящей любви». Бывает и так... Нет, дорогой брат, Эдима и я познали любовь. А ведь она была так же невинна, как и я сам, теперь-то я могу поручиться в этом. Нам не пришлось долго блуждать, мы сразу, с первой встречи нашли друг друга. Я знаю, что тогда свершилось таинство, таинство двух тел, рожденных друг для друга, двух душ, созданных одна для другой. Нет, мы познали друг друга, мы познали любовь. Эдима, Эдима, горьковатый недозревший апельсин, твердый и неподатливый зеленый плод мангового дерева...

* * *

На следующее утро к нам пришли Иоганес Гусиные Лапы, Бескостный, Сын Бога. Вместе с Замбо они шутили и смеялись над моими злоключениями. Их замечания и шутки подтвердили то, что сказал Замбо: вся эта сцена была искусно разыграна матерью Эдимы.

Если молодежь подтрунивала надо мной, то старики остались равнодушными ко всей этой истории: они ни на йоту не изменили своего отношения ко мне, по-прежнему изъявляя мне знаки расположения и безграничного доброжелательства. А я-то думал, что они сурово осудят мое поведение. Напрасны были мои треволнения, если можно так выразиться. Отношение дяди ко мне также не изменилось. В это время, когда я еще не оправился от моих переживаний, неожиданно появилась жена Ниама, цель моей миссии, моя Елена, из-за которой мне пришлось вести троянскую войну в масштабе деревни Кала.

* * *

Мне часто приходилось слышать фразу: «Мужу всегда достается жена, равная ему по достоинствам». Несмотря на свое презрение к сомнительной мудрости народных пословиц, я чуть было не поверил в справедливость этого изречения, когда увидел жену Ниама. Впрочем, я утвердился в этом мнении гораздо позже, ибо трудно было представить себе, что человек, сопровождающий жену Ниама, не кто иной, как ее любовник, о чем все заговорили в Кала через несколько часов после их появления в деревне.

Ниам — рогоносец. Как это подходило к нему! Слух о том, что я ожидаю жену Ниама, давно дошел до нее, и все же это не помешало ей самым скандальным образом среди бела дня появиться в Кала с любовником.

Мать моя (позже я не преминул рассказать ей об этом случае) утверждала, что жена Ниама своим заранее обдуманным скандальным появлением хотела дать понять не только мне, но и всему племени, что если она, может быть, и не королева, то и не такое уж ничтожество, как о ней думают. Дескать, в любом случае недостатка в мужчинах она испытывать не будет. Вот что означало ее бесцеремонное появление в Кала, если верить моей матери.

Коль эта гипотеза была верной, к чему склоняюсь теперь и я, то прав ли Ниам, утверждавший: «Я — что земля, а она — сухой листок, оторвавшийся от большого дерева...»? Зная теперь все подробности, чем же другим можно было объяснить ее вызывающее поведение, как не жаждой мести, как не озлоблением на мужа за плохое обращение с ней и особенно желанием заставить его самого добиваться ее возвращения?

Я лично думаю, что жена Ниама была все-таки нахальной особой. Конечно, я не имел права требовать от нее верности, ибо она не была моей женой, но я мог ожидать от нее большей скромности.

После полудня, часа в два, явился Замбо и сообщил, что человек, с кем пришла жена Ниама,— ее любовник, это с ним она жила все то время, пока я ожидал ее в Кала. «Что за дурацкую обязанность я взял на себя»,— подумал я, взбешенный словами Замбо.

— К тому же,— продолжал Замбо презрительно,— она прекрасно знала, что ты ждешь ее. Она давно знала это — несколько дней. Она просто хотела поиздеваться над тобой.

— И ты знал?— спросил я его.

— Что? То, что она уезжала к мужчине? Конечно, я знал. Уж эти мне девки! Я догадывался, что она развлекается с кем-нибудь, но никак не думал, что именно с этим типом.

— Разве она могла быть с другим?

— С тремя, не меньше...

— Да ты что?!

— Все девки в ее возрасте заводят двух, а то и трех любовников, не считая мужа. Конечно, бывают и исключения.

— Вот как!

Злость охватила меня.

— Так...— прошипел я.— Ну, теперь мне все ясно.

— Что ясно?

— Завтра или послезавтра я уезжаю. Во всяком случае, никак не позже.

— Конечно, ты уедешь, но, я так думаю, с женщиной, за которой ты приехал сюда. Сначала будет длинный разговор у правителя, так уж полагается в подобных случаях. Отец отправился к нему с жалобой от твоего имени.

— От моего имени?

— Да, от твоего имени. И не бесись, пожалуйста, пусть все идет как положено.

— Но я не хочу брать ее с собой, такую бессовестную бабу. Мне даже противно смотреть на нее.

Замбо прыснул со смеху, но тут же сдержал себя.

— Может быть, она и бессовестная,— сказал он,— как ты говоришь. Но мужу нужна хозяйка, чтобы вести дом, готовить ему еду и работать в поле, вот ведь в чем дело! Тебя послали сюда не для того, чтобы ты убедился, что она бессовестная баба, а для того, чтобы вернуть ее в дом. Вот и все.

Все-таки в рассуждениях Замбо было много здравого смысла, куда больше, чем у меня. Он смотрел на жизнь глазами наших предков, не питая иллюзий и напрасных надежд. С первых дней своего сознательного существования он был убежден, что ничего, кроме измен и всяческих подвохов, ждать от жизни не приходится. Я думал: «Книги с подобными взглядами на жизнь обычно пишут холостяки». Замбо и его товарищи постигали сущность жизни не тогда, когда на висках уже появляется седина. С первых дней своего появления на свет и до самой смерти они были окружены самой что ни на есть реальной действительностью. Невозмутимое спокойствие перед грядущими превратностями судьбы — вот самая большая потеря, то, чего мы, городские жители, лишились, покинув наши деревни, наши племена, наших родичей. Мы утратили вековую мудрость, мы превратились в раздражительных, тщеславных, взбалмошных, вздорных людей, мы полны иллюзий, а жизнь за это постоянно обманывает нас.

Вечером за столом дядя Мама сказал мне:

— Сейчас мы с тобой пойдем к правителю.

— Это зачем? — вызывающе спросил я.

До сих пор я был слишком пассивным, предоставив событиям и людям распоряжаться мной. Теперь же, когда у меня раскрылись глаза на истинное положение вещей, я решил изменить свой характер, но не знал, с чего следует начать. Пока я занял агрессивную позицию. Дядя Мама не торопился с ответом. Наконец он соизволил сказать:

— Твоя жена приехала.

— Разве она моя жена? — запротестовал я.

— Да, твоя жена,— повторил дядя Мама с видом учителя, которому предстоит объяснять трудную задачу ленивому и неспособному ученику.— Сейчас жена Ниама — твоя жена. Ты представляешь здесь не только Ниама, но и все племя. Ты должен вести себя как ее господин.

Последовала долгая пауза, дядя выпил стакан воды, потом продолжал:

— Разумеется, ты не знаешь, как следует вести себя в таком деле?

— Не знаю.

— Так вот, послушай, племянничек, эта женщина явилась сюда в сопровождении мужчины — поступок довольно неприличный: ведь она пока еще супруга Ниама и не разведена с ним. И на ней висит долг за брачный выкуп, внесенный Ниамом. Вина падает и на мужчину, который, пусть и несколько дней, но был ее мужем. Он должен возместить тебе убытки.

Я спрашивал себя, какую выгоду надеется получить дядя Мама, затевая новую аферу. После долгого молчания он, не поднимая глаз, спросил:

— Понял?

— Не совсем. Например, что за убытки должен возместить мне этот мужчина? Этого человека я не знаю и не имею ни малейшего желания знакомиться с ним.

— Неважно, что ты не знаешь его. Главное в том, что он хорошо познакомился с твоей женой. И за это он должен заплатить тебе натурой или деньгами, как пожелает. Размер компенсации после обсуждения дела назначит правитель.

— Мне кажется,— отважился я сказать,— мне кажется, что если он заплатит деньгами, то я передам их Ниаму. В конце концов она его жена.

— Ну, это твое дело. Можешь отдать деньги Ниаму. Но по обычаю ты вправе оставить их себе как вознаграждение за миссию, которую ты выполнял, приехав сюда за этой женщиной, и за причиненное тебе беспокойство.

Правда, я не заметил, чтобы миссия причинила мне какое-нибудь беспокойство, но предпочел промолчать.

— Итак, мы сейчас же отправляемся к правителю,— безапелляционным тоном закончил дядя Мама,— а раз ты не знаешь наших обычаев, то предоставь говорить мне, а сам слушай и учись.

«О'кей!» — подумал я.

* * *

Замбо тоже пошел с нами к правителю.

Праздник уже окончился, оставив после себя щемящее чувство тоски и сожаления: такое чувство рождает уходящий великолепный солнечный день или опустевшее поле после жатвы. Родственники новой жены правителя вернулись к себе в деревню, однако в доме к нашему приходу было полным-полно гостей: там были все пожилые люди деревни, целая толпа девушек. Я не удивился присутствию стариков, поскольку здесь собирались решать по обычаям племени дело жены Ниама. Что касается девушек, то я терялся в догадках, стараясь объяснить причину их присутствия и праздничное настроение, в котором они пребывали, словно им предстояло вновь праздновать свадьбу и вновь вручать невесту ее суженому.

Поначалу судебная церемония протекала очень гладко, что озадачило и даже разочаровало меня. Поистине, правитель творил суд с оперативностью, мною до сих пор не виданной. Послали за двумя обвиняемыми, и они, не заставив себя ждать, предстали перед собранием. Войдя в комнату, жена Ниама подошла ко мне и поздоровалась. Я приветствовал ее довольно холодно, ибо презирал эту женщину до глубины души. Но презрение мое достигло предела, когда я увидел любовника. Это был невзрачный, испуганный и глуповатый деревенский парень, настолько некрасивый, что, появись он в нашей деревне, жена

Ниама и ее похождения стали бы надолго темой для разговоров. Я подумал, что если кто из любовников и бегал за другим, добиваясь близости, то только жена Ниама, ибо, глядя на ее возлюбленного, трудно было представить, что он мог осмелиться соблазнить эту женщину, в достаточной мере красивую и даже в какой-то степени обаятельную.

Немного спустя после их прихода правитель изъявил желание говорить. В зале послышалось «Тс!..» Установилась тишина. Вначале правитель очень коротко изложил суть дела. Его речь была не лишена некоторого красноречия и даже здравого смысла. Видно, он приобрел известную сноровку и творил суд с решительностью и быстротой опытного судейского. Обвинение включало два пункта: во-первых, ссора жены Ниама с ее мужем, во-вторых, случай очевидного прелюбодеяния.

— К ссоре жены Ниама с мужем,— сказал правитель,— мы еще вернемся. В настоящий момент эта женщина остается женой Ниама перед лицом закона, так как они не разведены и брачный выкуп, уплаченный Ниамом, интересы которого представляет здесь Жан-Мари Медза, не был возвращен...

Правитель сделал в этом месте длинную паузу, потом, повернувшись к сидевшим около него в ожидании приказаний двум дочерям, отдал какие-то распоряжения по дому. Затем он продолжал:

— Начнем разбор дела с бесспорного случая прелюбодеяния. В этом вопросе не возникает трудностей, и виновный должен заплатить потерпевшей стороне, а именно мужу, представленному здесь Жаном-Мари Медза, установленную в таких случаях законом сумму. Сумма устанавливается, как известно, в размере двух тысяч франков. Уплата должна быть произведена завтра. Как у нас принято, виновный, в случае отсутствия у него двух тысяч франков, может взамен дать четырех больших баранов или двух овец. Все! Братья, справедливо ли мое решение?

Среди присутствующих пронесся единодушный гул одобрения. Обвиняемый совсем поник в своем кресле, сохраняя все то же тупое выражение лица. Бедняга! Две тысячи франков, или четыре отменных барана, или две овцы — разве это пустяки?.. Мне стало жаль его, в моих глазах он был жертвой — впрочем, так оно и было на самом деле. Жена Ниама явилась причиной столь страшного бедствия, свалившегося на невинную голову несчастного.

Правитель опять прервал свою речь, чтобы отдать какие-то приказания своим дочерям, сидевшим или, вернее, присевшим около него на корточках. Казалось, готовился небольшой заговор. Может быть, правитель велел им принести обещанные, но не преподнесенные мне до сих пор подарки?

Правитель продолжал:

— Теперь приступим к главному. Раньше нашим предкам не снились те обычаи, которые у нас теперь в ходу. Наши предки не разрешали женам бросать своих мужей. Но сюда пришли белые, и они сказали, что жена может уйти от мужа, если вернет внесенный за нее брачный выкуп. Я, например, нахожу, что такой закон не годится для нас, потому что он сделал наших жен плохими и строптивыми. Но что делать? Закон есть закон, и я должен, как правитель, неукоснительно следовать ему. Жена Ниама, ты намерена покинуть своего мужа, или, как теперь говорят, развестись с ним? Отвечай нам громко, и пусть все услышат тебя и скажут: «Вот чего она хочет».

Я уже говорил, что жена Ниама была наглая женщина. Она закатила длинную речь, изложив перед слушателями всю предысторию и ход развития своей ссоры с мужем. К чему понадобилось рассказывать всю подноготную, если она так или иначе в заключение своей речи сказала,

что готова вернуться к мужу? Правитель, пропустив мимо ушей все ее ухищрения, сделал свои выводы и сказал, обращаясь ко мне:

— Мсьѐ Жан-Мари Медза, вот эта женщина, за которой ты приехал. Можешь увезти ее, когда пожелаешь.

Затем правитель пригласил нас, дядю Мама, Замбо и меня, на обед. Дядя Мама сказал, что мы уже обедали, правитель ответил, что мы бы могли по крайней мере составить ему компанию. Мы перешли в такую же обширную, как и зал, столовую. Стол был накрыт. Прежде чем сесть за стол, правитель велел передать оставшимся в зале, чтобы никто не уходил, так как скоро начнется празднество.

За столом правитель не церемонился, он ел с жадностью, не стесняясь молодой жены, сидевшей с ним рядом. Мы ни к чему не притронулись.

Потом все снова вернулись в большой зал. Вот тогда-то и началось представление, комичнее которого мне никогда не довелось видеть, причем я играл в нем главную роль. Пьеса состояла из одного акта и трех сцен, и действие ее протекало в строгой последовательности.

* * *

Правитель приказал девушкам танцевать — это было начало. Девушки стали в круг посредине огромного зала и начали танец, легкий и грациозный. Они пели, хлопая в ладоши, и одна за другой выходили в центр круга, где каждая минуту-другую трясла бедрами и изгибалась, исполняя сольный номер, а затем уступала место другой танцовщице. Что ж, зрелище было неутомительным для глаз, по нашему с Замбо мнению.

Народ все прибывал. Пришедшие несли музыкальные инструменты — барабаны и тамтамы,— тащили бутылки из прозрачного и светлого стекла с пальмовым и красным вином. Видно было, как оно плещется в них о стенки. Гости, большей частью старики, начали пить. Мы — дядя Мама, Замбо и я — тоже выпили. Теперь в зале царило оживление. Правитель был в прекрасном настроении. Он так и светился радостью. Я приписал это присутствию его новой жены. Не видя Эдимы, я начал сомневаться в предсказаниях Замбо. Если ее нет даже на этом вечере — значит, за ней строго следят теперь, после посещения моей комнаты.

Правитель пришел в раж, он кинулся танцевать вместе с девушками. Тамтамы и барабаны отбивали те же ритмы, что и в день прибытия в Кала делегации от племени невесты правителя. Я украдкой посмотрел на дядю Мама: он сидел, улыбаясь, казалось, в прекраснейшем расположении духа. Замбо, как всегда, наблюдал празднество с равнодушным видом, хотя танцы, видимо, доставляли ему удовольствие.

Все гости вокруг нас о чем-то оживленно переговаривались, но я никак не мог понять, о чем, мне казалось, что в каждой группе обсуждались свои вопросы.

Вдруг так же, как в тот вечер, когда принимали родню будущей жены правителя, во дворе раздался оглушительный рев, словно десятки паровозов одновременно загудели, посылая к небу общий тоскливый вопль. Я вздрогнул, ничего не понимая: молодая жена правителя находилась в зале вместе с нами — следовательно, не была причастна к этому шуму. Замбо тоже пребывал в неведении, иначе он ущипнул бы меня предупреждающе. Я взглянул на него и убедился, что он, как и я, находился в замешательстве.

И опять, как тогда, по лестнице медленно поднималась толпа женщин. Я затаил дыхание, ожидая дальнейших событий. Наконец женщины

появились на пороге, вот они уже вошли в комнату. В середине толпы шла девочка. На лице ее было написано и изумление, и стыд, и страх. Девочка была примерно одного возраста с Эдимой... Боже мой, да ведь это же Эдима!.. Я не мог ошибиться. Эта девочка — Эдима, моя маленькая Эдима. Она стояла, опустив глаза, а вокруг нее женщины тянули свое назойливое: «Ую-ую!» Зачарованный происходящим, я смотрел на нее, не отрывая взгляда, только на нее. Я даже привстал со стула.

В тот миг, показавшийся мне вечностью, я ни о чем не думал, только смотрел, воспринимая все, как простейшее существо, как тропический цветок под лучами солнца. Когда я пришел в себя, то увидел, что правитель берет Эдиму за руку, подходит, ведя ее, ко мне и соединяет наши руки. Потом он произносит длинную речь, содержание которой теперь я не помню, но могу сказать, что речь как две капли воды походила на ту, что была произнесена несколькими днями раньше представителем от племени невесты правителя.

По окончании речи он усадил нас рядом, Эдиму и меня. Насколько я помню, Эдима сидела потупившись, я же гордо, не опуская взгляда. хотя, конечно, ничего не видел вокруг. Никогда не забуду жеста, который сделал при столь трагических обстоятельствах Замбо, он взял меня за локоть, как бы стараясь поддержать и заверить, что не покинет друга в любой беде. Мне кажется, что даже после многих лет я так и не смог отблагодарить своего дорогого брата. Я часто задавал себе вопрос, что связывает нас такими нерасторжимыми узами? Возможно, ответ не надо было искать долго, так как дружба наша началась с этого момента. Он наклонился и сказал мне на ухо:

— Теперь ты видишь, братец, я был прав, когда говорил, что они навяжут тебе свою девчонку. Но никак не думал, что все произойдет таким образом.

Он налил мне стакан красного вина, который я выпил залпом. С трудом понимал я происходящее, но должен признаться: чем больше я постигал свершившийся факт, тем более был счастлив, несмотря на смятение, царившее в моей душе...

* * *

Правитель уже исполнял танец, не поддающийся описанию, в том же дьявольском ритме, что и несколько дней назад. Тамтамы гремели. Время от времени правитель прерывал танец и начинал перечислять подарки, предназначаемые зятю. С каждым разом их становилось все больше и больше.

Дикий танец сменился интермедиями, во время которых девушки пели песню на тот же мотив, что и раньше — в честь правителя. На этот раз в песне тонкими намеками весьма лестного характера говорилось о качествах, свойственных якобы мне, хотя имя мое не упоминалось. В песне перечисляли качества, которые приписывались только мне. Обладай я ими — мог бы быть, наверно, самым счастливым человеком. Меня удивила легкость, с какой певицы импровизировали. Собравшиеся смотрели на меня с нескрываемым восхищением и не без зависти, словно мне удалось совершить удачную сделку.

Насколько я помню, в тот незабываемый вечер держал речь и дядя Мама. Она носила восторженный характер. Удивительно, что я не запомнил ее содержание. Но поставьте себя на мое место! Еще я помню, что дядя Мама захмелел. Замбо утверждал, что, с тех пор как он помнит себя, с его отцом такое случалось три раза.

Празднество продолжалось до зари, и только тогда я получил разрешение отправиться спать. Правитель сказал мне:

— Иди, сын мой, поспи. На следующую ночь приходи за своей женой, отныне она будет спать рядом с тобой и никто не побеспокоит вас. Ха-ха-ха! Ха-ха!

Было приятно, конечно, услышать такие слова, но смех его покоробил меня.

Дядя Мама, со своей стороны, успокаивающе прошептал мне на ухо:

— Не беспокойся ни о чем, сын мой. Я возьму на себя все хлопоты.

Дядя Мама действительно начал хлопотать. Тотчас же после моего ухода любовнику жены Ниама было предъявлено требование о немедленной уплате денег, согласно вынесенному приговору. Хотя его деревня находилась далеко от Кала, но его знали, и поэтому ему удалось выпросить взаймы двух овец. Он тут же вручил их, предпочитая возместить штраф натурой, а не деньгами. Две овцы были приобщены к стаду баранов, толпившемуся в загоне дяди Мама. Вот как умело хлопотал дядя Мама.

Едва держась на ногах от усталости, вошел я в свою комнату.

— Ну что мне теперь делать? — спросил я у Замбо.

— Как что?

— Да вот так, что ты посоветуешь мне делать в этих обстоятельствах?

— Ну, ну, дорогой братец, тебе ничего не остается делать. Все уже сделано. Непонятно, что еще можно предпринять?

— Не понимаешь меня? Что я буду делать с этой девочкой?

— С Эдимой? А что делать с ней? Твоя жена, вот и все.

Я рассердился на него. Почему для меня не все так просто, как для Замбо?

— Братец,— сказал Замбо,— что с тобой? Ты такой грустный, такой задумчивый...

— Ты знаешь моего отца?

— Да, видел его несколько раз.

— Я не об этом спрашиваю. А известно тебе, что он за человек?

— Нет, не совсем.

— Он меня изобьет.

— За что? За то, что ты женился? Можно ведь просто сказать, что ты тут ни при чем.

— Так он меня не только изобьет, он сживет меня со свету. И все из-за моего старшего брата...

— Что?

— Я говорю, все это из-за моего старшего брата. Отец безумно честолюбив, а брат — лентяй, и у отца с ним ничего не вышло. Поэтому он мучает меня.

Эти печальные размышления были прерваны, ибо я заснул.

* * *

Когда я проснулся, было далеко за полдень. Из большой комнаты доносились громкие голоса. Прикрыв бедра̀ повязкой, я присоединился к компании Замбо, Иоганеса Гусиные Лапы, Бескостного, Сына Бога и других молодых людей.

— Смотри-ка,— сказал Гусиные Лапы,— он проснулся. А мы уже думали, что ты отдал богу душу прямо сразу, на другой день после свадьбы.

Я еще не совсем опомнился от сна.

— Хотелось бы мне посмотреть вчера, как тебя оженили,— вступил в разговор Сын Бога.— Каков правитель, а? Вот старый хрыч! Готов по-

спорить, что, с тех пор как Жан-Мари приехал в Кала, он только об одном и думал — как бы навязать ему свою дочку! Но тебе еще повезло: она все-таки хорошенькая. Эдима — лучшая из выводка. Я что-то не понимаю, какую выгоду он думает извлечь из этого дела?

— Что ты!— сказал Замбо.— Теперь он считает, что у него в городе — свой человек, который поможет ему во всяких грязных делишках. И не кто-нибудь, а человек образованный! Вот увидите, правитель не будет сидеть дома: сегодня у дочери, завтра у зятя, старик любит таскаться по гостям. Есть еще дураки, которые считают, будто он щедр, на самом же деле он щедр только с теми, кто может ему пригодиться. Вот, к примеру, мой отец, до приезда брата правитель даже не знал, что в Кала живет человек по имени Мама. Но едва появился мой брат, правитель обхаживает отца со всех сторон! Сукин сын!

— А мы?— вмешался Гусиные Лапы.— Разве он когда-нибудь пригласил бы нас к себе? Ведь он считает нас нечестивцами.

— По правде говоря, мы тоже не возлюбили его в сердце своем,— сказал Бескостный, когда-то он обучал катехизису маленьких детей и, видимо, усвоил такое понятие, как любовь к ближнему.

— Но ведь есть и другие,— запротестовал Сын Бога,— кто тоже не очень-то возлюбил его в сердце своем, он их все-таки приглашает.

— Как бы там ни было,— заключил Гусиные Лапы,— если он меня пригласит, я к нему не пойду. Мне в тысячу раз лучше дома, особенно если перед тобой пальмовое вино, иньям и задняя нога антилопы, чем в гостях у всех правителей мира.

— Братья!— подал реплику милосердный Сын Бога.— Правитель — человек слабый... слабый и тщеславный...

— Ну и черт с ним! — заключил Гусиные Лапы, делая условный знак Сыну Бога.

Тот извлек из-под плетеного кресла большую пузатую бутыль, полную пальмового вина.

— В честь твоей женитьбы,— торжественно, без всякой иронии сказал Сын Бога.

Первый стакан мы выпили молча. Потом Гусиные Лапы обратился ко мне:

— Ты еще побудешь несколько дней в Кала?

— Не знаю. Откуда мне знать?

— Постарайся узнать, старина. Если ты пробудешь здесь несколько дней, мы как следует отметим твою женитьбу. Чтобы ты подольше помнил о нас.

Помолчав, он продолжал:

— Кажется, ты не знаешь, как тебе быть с женой. Что ж, старина, значит, ты еще не понял, какое счастье привалило тебе. Как ты думаешь, во что обходится жена в наше время? Для этого нужно иметь целое состояние. Вот я, например, давно пытаюсь жениться... И знаешь, что мне предстоит теперь? Как ни крутись, а придется жениться на старушенции, похожей на выжатый апельсин, вдове или распутной девке. Только тогда я смогу дешево отделаться. И все же это куда лучше, чем быть холостяком. Тебе повезло — отдали жену даром, сами навязались. А какая жена тебе досталась, старина, прямо загляденье! Совсем молоденькая, почти девочка, так и брызжет молодостью, здоровьем. Она выглядит точь-в-точь как пара новых туфель в греческой лавочке случайных вещей, если, конечно, в этих паршивых лавчонках можно найти новые туфли. Какое счастье тебе привалило, старина! А что до отца, подумаешь, беда, ну излупит раз или будет досаждать тебе! В сущности, наплевать на него: у тебя есть небольшое состояние. Смотри не дай себя ограбить.

Помолчав, он добавил:

— Ты все-таки узнай, пробудешь ли ты здесь эти несколько дней. Нам хочется устроить пирушку, да так, чтобы ты надолго запомнил нас.

* * *

К сожалению, пирушка не состоялась, в тот же день вечером я сказал дяде Мама, что хочу вернуться домой. Мысль о возвращении захватила меня; так бывает с пьяницей после перепоя, когда он, испытывая отвращение к спиртному, вдруг снова начинает пить.

— Ну что ж, племянник, хочешь вернуться домой к отцу? Мы тебе не помеха. Когда ты собираешься уезжать?

— Послезавтра,— ответил я.

— Очень хорошо, отправишься послезавтра.

Мы быстро привели в порядок наши дела, а именно: поделили наше стадо. Дядя оставлял на свою долю и на долю Замбо половину баранов и овечек. На мою долю пришлась другая половина. Дядя долго подсчитывал, сколько в стаде баранов и сколько овечек. Меня это мало интересовало. Затем мы перешли к главному: было решено, что недели через две после моего отъезда делегация из Кала явится вручать мне мою жену. Дядя Мама, разумеется, тоже приедет. Он воспользуется этим случаем и поручит доставку моего стада, кур и жены Ниама свадебным посланцам.

— Надеюсь, Замбо тоже приедет?

— Бери его с собой, если хочешь,— не раздумывая, ответил дядя,— может быть, там из него выйдет человек.

— В самом деле? Я могу взять его с собой?— ошеломленно спросил я.

— Да, да, племянничек, бери его с собой, если хочешь.

Про себя я подумал: «А Замбо, пожалуй, не захочет уехать из Кала».

Я пошел к нему поговорить об этом важном деле. Вопреки моим ожиданиям, это известие привело его в восторг. Мы радовались, словно школьники, которым объявили, что каникулы продлены и завтра не надо идти в школу. Я сам не мог объяснить, почему мне так хотелось, чтобы Замбо поехал со мной. Может быть, из чувства благодарности за доброе отношение ко мне, пока я гостил в их доме? А может быть, причиной этому были только эгоистические побуждения: после всех моих приключений я боялся встречи с отцом, а присутствие Замбо ободряло меня. Как бы то ни было, я был счастлив. Но вдруг вырос передо мной, как из-под земли, дядя Мама и сказал:

— Послушай, племянник, я не против, чтобы Замбо ехал с тобой, но я не могу отпустить его сейчас, пусть потрудится несколько дней на плантации какао. А когда поедут свадебные гости, я его отпущу с ними и тоже приеду. Ты знаешь, он сам виноват. Если бы работал как следует, не хитрил, не лентяйничал, работа давно была бы сделана и он мог ехать куда ему вздумается. Говорил же я тебе, что этот парень — лентяй, каких свет не видывал. Таких лодырей поискать еще надо!..

Наша радость померкла — так гаснет блеск сабельного клинка, спрятанного в ножны до следующей схватки. Еще не все потеряно, схватка просто отложена на время.

* * *

Вечером правитель прислал за мной. Мы пошли вместе с Замбо. Правитель пригласил нас отобедать. Он спросил, получил ли я подарки. Я ответил утвердительно и добавил, что постараюсь отблагодарить его.

— Не надо,— сказал правитель.— Сыновья никогда не благодарят своих отцов. Со вчерашнего дня ты мой сын. Ты мой сын, с тех пор как стал мужем моей дочери. Поверь мне, я ведь с самого начала заметил, что ты полюбил мою дочь и что она тоже любит тебя. Тогда я сказал себе: «Великолепная идея — поженить этих детей, они так обожают друг друга». Детки мои, желаю, чтобы вы всегда так же, как сейчас, любили друг друга. Смотреть на вас — одно удовольствие.— (Эдима сидела рядом со мной).— Я буду часто навещать вас. Уверен, отец твой обрадуется, узнав о твоей женитьбе, он будет рад еще больше, когда узнает, что Эдима — моя дочь.

Мы вернулись домой с Эдимой.

Она легла рядом со мной и тотчас же уснула. Она казалась мне ни веселой, ни грустной, скорее, была немного удивленной, очень робкой и застенчивой. Раньше она не производила такого впечатления. Я не раз задавал себе вопрос, стараясь понять причину столь неожиданной перемены в ней.

Она уснула, и я долго смотрел на нее. Не было слышно даже ее дыхания, она спала тихо, словно котенок, положив правую руку под голову. Эдима, жена моя!.. Я смотрел растерянно и смущенно, не в силах разобраться в тех чувствах, которые обуревали меня. Впрочем, и позднее я так и не разобрался в них. Оставшись наедине со своими мыслями, я увидел вдруг беспокойного мальчика, слишком быстро ставшего взрослым, родители уже не в силах совладать с ним, они уже не могут помешать ему бегать быстрее, чем они, и не могут поймать его. В самом деле, он стал таким сильным, и, как бы ни были крепки руки, держащие его, он разрывает их кольцо, чтобы освободиться...

Я должен был что-то предпринять... Но у меня не хватило решимости. А ведь это было так просто: сказать правителю, что он совершает ошибку, что я не хочу, не могу жениться на его дочери. Что удержало меня тогда? Я был слишком ошарашен случившимся. Сразу же опомнившись от замешательства, я должен был взять себя в руки и поговорить с этим дураком правителем. Но я не сделал этого. И самым худшим во всей этой истории было то, что я мог изменить положение вещей, но я не захотел этого. Нет, не потому, что покорился своей участи, а просто потому, что ход событий совпадал с моими желаниями. Да, с моими желаниями. Я знаю, вы мне возразите и скажете, что я все еще нахожусь во власти иллюзий. Но мне действительно кажется, что тогда у меня и в мыслях не было отказываться от Эдимы. И теперь мне кажется, я не сделал бы этого, но, к сожалению, говорить об этом слишком поздно. Вы скажете мне еще, что я не хотел причинить боль маленькой Эдиме, но этот вопрос не подлежит обсуждению. Не знаю, приходилось ли вам испытывать страх перед вашим отцом? Представьте себе беззащитного юношу, для которого его отец был и есть (по крайней мере, я придерживался такого мнения, хотя со времени приезда в Кала верил в это все меньше и меньше) верховным грозным божеством. Что значит горе, которое я причиню совсем еще маленькой девочке, по сравнению со страхом перед разгневанным Зевсом Громовержцем?

Но в тот момент, когда я лежал рядом с Эдимой, все отошло на задний план, даже гнев отца. Сам правитель показался мне симпатичным только потому, что он был отцом Эдимы (пусть это останется между нами). Словом, я любил Эдиму. Да, да! Вам, наверно, это покажется чудачеством, но я не мог не полюбить эту девочку, и потому я больше не замечал, старался не видеть координат, неумолимо и неизбежно определяющих мое положение в реальной жизни. Не любовь ли это? Разве с вами не случается так, что понятия возможного и невозможного становятся

для вас мифом, переносятся в сказочный мир, где властвует злая фея Карабас, разве это не доказывает, что вы любите? Не так ли? Разве в этом случае вас будет беспокоить вопрос, что подумает ваш отец? Или предусмотрена ли эта любовь вашими планами на будущее, вашим характером или еще чем-нибудь в таком же духе?!

Рядом спала Эдима, подложив руку под голову, лицо ее было невинно и безмятежно, ее дыхание, тихое, словно у котенка, едва было слышно. Во всем ее облике было что-то нереальное. Она казалась мне незримой мечтой, которую никому не дано увидеть. Я думал: «Как все это странно!»

* * *

Вечером, накануне моего отъезда из Кала, мы с дядей Мама пошли по деревне. Я должен был проститься с ее жителями, главным образом с главами семейств, принимавших меня в своих домах. Меня щедро снабжали советами и благословениями. Все говорили почти одно и то же, в одинаковых выражениях, с одинаковыми оборотами речи. Один и тот же склад ума, одна и та же мудрость сквозила в их напутствиях, что было утомительно и скучно...

Закончили мы наш обход визитом к правителю, который сказал, что приедет к нам, чтобы встретиться с моим отцом.

* * *

Утром, в день моего отъезда, состоялось поистине трогательное прощание. Все женщины и девушки Кала, до того как уйти на работу в поле, изъявили желание попрощаться со мной за руку.

Само собой разумеется, что дети не захотели отстать от старших.

— Ты скоро вернешься к нам? — беспрестанно спрашивали у меня.

— Не знаю... Не знаю... Я постараюсь вернуться, но не знаю, когда это будет.

— Ты будешь ласков с нашей маленькой Эдимой, да?

— Да, разумеется, я буду ласков с ней...

— Будь добр к ней, совсем молоденькая ведь, ребенок...

— Да, да, я буду добр...

— Говорят, что вы, горожане, бросаете своих жен. Ты ведь не оставишь Эдиму?

— Конечно нет. Уверяю вас, не оставлю ее...

А протянутым ко мне рукам, казалось, не будет конца.

После церемонии рукопожатия я попрощался с дядей Мама, с его женой и с подружкой Замбо — эти две особы были настолько безликими, что, живя в доме, я забывал об их существовании.

Накануне мой велосипед был заботливо проверен Замбо, понимавшим толк в таких вещах.

Молодые друзья из Кала проводили меня до самого шоссе. Среди них были Замбо, Иоганес Гусиные Лапы, Бескостный, Сын Бога, Эндонголо и другие, имена которых я забыл. Само собой разумеется, Эдима тоже шла с нами.

Все парни говорили одно и то же.

— Старина, может быть, я приеду когда-нибудь к тебе в город. Я свалюсь тебе на голову без приглашения, словно шимпанзе в лесу. Могу я рассчитывать, что ты меня признаешь?

— Разумеется, признаю, старина. Как же не признать тебя?

Я держал Эдиму за руку, она не промолвила ни слова. Она знала, что дней через десять мы увидимся. Замбо вел велосипед и тоже молчал.

Мы вышли на пыльную красноватую дорогу, надо было расставаться, Иоганес Гусиные Лапы сказал:

— Жаль все-таки, что не погуляли на прощание. Ну ничего, устроим в следующий раз. Нас-то ты, наверно, забудешь быстро, но мы долго будем помнить о тебе. Если правитель захочет тебя втянуть в свои темные махинации, такие, что могут навредить человеку, кем бы он ни был, откажись от них — это будет означать, что ты не забыл о нас...

Я попрощался со всеми за руку, поцеловал в лоб Эдиму и оседлал свой велосипед. Прежде чем они скрылись за поворотом, я обернулся в последний раз и помахал им рукой. Они неподвижно стояли на дороге. Если на моих глазах не выступили слезы, то только потому, что уже вчера вечером я мысленно покинул своих друзей.

Я был уже дома, у отца, а его общество всегда угнетало меня.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

в которой читатель не без некоторого облегчения узнает, наконец, о развязке этой истории, развязке, которая, несмотря на все происшедшее, уже давно ясна всем.

Позволю себе несколько наставлений, с тем чтобы избежать кривотолков и недоразумений. Если читатель добропорядочный отец семейства, то, вместо того чтобы возмущаться некоторыми высказываниями, спорность которых я не отрицаю, пусть лучше примет во внимание вымышленный характер этих событий и припомнит, что автор еще раньше снял с себя ответственность за них.

Если он демократ из либералов, пусть его не беспокоит выражение «Свободу нам!»— крик тоски, даже отчаяния, исторгнувшийся из груди героя, который хотел скрыть им все тяготы своего изгнания

Я еще катил по красному шоссе, а мысль о встрече с отцом уже точила меня. Дома ли он? В душе я надеялся, что он еще не успел вернуться, но в то же время я хорошо знал его привычки, и что-то подсказывало мне, что он дома и рассчитывать на его отсутствие не стоит. Если поначалу мысль о встрече с ним у меня вызывала лишь страх, то теперь на смену ему приходило радостное чувство близкого избавления. Я не мог объяснить этого чувства: так молодого тореадора, в первый раз выходящего на арену померяться силами с буйным быком, поддерживают аплодисменты его aficionados *.

Мой отец... Как только он узнает обо всем, что произошло в Кала, он, несомненно, впадет в ярость и станет, возможно, даже изрыгать дым и пламя, подобно гнусному дракону (каким он и был на самом деле). Я не сомневался в этом и поэтому заранее усмирял себя. Признаться во всем, пасть к его ногам, попросить прощения... При одной мысли об этом у меня во рту появлялось такое ощущение горечи, будто меня рвало желчью... Нет, это был еще не бунт, только первый вестник его. Просто я еще не разобрался в своих чувствах и только брыкался, как жеребенок, которому прискучили жесткие удила.

Мой отец... Двадцать лет непрекращающегося страха... В любое время он вдруг появлялся передо мной, и всегда там, где я меньше всего ожидал. Первым делом он справлялся о моем поведении. Что делаю? Где бываю? Хорошо ли занимаюсь в школе? Довольны ли учителя? Выдержу ли экзамен? Ну совсем как шпик... Он был хуже шпика, он был домашний диктатор, тиран семьи. Не было ни минуты покоя, ни одного безопасного места, где бы я мог укрыться. Бесконечные упреки, припадки гнева и... страх...

---

* Поклонники, болельщики *(исп.)*.

Меня отдали в школу совсем еще малышом. Мать пыталась возражать и получила за это от отца хорошую трепку. Бедняжка не стала спорить и протестовать. После этого все действия супруга встречали лишь молчаливую оппозицию матери.

За все время моего учения отец желал, чтобы я переходил из класса в класс и ни разу не остался на второй год, чтобы я не знал ни минуты покоя. Он без конца надоедал учителям: «Умоляю вас, наказывайте его за каждую провинность. И прошу вас, поступайте с ним без всякого снисхождения, не считайтесь со мной». Аттестат об окончании шести классов, аттестат об окончании девяти классов, свидетельство об окончании лицея... Когда у него спрашивали: «Не кажется ли тебе, что мальчик слишком долго учится? У него уже много дипломов, не пора ли кончить?»— он отвечал: «Ну и что ж, пусть учится, что ему делать дома? Якшаться со всяким сбродом, как его брат? Пусть лучше ходит в школу...» Мать часто говорила: «Мне-то хорошо известно, что он задумал, я знаю его. Он наверняка мечтает о том, чтобы отправить тебя в Европу, но тогда ему придется сначала убить меня...»

Мне не пришлось ехать в Европу, но по другой причине. По мнению отца, я так же, как мой старший брат, начал водиться со всяким сбродом.

А может статься, у отца и не было никакого плана. Может быть, он и не питал тщеславных надежд в отношении меня. Вероятней всего, он следовал моде того времени и, как человек крайностей, слишком усердно придерживался ее.

Вы помните то время? Отцы гнали своих детей в школу, как стадо баранов на бойню. Из деревень, затерянных в джунглях, за пятьдесят с лишним километров, родители приводили малолетних детей и записывали их в любую школу, какой бы она ни была. Жалко было смотреть на этих несчастных детей. Они ютились у дальних родственников или у чужих людей, отцовских знакомых, живущих недалеко от школы. Такими детьми были мы! Мы никогда не наедались досыта, мы получали каждый день тумаки от невежественных учителей, мы дрались друг с другом и тупели от книг, которые открывали нам мир, совершенно отличный от окружающего нас мира. Нас, именно нас заставляли учиться наши родители. Откуда такое рвение? Это нас заставляли причащаться и конфирмоваться, нас пичкали катехизисом, как откармливают рождественских гусей, исповедовали на пасху и в троицын день, это мы принимали участие в праздничных шествиях 14 июля *, нас муштровали, нас представляли, как гордость страны, всяким комиссиям, национальным и международным. Это были мы. Вы помните?..

Оборванные, драчливые хвастуны, запаршивевшие, чесоточные трусливые воры с ногами, разъеденными клещами,— этими детьми были мы! Не так ли? Вечно орущая немногочисленная фауна, затерявшаяся в нашем столетии, как цыплята в Атлантическом океане...

Ради чего нас приносили в жертву? Какое божество требовало этой жертвы?

Мой отец... Он был порядочным ловкачом! (Я говорю «был», хотя он еще и не умер, но теперь это тень прежнего человека — так неузнаваем сейчас мой отец, этот впавший в детство старик). Он являл собой яркий пример того, какой удивительный человеческий характер может создать сочетание торгашеского, ханжеского материализма Запада с хитрым умом выходца из нашей среды. Я все поясню. Сначала отец вбил себе в голову, что он должен стать владельцем большой плантации какао, самой образцовой, какую можно найти в окружности пятидесяти километров.

---

* День взятия Бастилии в 1789 году, национальный праздник Франции.

Я ненавидел отца всю жизнь, и ненависть эта росла по мере того, как я взрослел, но все же я не переставал восхищаться теми способами, которыми он достигал задуманной цели, другими словами — его хваткой. Зная пристрастие своих земляков к праздникам, к семейным сборищам (если они хоть немного напоминали праздник), он приглашал раз в месяц сводных братьев и племянников и обращался к ним с такими словами:

— Мне хочется попросить вас, чтобы вы помогли управиться в поле, у меня припасено для вас вдоволь вина, можете слегка подкрепиться сейчас, остальное разопьем после работы.

Теперь, когда я вновь вспоминаю все это, должен признать: отец показывал себя щедрым, очень щедрым. Предлагая приглашенным слегка подкрепиться, как он говорил, скромничая, он на деле устраивал для них и до и после работы настоящие пиршества, где вино лилось рекой. Так установилась традиция — не реже одного раза в месяц люди, в надежде повеселиться и выпить до работы и после нее, приходили трудиться на полях отца. У нас, как правило, семьи большие, и все сводные братья, племянники и двоюродные братья отца составляли внушительную армию работников. Поэтому не было никакого чуда в том, что плантация моего отца росла прямо на глазах. Плантация увеличивалась до тех пор, пока люди, работавшие на ней, не выступили с законными притязаниями, что и ограничило честолюбивые замыслы отца.

Но эта остроумная идея относилась к числу его самых пустячных замыслов. Он додумался до другого. На этот раз дело, которым он занялся, было неприемлемым для всякого порядочного, как вы и я, человека. Все увеличивающаяся плантация давала отцу значительные доходы. И знаете, на что он употребил их? Вы можете мне верить или не верить, но он раздавал деньги, он давал их взаймы первому встречному. Впрочем, его больше всего интересовали жители затерянных в лесах селений — «деревенщина», как говорили у нас. Известно, что у этих людей никогда не бывает наличных денег, а они тем не менее всегда нужны им. Так вот, представьте себе, человеку понадобилась тысяча франков, отец любезно ссужает ему требуемую сумму. Разумеется, по истечении срока у бедняги этих денег нет, но отец и раньше не сомневался в том, что его должник не сможет расплатиться в срок. Что делать? Тогда отец со скорбным выражением на лице предлагает компромиссное решение: так как крестьянин из далекой деревни обычно имеет стадо мелкого скота, то он может расплатиться натурой. Только (вот тут-то и загвоздка) отец соглашался на такой вид платежа, при котором стоимость скота определялась по самым низким ценам... Обычно его должник не сопротивлялся по той простой причине, что у него не было наличных денег, а перед ними несчастный испытывает нечто вроде суеверного преклонения, как наши предки в давние времена перед старыми кремневыми ружьями, на которые они выменивали своих незадачливых родичей. Итак, сделка совершена.

Получив скот, доставшийся ему по дешевке, отец отправлялся в город и продавал его по самым высоким ценам. И такая операция проделывалась бесконечное количество раз. Да, как я уже вам говорил, отец был настоящий ловкач.

Но и это еще не все. Вы знаете, в наших деревнях всегда найдется женщина, которая по той или иной причине хочет уйти от мужа. Тут не отделаешься одним разводом, необходимо вернуть брачный выкуп. Обычно тот, кто уже завладел выкупом, благоразумно старается не доводить дело до развода, с тем чтобы не пришлось возвращать выкуп.

Для отца такие дела были пустяками. Он по-братски предлагал свои услуги для возмещения выкупа. Это происходило до такой степени по-

братски, что женщина, вырвавшись на свободу, не ожидая напоминаний со стороны моего отца, несколько дней жила в нашем доме, проводя все время на арахисовом или маисовом поле отца...

Отец... При воспоминании о нем все эти мысли мгновенно пронеслись в моей голове, в то время как я, словно паяц дрыгая ногами, мчался на велосипеде.

Не доезжая нескольких километров до нашей деревни, я приметил бутылку на веранде хижины и остановился. Оставив велосипед на обочине дороги, я подошел к дому. В кармане у меня еще со времени пребывания в лицее залежалось несколько монет.

— Литр вина!— потребовал я у хозяина.

Я с удивлением отметил про себя, что бутылка была выпита залпом.

— Еще литр!— сказал я.

Хозяин хижины подал мне бутылку и вступил в разговор, решив, что должен обязательно прокомментировать происходящее.

— К счастью, еще не перевелись молодые люди, которые пьют пальмовое вино,— сказал он,— без них просто беда! Ведь есть же такие, им подавай только красное вино. Я часто задаю себе вопрос: если белые уйдут из нашей страны (что, разумеется, весьма возможно!), где наши будут доставать красное вино? А?

— Я пью не потому, что жарко,— ответил я.

— Так зачем же ты пьешь?

— Чтобы быть смелее.

— А-а, правильно! Чтобы прогнать страх, нет ничего лучшего, чем доброе вино наших предков. Выходит, он сильнее тебя.

— Кто?

— Да тот, кто собирается побить тебя.

— Ах, он... Не знаю. Я и пью потому, что не знаю.

— Что ж он тебе сделал? Отнял жену?

— Нет,— растерянно сказал я,— нет! Но что-то вроде этого. Думаю, он и это сделает...

Он долго рассматривал меня.

— Откуда ты?— спросил он доброжелательно, видимо догадываясь, кто я.

— Не узнаешь меня? А я тебя знаю, тебя зовут...

Он оживился.

— Узнал, ты — Жан-Мари Медза, правда? Сын старика Медза, что носится по всем деревням и собирает деньги со своих должников. Он, наверно, только этим и живет. Можно подумать, все ему должны. Да, твой отец на редкость... вредный ростовщик. Пойми меня, я не хочу тебя огорчить... Просто, чтоб ты знал... Между нами.

— Не церемонься, старина.

— Значит, это ты! Бог мой, как ты вырос. Еще учишься? Не устал? Ведь ты уже столько времени в школе! Помню, когда пошел в школу, ты был совсем маленький, едва доходил мне до колена... Разве это не утомительно — учиться?

Я покончил со второй бутылкой вина и простился с хозяином.

Как говорится, я был готов к бою, я не боялся отца! Во мне скопились огромные запасы наглости, и, между прочим, меня обуревало настойчивое желание насвистывать, знаете, вот так просто насвистывать, чтобы показать свое полное безразличие ко всему окружающему, как и подобает настоящему мужчине.

Я приехал домой после полудня. Отец был в хижине, как всегда молчаливый и замкнутый. Мать тоже вернулась: из кухни доносился ее голос.

Она, как обычно, распекала мою младшую сестренку за какую-то детскую шалость.

В нашем доме всегда кого-нибудь распекали: отец распекал всех, мать — детей, исключение составлял старший сын, которого видели дома довольно редко, но коль очередь доходила до него, то он тут же скрывался и поэтому избегал общей участи. Среди детей была та же система: мальчишки распекали девчонок, старшая сестра — младшую. Правда, старшая сестра вышла замуж и уехала, но если она гостила у нас, то по старым добрым традициям расправлялась с младшей сестрой. Итак, в нашей семье все распекали и даже иногда поколачивали друг друга, пример этому подавал сам глава семейства.

Я подвел свой огромный велосипед к палисаднику, окружающему веранду, и вошел в дом. Отец не удостоил меня взглядом, не задал ни одного вопроса, я тоже ничего не сказал. Как видите, при встрече царила сердечная атмосфера. Я ходил и без конца посвистывал, не умолкая, хотя прекрасно знал, что отец не переносит свиста, тем более что свист привлекает змей, которых отец смертельно боялся (впрочем, и я унаследовал этот страх). Я ходил по комнатам, ни на минуту не переставая свистеть, словно принц в своем королевстве, или белый поселенец в Сенегале, или Буффало Билл из Оклахомы *. Отец молчал и, прищурившись, пытался рассмотреть на солнце какой-то несуществующий предмет.

Я громко позвал младшую сестренку, в моем голосе звенели властные нотки, заставившие подскочить отца. Я все больше и больше терял контроль над собой, провоцируя отца, желая, чтобы он первым заговорил со мной. Но я ничего не мог добиться. С отсутствующим выражением лица отец сидел в кресле под жестокими лучами полуденного солнца, облокотившись на подоконник. Я искоса посмотрел на него — он был еще совсем молодой. Как жалко, что передо мной находился враг, а ведь он мог быть и другом. Сестренка, как всегда угрюмая и запуганная, вошла в комнату. Увидя меня, она сказала удивленно:

— Смотри-ка, ты вернулся?

Девочка всегда была ласкова со мной, моя сестренка, но теперь было не до нежностей, и я сердито ответил:

— Глупый вопрос! Раз видишь — значит, вернулся.

— Ты привел жену Ниама?

— Не твое дело! Видишь вот это...

Я показал на свои покрытые пылью, почерневшие и покоробившиеся брезентовые туфли. Она понимающе кивнула головой, взяла туфли и вышла, не забыв метнуть в сторону отца косой иронический взгляд.

Я ходил по хижине взад и вперед, продолжая насвистывать с оскорбительной настойчивостью. Но отец не желал реагировать. Устав от этой игры, я вышел из комнаты, направился в кухню к женщинам и стал рассказывать о своем путешествии. Мать слушала меня краем уха — что-то беспокоило ее. Когда я кончил свой рассказ, тетка Аму сказала:

— Смешно, как ты сразу изменился, мой птенчик. Смешно, ты совсем не такой, как был.

— Как же я изменился?

— О, не могу сказать, как именно, но ты совсем не похож на себя, можно сказать — совсем другой мальчик, у которого твои черты лица, твоя походка, твоя фигура...

Они даже и не подозревали того, что случилось со мной в Кала. Потом мать сказала:

---

* Прозвище знаменитого североамериканского охотника, разведчика и хозяина цирка Коди Уильяма Фредерика (1846—1917); о его приключениях было написано много книг, особенно детских, и снято большое количество кинофильмов.

— Отец очень недоволен, что ты провалился на экзамене.

— Серьезно?— стараясь показать безразличие, сказал я.— Он все еще помнит?

— Думаю, он собирается задать тебе взбучку,— смеясь, сказала сестренка.

— Задать мне взбучку? Еще чего недоставало!

— Я не шучу,— подтвердила сестра,— сама видела, как он приготовил резиновый ремень.

Вообще отец колотил детей мухобойкой, жену бил коварной тонкой тростниковой плетью, напоминающей по форме и размерам небольшую змею. Резиновой плетью он пользовался в особо торжественных случаях, для наказаний, так сказать, образцово-показательных. Это был длинный ремень, вырезанный из автомобильной покрышки. Пока наказывали, казалось, что это орудие не причиняет особенной боли, не рассекает и не обжигает кожу, как мухобойка или тонкая тростниковая плеть. Но получив порцию ударов резиновым ремнем, на другой день с удивлением обнаруживаешь, что тело все ломит, чувствуешь себя разбитым, а на коже появлялись кровоподтеки.

И вдруг я понял, что отец никогда больше не побьет меня, а если он позволит себе замахнуться, то будет драка. Как видите, понадобилось много времени, чтобы прийти к такому заключению.

* * *

В течение всей недели мои отношения с отцом оставались теми же, по крайней мере внешне, ибо на самом деле чувствовалось приближение бури: порох засыпан, и достаточно одной искры, чтобы все взорвалось.

Моя тактика не изменилась: я беспрестанно насвистывал, то и дело обращался к сестре с приказаниями, по всякому поводу возвышал голос. И все равно отец молчал. Я входил в комнату, он выходил из нее, я говорил, он молчал. Он даже изменил часы завтрака, обеда и ужина. Когда приближались часы трапезы, он уходил из дома, шел по шоссе, неважно куда, лишь бы не садиться за стол вместе со мной, не видеть меня. Я вел ежедневную запись наблюдений за поведением моего дорогого родителя. Я старался проанализировать его случай. Да, я нарочно так говорю — «его случай», ибо даже те скудные знания по психологии, которые я приобрел в учебном заведении, позволили мне сделать вывод, что моему отцу лучше находиться в психиатрической клинике или даже в сумасшедшем доме, нежели в собственном доме, в семье.

Как-то раз вечером я с удивлением заметил, что написал на обложке тетради слово «бегство». В самом деле, не было ли его отношение ко мне типичным бегством? Значит, во мне появилось что-то новое, что заставило его отступить? И может быть, тетка Аму была права, утверждая, что я изменился? А может быть, у меня кончился переходный возраст? Наступил кризис? Как бы то ни было, я радовался, я был горд, пребывал в восторженном состоянии от сознания, что отец вынужден был отступить.

Я много пил, пил каждый день. Односельчане боялись гнева моего родителя и не давали мне вина, поэтому приходилось топать за пять километров по шоссе к родственникам, что жили на полпути между нашей деревней и городком Вимили, у них мне охотно давали выпить.

Наконец я вырвался на волю!

Изрядно набравшись, нетвердой походкой возвращался я домой. Мать встречала меня причитаниями. С присущей ей материнской интуицией, которая так и осталась для меня загадкой, она без конца повторяла,

что чувствует приближение несчастья, такие отношения с отцом не могут долго продолжаться. Она уговаривала меня просить у него прощения.

— Прощения? За что?— спрашивал я.

— Откуда мне знать? Проси прощения за все: за экзамены, за твою дерзость...

Не мог же я серьезно просить прощения за провал на экзаменах у простого смертного, это было просто немыслимо....

Я часто мечтал об Эдиме, но, странно, как о чем-то несбыточном, как мечтают о рыбке, которая сорвалась с крючка и ушла в воду (и вы прекрасно знаете, что вам никогда больше ее не поймать). Вот так я мечтал об Эдиме. Я любил ее, как и раньше, и даже все больше и больше, но что-то плохо представлял себе возможность нашего счастья с Эдимой в той напряженной семейной обстановке, которая сложилась у нас дома. До того времени отец строго следил за тем, чтобы я не был близок с женщинами (он был убежден, что его старший сын так рано и так бесповоротно сбился с пути истинного только по вине женщин; «ищите женщину» * — принято говорить в подобных случаях). Он постарался сделать мне такую комбинированную прививку правил поведения, что уже при одной мысли о необходимости приступить к супружеским обязанностям в доме, где рядом спит отец, меня бросало в холод. Конечно, если бы не его излишняя строгость в обращении со мной, я со временем, может быть, и избавился бы от чувства собственной приниженности. Но в такой обстановке все это было решительно невозможно. Нескольких дней вдали от Эдимы, нескольких дней в кругу нашей семьи было для меня достаточно, чтобы оказаться на самом дне пропасти — между возможным и невозможным. Я строил различные планы: а что, если похитить Эдиму, как только она приедет? Но куда я ее отвезу без гроша в кармане, без чьей-нибудь поддержки, без жизненного опыта? Я сложил оружие. Все было решено заранее: жизнь придется строить без Эдимы. Однако, придя к такому заключению, я сразу почувствовал себя потерянным и одиноким. Сколько ужасных часов я провел наедине с самим собой, вот так думая обо всем этом,— ведь рядом не было ни одного живого человека, кому бы я мог поведать о своем горе, кто мог бы высказать мне сочувствие.

* * *

Накануне приезда Эдимы я не нашел ничего лучшего, как сбежать. Нет, я удрал из дому не потому, что решил больше туда не возвращаться. вовсе нет. Я просто отправился за вином к родственникам, к которым обычно наведывался. Но, очутившись у них, я там и остался, из-за трусости,— вероятно, слишком все осложнялось, и мои нервы, моя бедная голова не могли больше выдержать такого напряжения.

Мы узнали о приезде свадебных гостей во всех подробностях. Говорили о громадном стаде баранов, завидовали старику Медза — избраннику Фортуны. Я все пытался представить себе лицо отца при виде гостей, которых он, конечно, не ожидал. К счастью, там был дядя Мама, наверно, он попытается все объяснить и даже, может быть, усмирит гнев отца, если такое чудо вообще возможно.

Два дня я пробыл у родственников, не зная, на что решиться. На утро третьего я выпил больше, чем следовало, и, охмелев, уже не мог

---

* «Cherchez la femme» *(франц.)* — афоризм, приписываемый Талейрану. Это выражение, ставшее поговоркой, означает, что в любом поступке мужчины замешана женщина.

устоять перед искушением увидеть Эдиму, дотронуться до нее, услышать ее голос, ощутить ее легкое дыхание на своем подбородке. Я собрался в обратный путь. Гостеприимные хозяева, видя мое состояние, пытались меня удержать, но все было напрасно. Прошагав пять километров, отделявшие меня от отцовского дома, я немного отрезвился — наверно, под влиянием охватившего меня страха и тоски.

Мое появление в деревне было шумным: я пел, свистел, орал во всю глотку. Отца я застал на веранде. Во дворе остались еще следы недавнего пиршества. Позднее я узнал, что отец весьма любезно принял гостей. Он даже был рад неожиданному приезду малютки Эдимы, ибо тотчас же задумал план, не имеющий ко мне никакого отношения. Никто не знал, куда я скрылся, поэтому при моем появлении жители нашей деревни и уж, конечно, все посланцы из Кала высыпали на улицу, заинтересованные моим шумным вторжением. Я прошел мимо отца, распевая «Страдания сиротки», которой научил меня Гусиные Лапы, и спокойно направился к кухне, чтобы увидеть Эдиму, как вдруг услышал отцовский окрик:

— Эй, ты! Откуда ты взялся?

— Мое имя не «ты»,— ответил я ему в тон.

— Да ну?— удивился отец.— А как же тебя зовут?

— Если кто-нибудь этим интересуется, пусть справится у инспектора, что ведает актами гражданского состояния.

— Да он с ума сошел!— закричал отец.

Я вошел в кухню. Там сидели мать, тетка Аму и сестренка, совершенно ошеломленные моим появлением. Там же находилась и Эдима, она не понимала, что творилось в этом доме. Я крепко обнял ее и сел подле, взяв ее за руку. Так мы сидели довольно долго. Должно быть, у нас был очень глупый вид. Потом к нам подошел Замбо и, пока я его радостно приветствовал, шепнул мне на ухо:

— Знаешь, твой отец в ярости. Если бы не мой старик, ох и сыграл бы он тут кое с кем шутку! Ни за что сейчас не стану ручаться...

— Ну и что же?— отвечал я.

Бомба разорвалась довольно поздно, уже после полудня...

Сначала из хижины, где сидели мужчины, донесся до нас шум голосов. Мы с Замбо решили пройтись мимо дома и услышали громкий голос моего родителя:

— Кто знал, что оба сына, ради которых я убивался на работе, кончат так плохо? Горе мне, горе! Дорогой Мама, брат мой, знаешь, почему он провалился на экзамене? Хочешь, скажу? Из-за женщин! Держу пари, что в городе весь год он только этим и занимался. И вино... С тех пор как он вернулся из Кала, он ни разу не открыл книгу. Только и делает, что пьет да бегает за бабами, как кобель в течку... Ну и потомство у меня!.. Он мог бы сдать экзамены в октябре, если бы захотел, но это его как раз интересует меньше всего. Если бы не ты, дорогой брат, уверяю тебя, я бы ему показал...

Возмущенный столь явной несправедливостью и непониманием, униженный угрозой наказания в такой неподходящий для этого момент, я не смог более сдерживаться и завопил:

— Я больше не хочу учиться в лицее! Не хочу сдавать никаких экзаменов! И тот, кто думает, что это легко, пусть и сдает за меня. И потом, имей в виду, я не желаю, чтобы меня били! С этим тоже покончено! Меня больше пальцем никто не тронет! С этим покончено! Ясно?..

Тотчас же послышался шум опрокидываемой мебели, дверь распахнулась, и на пороге появился отец с резиновой плетью в руке... До чего же он был зол! Я не потерял самообладания и даже успел заметить, насколько гнев обезобразил его красивое лицо. И не успел отец переступить

порога, как к нему бросился дядя Мама, чтобы помешать ему кинуться на меня.

Я упрямо стоял посреди двора, я не тронулся с места, хотя мать, выбежав из кухни — убежища, в котором она раз и навсегда решила укрыться от гнева своего разъяренного супруга,— заливаясь слезами, умоляла меня уйти прочь, не оскорблять впредь отца, чтобы не навлечь на себя его проклятия.

Мужчины долго боролись, а мы с Замбо критически и насмешливо смотрели на них. Разъяренный отец — как он был похож на раненного пулей дикого зверя — в бешенстве рвался из рук дяди Мама. Все жители деревни вышли из хижин и подошли поближе.

— Беги, беги же! Чего ты ждешь, безумец? Беги!— кричали со всех сторон.

Наконец моему отцу удалось все-таки разорвать железные объятия дяди Мама, и он ринулся на меня. Я быстро перебрал в памяти те простенькие боксерские приемы, которым успел научиться в лицее у своих однокашников, но в последний момент, не решаясь ударить, отступил. Отец замахнулся резиновой плетью, но я вовремя увернулся. Плеть ударилась о землю, вырвалась у него из рук и, отскочив, упала к моим ногам, я поднял ее. Отец бросился на меня с кулаками, но я легко отпрыгнул в сторону, вызвав смех многочисленных зевак. Замбо даже крикнул мне:

— Прекрасно, прекрасно, братец! Здорово у тебя получается!

Такая реплика немедленно вызвала резкий протест со стороны дяди Мама. Мать сотрясалась от рыданий. Отец, задыхаясь, прошипел:

— Ты объявил мне войну? Что ж, посмотрим, чья возьмет!— и снова бросился на меня.

Я пустился легкой рысью, но, заметив, что легко опережаю его, замедлил бег, внимательно следя за ним уголком глаза. Когда он почти настигал меня, я без особых усилий ускорял свой бег, как лучший регбист из Уэллса, потом снова сбавлял темп. Отец запыхался, но все же не терял надежды догнать меня...

Господи, до чего же он упрям! Вот опять он чуть-чуть не догнал меня. Я не стал прибавлять шагу, а сделал резкий поворот влево, и отец во всю длину растянулся на земле. В толпе мужчин послышался смех, женщины заплакали, взывая к предкам... Какое отношение имели их предки к происходившему — я так и не понял. Отец рывком поднялся с земли, лицо его исказилось от ярости. Он уже совсем выбился из сил...

Ох и началась потеха...

Я обманывал его, как ребенка, только что научившегося ходить. То бежал через толпу людей, неожиданно заворачивая и проскальзывая между ними, то делал крюки и резкие повороты, то вдруг стартовал с места с бешеной скоростью... Внезапно отец остановился и, брызжа слюной, обрушился на зрителей, наблюдавших за этим неравным состязанием.

— Чего вы стоите? Не можете поймать и подержать его? Радуетесь, как сын над отцом издевается?

Люди пожилого возраста, разумеется, бегать не могли, а молодежь только делала вид, что пытается поймать меня. В душе все были на моей стороне. Парни охотно позволяли обманывать себя, иногда даже растягивались на земле, чтобы показать, как трудно со мной справиться. Только один из молодых — мой двоюродный брат, наверно ходивший в должниках у моего отца,— всерьез схватил меня за талию и несмотря на удары по ребрам, которыми я обильно награждал его, держал не отпуская.

Я понял, что сейчас наступит тот долгожданный момент, когда отец,

человек огромной физической силы в руках, схватит меня и нещадно излупит, чтобы рассчитаться за все нанесенные обиды. И, опять воскресив в памяти боксерские приемы, я, готовясь к решающей схватке, словно разгромленный отряд, собирал последние силы. Но, опередив отца, в борьбу вступил Замбо, он на месте уложил не в меру ретивого родственника, уцепившегося за мой пояс.

Мужчины хохотали, женщины плакали еще громче. Вот когда я понял, что слезы у женщин выражают лишь состояние возбуждения — и больше ничего. Вмешательство Замбо окончательно рассорило его с отцом, дядя Мама тоже было погнался за сыном, но как-то очень неуверенно...

Наконец отец решил отказаться от намерения поймать меня и, тяжело дыша, вернулся в хижину. Отступление представляло довольно жалкое зрелище, и он уже никогда не смог оправиться от этого удара, нанесенного его самолюбию.

Я стоял, глядя ему вслед, и, должен признаться, мне было жаль отца. Потом я подошел к дому и приказал младшей сестренке:

— Собери-ка мои вещи!

После такого подвига сестренка с готовностью повиновалась мне. Она направилась к дому и только хотела переступить порог, как раздался грубый голос отца:

— Попробуй войти только, я посмотрю, как ты это сделаешь.

Резкий окрик заставил сестру отшатнуться с такой поспешностью, что она упала навзничь. Тогда я сказал:

— А, впрочем, мне наплевать!..

И медленно, на глазах у всех присутствующих, в том числе и гостей из Кала, я вышел на дорогу. Я удалялся торжественно, не обернувшись даже, чтобы бросить прощальный взгляд на родную деревню! Я уходил. Все было кончено. С тех пор я никогда больше не возвращался домой. Я говорил про себя: «Свобода нам!»

На повороте дороги я услышал, как кто-то меня окликнул. Это был Замбо. Он сказал просто:

— Пойду с тобой, братец! Не могу же я оставаться один со стариками.

* * *

Мы с Замбо нашли приют у моего дяди с материнской стороны, в тридцати километрах от нашей деревни. Через несколько недель мать принесла туда мои вещи. Она рассказала, что после всех событий отец стал каким-то чудным, не таким злым, как прежде. Он все меньше и меньше разговаривал с домашними, вид у него был такой несчастный. С гостями из Кала он обошелся согласно обычаю. Они уехали. Эдима осталась в доме. Она все еще ждет меня, надеется, что я скоро вернусь. Она послушна, молчалива, ее взгляд устремлен на дорогу, туда, где она видела меня в последний раз. Мой старший брат вернулся домой...

Хотя я и сдал в октябре экзамен на степень бакалавра и получил работу, как вам известно, но я не вернулся за Эдимой. Я понял как-то вдруг как само собой разумеющееся: Эдима — пройденный этап в моей жизни. Если бы я остановился на этом этапе,— несомненно, все сложилось бы по-другому, лучше. Только — тут-то вот и загвоздка — я не остановился... и жизнь моя пошла по другому пути.

Бродячая жизнь, блуждания по свету меж людей, среди идей, событий — и так без конца. И все это время мы, мой брат Замбо и я, были неразлучны, словно две руки одного тела. Чего только не совершали мы

вдвоем! Пили из одного стакана, любили одних и тех же женщин, ели из одной тарелки, сидели в одних и тех же тюрьмах, испытали одни и те же муки, познали одни и те же горести, одни и те же разочарования, одни и те же радости. Он и сейчас со мной, мой брат Замбо, но я так и не знаю, что же он ищет в жизни. А я? Я все блуждаю в поисках той чистоты, которую мне открыла Эдима, я так и не встречал ее никогда потом, да и не встречу — тем более теперь, когда стал быстро стариться.

* * *

Я все-таки горжусь, что выполнил свою миссию в Кала, которая и должна была явиться темой моего рассказа (прошу прощения, что слишком увлекся). К Ниаму вернулась жена. Он даже не удосужился поблагодарить меня. Впрочем, неизвестно, кто кого должен благодарить.

Чем больше я думаю об этой истории, тем больше утверждаюсь в мысли, что ведь это я должен быть признателен Ниаму за поездку, которая позволила мне, между прочим, встретиться с простаками из Кала, этими своеобразными карикатурами на колонизированного африканца, и узнать, что драма нашего народа — это драма человека, предоставленного самому себе в мире, который ему не принадлежит, им не создан и ему не понятен. Это драма человека, духовно прозябающего, человека, который бредет наугад в ночи, в каком-нибудь враждебном Нью-Йорке. Кто научит его пересекать Пятую авеню только на переходах? Кто поможет ему расшифровать надпись: «Пешеход, остановись»? Кто обучит его пользоваться картой маршрутов метро, делать пересадку?

ЭПИЛОГ

Теперь Эдима стала женой моего брата. Не знаю, как это произошло, ведь я ни разу не побывал дома — я вернусь туда только после смерти отца, чтобы повидать свою бедную мать.

Не знаю, как случилось, что Эдима и мой старший брат полюбили друг друга, если, конечно, там действительно была любовь. Можно предположить, что Эдима устала меня ждать и отнеслась благосклонно к любовным речам брата, уж кто-кто, а он, конечно, не мог равнодушно смотреть на красивую девушку и не приволокнуться за ней. Может статься, что они и согрешили, чего, впрочем, только и дожидалась старая лисица — мой отец. Вот тогда-то родитель мой и поженил сына, по доброй ли воле или по принуждению — этого я не знаю.

Мне только известно, что у них трое детей и двое из них — мальчики Отец, должно быть, радуется в глубине души, приговаривая, что и у негодяев могут рождаться превосходные дети. Ведь, кроме школьных успехов своих детей, он всегда желал видеть свою семью многочисленной, свой род увековеченным. Есть такие люди, которые никогда не проигрывают.

Вот и вся история, которую я хотел вам рассказать. Не знаю, понравится ли она вам или нет, но я не мог не рассказать ее, эту историю. Боюсь, что мне больше ничего не придется рассказывать до конца своих дней. Такова история моей любви к Эдиме, история моей первой и, может быть, единственной любви — неумная шутка, которую сыграла со мной жизнь.

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗЫ КОММУНИСТОВ

ГОВОРЯТ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ

Джек Линдсей

Жизнеутверждающая сила

Когда я обращаюсь мыслью к огромному числу советских романов, рассказов и пьес, которые прочитал, и пытаюсь определить, какой из образов коммунистов, созданных в этих произведениях, особенно увлек меня, первое мое ощущение — некоторая растерянность: слишком широк диапазон и велико многообразие литературного ландшафта, открывающегося перед моим мысленным взором. Однако же больше всего память задерживается на литературных произведениях первых лет советской власти, связанных с гражданской войной и ранними этапами социалистического строительства. Почему это так, объяснить не трудно: ведь именно в тот период писатели считали своей главной задачей показать, как люди порывают с миром классовых противоречий, как в ходе решения первых волнующих проблем строительства нового мира, новой жизни формируется их социалистическое сознание.

Такие литературные герои, как Глеб в «Цементе» Гладкова или Давыдов в «Поднятой целине» Шолохова, с большой силой убеждения показывают, каким образом коммунистические идеи меняют духовный облик простого человека. В «Разгроме» Фадеева та же тема разрешается в трагическом плане через раскрытие образа Левинсона. Но ярче всего в моем сознании запечатлелся образ Корчагина — героя романа Островского «Как закалялась сталь». Автор шаг за шагом ведет за собой читателя, показывая формирование характера настоящего коммуниста. Каждое слово Островского дышит правдой, каждое слово волнует и отзывается глубоко в сердце.

Глеб, отдающий себя без остатка трудному делу восстановления и социалистической перестройки разрушенного войной хозяйства, и Павел Корчагин, человек тонкой эмоциональной организации, в душе которого каждая струна звучит в унисон с ритмами новой жизни, могут показаться во многом разными людьми. Но есть у них одна общая, объединяющая черта: и тот и другой предстают перед нами во всем многообразии своих характеров. Писатели показали своих героев в развитии, в динамике. Читая эти книги, мы становимся свидетелями внутренних конфликтов и сложностей и, закрывая последнюю страницу, расстаемся с героями, как с близко знакомыми людьми. Мы не просто заинтересовались: мы узнали их и поверили им.

В очень многих книгах, написанных позже, мы видим Партию главным образом воплощенной в образе секретаря райкома или другого партийного работника,— так по крайней мере мне кажется. Нередко он становится главным персонажем книги и хорошо выписан, но мы лишены возможности пережить вместе с героем процесс его перехода к коммунизму, формирования в нем коммунистических идей.

Я считаю, что в художественном произведении невозможно создать впечатляющий и правдивый образ героя, не раскрывая его внутренних противоречий. А если писатель сумеет создать подлинно типичный характер своего современника, внутренние противоречия (или конфликты) такого героя будут с неизбежностью отражать основные тенденции в развитии общества и его нужды. Общество всегда находится в движении, и писатель должен заставить нас ощутить это движение через своего героя. Уже полностью сложившийся характер, даже если ему свойственны кое-какие заблуждения и колебания, не может широко отразить динамику движения общества, которая по самой своей

Иллюстрация польского художника Отто Аксера к роману Максима Горького «Мать», изданному в Варшаве.

Иллюстрация американского художника Зигмунда де Ивановского к роману Максима Горького «Мать», изданному в Нью-Йорке.

природе всегда сложна, постоянно выдвигает все новые проблемы и подвергается иной раз трудно определимым влияниям.

Я не хочу этим сказать, что в советских книгах более позднего периода нет образов, которые в большой мере отражают этот сложный и глубокий процесс развития общества. Нелепо ожидать, что образ Корчагина будет бесконечно кочевать из одной книги в другую. Корчагин принадлежит периоду бурного перехода от классового общества к бесклассовому, социалистическому. Но вполне естественно, что мы ищем в новых книгах воссоздания присущих Корчагину черт борца, свойственной ему цельности характера, хотя и в иных ситуациях, в иную эпоху. И мы их находим. Я не могу вспомнить, коммунист ли герой романа «Танкер «Дербент» Басов. Я не перечитывал эту книгу уже лет двадцать. Но борьба, которую он ведет, по самой своей природе такова, что она характерна для общества, руководимого коммунистической партией, независимо от того, имеет ли сам Басов партийный билет.

Коммунистические идеи определяют характер советского общества. Так оно и должно быть. Перед моими глазами проходит целая галерея образов, созданных советскими писателями и выражающих этот дух коммунистического строительства, начиная от героини «Русского леса» Леонова, до гранинских «Искателей», персонажей повести Нилина «Жестокость» или «Битва в пути» Николаевой. Я привожу примеры, которые первыми приходят мне на ум, не пытаясь делать каких-либо теоретических обобщений. Эти примеры должны дать представление о том, какие именно герои советских книг, вышедших в последние годы, оставили наиболее глубокий след в моей памяти.

Однако, если бы кто-нибудь, впервые решивший прочитать советскую книгу, попросил меня назвать одно произведение, в котором, с моей точки зрения, наиболее правдиво и ярко выведен образ коммуниста, я безусловно назвал бы шедевр Островского.

Начиная с 1936 года, когда я впервые познакомился с советскими романами, на меня оказывает большое влияние стремление советских писателей создавать свои произведения в духе социалистического реализма. Поэтому, даже живя в несоциалистическом обществе, я стараюсь раскрыть и показать в своих книгах те элементы, из которых вырастает социализм, показать образ нового человека, а таким новым человеком является прежде всего коммунист. Советская литература сыграла важную роль в формировании моих идей, и я не мыслю себя без ее плодотворного воздействия. Она раскрывала передо мной конкретное воплощение в жизнь социалистических теорий и идеалов. Без веры в Советского Человека я вообще не вижу возможности верить в Человека в нашу

эпоху. А без этой веры нет и надежды вырваться из порочного круга классового капиталистического общества. Поэтому вот уже двадцать пять лет советская литература, в особенности те книги, где сделана попытка создать образ коммуниста, близка мне по духу и как художнику и как гражданину.

Однако эта глубокая вера в идеалы советской литературы вовсе не означает, что я лишен способности критиковать ее так же, как это может делать любой из советских читателей.

Но главное — в другом. Главное в жизнеутверждающей, непреоборимой силе советской литературы, которая вдохновляет и помогает идти вперед, преодолевая все трудности и неудачи.

г. Лондон.

Иллюстрация немецкого художника Курта Циммермана к роману Александра Серафимовича «Железный поток», изданному в ГДР.

Катарина Сусанна Причард

Борцы за счастье человеческое

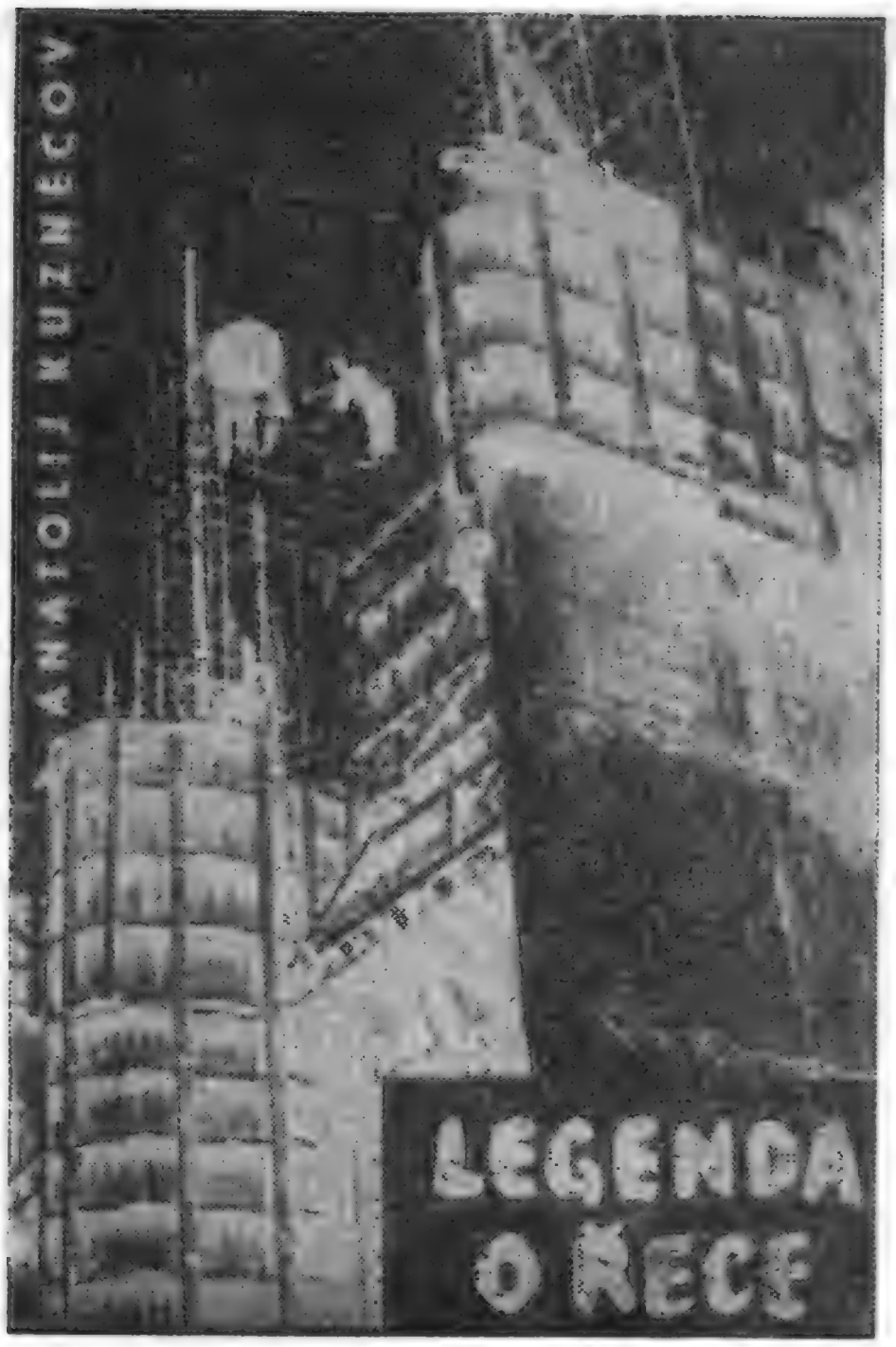
Кого из коммунистов — героев советской литературы я более всего люблю и ценю? Это сложный вопрос. И, поскольку я отвечаю на него, не перечитав большого числа романов и рассказов о длительной борьбе за построение социализма в СССР, я рискую, может быть, упустить тех героев, в образах которых раскрываются самые высокие качества, порожденные преданностью марксизму-ленинизму.

По-моему, героями и героинями следует считать всех, кто трудился и боролся во имя великих идей, осуществление которых означает новую эру мира и счастья для их родины, для их народа, для всего человечества.

Коммунисты всегда заботятся о благе рабочих и крестьян — выполняют ли они с беззаветной энергией скромную повседневную работу, заняты ли они физическим трудом, руководят ли строительством первого в мире нового государства.

Я вспоминаю «Мать» Горького — повесть о скромной, незаметной женщине, которая отдавала все свои силы делу борьбы рабочих против несправедливости и угнетения. Конечно, «Мать» относится к досоветскому периоду русской литературы, и Ниловна не являет собой образ коммуниста в том смысле, что у нее не было партийного билета. Но разве не стала она истинной предшественницей, матерью всех тех, кто ныне с гордостью и радостью называют себя членами великой Коммунистической партии Советского Союза?

Обложка романа Федора Гладкова «Цемент», изданного в Лондоне.



Обложка повести Анатолия Кузнецова «Легенда о реке» («Продолжение легенды»), изданной в Праге.

Иллюстрация польского художника Мечислава Косцельняка к роману Алексея Толстого «Хлеб», изданному в Варшаве.

В капиталистических странах «Мать» и поныне является для коммунистов блистательным примером того, как люди, на первый взгляд незаметные и незначительные, становятся движущей силой повседневной борьбы рабочих.

«Цемент» Гладкова и «Разгром» Фадеева в ранний период советской литературы донесли до нас живое ощущение силы и красоты образа Коммуниста.

Но самое большое влияние на отношение Запада к Советскому Союзу оказала поэзия Маяковского. Его стихи раскрыли силу Советского Человека — силу страстной веры в дело коммунизма. Маяковский выразил энтузиазм советских граждан, их радостный подъем, который сопутствовал успехам, достигнутым под водительством Коммунистической партии Советского Союза. Сдернув пелену сомнений и разъедающего критиканства, Маяковский во весь голос заявил писателям мира:

> Как вы смеете называться поэтом
> и, серенький, чирикать, как перепел!
> Сегодня
> надо
> кастетом
> кроиться миру в черепе!

Во всех концах земли писатели услышали призыв Маяковского. Многие из них являются членами коммунистических партий своих стран и используют свое влияние в массах для того, чтобы разъяснять, как теория и практика коммунизма открывают перспективы лучшей жизни для всех народов.

Позднее, в романах Шолохова, Леонова, Фадеева, Федина, Симонова, Тихонова, А. Толстого, Эренбурга, Казакевича и многих других мы увидели, как коммунисты брали на себя самые трудные и сложные задачи в строительстве новых грандиозных предприятий, в борьбе с происками контрреволюционеров, в приобщении национальных меньшинств далеких окраин к активному участию в коммунистическом строительстве.

А как благороден образ Павла Корчагина из книги Николая Островского «Как закалялась сталь»! И для нас этот образ неотделим от самого Николая Островского, мужественно преодолевшего физические страдания, чтобы воссоздать для нас картину жизни, связанной с драматическими событиями революционной борьбы, воспеть героизм молодежи, прокладывавшей путь в будущее. «Большевистские идеалы неотделимы от высоких моральных принципов» Эта мысль Островского вдохновляет и молодых и старых людей во всем мире на служение этим идеалам, на верность этим принципам: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы

самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».

Прямыми наследниками молодых героев книги «Как закалялась сталь» являются юноши и девушки из «Молодой гвардии» Фадеева. Как мы восхищаемся ими и как скорбим о их гибели! Как изумительны они в своей храбрости, в своей беззаветной решимости бороться и помочь победить проклятых нацистских захватчиков! Как поражает нас их непосредственное и безотчетное мужество! И мы знаем, что эти юные коммунисты — реальные, вечно живые люди, а не плод писательского воображения.

Мересьев из «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого — еще один герой, чей несокрушимый дух питается безграничной верой в великую силу коммунистических принципов и насущную необходимость руководствоваться ими в жизни, в труде.

В советской литературе последующего периода многие произведения посвящены раскрытию глубокого значения коммунистических принципов в жизни каждого советского человека.

Мир во всем мире и благополучие всех народов — вот, в конечном счете, высшая цель советских людей, воспитанных в духе коммунизма.

Этой теме посвящено так много произведений, что затруднительно отдать предпочтение тому или иному герою. Мне, например, по душе и Лубенцов («Дом на площади» Казакевича), и Давыдов («Поднятая целина» Шолохова), хотя они представляют совершенно различные типы людей...

Недавно вышел роман Вадима Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев!». По-моему, Балуев — обаятельный образ и как преданный коммунист, и просто как человек: он милый, добрый, терпимый к недостаткам окружающих и в то же время непреклонный, когда обстоятельства требуют суровости.

Я вполне понимаю работающих с ним девушек, для которых Балуев — идеал. Они чуть-чуть влюблены в него. А почему бы и нет? Ведь он сумел в корне пресечь всякую попытку пофлиртовать и держит себя с ними как добрый, но грубоватый папаша.

Как бы там ни было, но я сочувствую и этим девушкам, и его жене. Бедняжка, ей немало пришлось потосковать в одиночестве, хотя она тоже была увлечена своей работой. Но время от времени Балуев посылал жене цветы, и я уверена, что для нее их любовь так же прекрасна, как эти цветы.

Я назвала Балуева как одного из самых любимых мною образов советской литературы сегодняшнего дня. Он совсем не такой, как Корчагин, Мересьев, как юноши и девушки из «Молодой гвардии», как Лубенцов и Давыдов. Но во всех этих образах красной нитью проходит верность принци-

Обложка романа Михаила Шолохова «Поднятая целина», изданного в Риме. Рисунок итальянского художника Уго Аттарди.

Обложка книги Михаила Шолохова «Судьба человека», изданной в Праге.

Обложка пьесы Леонида Леонова «Нашествие», изданной в Монтевидео.

Иллюстрация чешского художника Яна Провазника к «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого, изданной в Праге.

пам коммунизма и самоотверженная борьба за претворение этих великих принципов в жизнь.

Да, коммунисты живут и трудятся так, чтобы оправдать веру Ленина в истинных борцов за коммунизм.

Не каждый может быть таким, как Ленин. Но сила, красота, все лучшие качества коммунистов — героев советской литературы — вдохновлены бессмертным примером Ленина, чей гений и великая любовь к людям навечно воплотились в его имени.

г. Фримантель (Австралия)

Антал Гидаш

Мне милее всех Морозка

Из всех коммунистов — героев советской литературы — мне милее всех Морозка. Но сразу хочу сказать, что для меня он вовсе не герой романа, а живой человек. Морозка мне ближе многих и многих людей, с которыми пришлось повстречаться в жизни, и они не так запечатлелись у меня в душе, как мой дорогой друг и товарищ Морозка.

Почему? Конечно, не только потому, что с Фадеевым я был связан тридцатилетней дружбой и очень любил его. Фадеев не Морозка. Это я отлично понимаю. Морозка лишь малая частица Фадеева, он ютился где-то в уголке его души. Но... в самом Фадееве я в первую очередь любил Морозку. И почему-то, когда мы встречались с Фадеевым, он смотрел на меня глазами Морозки, говорил со мной его голосом. И всегда получалось так, что мы торопливо

заканчивали наши деловые разговоры и затевали беседу о Дальнем Востоке, но я думаю — вовсе не потому, что однажды провели там с ним вместе три месяца.

В жизни мне не раз хотелось походить на Морозку. И когда судьба однажды зажала в лапы и меня, и других моих славных товарищей и нам пришлось трудно, я часто повторял Морозкины слова, сказанные им, когда его хотели отчислить из партизанского отряда: «Уйтить из отряда мне никак невозможно... потому не из-за твоих расчудесных глаз... кашицу мы заварили!»

Для меня Морозка — мужчина! Преданный, не жалеющий себя. Для меня Морозка — воплощение обновляющегося. человечества, и даже когда он бранится нехорошими словами, он все равно велик, потому что прав. Он всегда был прав, и правда будет за ним.

Для меня Морозка — огромная стихийная сила Великой Октябрьской социалистической революции и поразительный ум. Морозка — тот человек, которому эпоха предначертала вместе с другими Морозками навести порядок на земле.

г. Будапешт

Обложка романа Александра Фадеева «Разгром», изданного в Варшаве. Рисунок польских художников Витольда Хмелевского и Яна Холлендера.

Хуан Мигель де Мора

Великий пример

Человеческому обществу, как и каждому человеку в отдельности, свойственны определенные стремления. Но не все обладают одинаковой способностью действовать и одинаковым желанием бороться за осуществление своих идей. В любой части земного шара можно найти многих людей, живущих, как лист, упавший в реку: куда понесет течение. Это относится в равной степени как к их мировоззрению, так и к поступкам. Немало и таких, которые имеют собственное мнение, по-своему воспринимают события и судят о них, но не действуют. И, наконец, существуют люди мысли и действия, люди, идущие впереди всех,— против ли течения на одних этапах истории, по течению ли на других, но всегда впереди. Именно в них заключается наивысшая ценность, и именно благодаря им человечество постоянно движется вперед, к будущему, которое, как мы надеемся, будет лучшим.

Мне не забыть того огромного впечатления, которое произвела на меня книга «Как закалялась сталь», когда впервые, много лет назад, в мои руки попало бессмертное произведение Николая Островского. В этом романе я нашел такого человека, который не останавливается ни перед какими препятствиями, которому чуждо спокойствие и желание отдохнуть в момент бури и боли, который бросается в клокочущий поток, видя перед собой прекрасную цель.

Произведение это широко известно Все

Иллюстрация польского художника Яна Миклашевского к книге Бориса Полевого «Новые герои» («Современники»), изданной в Варшаве.

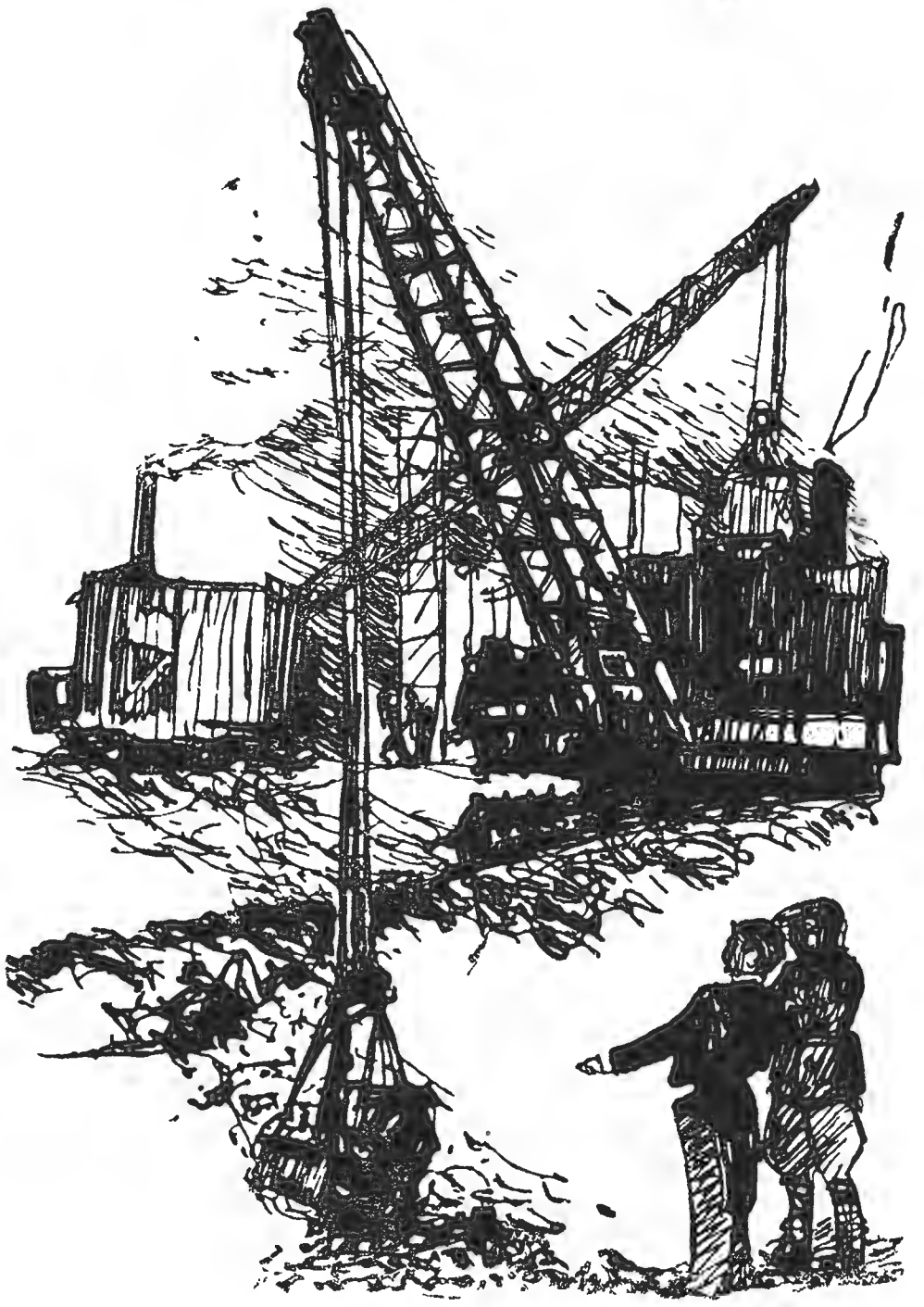


Иллюстрация польского художника Мечислава Косцельняка к роману Галины Николаевой «Жатва», изданному в Варшаве.

мы знаем, как юноша Павел Корчагин становится человеком в купели того великого созидательного водоворота, каким была русская революция 1917 года.

Какую же реакцию вызывает незаурядная личность, исключительная духовная сила и необычайная энергия Павла Корчагина у среднего читателя, не советского и не коммуниста?

Для того чтобы начать этот разговор, необходимо исходить из того, что добросовестный человек любой страны судит о том или ином лице не по званию и не по известности имени, а по его делам.

Вот почему герой Островского — Павел Корчагин глубоко заинтересовал меня прежде всего просто как человек, который чувствует, мыслит, живет и действует. Что вело этого юношу вперед? Что делало его образ нежным, глубоко человечным, вызывало симпатию, заставляло читателя подружиться с героем книги?

Очевиден тот факт, что Павел — а им является сам Островский, и это восхищает еще больше — был преисполнен горячей любви к людям и сознания необходимости улучшить условия жизни всего человечества, начиная, естественно, со своего народа. Но Павел, стихийный реалист, отлично сознает, что эти улучшения, эти преобразования, призванные положить начало новому, более справедливому миру, могут быть достигнуты не добрыми пожеланиями и не красивыми фразами, а только активными действиями. И вот гуманный, мягкосердечный Павел берет в руки оружие, чтобы, образно говоря, бороться против оружия. Все время, на протяжении этого прекрасного романа, его герой озарен отсветом чего-то такого, что для него прекраснее и выше всего, одушевлен чувством своей принадлежности к чему-то великому и могучему, чувством, наполняющим его верой в собственные силы и в торжество дела, за которое он борется. Это нечто для Павла Корчагина — коммунистические идеи и коммунистическая партия.

Тот средний читатель, о котором я говорил вначале, имея в виду самого себя и многих добросовестных людей всего мира, не судит о Павле предвзято, не исходит из этикетки «коммунист», а как раз наоборот — сначала узнает Павла, а уж потом понимает, что это образ коммуниста. И честный читатель, если его не пугают слова, если он не страшится познания, единственного источника человеческого прогресса, сознательно или безотчетно задумывается над явлением (а для среднего американского читателя из буржуазной среды это исключительное явление), которое олицетворяет собою коммунист Павел Корчагин, уже завоевавший его симпатию и любовь. Тут мы касаемся самого существа вопроса о значении литературы в области идеологии и в данном случае — о мировом значении советской литературы.

Однако из этого не следует делать поспешные выводы. Для того чтобы симпатии читателей были на стороне коммунистов, еще недостаточно изобразить положительного героя, который на протяжении всей книги делает добрые дела, и сказать, что он коммунист. Островский понимал это, и именно потому его книга занимает заслуженное место в мировой литературе. Павел прежде всего человек, а не ангел, витающий в заоблачных высях. Он обитатель земли, на которой родился, за которую боролся и в которой похоронен. Павел воплощает в себе то стремление к прекрасному в жизни, которое свойственно каждому человеку, хотя это прекрасное не легко достижимо. Идеи Павла были конкретными. Не абстрактными, не догматическими, не теологическими, а именно конкретными идеями его партии, изложенными в Программе этой партии, идеями, направленными на улучшение условий жизни народа.

Эти идеи — коммунистические идеи — сделали Павла тем, кем он являлся: Островским — в жизни, Корчагиным — в книге.

Таким образом, Павел — это идеал коммуниста, олицетворение мечты и надежды, и поэтому книга Островского наводит иностранного читателя-коммуниста на размышления не только о Павле, но и о том, за что он боролся.

Всякий мыслящий человек страстно желает обрести веру, которая вела бы его, уверенность в своей правоте, которая побуждала бы его упорно следовать по избранному пути, и, главное, цель, которая придавала бы смысл его жизни, без этого пустой и бесполезной.

Отсюда огромное значение Павла Корчагина и других подобных ему образов в советской литературе: ведь это образы людей, которые нашли свою цель в жизни и уверенность в реальности этой цели. Они рождают зависть, хорошую зависть, то есть желание быть таким же, как Корчагин, и восхищение Корчагиными, которых мы встречаем в жизни или знаем по их подвигам.

С человеком среднего уровня нельзя говорить научным языком, не рискуя остаться непонятым. Какие бы прекрасные идеи мы ни проповедовали, научные термины не западут в сердце человека. А Павел Корчагин — человек, который, как и всякий другой, живет, чувствует, мыслит.

И до какой степени ярок идейный светоч Павла — его Партия, его вера в лучшее будущее,— что в конце произведения, когда Павел слепнет, читатель понимает, что слепота эта только физическая, только внешняя. Ему по-прежнему светит его вера, его надежда, он видит мысленным взором справедливейшее в мире общество, в котором человек будет иметь право на счастье, он видит мир лучшего будущего как плод его борьбы, его самопожертвования. Поэтому Корчагин — Островский является великим примером для людей всего мира, и особенно для литераторов, живущих и работающих среди народа и для народа.

И хотя в Советском Союзе бурные времена революции уже позади, тем не менее

Иллюстрация чешского художника Владимира Коваржика к роману Николая Островского «Как закалялась сталь», изданному в Праге.

и сейчас существуют Павлы Корчагины, под этим ли именем или под именем Юрия Гагарина.

Герои остаются живыми всегда, и их образ в литературе бессмертен.

г. Мехико

НАШ ДРУГ, БОЕЦ, КОММУНИСТ

Неизвестные письма Джона Рида

Публикация Ли Голда, предисловие Джеймса Олдриджа, послесловие Е. Драбкиной

«Дело стоило того, Джек!»

Однажды холодным зимним днем, вскоре после Сталинградской битвы я стоял у Кремлевской стены и смотрел на темную надгробную плиту, под которой вместе с другими героями Октябрьской революции похоронен Джон Рид. Помню, я сказал себе (или, скорее, обращаясь к этой небольшой плите): «Что ж, дело стоило того, Джек!» Разве битва под Сталинградом не явилась величайшим апофеозом жизни всех тех, кто погребен у Кремлевской стены?

Собственно, я не вправе называть его «Джек». Я не мог знать Джона Рида лично, ибо родился примерно в то время, когда он умер. И все же Рид был одной из тех исторических личностей, которые, подобно Джеку Лондону или Пушкину, близки каждому, чье присутствие ощущается, как соприкосновение с живым родным человеком. И при мысли о том, что их больше нет, всегда испытываешь чувство горечи.

Джон Рид умер в объятиях революции, чью зарю он видел и описал в своих репортажах. И революция сделала этого человека — сначала бесстрастного наблюдателя и репортера — преданным участником и активным защитником своего дела. Рид умер революционером.

И все же разве только это мы знаем о нем? Разве «Десять дней, которые потрясли мир» — единственная эпитафия ему, вся история его жизни?

Когда Рид приехал в Россию в начале революции, современники уже знали его как прославленного репортера. Он начал свою журналистскую карьеру с публикации беспощадно правдивого отчета о стачке в Патерсоне в штате Нью-Джерси. Он укрепил свою репутацию смелого репортера, умеющего живо и оригинально освещать события, репортажами из Мексики, из армии Панчо Вильи. Только он один в качестве репортера радикального журнала «Метрополитен» рассказывал своим соотечественникам правду о мексиканской революции. Вернувшись из Мексики, Рид почти сразу же отправился в Европу на один из фронтов мировой войны. Его правдивые репортажи о тяжком труде окопной войны вызвали сенсацию в Америке, принесли ему известность и открыли перед ним блестящее будущее прославленного журналиста. Будь Рид человеком меньшего масштаба, он мог бы считать свою карьеру вполне обеспеченной. Но Рид никогда не был узколобым обывателем. Он обладал почти невероятной способностью правильно оценивать факты и разбираться в людях. В Мексике он сумел увидеть, что Сапата* — подлинный революционер; позже он понял, что мировая война — чудовищный обман народов, шовинистическая ловушка.*

Он был тогда совсем молодым человеком, и публикуемая статья Ли Голда раскрывает перед нами новые обаятельные черты характера Рида, каким он был в ту пору. Точно яркая вспышка на мгновение освещает нам молодого Рида, человека, который через несколько лет поднялся в свой полный рост в коридорах Смольного.

Публикуемая статья в большей своей части основана на письмах, которые Рид писал тогдашнему редактору «Метрополитена» покойному Карлу Хови. Эти письма стали известны совсем недавно, после того как жена Хови умерла в Голливуде. Тамара Хови, дочь редактора и жена Ли Голда, просматривая бумаги родителей, натолкнулась на письма и документы, связанные с именем Рида. Это была волнующая находка, и Ли Голд сделал очень много для того, чтобы систематизировать письма и факты, разместить их в правильном порядке и снабдить необходимыми историческими ком-

* Вилья, Франсиско (настоящее имя Доротео Аранго. 1877—1923) — один из популярных руководителей партизанского движения мексиканских крестьян. Во время мексиканской революции создал партизанскую армию, сыгравшую выдающуюся роль в свержении террористической диктатуры Диаса.

* Сапата, Эмилиано (1877—1919) — герой мексиканской революции, виднейший руководитель крестьянского движения. В 1911 г. выдвинул так называемую Аяльскую программу, которая носила революционный, антифеодальный характер, призывая крестьян к вооруженной борьбе за землю.

ментариями. И вот перед нами ожил молодой Рид — высокий, худощавый, юношески порывистый, вспыльчивый и в то же время сдержанный, порой эксцентричный, иногда растерянный, но всегда полный надежд и решимости говорить людям только правду.

Последнее письмо жены Рида Луизы Брайант — несомненно, один из самых искренних и полных чувств человеческих документов: Луиза совершила долгое и трудное путешествие в революционную Россию для того, чтобы соединиться с мужем. Она писала, что, увидев наконец Рида, ей показалось, что «..он стал старше, печальнее, добрее и восприимчивее к прекрасному. Его одежда превратилась в лохмотья. На него произвели такое впечатление страдания, которые он видел вокруг, что он не хотел ничего для себя. Я была потрясена и чувствовала, что едва ли смогу подняться до той вершины страстного самоотречения, которой он достиг».

Описывая трагическую гибель Рида и его погребение у Кремлевской стены, она вспоминала: «...после того дня, когда все эти люди хоронили со всеми почестями нашего дорогого Джека Рида, я много раз бывала на Красной площади... Однажды несколько солдат подошли к могиле. Они сняли шапки, и один из них с уважением сказал: «Хороший был парень! Он пересек весь земной шар из-за нас. Это был один из наших...»

«Это был один из наших...» Вот она, настоящая эпитафия Джону Риду. Джек был американцем, и все же русский солдат может сказать: «Это был один из наших...» Люди из многих стран похоронены у Кремлевской стены, они отдали жизнь не только за победу русской революции, но и за лучшее будущее всех народов, за всемирную борьбу против агрессии, эксплуатации, угнетения, войны и варварства.

Это — единственное братство, не знающее ни границ, ни расовых и национальных барьеров. И мне хочется повторить: «Дело стоило того, Джек!»

Джеймс Олдридж

Письма Джона Рида редактору

Когда Джон Рид в 1913 году поехал в Патерсон (Нью-Джерси) наблюдать за ходом забастовки на шелкопрядильной фабрике, его там арестовали вместе с рабочими-пикетчиками. После этого он написал проникновенно-саркастическую статью о том, что испытал в тамошней тюрьме, и предложил ее журналу «Метрополитен». В связи с этим Джон Рид впервые встретился с редактором этого журнала Карлом Хови, который описал эту встречу в своих воспоминаниях о Джоне Риде.

«В маленькой комнатке-клетушке стоял высокий человек, без шляпы — он предпочитал стоять, когда говорил или слушал. Сам он говорил мало. У него было бледное, решительное лицо, а во всем его облике светилось нечто такое, что можно было бы назвать лучезарным спокойствием... Вцепившись в рукопись и не переводя дыхания, я стал говорить о его будущей работе. Я знал, что предлагаемая этим парнем статья так же мало похожа на подражание Стивену Крейну, который некогда был мастером репортажа, как и на модные «живописные» очерки. Такая статья напоминала внезапный порыв ветра, который налетел, чтобы выбить стекла в законопаченных окнах литературной рутины. В нем я увидел нового человека!»

Журнал «Метрополитен» представлял собой любопытную разновидность среди толстых популярных журналов того времени. Он принадлежал мультимиллионеру Гарри Пейн Витни, издателем его был друг Витни—Джеймс Вигем, а в редакционную коллегию входил бывший президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт. В то же время журнал провозгласил политику «защиты социализма», пытаясь танцевать на туго натянутом канате и, конечно, нередко срываясь с него. Но все же журнал умудрялся держаться в течение нескольких лет, пока раздирающие противоречия не заставили его окончательно потерять равновесие. В те годы журнал помещал не только лучшие произведения английских и американских писателей, таких, как Джек Лондон, Теодор Драйзер, Д. Х. Лоуренс, Джозеф Конрад, Ринг Ларднер, Скотт Фицджеральд и других, но также и карикатуры Арта Янга, статьи Раймонда Робинса и, само собой разумеется, Джона Рида.

Редактор «Метрополитена» Карл Хови умер в 1956 году. Его вдова Соня Левин. которая также входила в редколлегию, а впоследствии стала одной из ведущих сценаристок Голливуда, скончалась через четыре года после смерти мужа. Когда моя жена — дочь Сони и Карла Хови — и я разбирали оставшиеся после смерти ее родителей бумаги, мы нашли неопубликованную рукопись воспоминаний Карла Хови о Джоне Риде и связку писем Джона Рида, относящихся к тому времени, когда он работал в «Метрополитене».

Многие из них были написаны наспех, так как сопровождали ту или иную рукопись, которую Рид посылал в нью-йоркское отделение журнала. Однако, несмотря на то, что это были торопливые наброски, они характеризуют Рида как человека, иногда неуверенного в себе и в своей работе, скромного до самоуничижения, необычайно

эмоционального, способного впасть в отчаяние, но чаще всего упрямого и самоуверенного и всегда непреклонно ищущего истину. Он еще не был человеком, написавшим книгу «Десять дней, которые потрясли мир», но уже был на пути к этому. Из писем видно, как он стремился порадовать своего редактора из чувства признательности за то, что ему предоставили возможность печататься и зарабатывать на жизнь. Но в то же время он хотел написать о том, как он воспринимает окружающий мир и как понимает взаимодействие сил, движущих мировые события.

Рид обладал поразительной широтой мысли по сравнению с современными американскими публицистами. Он писал в период, который можно назвать наивным периодом капитализма, когда еще не произошла первая, восторжествовавшая вскоре пролетарская революция и некоторые капиталисты, очевидно, не могли поверить в «невозможное», пока оно не стало действительностью. Пока владелец издания, занятый где-то на стороне сколачиванием миллионов, не обращал внимания на журнал, редакционная коллегия могла позволить себе даже заигрывать с социализмом. Но тем не менее Джона Рида все больше ограничивали, и он вскоре стал против этого бороться. По его письмам чувствуется, как этот преданный своему делу журналист, страстно стремившийся писать только правду, вел напряженную борьбу с редактором, не осмеливавшимся печатать то, что слишком резко противоречило взглядам хозяев. Кроме того, по мере развития мировых конфликтов кругозор Рида расширялся, а кругозор журнала — сужался. В то время как у Рида раскрывались глаза на алчность и коррупцию, которые были причинами первой мировой войны, журнал все больше ослеплялся урапатриотическими идеями. К тому времени, когда Рид отошел от своего класса и примкнул к другому, журнал перестал притворяться левым, начав с еще большим упорством отстаивать свои истинные социальные позиции. Сотрудничество Рида с «Метрополитеном» было обречено на провал.

Карл Хови порвал с журналом из-за серии своих статей о влиянии Распутина на русский императорский двор. Уолл-стритовцы были разъярены и, боясь за свои торговые связи с Россией, обрушили поток оскорблений на владельца журнала Гарри Пейн Витни. Статьи перестали печатать, и Хови ушел из журнала.

Джон Рид расстался с «Метрополитеном» задолго до этого. Его деятельность в последующие годы принадлежит, конечно, истории. Письма Джона Рида отнюдь не дают полной картины его жизни, но они ценны тем, что по-новому освещают облик этого человека и помогают проследить за его развитием до того момента, когда он стал таким, каким мы его знаем.

Эти письма были написаны между 1913 и 1915 годами из Мексики, Италии, Франции...

Рид стал иностранным корреспондентом «Метрополитена» в конце 1913 года. По предложению Линкольна Стеффенса журнал решил послать его военным корреспондентом на фронты гражданской войны в Мексику. Это решение было принято во время совещания между Стеффенсом, Финли Петер Дьюном, Вигемом и Хови. Сам Рид даже не присутствовал на нем.

«Джек встретил это предложение сдержанно»,— вспоминает Хови, — но не мог скрыть своего внутреннего волнения, пыла, решимости, как бы просачивавшихся через все поры. Он был похож на жениха, которого ожидает совершенно новая, серьезная ответственность, хотя и радостная, многообещающая. Он очень тщательно продумал детали своей экипировки. Наконец мы попрощались, и он, взяв револьвер, фотоаппарат и деньги, отправился в путь. Он был в приподнятом настроении, так как ему предстояло первое настоящее испытание».

Гренвилл Хикс в своем предисловии к «Десяти дням, которые потрясли мир» пишет: «Через неделю после того, как Рид присоединился к армии, он уже восхищался Вильей. Вилья был романтической фигурой, и Рид считал его революционером. В Патерсоне репортер мог ясно представить себе происходящие события, а в Мексике все было чрезвычайно запутано. Рид видел, что Вилья храбрый человек, что его поддерживает наиболее бедная и угнетенная часть мексиканского народа и что он борется против тирании. Этого было достаточно для Рида, и он стал личным другом Вильи, братался с его солдатами и вместе с ними рисковал жизнью в сражениях. Из всего виденного и пережитого родилась яркая, увлекательная книга «Восставшая Мексика», книга о романтических героях».

Пережитое легло также в основу писем и телеграмм, которые Рид посылал из Эль-Пасо (Техас), расположенного недалеко от мексиканской границы, куда он ездил писать статьи для журнала. Вот эти письма.

7 февраля 1914 г.

Дорогой мистер Хови!

Вот вам первая статья! Я не предполагал, что она будет такой длинной, но я уже сократил ее почти на тысячу слов. Надеюсь, что она годится. Надеюсь также, что смог передать впечатление от моего путешествия и от «Ла Тропа». Полагаю, это то, что вам нужно. Конечно, если вы считаете, что ее надо сократить,— сокращайте сколько

хотите. Возможно, вам не пригодится первая часть до описания дома генерала Урбина, но вы просили меня рассказать о стране, что я и сделал. Надеюсь, что вам не придется выбросить песни, которые мне кажутся поистине замечательными. Несколько песен с переводом посылаю вам бандеролью. Может быть, вы напечатаете ноты и дадите другой стихотворный перевод.

Пожалуйста, прочтите эту статью сразу же и протелеграфируйте, что вы думаете о ней. Следующая будет короче, но сенсационнее: речь пойдет о сражении. У меня под рукой сколько угодно забавного и интересного материала о том, что происходило и происходит в конституционном правительстве, а также о том, что американцы в Мексике — это главный бич для страны. Один бизнесмен в Чиуауа сказал мне, что, если я напишу что-либо против интервенции, он пристукнет меня.

Прошу дать Мейбл Додж * первые гранки этой статьи.

Пробуду тут еще дня четыре. Я купил новый аппарат и новое оборудование, так как все потерял во время сражения. Думаю, что у меня в банке есть еще 400 долларов. Ждите моей следующей статьи.

Рид.

10 февраля 1914 г.

Дорогой Хови!

Я был так измучен после первой статьи, что не мог правильно оценить ее. Теперь я начинаю понимать, что именно я бы в ней изменил. Поэтому выбросьте все мои сентиментальности и журналистские остроты — о мире, свободе и т. д. Мне кажется, что в неприкрашенном виде все будет звучать гораздо сильнее. Пожалуйста, прочтите статью внимательно и безжалостно исправляйте, если я уж слишком сентиментальничаю. Сделайте милость...

Вторая статья о сражении, которое вы увидите на фотографии в рамке, должна пойти завтра или же в крайнем случае послезавтра. Потом я последую вашему совету и, прежде чем уехать, напишу еще одну. К сожалению, я должен как можно скорее присоединиться к армии, так как скоро наступит день самого значительного сражения в этой войне — за Торреон. Но мне кажется, что сперва стоит заехать в Мермосильо и поговорить с Каррансой **, а потом через горы в Дуранго и дальше. Я напал на след человека, знающего историю жизни Вильи, и даже из того немногого, что он может мне сообщить, я напишу такой замечательный очерк о Вилье, какой никогда еще не появлялся в печати. Мне стала известна также история жизни Урбина. Она так же интересна, как и жизнь Вильи. То же самое можно сказать и о двадцатидвухлетнем генерале Натера. Но самым замечательным человеком в этой революции является Сапата, не забывайте об этом. В «Харперс уикли» от 20 декабря есть статья о революции, настолько правдивая, насколько это вообще возможно. Хотя вожди этой революции утверждают, что Сапата связан с Каррансой, у меня есть все основания не верить этому. Он радикал, логично мыслящий и идеально последовательный. Чтобы вы убедились в этом, я пришлю вам завтра копию Аяльской программы — это программа Сапаты. Если говорить о будущем Мексики, то, по-моему, с Сапатой нельзя не считаться, но никто не верит в это и никто ничего не знает о нем. История его жизни, те обрывочные сведения, которые я сумел собрать, так же чудесны, как «Тысяча и одна ночь». По-моему, мы не получим правильного представления о том, что тут происходит, если не будем знать все о Сапате.

Я чувствую, что после взятия Торреона война на Севере станет похожа на любую другую войну. На солдат Вильи спешно надевают военную форму, им платят деньги,

---

* Мейбл Додж была близким другом Рида. У нее в доме Рид встречался как с артистическим и литературным миром Нью-Йорка, так и с радикалами того времени Биг-Билл Хейвудом, Эммой Голдмен, Александром Беркманом и другими. Она описала свои отношения с Ридом в книге «Movers and Shakers»

** Карранса, Венустиано (1859—1920) — мексиканский буржуазный политический деятель, крупный помещик. Принял в 1911 г. участие в мексиканской революции в качестве одного из лидеров национальной буржуазии. В 1914 г. стал президентом Мексики.

обучают их и приучают к дисциплине. Теперь у него есть пушка и офицеры, радио и машинистка. Северная армия становится профессиональной, заслуживающей уважения. Она не будет отличаться от других армий, но не будет и типично мексиканской. Не то что теперешняя армия Вильи. Пленных не будут расстреливать. А артиллерийские дуэли меня мало интересуют. Полагаю, что и вас тоже. По моим сведениям, война Сапаты — первое народное восстание, которое не ослабло за три года.

Карранса не радикал. Во всяком случае, не такой, каким был Мадеро *. Он скорее реформатор.

Боюсь, что невозможно проехать через центральную часть страны, не подвергая опасности жизнь. Поэтому, если вы хотите, чтобы я попал в Вера-Крус, телеграфируйте сейчас же по получении этого письма. Словом, сперва я поеду вместе с Вильей, а затем вернусь обратно. Имейте в виду, что еще никто никогда не видел Сапату и ничего о нем не написал.

Вырезка из «Нью-Йорк таймс» — это заметка о битве в Ла-Кадена, в которой я участвовал. О ней я опубликовал сообщение. Я — единственный белый, который видел ее. Но об этом в статье № 2...

17 февраля 1914 г.

Дорогой мистер Хови!

Это третья статья. Я понимаю, что она совершенно не похожа на остальные по стилю, трактовке событий и содержанию. Когда я перечитал ее, то подумал, что вы ее не возьмете. Впрочем, мне все равно. Вы говорили, чтобы я писал обо всем, что узнаю,— и вот результат. Это — первоклассный материал, и никто, кроме меня, не потрудился собрать его воедино. Если статья вам не подойдет, пожалуйста, передайте ее в «Санди уорлд» и скажите, что я сам просил об этом, или лучше направьте прямо Линкольну в «Уорлд». Четвертая статья будет написана в том же духе, что и первые две, которые вам понравились. Мы тронемся, видимо, завтра, и если я не успею разделаться с ней до отъезда, то прикончу злодейку где-нибудь по дороге, а по возвращении у меня для вас будет масса нового материала. Не думаю, что мне захочется задержаться тут дольше, чем на месяц, но если через четыре, пять месяцев Вилья вступит в Мехико, мне кажется, хорошо было бы вернуться обратно и сопровождать его, если вы не потребуете, чтобы я повидался с Сапатой. Мне обойдется гораздо дешевле сперва приехать в Нью-Йорк, а потом вернуться обратно, если тут за это время что-нибудь произойдет. Но, вероятнее всего, понадобится не менее полугода, пока он подойдет настолько близко, чтобы ударить по Мехико, а до тех пор я просто буду терять время, слоняясь без дела. Но после взятия Торреона я надеюсь вернуться сюда с великолепным рассказом о том, как был захвачен и разграблен большой город.

Я очень сблизился с Вильей, и завтра вы получите фотографию, где мы сняты в форме. Но вы не должны называть меня офицером, разве что в шутку. Будьте с этим очень осторожны: шутите сколько угодно, но только дайте ясно понять, что это всего лишь мистификация. Мексиканцы не очень-то во всем этом разбираются, поэтому меня могут отправить обратно к границе. Кроме того, поскольку я не сражаюсь, я не хочу выступать в роли героя войны.

Глубоко признателен за вашу поздравительную телеграмму. Она меня подбодрила. Будьте уверены, что я сделаю все возможное для «Метрополитена». Как только мы сядем в поезд и тронемся на юг, я начну писать о Вилье с его же слов. Он говорит, что ничего не утаит от меня... Это будет не только необычайно волнующий рассказ, но и замечательный человеческий документ. Он вызовет сенсацию во всем мире...

---

* Мадеро, Франсиско Индалесио (1873—1913) — мексиканский буржуазный политический деятель. В 1911 г. возглавил восстание против диктатора Диаса и после его свержения стал президентом Мексики. Мадеро обещал вернуть крестьянам земли, отнятые помещиками, но не выполнил своего обещания и потерял поддержку народных масс. Это дало возможность реакции организовать контрреволюционный переворот Уэрты. В феврале 1913 г. Мадеро был арестован и убит.

Написав вторую статью, я что-то расклеился и пролежал два дня с приступом малярии. Но теперь все в порядке. Жизнь тут, в Эль-Пасо, стоит черговски дорого, но мне нужна хорошая комната и масса сигарет. Ужасно хочется быть в Мехико...

Рид.

Кроме писем, мы обнаружили и другие документы. Хови называл их «странными клочками бумаг, которые Рид имел привычку посылать домой»: военные пропуска, различные документы, выданные в армии Вильи, в том числе и приказ о присвоении ему звания бригадного генерала («En vista de muy importantes cervicios prestados a la Causa» *) — и это несмотря на убедительное предупреждение Рида, что не следует всерьез называть его офицером этой армии! Там был выцветший кусочек голубой бумаги, сохранившийся в память о том, что Рид посетил семью Лонхиноса Гареки, своего самого близкого друга среди солдат «Ла Тропа». Вверху было написано: «Con mucho gusto a usted» **. Под посвящением расписывались все члены семьи: престарелые отец и мать, все братья и сестры и, наконец, сам Лонхинос Гарека, который был убит в сражении на следующий день.

Джон Рид вернулся из Мексики уже чем-то вроде знаменитости. Через несколько месяцев началась война в Европе, и журнал решил еще раз послать его за границу, на сей раз военным корреспондентом при армии союзников.

Хови не смог попрощаться со своим корреспондентом: он узнал о том, что Рид отплыл в Европу в августе, когда, по его словам, «...неописуемо тощая фигура в грязном костюме бочком вошла ко мне в кабинет и сунула мне в руку письмо. На нем жирным шрифтом было обозначено название банка — «Манхэттен ойстер энд шоп хаус» и стояла пометка. «3 часа дня». Письмо содержало последние инструкции Рида относительно его вкладов в банк, которыми могла бы пользоваться его семья, а затем шли многозначительные слова: «Проглаживайте все мои статьи горячим утюгом» и «Да поможет мне бог», написанные разборчивым, круглым, небрежным почерком Рида. В это время, конечно, он уже был в море, на итальянском пароходе, направляющемся в Неаполь: он вступал в Европу, охваченную войной, через черный ход».

* За большие заслуги в нашем деле *(исп.)*.
** Вам, с лучшими чувствами *(исп.)*.

Рим, 2 сентября 1914 г.

Дорогой Хови!

Тут мне делать нечего. Сегодня ночью отправляюсь в Париж, где готовятся к большой осаде. По-моему, нет никаких сомнений, что она приближается. По мнению английского посла, с которым у меня был конфиденциальный разговор, Италия, по всей вероятности, вступит в войну недели через три, конечно на стороне Франции. В Германию сейчас никак не попадешь. Всех корреспондентов арестовывают как английских шпионов. Я не смог связаться с лондонской «Морнинг пост», куда вы обещали телеграфировать, поэтому придется обойтись без нее. Сейчас у меня денег достаточно, но не знаю, надолго ли мне их хватит. Мой парижский адрес — посольство. Я думаю, что после Парижа поеду в Россию, а потом буду пытаться проникнуть в Германию. Тут ничего нельзя ни увидеть, ни узнать. Это ужасно.

Рид.

Это первое письмо из Парижа «было довольно бессмысленно,— пишет несколько сбитый с толку Хови.— Мы надеялись и в дальнейшем не теряли надежду, что Рид быстро найдет дорогу в армию союзников. «Проглаживайте все мои статьи горячим утюгом»,— советовал он беспечно; но, мне кажется, никто этого не делал». Следующее письмо Рида было написано через месяц.

Париж, 11 октября 1914 г.

Дорогой Хови!

Не могу передать вам, как я страдал с тех пор, как приехал сюда, тщетно пытаясь объяснить, что представляет собой эта война. Я чувствовал, что мои две следующие статьи ужасны. Кажется, никто не в состоянии понять того, что здесь происходит, и я чувствую, что именно я должен это сделать, иначе грош мне цена. Раз двадцать я уже готов был бросить все и уехать домой. Но кажется, здесь все-таки можно кое-что

найти. Ради бога, телеграфируйте ваше мнение, когда получите эту статью. Я написал вам около 5000 слов на Марне, где я был вместе с английской армией, и теперь чувствую, что еще раз не смогу написать об этом. Знаю, что этот материал никуда не годится, но, может быть, вы используете его для редакционной врезки к той статье, которую я сейчас посылаю. Эта врезка будет предисловием о том, с какими трудностями сталкиваются корреспонденты и как глупо писать об этой войне из окопов. С тех пор как меня послали в Тур, я опять был арестован, на этот раз в Сезанне, и на моем паспорте сделали отметку, лишившую меня всякой возможности когда-либо снова попасть во французскую зону; кроме того, на этот раз мне серьезно угрожали двумя годами заключения во французской крепости. Я бы мог завербоваться во французскую армию, но не хочу сидеть в окопах по меньшей мере года два, и у меня нет никакого желания убивать немцев, а французы беспощадны к дезертирам.

Я остался в Париже для того, чтобы написать эту статью и еще потому, что тут, мне кажется, может многое произойти. Хотя в официальных коммюнике говорится «Все прекрасно», названия упоминаемых в них пунктов свидетельствуют о том, что союзники медленно, но верно отступают почти по всем направлениям. Народ тут, кажется, верит, что осада Парижа — это лишь вопрос времени и что падение Антверпена и Остенде в ближайшем будущем освободит огромные силы немцев, которые обрушатся на позиции союзников.

Кроме того, и тут, и в Лондоне все находятся в постоянном страхе перед налетами цеппелинов. Сегодня два немецких самолета сбросили 20 бомб на город, и во многих местах возникли пожары — конечно, небольшие, и их легко ликвидировали, но... Самолеты медленно пролетели над крышами по своему назначению, и никто их не тронул. У немцев тысяча цеппелинов.

Побывал в Англии и сейчас заканчиваю превосходную статью о ней. Боюсь, что Вигему она может не понравиться, ибо в ней чувствуется мое глубокое отвращение к этой стране. Но тем не менее вы получите ее со следующим кораблем.

С этой же почтой я вам посылаю сверток с целым набором разных вещичек: французские уличные песни, две карикатуры (одну из них, «Немецкий варвар», вы могли бы использовать как шапку для этой статьи) и две иллюстрации американского художника, который побывал на фронте. Как фактический материал эти иллюстрации вполне приемлемы, хотя и не представляют собой ничего особенного. Впрочем, они могут сойти. Я заплатил из ваших денег по пяти долларов за штуку, потому что бедняга голодал. Если они вам понравятся, тогда его устроили бы 15—20 долларов за каждую иллюстрацию, а если нет, ну что ж, тогда вычтите у меня эти 10 долларов...

В полном отчаянии я почти совсем отказался от какой-либо работы для «Уорлда». Я не могу посылать телеграммы за свой счет, а письма идут слишком долго. Кроме того, мой лучший материал, как всегда, предназначен вам. То, что вам не подходит, пересылайте в «Уорлд» Линкольну. В Лондоне я встретил журналиста из «Экспресса» и мог бы кое-что сделать для него. Но пока я ничего не решил. Эта война становится все более отвратительной, бессмысленной и глупой, и у меня нет времени для сочинения убогих очерков.

Кажется, теперь я знаю, что мне делать. Я хочу написать серию статей, содержащих анализ положения каждой воюющей страны и, конечно, одновременно живые впечатления, если они у меня будут. Вас это удивляет? Пишите мне по-прежнему на посольство, мне оттуда будут пересылать.

Вы, наверно, читали английские, немецкие, австрийские и сербские документы о войне. На днях выйдет французская книга. Если вы ее еще не достали, купите книжку оксфордского профессора современной истории «Почему мы воюем?»; это, так сказать, официальный отчет англичан о войне. Мне кажется, что Германия виновата не больше, чем Англия. От этой книжки охватывает ужас...

Рид.

Если вы используете статью, пожалуйста, пошлите гранки Мейбл Додж.

* * *

Между Ридом и редакционной коллегией «Метрополитена» уже назревал конфликт Иностранные корреспонденты в Европе переживали тяжелое время· они не могли свободно передвигаться, и им нелегко было получать пропуска на линию фронта. Рид был в какой-то степени блокирован в Париже. Но он уже достаточно познакомился с этой войной, чтобы не одобрять ее, а редакция «Метрополитена», не одобряла материалы, которые он ей присылал. «Статья, присланная с вышеприведенным письмом, оказалась посредственной,— писал Хови,— а в «превосходной» статье об Англии Рид проявил мальчишество в худшем смысле этого слова; он разразился банальными злобными выпадами, известными еще со времен Георга III. Ни одна из них не могла пригодиться».

Была ли статья действительно «посредственной»? Возможно. Но могло быть и так, что откровенное отрицание войны шло вразрез с политикой журнала, который начинал склоняться к идее вмешательства в войну. Была ли статья об Англии действительно «мальчишеской в худшем смысле этого слова»? Или же такое мнение было связано с тем, что журнал попал в неудобное положение. ведь его издатель Вигем был англичанином?

Шеврез, 15 ноября 1914 г.

Дорогой Хови!

Как я уже писал вам, я получил вашу телеграмму вчера и телеграфировал вам, чтобы вы отдали статью об Англии Липпману. Я был немного удивлен вашей критикой. Я представлял себе, что статья может вам не понравиться, но никак не думал, что вы сочтете ее «устаревшей и малозначительной». Но, может быть, об этом уже писали у вас, а тут — нет, даже в Германии. Все считают само собой разумеющимся, что «Белая книга» сэра Эдварда Грея — истинная правда, которая демонстрирует стремление Англии сохранить мир в Европе. Но составители немецких, австрийских, русских сборников документов и дипломатической корреспонденции с таким же основанием претендуют на то, чтобы их страны считались хранительницами мира. Вы постоянно доказывали в ваших заявлениях и в беседах с миссис Мейбл Додж, что я явно не способен схватить главное в создавшемся положении и дать четкий анализ, как я это сделал в Мексике. Ну что ж, вы хотели анализа, я тоже, но я не могу по-другому относиться к этой мрачной и непопулярной войне. Когда мы с вами беседовали перед моим отъездом, вы мне сказали, что нет необходимости ездить на линию фронта, достаточно понять, как относится к войне народ. Но сейчас мне кажется, что вам нужны именно батальные сцены. Прекрасно, вы их получите, если я буду уверен, что смогу хорошо о них написать. Я еще подумаю об этом. Тем не менее совершенно очевидно, что во Франции мне нечего делать. Через две недели я уеду в Германию, а потом, когда выполню порученное мне неприятное задание, поеду, уже зимой, на русский фронт, где постараюсь пробыть до взятия Будапешта, а затем — на Балканы или в Турцию.

Мне очень не понравилась передовая статья Вигема об «Уроках войны». Она кажется мне необычайно поверхностной. Я напишу вам об этом, когда приду домой. Сейчас я сижу в кафе и у меня под рукой нет экземпляра «Метрополитена». На неделю я выехал за город. Здесь и дешевле, и полезнее для здоровья, чем в Париже.

Рид.

* * *

Мой дорогой Хови!

Я получил ваше запоздалое, но сердечное письмо только день или два назад. Оно вселило в меня новые силы, и, если вы сможете подождать, я еще напишу что-нибудь хорошее для вас. Я в этом уверен. Не согласен с вами, что мои замечания об однообразии английских лиц выражают «презрение», а упоминание об их чаепитиях — «бестактно». В англичанах всего более поражает именно неизменность их внешнего облика и постоянство привычек. Тем не менее я допускаю, что статья заслуживала осуждения и что я, возможно, был резок. Думаю, что я должен написать о немцах такую же статью, как об англичанах, несмотря на то, что она вам не понравилась. Полагаю, что важно сказать об исторических корнях этой войны. Если вам не нужен такой материал — что ж, тогда я для вас сделаю только зарисовки, а статью пошлю еще куда-нибудь.

Я только что прочитал в «Харперсе» от 14 ноября очерк Геральда Моргана, в котором он говорит обо мне и о Данне. Разрешите вам сказать, что у меня тоже есть такой пропуск и что я трижды пытался поступать, как он, но у самых ворот Парижа мне приходилось поворачивать обратно. В этой поездке мне ужасно не везло. Мне не было страшно, и я не хочу, чтобы вы так думали. Но, видимо, это просто для меня недостижимо. На это есть и другие причины, помимо тех забот, которые так мучают меня. Но об этом я расскажу вам как-нибудь в другой раз. Я действительно прошел через сущий ад.

Остается только выяснить, хотите ли вы, чтобы я приехал домой, после того как выполню все задания, или же чтобы я продолжал мои попытки. Мне кажется, что ваше письмо поощряет меня к последнему. Кстати, пожалуйста, больше не показывайте моих писем миссис Додж Напишите мне, что вы хотите, чтобы я для вас сделал? В конце следующей недели я уезжаю в Германию, но письма мне будут по-прежнему пересылать отсюда, из посольства.

Я сегодня получил от Вигема телеграмму, в которой говорится: «В каждой армии находится несколько американских корреспондентов. Вам совершенно необходимо последовать их примеру».

Этого, конечно, я не сделаю. Если я не смогу увидеть войну так, как мне этого хочется, что же, значит, я вовсе ее не увижу.

Ваш Рид.

Если ваши коллеги думают, что я тут развлекаюсь и бездельничаю, выбросьте это из головы. Девушка, которую я люблю, находится в бессознательном состоянии, и я пытаюсь ее спасти.

* * *

У Рида по-прежнему были трудности. 1 декабря он писал из Парижа:

Дорогой Хови!

Сегодня я получил вашу телеграмму, в которой сказано: «Письмо получил. Мы охотно пошлем вам деньги, если вы немедленно вернетесь в Нью-Йорк и посоветуетесь с нами, чтобы мы могли, насколько возможно, помочь вам. Мы не можем все уладить на таком расстоянии».

Я вам телеграфировал, что должен поехать вместе с Фредди к ее отцу в Германию, а после этого, если хотите, могу немедленно вернуться домой. Но мне сейчас крайне необходимы 600 долларов, и, если вы не можете мне дать эту сумму, я попытаюсь достать деньги еще где-нибудь. Поверьте, я бы не написал вам об этом, если бы не был в отчаянном положении. Я уже заплатил 200 долларов, чтобы начать бракоразводный процесс... У меня осталось 400 долларов, а я должен больше 309 юристу. 600 долларов мне нужны для поездки в Германию и домой... Конечно, если у меня будет возможность попасть на германский фронт и написать что-нибудь, я это сделаю. А вдруг я смогу повидать императора, если вы хотите, чтобы я попытался еще раз. Если нет, то я сразу же поеду домой. Но я опять в форме, чувствую себя сильным, здоровым, снова обрел энергию и способность слышать и видеть, и наконец я снова свободен, как в Мексике. Мистер Херрик, наш посол, лично подал запрос в секретариат военного министерства Франции о том, чтобы мне разрешили поехать на фронт, и, быть может, я в конце концов получу разрешение. Я буду держать вас в курсе дела.

Посылаю вам маленький рассказ. Его нужно сократить. Если он вам не пригодится, перешлите его в «Мэссиз».

Рид.

* * *

Дорогой Хови!

Сегодня я получил вашу телеграмму о деньгах и все еще слишком взволнован, чтобы должным образом выразить глубокую благодарность, которую я испытываю к вам и к журналу. Я могу сказать только одно: вы, не ставя никаких условий, поверили мне и послали деньги. Теперь, со своей стороны, мне хочется что-нибудь сделать для вас, если, конечно, после моего провала это еще что-нибудь для вас значит. Про-

шлым летом вы говорили со мной о том, что при желании я мог бы заключить договор с Вигемом, по которому мне пришлось бы писать только для одного журнала, то есть для «Метрополитена». Мне помнится, вы хотели, чтобы все мои статьи печатались только в вашем журнале, а этого я не мог вам обещать. Теперь мне хочется вам сказать, что в течение следующих двух лет я предоставлю вам исключительное право на мои статьи и обязуюсь нигде ничего не публиковать без вашего разрешения. Можете считать это моим договором. Вопрос об оплате оставляю за вами, зная, что вы меня не обманете.

Обо мне не беспокойтесь. Я освободился от бремени, которое могло раздавить меня. Я собираюсь жениться на Фредди Ли, нас связывает взаимная симпатия, понимание и профессиональные интересы. Я счастлив, полон энергии и готов снова хорошо работать. Мне кажется, теперь это будет для меня нетрудно. Но если во время моего пребывания в Германии у меня не будет возможности осуществить мои и ваши надежды, я приеду домой и поговорю с вами. Пока что до отъезда из Парижа мне, может быть, разрешат поехать на несколько дней на французский фронт. Я жду ответа на запрос посла обо мне в военное министерство.

Не унывайте! Для меня жизнь начинается снова.

Рид.

«Рид был журналистом нового типа,— писал Хови.— Обычно иностранные корреспонденты того времени, следуя общепринятым правилам и установившимся представлениям, больше интересовались государственной политикой, чем жизнью народа, и писали о генералах больше, чем о рядовых... Рид же, следуя своему природному влечению, раскрывал все богатство наблюдаемой им действительности»

Рид многое повидал в Германии. Он не женился на Фредди Ли, но на фронт в конце концов все же попал. Он был послан в Европу военным корреспондентом при армиях союзников, но под конец наблюдал эту войну из немецких окопов.

Репортажи Рида об окопной войне поразили читателей «Метрополитена», как «откровение,— писал Хови.— Впервые они увидели с такой неизгладимой ясностью подлинные мучения солдат — прозябание в грязи, однообразие, отчаянную усталость, нервное напряжение и апокалиптический ужас сверкающих и сотрясающих землю орудийных залпов — все эти неведомые прежде и даже невообразимые, жуткие особенности войны совершенно нового типа. Это был один из первых потрясающих обвинительных актов против войны».

Рид вернулся в Соединенные Штаты и привез с собой статью «В немецких окопах». «Как сейчас вижу его перед собой,—вспоминает Хови.—Он стоял в редакции — настоящая громадина в грязной окопной шинели— и с застенчивой улыбкой протягивал мне свою рукопись. Он знал, что не приходится спрашивать, удалась ли она ему»

Ли Голд

Борьба до последнего дыхания

Письмо Луизы Брайант Максу Истману

Москва, 14 ноября 1920 г.

Дорогой Макс!

Я знала, что вы хотели бы получить подробные сведения и рассказ для «Либерейтора», но у меня не хватило ни сил, ни мужества для этого. Я в состоянии лишь написать вам бессвязное письмо, а вы можете использовать его, как хотите. Смерть Джека, мое нелегальное, полное опасности путешествие в Россию и ужасные недели в тифозном госпитале совершенно сломили меня. На похоронах у меня был очень тяжелый сердечный припадок, который я перенесла только чудом. Пять врачей сошлись на том, что я переутомила сердце, просиживая долгие дни и ночи у постели Джека; теперь у меня расширение сердца, и это уже непоправимо. Однако врачи разошлись в вопросе о том, когда может повториться приступ. Я вам пишу обо всей этой ерунде, потому что от нее никуда не денешься и потому что об этом положено писать в письмах. Американские и немецкие доктора дают мне год и даже два, русские — только несколько месяцев. Мне прописаны возбуждающие средства, и я совершенно не испытываю боли. Надеюсь, что у меня больше сил для выздоровления, нежели думают

врачи, но в конце концов это не так уж важно. Я как-то обещала Джеку, что в случае его смерти приведу в порядок все его работы. Если я окрепну, то приеду домой и выполню это обещание.

Жизнь никогда не бывает такой прекрасной, как нам хотелось бы. Было бы слишком хорошо, если б моя жизнь кончилась так же и меня похоронили бы на Красной площади. Но я, вероятно, умру в полном одиночестве, и меня похоронят без развевающихся знамен.

Все, что я сейчас пишу, кажется сном. Я не испытываю никакой боли и не в состоянии поверить, что Джек умер, что он сию минуту не войдет в эту комнату.

Джек болел двадцать дней. Только два раза по ночам, когда он немного успокаивался, я могла прилечь. Сыпной тиф невозможно описать: больной тает на ваших глазах и умирает в судорогах или в безумном бреду. Проведя дни и ночи в таком аду, нельзя остаться прежним человеком.

Впрочем, я должна сперва рассказать вам, как я, после моего нелегального путешествия вокруг света, нашла Джека. Обогнув Финляндию, я плыла двенадцать дней по Северному Ледовитому океану и четыре дня скрывалась от полиции в рыбачьей хижине вместе с финским офицером и немцем. приговоренными к смерти у себя на родине. Когда я, наконец, добралась до советской территории, то очутилась не возле Джека, а на другом конце России. Когда же я попала в Москву, он был в Баку, на конгрессе народов Востока. Гражданская война бушевала на Украине. Он получил телеграмму, посланную по военной линии связи, и приехал в Москву в бронепоезде. Утром 15 сентября он с шумом ворвался ко мне в комнату. А через месяц его не стало.

Только одну неделю мы провели вместе, пока он не слег. Мы были невероятно счастливы, что, наконец, нашли друг друга. Мне показалось, что он стал старше, печальнее, добрее и восприимчивее к прекрасному. Его одежда превратилась в лохмотья. На него произвели такое впечатление страдания, которые он видел вокруг, что он ничего не хотел для себя. Я была потрясена и чувствовала, что едва ли смогу подняться до той вершины страстного самоотречения, которой он достиг. У него еще были свежи воспоминания об ужасных испытаниях, перенесенных в финской тюрьме. Он мне рассказал о своей камере. темной, сырой и холодной. Почти три месяца провел он в одиночке, кормили его только сырой рыбой. Иногда он впадал почти в бредовое состояние и видел меня мертвой. Иногда ему казалось, что сам умирает, и тогда он писал на полях книг и где попало маленькое стихотворение:

Думая и мечтая,
Днем и ночью, и опять днем,
Не могу выкинуть из головы горькую мысль,
Что мы потеряли друг друга.
Ты и я...

Но когда мы гуляли в парке под белыми березами или разговаривали в те короткие и счастливые ночи, смерть и разлука казались нам очень далекими.

Мы вместе побывали у Ленина, а также у Троцкого, Каменева, Энвера Паши, Белла Куна. Мы ходили на балет и на «Князя Игоря», побывали в старых и новых картинных галереях.

Его снедало желание поскорее вернуться домой. Я видела, что он устал и болен, что у него наступает полный упадок сил, и пыталась уговорить его отдохнуть. Русские мне говорили, что иногда он работает по 20 часов в сутки. В самом начале болезни я попросила его обещать мне, что перед отъездом он отдохнет, так как возвращение домой означало снова тюрьму, а я чувствовала, что этого он уже не перенесет. Я помню, он как-то странно посмотрел на меня и сказал: «Моя дорогая, маленькая, любимая, я сделаю все, что только смогу, для тебя, но не проси меня стать трусом». Я совсем не то имела в виду, и мне стало очень обидно, я разрыдалась и сказала, что он может ехать куда угодно, хотя бы следующим поездом, и я поеду с ним и на смерть, и на любое мучение. Тогда он со счастливой улыбкой сказал мне: «Вот теперь мы действительно нашли друг друга». Все последующие дни он крепко держал меня за руку. Я не могла отойти от него, он сразу же начинал звать меня. Теперь у меня такое чувство, что я не имею права жить.

О его болезни я едва ли смогу что-нибудь написать. Это было сплошное страдание. Я только хочу, чтобы вы все знали, как он боролся со смертью. Если бы не эта борьба, он умер бы на много дней раньше. Старухи санитарки из крестьянок пробирались в церковь, молились за него и ставили свечу за спасение его жизни. Даже они были тронуты, а ведь им ежечасно приходится видеть агонию умирающих людей.

Когда он бредил, это не было похоже на обычный страшный бред тифозных больных. Он всегда узнавал меня, в его сознании жили стихи, рассказы и прекрасные, причудливые мысли. Например, он говорил: «Знаешь, как бывает, когда попадаешь в Венецию? Ты спрашиваешь прохожего: «Это Венеция?» — только ради удовольствия услышать подтверждение!» А иногда он говорил, что вода, которую он пьет, полна пенсенок. И, как ребенок, он выдумывал замечательные приключения, в которых мы оба проявляли большую храбрость.

За пять дней до смерти у него отнялась правая сторона. Он уже не мог говорить, и поэтому мы бодрствовали дни и ночи, все еще надеясь, хотя уже не было никакой надежды. Даже когда он умер, я не поверила в это. Видимо, после этого я несколько часов просидела рядом с ним, разговаривала и держала его за руку. И вот пришел день, когда он, уже обряженный, лежал в гробу в Доме Союзов и ему оказывали военные почести. У гроба неподвижно стояли четырнадцать солдат, их штыки сверкали, а на их военных фуражках были красные звезды коммунизма.

Джек лежал в большом серебряном гробу, весь в цветах, а вокруг развевались знамена. Солдаты открыли крышку гроба, чтобы я смогла в последний раз поцеловать его в высокий бледный лоб.

В день похорон мы все собрались в большом зале, где он лежал. Я мало что помню об этом дне. Когда мы тронулись в путь, было холодно, небо хмурилось, шел снег. Помню, как плакали люди, развевались знамена и военный оркестр все снова и снова играл скорбный похоронный марш.

Русские ни в чем не мешали мне, видя мое горе, как не мешали мне, когда я, отбросив всякую предосторожность, ходила в тифозный госпиталь. В день похорон я чувствовала себя очень гордой и даже сильной. Мне захотелось, по русскому обычаю, идти совсем одной вслед за катафалком. На Красной площади, слушая ораторов, я старалась выглядеть мужественной. Но я оказалась совсем не мужественной, я упала на землю и не могла ни говорить, ни плакать.

Я не помню, что говорили ораторы. Я помню только их прерывистые голоса. Потом я почувствовала, что они умолкли, а знамена начали низко склоняться. Я услышала, как первый ком земли покатился в могилу, и тогда во мне что-то оборвалось. Прошла целая вечность, и я пришла в себя в моей кровати... Около меня стояли Эмма Голдмен, Беркман, два врача и высокий молодой офицер Красной Армии. Они о чем-то шептались, и я снова уснула.

Но после того дня, когда все эти люди хоронили со всеми почестями нашего дорогого Джека Рида, я много раз бывала на Красной площади. Я бывала там в будни, днем, когда вся Россия спешит, когда спешат лошади, запряженные в сани с колокольчиками, крестьяне со свертками и солдаты, с песнями идущие на фронт. Однажды несколько солдат подошли к могиле. Они сняли шапки, и один из них с уважением сказал: «Хороший был парень! Он пересек весь земной шар из-за нас. Это был один из наших...» Через минуту они вскинули винтовки на плечи и пошли своей дорогой.

Я бывала там звездными ночами, и мне очень хотелось лечь рядом с замерзшими цветами и металлическими остовами венков и больше не просыпаться. Как это было бы легко!

Шлю привет всем старым друзьям. Я бы хотела, чтобы это письмо прочли Майк и Арт. У. и Боб Майнор. А может, и миссис Гилон, мать Бена, захочет его прочесть.

Я хочу, чтобы наши вещи, мои и Джека, не трогали до моего приезда. Это я поручаю Эстер.

Желаю вам всего хорошего. Пришлите нам «Либерейтор» и статьи о Джеке.

Луиза

Сын революции

Как-то — это было в Москве летом 1920 года — Рид подобрал на улице белого мохнатого щенка, принес к себе, выкупал, накормил, нарек его Паддли («Лужник») и обратился к нему с торжественной речью, в которой пожелал щенку всех тех добродетелей, которыми сам он, Рид, не обладал. Перечень оказался, увы, довольно длинным. В нем, в числе прочего, было «умение содержать в порядке свой письменный стол», а также «способность сохранять черновики и старые бумаги».

Достаточно было взглянуть на комнату Рида, чтобы убедиться в обоснованности этих пожеланий: повсюду — и на столе, и на полу, и на подоконнике — лежали горы бумаг, книг, газетных вырезок, журналов, блокнотов, записных книжек. Время от времени Рид устраивал над всем этим «страшный суд» — и в первую очередь летели в огонь его собственные записи и черновики.

Все это происходило не вследствие неаккуратности, но просто потому, что Рид всегда жил на ходу — приезжал, уезжал, готовился к отъезду. Его комната была для него лишь коротким биваком во время похода. Те, кто его знали и писали о нем, а его знали и писали о нем многие, рассказывают, как он взбудораженно врывался в комнату, как — непременно стоя — ораторствовал перед группой собеседников, выступал на митингах, размашисто шагал по улицам, скакал на коне, прыгал со скалы в бушующее море, пел, спорил, ругался, дирижировал многотысячным хором патерсоновских стачечников. Но никто не запомнил его, профессионального литератора, за письменным столом. Ибо он писал и работал так же, как жил,— на ходу.

Он был веселый и храбрый, остроумный и юношески вдохновенный, весь порыв, весь движение. Близкий друг его Борис Рейнштейн — русский большевик, много лет работавший в американском рабочем движении,— хорошо определил основные черты его характера: любовь к истинной свободе и безграничная смелость мысли и действия. Еще когда он был мальчуганом, бабушка прозвала его львенком. Львенком же назвал его в своих воспоминаниях Карл Хови, адресат публикуемых выше писем. Было в нем что-то очень молодое, даже мальчишеское Арту Янгу он напоминал Гавроша, Эптону Синклеру — Тиля Уленшпигеля. Одна из американских газет в годы первой мировой войны писала о нем: «Мятежный Рид». А рабочий-стачечник, сидевший с Ридом в тюрьме, сказал о нем: «Он делал нас счастливыми».

Иногда он совершал наивные, почти детские поступки: приводил к друзьям какую-нибудь безголосую певичку, убежденный, что она изумительно поет, или объявлял бездарного виршеплета величайшим поэтом современности. Но в то же время он обнаруживал поразительный ум и прозорливость во всем, что касалось социальных вопросов, и наперекор течению, наперекор друзьям, традициям, среде шел к своей единственной жизненной цели — социализму.

Биограф Рида Джон Стюарт справедливо указывает, что хотя Рид оставил в своих произведениях летопись своей жизни, но до сих пор мы далеко не полно знаем его жизнь, его образ. Даже тогда, когда мы располагаем собственным рассказом Рида, многое остается неизвестным. Пример тому — его поездка в Мексику. Тот, кто знает историю мексиканской революции и читал книгу Рида «Восставшая Мексика», не может не задать вопрос: почему Рид увидел в Мексике только Панчо Вилью, но не увидел Сапату, имя которого даже не упомянул в своей книге? И ежели он, читатель, склонен к поспешным приговорам, он тут же объявит, что Рид «недопонимал» характер мексиканской революции — или что-нибудь еще в том же роде. Между тем, как видно из писем к Карлу Хови, Рид знал, что именно Сапата является «замечательным человеком революции». И письма Рида к Хови показывают, что, наблюдая за ходом мексиканской революции, он видел не только яркие побеги ее буйной вольницы, но и ее глубокие социальные корни.

Мы много знаем о Риде, но многого не знаем. Поэтому так ценны для нас его письма, которые сегодня впервые публикуются, поэтому так потрясает рассказ Луизы Брайант о последних днях его жизни.

У Рида есть рассказ «Дочь революции». Самого Рида с полным правом можно назвать сыном революции. Недаром русский солдат, которого Луиза Брайант повстречала у могилы Рида, сказал: «Это один из наших...» Да, он был наш — этот удивительный американец, отдавший свою жизнь революции, человек, чья жизнь и чьи книги вдохновляют и будут вдохновлять людей, как вдохновили они румынского художника Жюля Перахима, создавшего серию ярких иллюстраций к книге Рида «Десять дней, которые потрясли мир».

Тот, кто видел собственными глазами события, описанные Ридом в его книге, не может не испытать изумления перед тем, как глубоко и точно Жюль Перахим почувствовал и передал в рисунках, которые публикуются в этом номере журнала, дух того великого, неповторимого времени.

В октябре 1962 года исполняется 75 лет со дня рождения Джона Рида. Пусть же публикация писем Рида из архива Карла Хови положит начало подготовке к этой дате, которую отметят передовые люди всего мира.

Е. Драбкина

Профессор Фридрих Кауль

ОБЛОМКИ И НАСЛЕДНИКИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

«Убийца!.. Гнусный убийца!» — истошный крик, словно острие клинка, рассек напряженную тишину, царившую в зале суда. По рядам слушателей, которые до отказа заполнили поднимающиеся амфитеатром скамьи против судейского стола, проходит возбужденный ропот. Многие подхватывают этот возглас. Звучат проклятия. Неужели будет нарушен порядок, так неукоснительно соблюдавшийся здесь доныне?

Оба представителя обвинения, которые по англосаксонскому образцу, принятому в здешнем судопроизводстве, сидят за одним столом с защитником лицом к судьям, беспокойно оглядываются. Тучный защитник тоже окидывает испуганным взглядом неожиданно заволновавшихся слушателей.

Председательствующий в черной судейской мантии приподнимается с места и нетвердым голосом призывает публику к порядку. Потом он еще раз ударяет ладонью по столу: «Тише!» Когда он отдает подоспевшим полицейским распоряжение обеспечить нормальный ход судебного заседания, голос его заметно дрожит.

И лишь один человек во всем зале сохраняет спокойствие. Даже мимолетным движением маленьких глубоко посаженных глаз, скрытых за темными очками в роговой оправе, не выдал он ни малейшего беспокойства.

Напротив. Откинувшись на спинку удобного стула и не снимая наушников, он равнодушно, хотя и не без любопытства, наблюдает из своей стеклянной клетки за всем, что происходит в зале.

Однако именно к нему относился крик «Убийца!.. Гнусный убийца!», именно его осыпали проклятиями слушатели, именно его судят в этом зале, именно его, эсэсовского оберштурмбаннфюрера Адольфа Эйхмана!

Кто же такой Адольф Эйхман? Почему взволнованное ожидание охватило весь мир, когда в мае 1960 года стало известно, что Эйхман задержан в Южной Америке и доставлен в Израиль, где должен предстать перед судом?

Ответ на этот вопрос дает беседа, которую мне, как юридическому правозаступнику еврейских граждан Германской Демократической Республики, чьи ближайшие родственники были убиты Эйхманом, довелось иметь в Иерусалиме с генеральным прокурором Израиля Гауснером за несколько недель до начала процесса Эйхмана, точнее, 20 февраля 1961 года.

Речь шла об участии представляемых мной граждан ГДР в процессе против палача Эйхмана в качестве сообвинителей. Генеральный прокурор считал, что только он может вести процесс против эсэсовского оберштурмбаннфюрера.

— В этом процессе,— заявил он,— дело идет исключительно о выяснении исторической достоверности совершенных Эйхманом преступлений — ни о чем больше, и уж никак не о политике.

— Господин генеральный прокурор,— отвечал я ему,— неужели вы допускаете, что Эйхман тронул бы хоть один волосок на голове хоть у одного еврея, если бы другие не создали необходимых предпосылок для его зверств?

Гауснер неуверенно назвал имена Гитлера и Гиммлера, Кальтенбруннера и Гейдриха.

— Вы говорите лишь о мертвых. А о живых ни слова...— сказал я.

Когда после этой беседы я вышел из министерства юстиции, на меня набросилась орава репортеров.

— Было ли в вашей беседе с генеральным прокурором упомянуто имя Глобке? — снова и снова звучал настойчивый вопрос.

Глобке — начальник аденауэровской канцелярии, самый могущественный после Аденауэра человек в Федеративной Республике. Казалось бы, какая может быть связь между Глобке и злодеяниями Эйхмана — убийцы миллионов?

Но именно Глобке, занимая высокий пост в министерстве внутренних дел, которым руководил казненный в 1945 году военный преступник Фрик, создавал с первых дней господства нацизма предпосылки для массового уничтожения евреев. Именно Глобке по указу Гитлера вырабатывал позорные законы, согласно которым с 1935 года евреи постепенно лишались всех человеческих прав и, наконец, стали беззащитной добычей Эйхмана и его сообщников.

Эйхман, убийца миллионов, заявил на допросе: «На основе нового законодательства и под давлением сверху непрестанно росла пропасть между евреями и остальным населением, и не требовалось большого ума, чтобы предвидеть, что следствием такого развития неизбежно явится гигантская катастрофа».

«Следствие такого развития» или «окончательное решение вопроса» состояло в убийстве 5 миллионов человек. Предпосылки для этих массовых убийств создал Глобке. Но это отнюдь не помешало канцлеру Аденауэру назначить Глобке начальником своей канцелярии и удерживать его на этом посту вплоть до настоящего времени. С первого дня существования ФРГ Глобке управляет этой республикой и за двенадцать лет рьяной деятельности сумел наложить на нее печать, вернее, клеймо своей личности.

Если Эйхман олицетворяет преступное прошлое Германии, то Глобке, соучастник его преступлений, олицетворяет сегодняшнюю Западную Германию.

И отсюда вытекает ответ на вопрос: почему же весь мир охватило напряжение ожидания, когда стало известно, что Эйхман арестован и будет предан суду?

Чем явственнее открывается всему миру суть и дух Западной Германии, тем сильнее становится во всем мире опасение, что Федеративная Республика Германии в прямом смысле слова унаследовала нацистский рейх и переняла захватническую политику Гитлера.

«Тебе придется кончать с тем же законом, с каким ты начинал». Эта крылатая фраза принадлежит великому немецкому классику Гете.

Рождение и развитие западногерманского государства неопровержимо доказывают справедливость этой мысли.

Давайте вспомним: после свержения нацистской государственной власти и распада «великого рейха» лишенную власти Германию с точки зрения международного и государственного права представляли союзники. В 1945 г. они заключили Потсдамское соглашение и тем самым заложили основу для создания единой миролюбивой и демократической Германии, призванной, говоря словами соглашения, со временем снова занять «свое место как суверенное государство в семье народов мира». Среди существенных условий, необходимых для достижения этой цели, Потсдамское соглашение, наряду с выявлением и наказанием военных преступников и лиц, виновных в преступлениях против человечества, выдвигало также требование отстранить от участия в общественной жизни немецкой нации, безразлично, в каких ее областях — в экономической ли, в административной, в правовой или законодательной,— тех, кто так или иначе участвовал в создании режима террора и насилия, содействовал ему или пользовался его плодами.

Не прошло и трех лет, как американцы, нарушив Потсдамское соглашение, провели сепаратную денежную реформу для западной зоны и тем уничтожили единство Германии. Немного спустя — как неизбежное следствие изменившейся политики США, которая с каждым днем становилась все более враждебной и агрессивной по отношению к СССР,— явилась на свет так называемая «Федеративная Республика». И рождение ее было ознаменовано призывом к войне против Советского Союза, призывом к «крестовому походу на Восток». Этот лозунг и определил дальнейшее развитие Западной Германии.

Прежде всего, почти незаметно, но тем более утонченными средствами была начата соответствующая обработка общественного мнения. В Западной Германии всяче-

ски старались сначала усыпить, а затем и вовсе изгнать из памяти народа самую мысль о зверских преступлениях нацизма. Мало-помалу стали поговаривать, что «все это было не так уж страшно», что Гитлер был «не так уж неправ», особенно там, где дело касается его нападения на Советский Союз и ненависти к коммунизму. Все бледнее становилось в сознании жителей Западной Германии недавнее прошлое, и сами они неизбежно проникались равнодушием к тем выводам, которые надлежало сделать из этого прошлого в интересах самой немецкой нации. Начался такой процесс последовательного и преднамеренного забвения, равного которому, во всяком случае по размаху, трудно было бы найти в современной истории.

Под прикрытием этого «процесса забвения» все те, кто так или иначе участвовал в злодеяниях Гитлера, содействовал им или пользовался их плодами, начали мало-помалу, сперва также тихо и незаметно, возвращаться на старые позиции. Прежние силы снова заняли командные посты не только в народном хозяйстве, но и в государственном аппарате, не только в судопроизводстве, но и в законодательных органах. В 1955 году аденауэровское правительство на основе судебного решения запретило коммунистическую партию. Протестуя против этого решения, руководство КПГ сослалось на Потсдамское соглашение, гарантировавшее право на существование всем тем силам внутри Германии, которые могут способствовать ее мирному и демократическому развитию. Тогда западногерманское правительство устами профессора Кауфмана (того самого «эксперта» по международному праву, который уже некогда в своем заключении «доказал» полную «законность» проводимого Гитлером вооружения) откровенно и нагло заявило: «Потсдамское соглашение... не более чем пустая оболочка... во всяком случае, федеративное правительство не считает себя обязанным выполнять это соглашение...»

Да, Западная Германия не считала себя обязанной выполнять соглашение, которое представляло — да и сейчас представляет — единственную возможную основу для образования единого миролюбивого, демократического и суверенного немецкого государства.

И не тот ли самый судья, который сейчас вершит суд в Фленсбурге или Бремене, не моргнув глазом посылал на эшафот именем фюрера и по его приказу сотни и тысячи людей, осмелившихся противиться нацистскому насилию? И не тот ли самый учитель в Мюнхене или Ганновере, которому сейчас доверено обучение и воспитание молодежи, во время разбойничьей войны убивал ни в чем не повинных женщин и детей на земле Польши и Советского Союза? И не тот ли врач в Касселе или Штутгарте, который сейчас считает пульс у своего пациента, небрежным движением руки посылал людей на смерть, когда в Освенциме намечались очередные жертвы для газовых печей? И не тот ли полицейский чиновник в Кёльне или Нюрнберге, который сейчас занимается расследованием преступлений, выстраивал беззащитных людей в лагере смерти Майданек, чтобы покончить с ними выстрелом в затылок?

Да, спустя 15 лет после уничтожения позорного гитлеровского режима в Западной Германии снова действуют убийцы. Более того, они направляют жизнь западногерманского государства. Их преступления фальсифицируются судебными органами не в меньшей степени, чем историческими «исследованиями». Их злодеяния объявляют «исполнением служебного долга», продиктованным одной лишь любовью к отечеству и национальным сознанием!

Нетрудно понять, что за этим кроется. Когда во время суда над эсэсовским убийцем Эйхманом я по поручению правительства ГДР ознакомил израильскую общественность с документами, показывающими, до какой степени ко всем преступлениям Эйхмана причастен теперешний начальник аденауэровской канцелярии Глобке, мне был задан на пресс-конференции, проведенной в Иерусалиме, следующий вопрос: что заставляет безусловно неглупого Аденауэра подвергать себя нареканиям, удерживая подле себя столь скомпрометированного человека, как Глобке? Неужели он не мог найти кого-нибудь не менее способного?

Вздор. Среди миллионов людей, населяющих Западную Германию, найдется сколько угодно толковых работников. Может быть, престарелого Аденауэра и начальника его канцелярии связывают узы верности? Поскольку мы знаем, что Аденауэр не отличается нравственной щепетильностью и пронес это свойство через всю свою долгую

жизнь, ответ ясен: одержимый жаждой власти человеконенавистник руководствуется отнюдь не этическими соображениями! Тогда, быть может, Глобке возглавляет какую-нибудь партию, какую-нибудь массовую организацию, с которой не может не считаться Аденауэр, хорошо усвоивший выборную арифметику?

Нет, за Глобке, повинным в тяжких преступлениях против человечества, за военным преступником Глобке не стоят никакие массы. Но он один из многих деятелей (пусть облеченный особой властью, но все-таки один из многих), которые до последней минуты служили Гитлеру верой и правдой, а ныне точно так же верой и правдой служат Аденауэру. С ними-то и должен считаться федеральный канцлер. Ибо не без оснований им дозволено занимать старые должности и посты, не без оснований! Федеральная Республика держит их в состоянии, годном к употреблению. Без них, без их образа мыслей невозможно претворить в жизнь политическую концепцию, согласно которой заявлено с вызывающей, агрессивной откровенностью, что Западная Германия должна стать «острием американского копья», направленного против социалистического лагеря. Без них и без их образа мыслей невозможно осуществить ревизионистские планы правящего класса Западной Германии, короче говоря, без них нельзя «в свое время» развязать столь желанную реваншистскую войну.

Вот где следует искать осознанную или неосознанную причину того напряженного ожидания, которое охватило весь мир при известии о поимке Эйхмана. Ведь должен же суд в Иерусалиме над одним из представителей преступного прошлого Германии отразиться на тех представителях настоящего Западной Германии, которые стремятся сделать преступным и будущее Германии?

Нацизм, его прежние злодеяния, его теперешнее возрождение в Западной Германии, опасность, которой чревато это возрождение в будущем, внезапно оказались в центре внимания мировой общественности. «Впервые, видимо, за все время широкие народные массы (в Западной Германии) хотя бы смутно осознали, что представляет собой Гитлер как историко-политическое явление»,— сокрушенно констатировал специальный западногерманский журнал по вопросам современной истории.

Да, в Западной Германии были крайне озабочены поимкой убийцы Эйхмана и его предстоящим процессом. Там опасались, что суд над Эйхманом приведет к разоблачению широкого круга тех его сообщников и соучастников, которые занимают в Западной Германии командные посты. Разумеется, правительство Германской Демократической Республики неоднократно предупреждало немецкий народ и весь мир о грозящей опасности. Благодаря кропотливым архивным изысканиям были получены точные доказательства, свидетельствующие, до какой степени в Западной Германии юстиция снова заражена нацистским духом и до какой степени государственная власть сосредоточена там в руках проводников нацистского террора. Документальные данные, из которых явствует, что лица, занимающие ныне высокие должности в Западной Германии, совершили во времена господства нацизма тягчайшие военные преступления, тягчайшие преступления против человечества, были предоставлены генеральным прокурором Германской Демократической Республики в распоряжение судебных органов ФРГ.

Государственные органы ГДР, равно как и массовые демократические организации Западной Германии, неустанно убеждали народ и правительство ФРГ в необходимости выполнить условия Потсдамского соглашения и в интересах мирного демократического развития страны положить конец происка фашистов, вновь очутившихся у власти.

Мне самому довелось на заседании федерального суда — высшей судебной инстанции ФРГ,— где дело одного гражданина ГДР, моего подзащитного, слушалось под председательством бывшего главного военного прокурора гитлеровского вермахта, подчеркнуть то обстоятельство, что если в нынешней Германии люди, осуществлявшие господство фашизма и способствовавшие ему, должны быть лишены возможности действовать, то это «не вопрос идеологии, а вопрос порядочности».

Но от всего этого в Западной Германии просто отмахнулись. «Коммунистическая пропаганда!» Однако от разоблачений, которыми грозил процесс Эйхмана, нельзя было отмахнуться с такой же легкостью. Вот почему Бонн стал проявлять заметное беспокойство в связи с предстоящими в Иерусалиме событиями. И не только Бонн. Амери-

канское агентство «Ассошиэйтед пресс» опубликовало в июне 1961 года, когда Эйхман вынужден был назвать в качестве своего соучастника Глобке, следующее сообщение из Вашингтона: «В авторитетных кругах государственного департамента опасаются, что суд над Эйхманом скомпрометирует боннское федеральное правительство и тем самым посеет в некоторых странах — членах НАТО недоверие к Западной Германии».

Вот как много страха и как много надежд пробудил процесс Эйхмана! Не откроют ли вынужденные разоблачения Эйхмана глаза народам и правительствам Запада на ту опасность, которая грозит из Бонна миру во всем мире? Да, многим казалось, что суд над эсэсовским убийцей Эйхманом будет иметь те же сокрушительные последствия, что и знаменитое «дело о королевском ожерелье», возбужденное против кардинала Рогана накануне великой французской революции и вскрывшее перед всем миром зловонное болото французского абсолютизма, дав тем самым последний толчок к тому повороту мировой истории, который начался штурмом Бастилии.

Так вот, эти надежды не сбылись — это можно сказать уже сегодня, хотя приговор по делу Эйхмана еще не вынесен. Они и не могли сбыться. Правительство государства Израиль, зависящее от кредитов, предоставляемых ему Бонном, ничуть не меньше, чем от американских, сделало все, чтобы в ходе судебного разбирательства не были названы, а тем более скомпрометированы лица, находящиеся сейчас в Западной Германии у кормила власти и осуществлявшие господство фашизма или содействовавшие ему.

О, в Иерусалиме были точно выполнены все обещания, данные в Вашингтоне и в Бонне касательно процесса Эйхмана, проведение которого оказалось из внутриполитических соображений необходимым для правительства Израиля. Бонн, как принято говорить в подобных случаях, отделался легким испугом. Торжественные клятвы наконец-то обезвредить военных преступников и виновных в преступлениях против человечности, очистить от них судопроизводство и управление, клятвы, данные на первых порах из страха перед разоблачениями, которыми грозил этот процесс, давным-давно забыты. Дух Глобке и Оберлендера, дух объединений бывших эсэсовцев и землячеств, жаждущих пересмотра границ, дух, который так хорошо выражали «Германия, Германия превыше всего» и «На восток мы выступаем»,— этот дух был и остается основополагающим для Западной Германии, для ее планов и целей.

Немалое место в осуществлении этих планов и целей отведено Западному Берлину, до сих пор занятому американскими, английскими и французскими войсками. Недаром, например, так настойчиво добивается военный министр Аденауэра оснащения западногерманской армии ядерным оружием. Несмотря на все старания Германской Демократической Республики создать по крайней мере для Берлина нормальные условия существования, до последнего времени Бонн и Вашингтон с завидным упорством стремились превратить Западный Берлин — о чем и говорилось с циничной откровенностью — в подрывной центр, направленный против самого существования ГДР как государства. Около восьмидесяти разведывательных служб, начиная с американского ФБР и кончая португальской военной миссией, принялись усиленно обосновываться в Западном Берлине. Каждый гражданин Германской Демократической Республики, попавший в Западный Берлин, становился соблазнительной добычей для всех этих учреждений, и, чтобы заполучить его, здесь не гнушались ни принуждением, ни шантажом. Действующая на территории Западного Берлина американская радиостанция «РИАС» изо дня в день пытается с помощью лживой и разнузданной пропаганды восстановить население ГДР против ее правительства. А когда этой радиостанции грозит привлечение к суду за клевету на общественных деятелей ГДР, американский комендант города запрещает судебное разбирательство на том основании, что «РИАС» — «орган и составная часть американских оккупационных войск»!

Непосредственная угроза, которую таит в себе такой Западный Берлин для населения Германской Демократической Республики и для всех стран социалистического лагеря, сегодня не устранена теми мерами, принятыми по рекомендации стран — участниц Варшавского договора правительством Германской Демократической Республики 13 августа 1961 года. Ибо эти меры отнюдь не уничтожают опасности, грозящей миру во всем мире из Бонна и Западного Берлина.

В течение последних двенадцати лет правительство Германской Демократической Республики неоднократно предлагало как западногерманскому правительству, так и управлению Западного Берлина различные мероприятия, направленные к мирному урегулированию взаимоотношений. Но верные проводимой Аденауэром «политике силы», Бонн и Западный Берлин упорно отказывались от каких бы то ни было переговоров с Германской Демократической Республикой. Фактически они требовали от нее «безоговорочной капитуляции».

Самым естественным урегулированием для Германии — как это уже почти десять лет назад предложил Советский Союз и как это предусматривает план польского министра иностранных дел Рапацкого — явилась бы нейтрализация немецкой территории. Это обеспечило бы сохранение мира во всем мире. Но такую нейтрализацию не следует понимать только как официальное обещание формально сохранять нейтралитет. Нет, такая нейтрализация предусматривает отказ от каких бы то ни было враждебных устремлений по отношению к любому другому государству.

Сегодня было бы пустой тратой времени рассуждать о характере и объеме подобной нейтрализации Германии. Невзирая на все предупреждения и предостережения (даже в самой ФРГ), невзирая на все призывы и предложения, Западная Германия, возглавляемая Аденауэром и старыми силами нацизма, которые там снова оказались у власти, пошла по другому пути.

Таким образом, остается последнее средство воспрепятствовать тому, чтобы над миром в недалеком будущем разразилась катастрофа третьей мировой войны, грозящая человечеству уничтожением, размеры которого даже невозможно себе представить. И это средство — предложение Советского Союза заключить мирный договор с обоими немецкими государствами, а по заключении договора выработать путем взаимного соглашения статут Западного Берлина на основе мирного сосуществования с Германской Демократической Республикой, на территории которой расположен Западный Берлин.

После того как Западная Германия по инициативе США нарушила в одностороннем порядке обязательства, налагаемые на нее Потсдамским соглашением, возникновение двух немецких государств стало неизбежным. Но боннское правительство сознательно игнорирует этот факт. Бонн рассчитывал с помощью политики силы и на основе выдвинутого американцами лозунга "roll-back", то есть насильственного «отбрасывания социалистического лагеря», навязать другой части Германии свой собственный, милитаристский и капиталистический строй, «присоединить» Германскую Демократическую Республику, как в свое время Гитлер «присоединил» Австрию и Чехословакию.

Но мечта о «политике с позиции силы» развеяна. Отрезвление знаменуют имена двух советских героев: Гагарина и Титова. Действительность вступает в свои права, и эта действительность требует, чтобы в интересах мира были урегулированы отношения между двумя ныне существующими суверенными немецкими государствами и их окружением на основе договорных соглашений, соблюдение которых обеспечивается международными гарантиями. Если заключение мирного договора нужно всем странам для обеспечения мира, то тем более оно необходимо немецкой нации, ибо только благодаря заключению мирного договора будут созданы предпосылки, необходимые для того, чтобы оба немецких государства могли совместно обсудить вопросы, связанные с восстановлением единства Германии.

Как бы велико ни было противодействие этому, насущным требованием дня остается скорейшее заключение мирного договора с обоими немецкими государствами.

г. Берлин

Джон Питтман

РУКА ДРУГА

Как и почему социалистические страны помогают Африке

Если бы в середине октября прошлого года прославленной киноактрисе Дороти Дэндридж довелось побывать в Сталинабаде, столице Таджикской Советской Социалистической Республики, она бы от души удивилась и в то же время испытала бы глубокое удовлетворение. Именно такие чувства владели сердцами африканских студентов, представлявших Уганду, Сомали, Танганьику и Камерун. Эти же чувства владели и мною, и, я думаю, все 18 миллионов негров Америки ощутили бы то же самое, если бы им посчастливилось увидеть то, что видел я.

Три дня, с 10 по 12 октября 1960 года, Советский комитет солидарности со странами Азии и Африки проводил в Сталинабаде свою первую всесоюзную конференцию. Делегаты всех республик этой огромной страны съехались сюда, чтобы совместно обсудить, как лучше помочь народам Азии и Африки в их борьбе за свободу и независимость.

Меня до глубины души взволновали и растрогали речи выступавших. В этом прекрасном зеленом городе у подножия Памира, расположенном столь далеко от приведенного в боевую готовность Нового Орлеана и осажденной, как крепость, Атланты, я услышал речи, выражавшие те же самые мысли, которые с колыбели знакомы и дороги детям негритянской Америки.

«Нельзя оставаться равнодушным, если известно, что рабочие с черным цветом кожи получают зарплату в 32 раза меньшую, чем получают за тот же труд белые европейцы»,— заявил профессор Х. Т. Вартаньян, представитель Советской Армении. Как и многие другие, он говорил о колоссальной разнице между условиями труда и жизни африканцев и европейцев...

Вечером делегаты конференции и сталинабадцы имели возможность увидеть мисс Дэндридж на экране. В четырех кинотеатрах города демонстрировался в эти дни французский фильм «Таманго», в котором мисс Дэндридж исполняла главную роль рабыни-наложницы капитана рабовладельческого судна. Героиня фильма отказывается от своей личной свободы и присоединяется к восставшим рабам-африканцам, хотя хорошо знает, что все они обречены на неминуемую гибель. И когда девушка-рабыня принимает это решение, раздались громкие продолжительные аплодисменты зрителей, которые бурно реагировали на каждое выступление и каждое слово восставших. Было совершенно ясно, что эти аплодисменты предназначались вовсе не мисс Дэндридж, несмотря на всю ее красоту и мастерскую игру. Зал приветствовал самую идею фильма. Пожилые таджики и таджички, которые давно живут на свете и сами хорошо помнят старую жизнь, зрители помоложе, которым рассказывали о прошлом Таджикистана их родители,— все они отлично знают, как жилось их народу до революции. Ведь всего каких-нибудь сорок лет назад таджики даже не считались нацией. Тогда этот народ был разорван на части, раздроблен, разобщен и им деспотично правил эмир — вассал русского царя вместе с другими угнетателями. В те дни жизнь таджиков мало чем отличалась от рабства, и не было конца восстаниям племен, боровшимся за свое освобождение.

Но, чтобы чувства людей обратились в действия, направленные на пользу другим народам, одной только симпатии далеко не достаточно.

Чувства симпатии, которые выражали зрители восставшим рабам — героям фильма, полностью отразились в решениях конференции. Обращаясь ко всем народам мира, конференция призывала их всячески поддерживать и помогать странам Африки в их национально-освободительной борьбе. Но что же побудило собравшихся здесь таджиков, узбеков, армян, украинцев, русских, представителей других братских социалистических стран, что же заставило их предложить свой труд и свои материальные средства на благо национального освобождения Азии и Африки?

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, надо глубоко и серьезно проанализировать многие другие явления. Если мы сумеем разобраться в том, что происходило на Сталинабадской конференции, то тем самым мы найдем ключ для решения целого ряда других вопросов и среди них главного: в какой мере реальна помощь социалистических стран народам Африки, или, другими словами, не является ли эта помощь, как об этом столь часто твердят у нас в стране, просто «пропагандой»?

Это помощь совершенно новая и по форме и по содержанию

Я усматриваю в этой помощи нечто гораздо большее, чем чисто внешние официальные церемонии, о которых теперь время от времени сообщается в мировой печати. Ведь только один Советский Союз обязался построить для 14 стран Азии и Африки свыше 300 промышленных и других объектов. Этим странам предоставлен кредит в 9 миллиардов рублей (2,25 миллиарда долларов по расчетам до 1961 года)*. И трезво мыслящий наблюдатель может понять здесь мотивы, которые руководили Советским Союзом при оказании такой помощи. Нельзя пройти и мимо перспектив увеличения этой помощи. Известно, что строительство намеченных объектов будет осуществляться объединенными усилиями всех социалистических стран, а они располагают мощным плановым хозяйством, их экономическая сила настолько велика, что ни одно капиталистическое государство и даже объединение капиталистических государств не может и мечтать о конкуренции с нею.

Уже начали реально ощущать эту в корне новую помощь Эфиопия, Гвинея и Гана. Эфиопия получила в июле 1959 года долгосрочный кредит на сумму в 400 миллионов рублей** (100 миллионов долларов). Сейчас здесь налаживается помощь советских технических специалистов в сооружении нефтеперегонного завода с годовой производительностью в 500 000 тонн, а также в создании рудника по добыче золота и обогатительной фабрики. Чтобы помочь Эфиопии подготовить своих национальных специалистов, Советский Союз подарил ей полностью оборудованное техническое училище на 1000 учащихся.

В августе 1959 года кредит на сумму в 140 миллионов рублей (35 миллионов долларов) получила Гвинея, которой Советский Союз оказывает необходимую техническую помощь в создании национальной промышленности. Здесь строятся цементный завод, лесозавод, кожевенный завод и обувная фабрика, консервный завод по обработке фруктов и овощей и холодильник. Советский Союз воздвигает в Гвинее политехнический институт на 1500 студентов, а в Конакри будет выстроен стадион на 25 тысяч мест. СССР помогает Гвинее исследовать ее геологические ресурсы. Он окажет помощь в реконструкции аэропорта в Конакри и железнодорожной линии, связывающей Конакри с Маму. С помощью Советского Союза будет налаживаться в Гвинее молочное животноводство и возделывание риса. В августе 1960 года СССР предоставил кредит на сумму в 160 миллионов рублей (40 миллионов долларов) Республике Гана. Сейчас на эти деньги проводятся большие работы по исследованию минеральных богатств страны, будут созданы промышленные предприятия по производству строительных материалов, налаживаются рыболовецкие промыслы, намечено сооружение плотины для электростанции...

Народы Азии и Среднего Востока получают помощь и от других социалистических стран, которые не раз высказывали готовность оказать помощь и народам Африки, если это потребуется. Так, большой кредит Индонезии для создания национальной текстильной промышленности предоставил Китай. Чехословакия помогает Индии, Бирме и Объединенной Арабской Республике в строительстве сахарных заводов. Польша, Венгрия, Германская Демократическая Республика, Румыния и Чехословакия оказывают помощь Индии, Индонезии, Объединенной Арабской Республике, Цейлону, Ираку и другим странам Азии в строительстве морских портов, железных дорог, машиностроительных и сталелитейных заводов, текстильных фабрик, в создании нефтедобывающей промышленности и нефтеперегонных заводов, в сооружении плотин, гидроэлектростанций и т. д.

Все, что строят здесь социалистические страны, поистине грандиозно,— взять хотя бы Асуанскую плотину на Ниле или сталелитейный завод в Бхилаи (Индия). И мы уверены, что перед Африкой раскрывается многообещающее будущее, потому что африканские страны, недавно освободившиеся от ига колониализма, все больше и больше обращаются за помощью к социалистическим государствам.

Поистине велики задачи преобразования Африки, стоящие перед ее народа-

---

* К настоящему времени СССР осуществляет экономическое и техническое сотрудничество с 18 странами Азии и Африки в строительстве свыше 350 промышленных предприятий и других объектов, а предоставленные Советским Союзом долгосрочные кредиты этим странам составляют около 2,4 миллиарда рублей в валюте

** Здесь и далее в рублях 1960 года.

ми, которые мечтают видеть свой континент источником изобилия и благополучия. В течение многих веков африканцы испытывали на себе капризы неласковой природы и, что еще в тысячу раз хуже, бесчеловечный гнет колонизаторов-империалистов. Так, доход на душу населения составил в 1950 году в Золотом Береге (нынешняя Гана) только 68,2 доллара, в Нигерии 21,2 доллара, в Уганде 13 долларов, а в Кении всего 8,2 доллара! А ведь эти страны славятся своими богатейшими природными ресурсами! После стольких веков «цивилизации», насаждавшейся здесь белым человеком, «обремененным заботами о местных жителях», сегодня в Африке умирает, не дожив и до года, каждый четвертый ребенок, а средняя продолжительность жизни не превышает здесь и тридцати лет.

Да, это верно, что в Африке мало удобных гаваней и судоходных рек, как верно и то, что большая часть территории континента покрыта непроходимыми джунглями, болотами и пустынями. Но ведь всего 43 года назад территория Советского Союза, той самой страны, которую теперь все на земном шаре знают как вторую крупнейшую в мире индустриальную державу, представляла собой в основном голые степи и глухую, непроходимую тундру, а русские крестьяне ходили в лаптях и всю свою жизнь гнули спину из-за жалкого куска хлеба. Еще двадцать лет назад большинство стран Восточной Европы были отсталыми, у них почти не было своей промышленности, и они, как правило, служили сырьевыми придатками западных индустриальных держав. Или взять историю народного Китая. Всего каких-нибудь 15 лет назад китайцев не допускали в парки и городские сады, а китайские дети умирали с голоду, потому что в доме не было и чашки риса...

В странах социализма насчитывается свыше миллиарда человек. Ежегодный прирост промышленной продукции за период с 1931 по 1959 год составил здесь 13,7 процента, в то время как в странах капитала он не превышал 4,8 процента. Страны социализма совершают колоссальные успехи и вскоре превысят уровень производства на душу населения в капиталистических государствах. Страны социализма воздвигают крупнейшие и сильнейшие в мире гидроэлектростанции, проводят самые широкие в мире разведки и разработки различных полезных ископаемых, имеют самую сильную промышленность по обработке этих природных богатств, строят самые большие текстильные фабрики. Именно страны социализма первыми начали осваивать космос и использовать энергию атома для мирных нужд человека. Именно здесь превращают в оживленные транспортные артерии несудоходные в прошлом реки, орошают огромные пустыни и прокладывают линии железных дорог в непроходимых горах.

Еще не так давно страны социализма сами испытывали все невзгоды отсталости и бедности, ведь они стали свободными лишь недавно. Вот почему здесь так хорошо понимают нужды народов Африки, судьба которой во многом повторяет их собственную, столь непохожую на судьбу западных империалистических стран. Однако и это еще не самое важное. Страны социализма не только могут, но и всегда искренне рады и готовы оказать помощь другим странам. Они охотно делятся с другими благами своего труда и своими сбережениями. Они хотят помочь нам уничтожить голод, нищету, болезни, чтобы в Африке, где живет воистину самая угнетенная и самая отсталая часть населения земного шара, с этими бедствиями было покончено навсегда.

О том, что означает на деле помощь, оказываемая Африке социалистическими странами, о том, как разительно отличается она от неоколониалистских планов и так называемой «искренней» помощи западных индустриальных держав, уже говорил доктор Альфеус Хантон в своей статье, опубликованной журналом «Дисижн ин Африка». За прошедшие с тех пор три года это существенное различие осознали и некоторые другие африканские лидеры. Выступая в парламенте Эфиопии, император Хайле Селассие говорил, что «роль советской помощи для прогресса нашей страны просто неоценима, и народ ее искренне приветствует». Президент Гвинеи Секу Туре заявил, что Советский Союз «не диктует никаких политических условий. Он предлагает свою помощь на основе полного согласия с нами и должного уважения к нашей стране».

Да, лидеры африканских стран уже могут на деле сравнить условия помощи, получаемой от стран социализма, с теми условиями, которые навязывают им западные империалистические государства, в том числе и Соединенные Штаты. Кредиты, предоставляемые социалистическими странами, предусматривают 2,5 процента на ссуду в год, в то время как капиталистические концерны требуют от 5 до 12 процентов годовой ренты в зависимости от товарооборота. Все социалистические кредиты рассчитаны на долгий срок (на 12 лет и дольше), и компенсировать их можно за счет товаров, составляющих традиционный экспорт данной страны. Западные же кредиты, как правило, краткосрочные, и сплачивать их надо или в валюте, которой в слаборазвитых странах очень и очень мало, или же теми товарами широкого потребления, которые выбирает кредитор, причем он же и устанавливает цены на них. В кон-

це концов это обычно ведет к ущемлению интересов расплачивающейся страны.

Кроме того, между кредитами социалистическими и капиталистическими есть весьма существенное различие. Социалистические государства ставят своей целью помочь слаборазвитым странам быстрее развить их собственные ресурсы, чтобы они могли скорее покончить с экономической отсталостью. И именно в этой особенности социалистических кредитов заключены гарантии сохранения национальной независимости слаборазвитых стран.

Там, где социалистические страны оказывают свою помощь, они всегда готовят специалистов из местных национальных кадров. Обычно в тех местах, где ведется строительство промышленных объектов, открываются технические школы, и в них обучаются будущие специалисты, которым предстоит на этих объектах работать.

Африканцам не трудно сопоставить все это с теми методами, которыми, как правило, действуют у них капиталистические страны Запада. Помогая той или иной слаборазвитой стране, империалистические державы стараются прежде всего наводнить ее своими товарами широкого потребления, то есть создать здесь широкий рынок сбыта этой продукции, что, разумеется, тормозит развитие местных рынков и национальной промышленности. Капиталистическим концернам выгодно использовать местных рабочих лишь на тяжелом ручном труде, поэтому они предоставляют им самые низкооплачиваемые должности, нисколько не стремясь повысить их знания и квалификацию.

Таким образом, огромное значение социалистической помощи самоочевидно. Ведь массовая неграмотность населения и отсутствие местной национальной интеллигенции, по сути дела, едва ли не самые худшие последствия господства колониализма. Оправдывая свои цели, колониалисты выдвигают именно эти причины, когда говорят, что угнетенные нации якобы еще не могут получить права на самоуправление, так как они, дескать, «не доросли» до независимости. «Они еще не готовы стать независимыми» — такое изречение давно уже стало избитым, однако колонизаторы по-прежнему вопят об этом и в Лондоне, и в Лиссабоне. и в Париже, а заодно и в Вашингтоне. Это преднамеренная подтасовка, ибо уже сегодня многие молодые африканцы учатся в университетах социалистических стран. Они станут инженерами, экономистами, займут руководящие посты в промышленности и в сельском хозяйстве. Обучение их полностью осуществляется за счет социалистических стран. Недавно в Москве открылся Университет дружбы народов. В этом огромном учебном заведении уже на первом году его существования обучалось более 500 студентов из Африки, Азии и Латинской Америки. До 1962 года университет готовится принять 3000 — 4000 студентов.

В своих торговых отношениях со странами Африки социалистические государства руководствуются тем же основным принципом — соблюдать прежде всего интересы самих слаборазвитых стран, экспортируя им те товары, которые необходимы для создания их собственной индустрии и собственной экономики. Вывозят же социалистические страны те товары, которые являются предметами их традиционного экспорта. В противоположность торговой политике империалистов, которые постоянно повышают цены на поставляемые ими товары, социалистические государства устанавливают стабильные, твердые цены. Кроме того, заказы социалистических стран за границей, то есть их импортные квоты, не подвержены никаким колебаниям, связанным с экономическими кризисами, столь характерными для капиталистических стран и совершенно исключенными в странах плановой социалистической экономики. Заказы, получаемые от социалистических стран, гарантируют занятость населения и способствуют развитию их экономики.

Такова в корне новая и по форме и по содержанию экономическая и техническая помощь, которую оказывают слаборазвитым странам государства социалистического сектора. Помимо этого, они участвуют во всех мероприятиях, проводимых по программам различных учреждений Организации Объединенных Наций. При этом социалистические страны неуклонно выполняют все взятые ими на себя обязательства по отношению к слаборазвитым странам. По данным на сентябрь прошлого (1960) года, для материального осуществления программ ООН по экономической помощи в 35 странах Советский Союз внес в фонд ООН весьма крупный вклад — 46,3 миллиона рублей (11,6 миллиона долларов). Даже самый факт существования социалистической помощи в огромной степени помогает слаборазвитым странам выстоять против крупных империалистических держав. И нельзя не признать, сколь верным и логичным было заявление советского премьер-министра Хрущева, когда он говорил, что помощь, которую капиталистические страны собираются оказать государствам, недавно добившимся своей независимости, надо рассматривать и как своего рода советскую помощь этим странам. Ведь если бы не существовало Советского Союза, разве стали бы монополии империалистических держав помогать слаборазвитым странам? Конечно же нет. Ведь раньше этого никогда не было.

Империализм сам себя выдает. Он

смертельно боится соревнования с социализмом и в этой сфере так же, как страшится соперничества с социализмом в других областях. И у империалистов есть все основания для такого страха! Ведь, помогая другим, социалистические государства действуют совсем не так, как страны капитализма и отдельные капиталистические концерны и монополии. Социалистические страны не требуют для себя никаких прав на владение создаваемыми ими предприятиями, они не претендуют ни на управление ими, ни на долю прибыли, короче, ни на что, кроме уважения и соблюдения пунктов обоюдного соглашения. Они не добиваются предоставления им территории для их военных баз и никого не заставляют вступать в какие-либо военные блоки или союзы, направленные против других стран.

Давно известно, что, действуя в колониях и слаборазвитых странах, все христианские миссии старались и стараются использовать свои благотворительные учреждения для того, чтобы обратить «язычников» в христианство. Совсем по-иному ведут себя посланцы социалистических стран. Направляя в слаборазвитые страны своих инженеров и технических экспертов, социалистические государства и не помышляют о том, чтобы через них обращать местное население в коммунистическую веру. И отнюдь не мнимая коммунистическая пропаганда заставляет цепных псов колониализма выть на сто голосов о том, что повсюду идет «проникновение коммунистов» и вступает в силу «красный империализм». Нет, эти вопли объясняются совсем другими причинами. Социализм действительно приобретает все больше сторонников. Но происходит это потому, что, как только капитализм и социализм сталкиваются в открытую на широкой арене, выступая со своими делами и идеями, социализм неизменно доказывает свое превосходство.

Экономическая и техническая помощь социалистических государств слаборазвитым странам отражается и в их внешней политике, в социалистической дипломатии. Новые формы этой помощи, оказываемой народам, борющимся за свою свободу или стремящимся сохранить свою национальную независимость, требуют отдельного и глубокого рассмотрения, ибо и в дипломатии эта помощь многогранна и весьма действенна. В этой связи достаточно упомянуть тот факт, что в самые первые дни установления советской власти, а именно 8 ноября 1917 года, в своей исторической Декларации о мире Съезд Советов провозгласил, что Страна Советов отказывается от каких-либо аннексий. Тогда же Съезд Советов заявил о праве всех наций на самоопределение. И с тех пор эти принципы незыблемо отстаиваются советскими дипломатами, о чем могут свидетельствовать многочисленные отчеты о их выступлениях и в Лиге Наций и в Организации Объединенных Наций...

За последние годы социалистическая инициатива помогла отстоять или защитить национальную независимость многим и многим народам. И для этого не надо делать слишком глубокий исторический экскурс. Достаточно вспомнить годы второй мировой войны, когда Советская Армия помогла стольким народам освободиться из-под ига гитлеровских орд. Об этом же свидетельствуют и события совсем недавние. Ведь именно дипломаты социалистических стран выступили с поддержкой Египта во время Суэцкого кризиса; они же выступили и в защиту интересов Сирии, Ирака и Ливана. Дипломаты социалистических стран неустанно выступали в поддержку правительства Фиделя Кастро на Кубе, правительства Патриса Лумумбы в Конго, в поддержку национально-освободительных сил в Лаосе.

О том же свидетельствуют и события в ООН. XV сессия Генеральной Ассамблеи ООН, согласно официальным отчетам о голосовании, большинством голосов отклонила советскую Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Но несмотря на это даже сами империалисты вынуждены были признать, что Декларация по этому вопросу, принятая Генеральной Ассамблеей (вопреки оппозиции нашего собственного правительства, не отставшего от других и воздержавшегося при голосовании), получила жизнь только благодаря предложению премьера Хрущева. Эта декларация появилась в результате непреклонной политики, которую ведут представители социалистических стран, борясь за то, чтобы принципы устава ООН неукоснительно осуществлялись на деле.

Империалисты и их защитники делают все возможное, чтобы исказить выступления дипломатов социалистических стран в защиту угнетенных народов. Они пытаются внушить народам слаборазвитых стран, что эти выступления не что иное, как прелюдия к военной агрессии социализма против этих стран. Но реальные факты начисто опровергают эти клеветнические измышления. Срывается туманная завеса, которой пропагандисты колониализма хотят прикрыть глаза мировой общественности. Именно империалисты всячески отстаивают и защищают право эксплуататоров высасывать кровь из своих жертв, прикрывая все это заявлениями о «свободе» личности...

Дипломаты же социалистических стран всегда поддерживали и поддерживают все выступления народов Африки за их национальное освобождение, и при этом никогда ни одно социалистическое госу-

дарство не совершало никаких агрессивных действий против какой-либо африканской страны!

Каковы же мотивы оказания помощи другим странам?

Наше толкование материальной и моральной помощи социалистических стран народам Африки, несомненно, может вызвать замешательство у одних читателей и подвергнуть испытанию доверие других. Я ни на минуту не забываю о том, какое сильное воздействие оказывает на народ нашей страны систематическая обработка, проводимая владельцами газет, радио и телевидения (и так уж получается, что эти же лица представляют крупнейшие монополии, насаждающие по всему миру агрессивные идеи империалистов США). Но сами факты, характеризующие помощь социалистических государств слаборазвитым странам, должны говорить за себя, и именно им предстоит пробить плотную завесу предрассудков и скептицизма, с которыми воспринимают еще эту помощь. И скептицизм, и предрассудки вызваны к жизни распространением антикоммунистической пропаганды, циничным презрением и упрямым нежеланием понять, что может существовать простое, человеческое, гуманное отношение народов друг к другу и что это отношение может иметь благородные формы. И, может быть, мы сумеем лучше осознать всю суть, понять самые корни социалистической помощи, если попытаемся разобраться, чем руководствуются социалистические страны, когда они предлагают нам эту помощь. Каковы же их главные мотивы?

Один из ведущих принципов социализма крайне прост для понимания и совершенно ясен для тех, кто хотя бы в малой степени знаком с историей социалистических стран и хоть немного знает идеологию и историю марксистско-ленинских партий. Это положение социалистического учения гласит, что оказание материальной и моральной поддержки народам, борющимся за завоевание и защиту своей национальной независимости, заложено в самой сути, в самой основе социалистической системы и потому неотделимо от политики и деятельности социалистических государств. Эта отличительная черта их внешней политики проистекает из их верности принципам марксизма-ленинизма. Ведь и в своих собственных странах по отношению к национальным меньшинствам и малым народностям они руководствуются теми же принципами равенства и братства. Эти же принципы положены в основу отношений социалистических стран друг к другу. Ярким примером осуществления этих принципов на практике явилось и проходившее в ноябре 1960 года в Москве Совещание представителей коммунистических и рабочих партий. В Заявлении, опубликованном этим совещанием, говорится:

«В многонациональных социалистических государствах сформировался и окреп нерушимый союз трудящихся всех национальностей. Торжество марксистско-ленинской национальной политики в странах социализма, подлинное равноправие национальностей, подъем их экономики и культуры служат вдохновляющим примером для народов, ведущих борьбу против национального угнетения».

И далее:

«Социалистический лагерь — это социальное, экономическое и политическое содружество свободных суверенных народов, объединенных тесными узами международной социалистической солидарности, единством общих интересов и целей, идущих по пути социализма и коммунизма. Нерушимым законом взаимоотношений между социалистическими странами является строгое соблюдение принципов марксизма-ленинизма, социалистического интернационализма. В социалистическом лагере обеспечено подлинное равноправие и самостоятельность каждой входящей в него страны».

Социалистические страны выступают как искренние и верные друзья всех народов, которые борются за свое освобождение или уже сбросили с себя ярмо империализма. Отвергая в принципе всякое вмешательство во внутренние дела молодых национальных государств, социалистические государства считают своим интернациональным долгом оказывать этим народам всяческую помощь в деле укрепления их национальной независимости.

Правильность нашего толкования мотивов и причин, лежащих в основе социалистической помощи, доказана самой историей. И веское подтверждение этому можно найти во множестве официальных документов, хранящихся в публичных и университетских библиотеках нашей страны. Но есть еще и другое объяснение истоков и мотивов социалистической помощи, и, я полагаю, это скоро будет понято моими соотечественниками.

Объяснение, о котором я говорю, заключается в том, что социалистические государства имеют личную заинтересованность в оказании помощи слаборазвитым странам. И лучше всего понять, в чем же проявляется эта их «личная заинтересованность», я думаю, мы сможем тогда, когда еще раз вернемся к уже описанной выше Сталинабадской конференции.

Они хотят иметь гарантии сохранения мира

С кем бы я ни говорил в Таджикистане, у всех на устах одно слово — мир. О мире мечтают рабочие текстильной фабрики и колхозники, продавцы магазинов и государственные служащие, об этом говорят даже школьники. И то, что довелось услышать и узнать мне, подтверждали и многие другие иностранцы. Даже антисоветские газетчики не могут скрыть этого в своих репортажах. Советские люди стремятся к миру. Такое мнение остается буквально у всех туристов и гостей, какую бы часть Советского Союза они ни посетили.

До некоторой степени причины этого стремления к миру вполне доступны и нашему пониманию. Я говорю «до некоторой степени», ибо, на мой взгляд, ни один из нас, американцев, даже не может себе представить, я уже не говорю — глубоко прочувствовать, что пережили народы социалистических стран в годы войны, какие страдания выпали на их долю. Эти люди жаждут мира потому, что из их памяти никогда не изгладятся потери и разрушения, вызванные войной. Они жаждут мира еще и потому, что твердо знают: если народы сумеют избежать новой мировой войны, то страны социализма смогут очень скоро полностью использовать все возрастающие блага социализма. Здесь, в Советском Союзе, социалистическая система уже приносит богатый урожай. Советские люди пожинают теперь плоды своего щедро затраченного труда во имя общего дела. Они уже сейчас вознаграждаются за пролитую ими кровь и принесенные жертвы в годы гражданской войны, иностранных интервенций и тяжелые годы второй мировой войны, когда все отдавалось во имя сохранения советского государства. И несмотря на все это, сегодняшнее процветание и полная гарантия мира сулят советскому народу новые совершенно реальные блага.

Для стран социализма мир означает улучшение материального благосостояния и приближение полного изобилия, расширение социалистической демократии и тем самым скорейшее продвижение к высшей фазе социализма — коммунизму.

С другой стороны, если мы сумеем избежать новой мировой войны, то от этого выиграют и народы стран Азии, Африки и Латинской Америки, борющиеся за завоевание или сохранение своей национальной независимости. Всеобщее и полное разоружение будет и для них неизмеримым благодеянием, ибо высвободятся многие миллиарды долларов, которые можно будет использовать на оказание экономической помощи слаборазвитым странам.

Сколько новых Асуанских плотин или Бхилайских металлургических заводов можно выстроить на те деньги, которые сейчас составляют военные фонды держав — участниц НАТО и которые они расходуют на вооружение за один только год! Когда будет осуществлено всеобщее и полное разоружение, то, по сути дела, уже невозможны будут никакие НАТО, СЕАТО или СЕНТО, а также колоссальные военные базы, которые сегодня ставят под угрозу самое существование народов слаборазвитых стран, не говоря уже об угрозе, нависшей над суверенитетом этих государств. Африканские народы станут тогда достаточно сильными и смогут встретить империалистов лицом к лицу. Демократические, народные силы в странах Африки будут настолько могучими, что сумеют выступить против компрадорских, предательских внутренних сил, которые рассчитывают на поддержку империалистов и на их интервенцию. Таким образом, получается, что, по существу, предотвращение новой мировой войны выражает общие интересы как народов Африки, так и народов социалистических стран.

Вот почему правительства социалистических государств считают, что в сегодняшней общей борьбе за мир народы Африки выступают как уже действующие или будущие их союзники. И я предоставляю другим прерогативу вынесения моральной оценки такого рода «личной заинтересованности» со стороны народов социалистического сектора мира, ибо эта «личная заинтересованность» фактически является кровной заинтересованностью и жизненной необходимостью любого человека и любой страны на свете. Материальная и моральная помощь социалистических государств народам Африки положительно сказывается и на массовой борьбе негров Америки, требующих реального признания своих гражданских прав. И, на мой взгляд, совершенно очевидно, что любой удар, направленный против колониалистов и расистов в Африке, против их последнего оплота и сфер влияния, является одновременно смертоносным ударом по колониалистам и расистам в нашей собственной стране.

Лу Синь

«ЛИТЕРАТУРА РАЗНЫХ ЧУВСТВ»

«Цзагань вэньсюе», сокращенно «цзавэнь» — «литература разных чувств» — так назвал Лу Синь новый, созданный им литературный жанр, который занимает большое место в его творчестве.

В годы мрачной реакции, когда гоминьдановская тайная полиция годами держала Лу Синя под неусыпным наблюдением, он все же находил способы для активного участия в общественной жизни. Чуть ли не ежедневно на страницах различных газет и журналов стали появляться под многочисленными псевдонимами Лу Синя (их у него было до сотни) яркие, короткие заметки на темы дня, разившие, словно кинжалом, «свинцовые мерзости» тогдашнего китайского общества. Чаще всего Лу Синю приходилось говорить эзоповским языком, но и в этом виде «литературу разных чувств» понимали и принимали.

О Лу Сине писали у нас много, на русский и другие языки нашей страны переведены многие произведения Лу Синя. Но литературное наследие его поистине неисчерпаемо. Мы только еще приступили к освоению его эпистолярного наследства, не переведена на русский язык и десятая доля его удивительной «литературы разных чувств».

Предлагаем вниманию читателей несколько совершенно различных по своему характеру высказываний из «литературы разных чувств» и переписки Лу Синя о писателях мира — его современниках. В русском переводе эти высказывания появляются впервые; они расположены в хронологическом порядке (кроме первой заметки). Перевод сделан по последнему изданию Собрания сочинений Лу Синя (Пекин, 1957), редакционные комментарии к этому изданию легли в основу наших примечаний.

...«Цзавэнь» — очень короткое сочинение, оно действительно не требует много времени для написания, не то что «Мир и война» (так назван роман Толстого в статье г-на Линь Си-цзюня *, на самом деле оно называется «Война и мир»), да и сил для него требуется мало, это совершенно верно. Но и для создания «цзавэнь» нужны какие-то элементарные знания, нужен труд, иначе даже эти небольшие заметки окажутся «грубо сработанными» и станут объектом для насмешек. Любое художественное произведение имеет какие-то недостатки. Аполлинер в своей басне «Павлин» говорит:

Когда эта птица распускает веером хвост,
Который волочится шлейфом по земле,
Она предстает перед нами еще более прекрасной,
Но обнажает при этом свой голый зад.

Указания критика нужны, но ведь сам критик тоже распускает при этом хвост и обнажает свой голый зад. Нужны же они потому, что критик предстает перед всеми в

своем прекрасном оперении. Если же критик не павлин, а всего лишь из породы гусей или уток, то, распуская хвост, он должен еще и еще раз подумать над тем, *что* он обнажает при этом!

25 сентября 1935 г.

[Из заметки «Торгашеская критика». Собр. соч., т. 5, стр. 452—453.]

---

* Линь Си-цзюнь — в те годы студент Шанхайского университета «Фудань». В журнале «Сяньдай» (т. 5, № 5, сентябрь 1934 г.) была напечатана его статья «Цзавэнь» и авторы-цзавэнисты», в которой говорилось следующее: «Почему в России могло появиться такое великое произведение, как «Мир и война»? Почему в Америке могли появиться такие всемирно известные писатели, как Синклер и Джек Лондон? А мы должны удовлетворяться тем, что наши писатели понисывают памфлетики и на большее не способны...»

...Но в Англии все же есть и настоящие цивилизованные люди. Сегодня мы читали проникнутое глубоким сочувствием к Китаю «Обращение к китайскому народу» Международной организации помощи рабочим, организации, объединяющей в своих рядах беспартийных интеллигентов и трудящихся всех стран мира *. От Англии его подписал Бернард Шоу (китайцам, внимательно следящим за всемирной литературой, это имя знакомо), от Франции — Анри Барбюс, произведения которого тоже переводились в Китае. Мать Барбюса англичанка, может быть, поэтому для него так характерно чувство реального,— в произведениях Барбюса и в помине нет легкой веселости, которая так часто встречается у французских писателей. Вот мне и думается, что у англичан мы тоже можем многое позаимствовать, кроме, конечно, полицейских, торгашей и девиц, хихикающих с крыш домов над демонстрирующими по улицам студентами.

10 июня 1925 г.

[Из «Вдруг вспомнил. Запись 10». Собр. соч., т. 3, стр. 68.]

---

* Имеется в виду телеграмма Исполкома МОПРа из Берлина от 6 июня 1925 г. с решительным протестом по поводу расстрела английской полицией демонстрации рабочих и студентов Шанхая («События 30 мая»).

...Тому, что имя Байрона стало сравнительно широко известно в Китае, есть и другая причина. его помощь Греции в борьбе за независимость. Цинская монархия находилась уже на закате, в сердцах известной части китайской молодежи зрела идея революции, и всякий призыв к мщению, к отпору легко вызывал ответную реакцию В моей памяти сохранились с того времени имена поэта мести и отваги Адама Мицкевича, венгерского поэта-патриота Шандора Петефи, филиппинского писателя, внука китайца, Хосе Рисаля, казненного испанскими властями; его предсмертное стихотворение было переведено в Китае.*

16 июня 1925 г.

[Из «Разных воспоминаний. 1». Собр. соч., т. 1, стр. 317—318.]

---

* Стихотворение Хосе Рисаля «Крик из могилы» было переведено Лян Ци-чао.

Пока г-на Ерошенко * не выдворили из Японии, я не знал ни его имени, ни фамилии. Произведения его я прочитал уже после того, как он был выслан. Из статьи г-на Кана ** в «Иомиури симбун» мне стали известны более подробно обстоятельства позорного изгнания слепого русского писателя из Японии. Тогда-то я и перевел его детские сказки и пьесу «Розовые облака». Дело в том, что тогда я думал только об одном: мне хотелось, чтобы был услышан страдальческий крик гонимого, чтобы у моих соотечественников пробудилась ярость и гнев против тех, кто попирает человеческое достоинство и право, не больше. Я вовсе не собирался протягивать руку за ред-

костным заморским цветком и пересадить его в благоухающий искусствами цветник «Государства Цветов». ***

16 июня 1925 г.

[Из «Разных воспоминаний. 3». Собр. соч., т. 1, стр. 321.]

---

* В. Ерошенко — украинец по происхождению, детский писатель. Ослеп еще в детстве. Знал ряд языков, в том числе английский и японский. Одно время скитался по Бирме, затем переехал в Японию В июне 1921 г. был выслан японскими властями в административном порядке и прибыл в Китай Преподавал в Пекинском университете эсперанто. Одно время жил у Лу Синя В апреле 1923 г. выехал через Харбин на родину. Его пьеса для детей «Розовые облака», сказки и другие произведения написаны на японском языке.

** Эгути Кан — старейший японский революционный писатель. В 1960 году возглавлял японскую писательскую делегацию, посетившую КНР по приглашению Союза китайских писателей. Перевод его статьи «Воспоминания о Василии Ерошенко», которую упоминает Лу Синь, впервые был напечатан полностью в литературном приложении к «Чэньбао» 14 мая 1922 года, затем включен в 12-томное Собрание сочинений Лу Синя, изданное в 1938 году вместе с переводом «Детских сказок Ерошенко».

*** Старое образное название Китая.

Рассказывают, что английский писатель Бернард Шоу как-то высказал такую мысль: хуже всего положение читателя — ему приходится читать чужие мысли, отказываясь от своих. Может быть, он сослался на Шопенгауера, который состязался в скачках с другими только умозрительно. У кого мысль работает, тому проще. Мысленно он может постичь прочитанное, обратившись к собственному опыту, хотя ему и не избежать фантазирования Поэтому действительно лучше всех чувствует себя умеющий наблюдать: он своими глазами читает живую книгу века.

И это совершенно верно. Практический опыт всегда вернее фантазий, порождаемых зрением и слухом. Мне приходилось есть и сушеные личжи, и консервированные, и вяленые — представление о вкусе этих плодов у меня сложилось вполне определенное. Но вот я попробовал свежие личжи, и вкус их оказался совсем другим, я даже не подозревал этого. Выходит, правда, что вкуса личжи не узнаешь, пока не приедешь в Гуанчжоу.

Однако к мысли Бернарда Шоу мне хотелось бы добавить кое-что... Если взять да и послать в Шанхай, в Пекин, в любое другое место какого-нибудь неопытного, неграмотного жителя гуандунской деревни и потом расспросить его о своих наблюдениях, я думаю, они будут весьма и весьма ограничены, потому что навыка наблюдать у него нет. Этот навык вырабатывается, прежде всего, путем чтения книг и осмысления прочитанного.

16 июля 1927 г.

[Из лекции «О чтении», прочитанной учащимся школы «Чжиюн» в Гуанчжоу. Собр. соч., т. 3, стр. 334—335.]

Борьбу — вот что я считаю правильным. Да и как может человек не бороться, если он угнетен? «Благородные и справедливые» в трепетном страхе перед этой борьбой. Они громко поносят зловредных «демагогов», считая, видимо, что люди, которым следовало бы любить друг друга, испорчены ныне этими негодяями вконец. Сытые, в общем, жалеют голодных и даже любят. Но ведь голодные не любят сытых. Во времена Хуан Чао * люди ели людей, значит, голодные не любят и голодных: писателя-борца этот факт не удивлял. Я не верю в то, что литература может все. Но, думаю, тот, кто хочет, вправе заниматься чем угодно. Например, «пропагандой».

Американец Эптон Синклер сказал как-то: любая литература — пропаганда. Наши революционные писатели сочли его слова за найденное сокровище, откровение и распечатали огромными иероглифами, после чего суровые критики назвали автора «недалеким социалистом». Я — тоже недалекий — принимаю эти слова Синклера. Всякая литература — пропаганда, если ты даешь ее читать другим. Даже если произведение носит сугубо личный характер, оно становится пропагандистским, как только выходит из-под твоего пера — разве что не пиши и не открывай рта. Именно поэтому использование литературы для революции как орудия возможно.

Но прежде, чем требовать от произведения совершенства, с точки зрения полноты содержания и мастерства, я считаю, нельзя забывать, что дело не в рекламе, не в соответствующей вывеске. Замечено, что клиентура у «Обувного магазина вдовствующей императрицы» нисколько не многочисленней клиентуры у «Обувного магазина императрицы при живом супруге». Стоит заговорить с революционным писателем о художественных достоинствах произведения, как он уже отмахивается, словно от докучной просьбы. Я убежден, что любая литература является пропагандой, но не всякая пропаганда является литературой **. Это все равно, как с цветами. Каждый цветок имеет свой цвет (белый — тоже цвет), однако далеко не все, что имеет цвет, непременно должно быть цветком. Кроме лозунгов, плакатов, листовок, газетных информаций, учебников и пр., революции нужна и художественная литература, ибо она есть литература.

4 апреля 1928 г.

[Из статьи «Литература и революция» (Переписка со студентом Пекинского университета Дун Цю-фаном). Собр. соч., т. 4, стр. 67—68.]

---

* Хуан Чао — вождь крестьянского восстания, потрясшего в конце IX века всю страну и ускорившего гибель империи Тан. Поэт Бо Цзюй-и (772—846), очевидец трагической судьбы крестьянства того времени, свидетельствует: «В селах Цюйчжоу люди едят людей» (см. стихотворение «В тонких одеждах, на сытых конях», перевод Л. Эйдлина).

** Весной 1928 г. некоторые критики обрушились на Лу Синя с нападками, обвиняя его в отсутствии «революционности», в забвении «пропагандистского» характера литературы. Статья «Литература и революция» является ответом этим критикам.

Недавно я издал альбом иллюстраций к «Цементу» Гладкова. В нем десять больших гравюр. Как только подвернется оказия, вышлю тебе через «Вэйминшэ». Перевод «Разгрома» * закончил; похоже на то, что скоро пойдет в печать Китайскому человеку трудно быть порядочным, мои противники дьявольски коварны, и, кроме того, их слишком много Но пока я существую, все свои силы буду отдавать литературе и искусству. Хочу своими глазами увидеть, что раньше превратится в дым,— новая литература или вся эта мерзость, которой покровительствуют угнетатели...

23 марта 1929 г.

[Из письма к Вэй Су-юаню. ** Собр. соч., т. 10, стр. 23.]

---

* «Разгром» А. Фадеева.

** Вэй Су-юань (1902—1932) — поэт, друг Лу Синя, один из сотрудников издательства «Вэйминшэ». Перевел на китайский язык «Шинель» Гоголя, сборник «Рассказы русских писателей», стихи скандинавских поэтов.

Десять звеньев «Брусков» * я хотел перевести с немецкого перевода. Но я получил письмо от одного незнакомого мне человека, в котором тот просил, чтобы я отказался от своего намерения, так как им уже сделан перевод всей книги. Я ответил согласием, поэтому и не перевожу. Хотя, перевел он эту книгу или нет, сказать трудно.

«Разгром» у меня есть в трех переводах — английском, немецком и японском Подозреваю, что английский перевод сделан с немецкого, хотя в книге об этом ничего не говорится. Немецкий перевод тоже называется «Девятнадцать», даже рисунок на суперобложке тот же.

В сборнике «Автобиографии современных писателей» биография И. Бабеля есть, а Панферова — нет...

9 июня 1930 г

[Из письма к Ли Цзи-е, одному из учредителей издательства «Вэйминшэ», Собр соч., т. 9, стр. 339.]

---

* Десять глав первой части романа Ф. Панферова «Бруски».

...Предлагаемый читателю перевод * тоже нельзя считать «абсолютно точным», поскольку наши силы были еще очень слабы. Но он превосходит немецкий своей полно-

той, наличием предисловия, комментариев, карты, иллюстраций. Ничего этого нет и в японском издании **. Мы хотели сделать наше издание еще лучше, но пока время шло, обстановка в шанхайских издательствах изменилась к худшему, и ни одно из них не взяло на себя смелость издать эту книгу. В условиях, когда над нами нависла скала, нам ничего другого не оставалось, как изворачиваться и идти окольными путями ***. Но нам хотелось выпустить книгу во что бы то ни стало, непременно раскрыть перед читателем этот новый, неотразимый, как железо, прекрасный цветок.

Конечно, все это не сплошная цепь «трудностей», а лишь частности. Но сейчас, вспоминая, как готовилось то издание, хочется, чтобы читатель все знал. Очень трудно в нынешних условиях издать хорошую книгу. Хотя наше издание представляет собой лишь перевод, который смог увидеть свет благодаря стараниям трех человек — один переводил, второй редактировал и дополнял, третий сверял перевод с подлинником (кстати, не имея на это ни минуты свободного времени), ни у кого из нас ни разу не возникло желание поскорее сбыть книгу с рук и этим обмануть надежды читателей

10 октября 1931 г.

[Из послесловия редактора перевода «Железного потока». Впервые опубликовано в первом издании перевода, вышедшем в октябре 1931 г. в издательстве «Сань-Сянь». Собр. соч., т. 7, стр. 608—609.]

---

* Речь идет о «Железном потоке» С. Серафимовича.

** Японский перевод «Железного потока» («Тецу-но нагарэ»), который имеет в виду Лу Синь, вышел в свет в токийском издательстве «Тобун каку» в 1930 г. первой по счету книгой в серии «Библиотека советских писателей».

*** Издание «Железного потока» в частных издательствах все время откладывалось. С началом гоминьдановского террора и запрещением советской литературы издательство отказалось от него Выпуск перевода осуществлен Лу Синем в основном на свои средства.

Надеюсь с наступлением теплых дней увидеть законченный Вами перевод «Трансвааля» Федина. Уверенности в том, что книгу удастся издать, у меня нет. Издатели здесь стали трусливы, как мыши, и злы, как волки, сговориться с ними очень трудно. Но когда рукопись перевода будет в Шанхае, тогда что-нибудь придумаем, во всяком случае, это лучше, чем отправить ее в Бэйпин * и там запрятать в ящик...

Слышал от одного японца, что новому русскому изданию перевода «А — Q» ** предпослано предисловие Луначарского. Это правда? Если да, очень прошу Вас перевести его для меня или просто купить книгу и прислать, чтобы хоть увидеть, какая она...

Для сборника, о котором я уже писал Вам в предыдущем письме, перевел недавно «Рассказы об Аке и человечестве» Зозули и «Лялины интересы» Веры Инбер. Кроме того, твердо решил перевести «Красный десант» Фурманова.

«Разгром» уже печатается, выйдет в середине месяца. Карту взяли из большого сборника, но пришлось ее переснимать, потому что будем печатать в одну краску. Дополнительно сделал сопоставительный список всех собственных имен и названий, встречающихся в переводе, с английской транскрипцией.

10 ноября 1931 г.

[Из письма к Цао Цзин-хуа. Собр. соч., т. 10, стр. 60—61.]

---

* Тогдашнее название Пекина.

** Сатирическая повесть Лу Синя «Подлинная история А—Кью».

...Только что отправил в Японию письмо с просьбой купить два экземпляра японского перевода «Железного потока». Как только получу, тотчас же вышлю Вам. Переводчик этой книги в начале месяца арестован — у них там тоже в моде литературные судебные процессы...

23 апреля 1932 г

[Из письма к Цао Цзин-хуа. Собр. соч., т. 10, стр. 62]

Шанхайские обыватели ошарашены, всем кажется, будто Россия готова вот-вот съесть их. Литераторы — я имею в виду литературных шавок — дружно набросились на пролетарскую литературу. Правда, лают анонимно... Таких заступников справедливости, как Короленко, которого хорошо знали еще до Октябрьской революции, здесь и в помине нет...

24 июня 1932 г.

[Из письма к Цао Цзин-хуа. Собр. соч., т. 10, стр. 63.]

Перед самым приездом Бернарда Шоу газета «Даваньбао» выразила надежду, что Япония в связи с этим временно приостановит военные действия в Северном Китае; газета даже назвала Бернарда Шоу «миротворцем».

Но вот Бернард Шоу приехал в Гонконг. И сразу же все газеты опубликовали разосланное агентством «Рейтер» в китайском переводе* сообщение о его беседе с молодежью, причем беседа эта объявлялась... «пропагандой коммунизма».

Шоу, обратившись к корреспонденту агентства «Рейтер», воскликнул: «Вы, сэр, вовсе не похожи на китайца!» Удивленный тем, что среди обступивших его корреспондентов не нашлось ни одного китайского, который обратился бы к нему за интервью, он задал вопрос: «А что, разве все они такие необразованные, что даже не знают, кто я?» («Рейтер», 11-го числа).

Мы люди опытные, набившие себе руку. Нам отлично известны и добродетельное управление губернатора Гонконга, и законоуложения муниципалитета иностранного сеттльмента в Шанхае, мы знаем, кто из именитых людей с кем дружит, кто с кем враждует, когда у чьей супруги день рождения и что она любит поесть. Но Бернарда Шоу — увы! — действительно не знаем. Да и как нам его знать, если в Китае переведено лишь одно-два произведения этого писателя!

По той же причине мы не можем знать ни его взглядов до и после Европейской войны**, ни впечатлений от поездки по СССР. Зато из другой телеграммы агентства «Рейтер», переданной из Гонконга уже 14-го, кое-что нам стало известно. Больше того, мы даже начинаем понимать, в чем величие Бернарда Шоу Оказывается, в беседе с гонконгскими студентами он сказал им: «Если человек не стал красным революционером в 20 лет, то в 50 лет ему грозит превращение в мумию, от которой никакой пользы нет; если же в 20 лет у вас появится желание стать красным революционером, то к сорока годам, во всяком случае, вы будете продолжать двигаться вперед».

Величие этого человека я вижу вовсе не в том, что он советовал кому-то становиться красным революционером. У нас свои «специфические условия государственного существования», нам даже необязательно быть красными. Достаточно только сегодня стать революционером, и завтра ты лишишься головы, так и не дожив до срока. Под величием Бернарда Шоу я понимаю другое: он думает о наших юношах, думает, какими они будут в возрасте сорока-пятидесяти лет, и при этом не забывает сегодняшнего дня.

Богачи — те имеют возможность перевести капиталы в иностранные банки, забраться в самолет и укатить с китайской земли, куда им вздумается. Им легко думать о завтрашнем дне. «Если правители подобны изменчивому ветру, то народ подобен диким оленям».*** А бедным нельзя думать о завтрашнем дне. Им не разрешается думать, они не смеют думать.

Что же тогда гадать, что будет через двадцать-тридцать лет? Вопрос, казалось бы, простой, заурядный, но какой это вместе с тем великий вопрос!

Вот почему я за Бернарда Шоу!

15 февраля 1933 г.

[«Ода в честь Бернарда Шоу». Собр. соч., т. 5, стр. 27—28.]

---

* Представительство английского агентства «Рейтер» в Китае передавало свою информацию для китайских газет в готовых переводах.

** Первая мировая война 1914—1918 гг.

*** Афоризм составлен из изречений древних мудрецов Лао-цзы и Чжуан-цзы.

Ваше письмо получил позавчера. Пока жив, а сколько еще времени смогу прожить — не знаю...

Мне кажется, биография Горького* написана интересно, а главное — не сухо, поэтому посылаю Вам один экземпляр. Что касается самих произведений писателя, то их в Китае переведено немало, однако, думаю, доверять переводам не всегда можно, поэтому и не советую приобретать их для личной библиотеки. Вот в конце этого года, весьма возможно, в свет выйдут его «Избранные рассказы» и «Сборник статей о литературе». Перевод этих книг сделан непосредственно с подлинника, перевод хороший, и я непременно вышлю Вам, как только они будут изданы...

13 августа 1933 г.

[Из письма Дун Юн-шу, преподавателю средней школы в Гуйлине. Собр. соч., т. 10, стр. 165—166.]

---

* «Биография Горького» — «Великий писатель-революционер Горький», книга, написанная Цзоу Тао-фыном (1895—1944) — писателем-публицистом, главным редактором журнала «Шэнхо» («Жизнь»).

Г-н Тао-фын,

Сегодня из рекламного объявления в еженедельнике «Шэнхо» я узнал, что Вы закончили своего «Горького». Что Вам сказать, это поистине прекрасный подарок китайской молодежи.

Нельзя ли издать Вашу книгу с иллюстрациями? Это очень оживит ее. У меня есть альбом, в котором собраны фотоснимки Горького (зрелого возраста), есть и шаржи. Если понадобится, могу предложить Вам для изготовления клише. Готов даже перевести Вам все подписи к ним.

9 мая 1933 г.

[Письмо к Цзоу Тао-фыну. Собр. соч., т. 10, стр. 136.]

Как только «Мать» Горького вышла в свет, революционеры признали ее «очень своевременной книгой». И это так не только для того времени, когда она была написана, но и для настоящего. Тем более она будет иметь значение в сегодняшнем и в завтрашнем Китае, я в этом уверен. Доказательством этому служит широкое распространение перевода, сделанного г. Шэнь Дуань-сянем, что-либо к этому добавлять нет необходимости. *Там* не то, что здесь, *там* все это давно ушло в прошлое...

27 июля 1934 г.

[Из письма к Хань Бай-ло, сотруднику Управления ж. д. в Тайюани. Собр. соч, т. 10, стр. 235.]

Составление, перевод и комментарии Агея Гатова

Тойн де Фрис

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ

В нашем двадцатом столетии между капитализмом и социализмом идет яростная битва за новые критерии и истины, и ни один писатель, думающий о будущем, не имеет права уклоняться от участия в ней.

Человек и время

Для того чтобы жить достойно, как подобает истинно цивилизованному человеку, недостаточно иметь цель в жизни. Эта цель должна быть, кроме того, выражением заветных чаяний человечества. Она должна вызывать в душе каждого человека неугасимый энтузиазм, самые светлые надежды и вливать в нее безграничную силу. Именно в этом — спасительная правда для писателя и художника нашей эпохи, только она выведет его победителем из битвы идей, бушующей между капитализмом и социализмом.

Свобода

Мои буржуазные собратья по профессии неизменно заводят со мной разговоры о свободе. «Где же теперь твоя свобода? Ты ведь прикован к коммунистическим догмам!» «Что станет с нашей свободой в социалистическом государстве?» «Разумеется, мы знаем, что капитализм — это мерзость; мы были бы даже готовы принять все тяготы общества будущего (!), если бы не одно: мы боимся за нашу свободу»...

Они произносят слово «свобода», подразумевая под ним свою безответственность, отсутствие обязывающей совести, свой анархизм, оплачиваемый деньгами буржуазии.

Конечно, если говорить об этом серьезно, ни один писатель не может творить, не чувствуя себя свободным. Ему нужна не только внешняя свобода — отсутствие экономических затруднений, возможность отдохнуть и сосредоточиться. Ему нужна полная внутренняя свобода по отношению к своей работе. Другими словами, работа не должна подчинять его себе, он должен быть способен «поглядеть на нее со стороны», оценить ее истинные соотношения и пропорции.

Величайшие художники всех времен — греческие скульпторы, Леонардо да Винчи, Шекспир, Толстой — были независимы в выборе того, *как* творить, но они в известном смысле не были свободны в выборе того, *что* творить. Ведь наша общая почва — человеческое общество со всеми его противоречиями,— именно этими противоречиями предписывает нам, с каким материалом мы должны работать, и в большой степени даже то, как мы должны мыслить, писать, творить.

Как только художник открывает, что им, как и всеми людьми, управляют объективные силы, он обретает бо́льшую свободу. Его уже не вводят в заблуждение причуды и соблазны анархии — наоборот, он начинает определять свое отношение к силам, направляющим ход истории.

Капитализм превращает в своих слуг и блюдолизов тех художников и писателей, которые не желают видеть подлинную суть явлений, и особенно тех, кто даже не понимает ужаса своей социальной слепоты. Социализм воздает честь творцам искусства

в той мере, в какой им удается выразить новые и лучшие истины новым и лучшим способом. Вот в чем основная разница между слепым служителем дряхлеющего социального уклада и глашатаем нового здорового общества.

Этот последний род свободы — признание необходимости изменения и ниспровержения старого порядка вещей — сам по себе является такой могучей духовной силой, что не может не породить более высоких прозрений, большего разнообразия художественных возможностей, творческих устремлений и решений, которые в то же самое время создают более широкие перспективы для всех людей.

О романе

Роман как литературный жанр представляет собой целый самостоятельный мир, о котором уже написаны и еще будут написаны сотни книг.

Современный роман — это чрезвычайно многообразное и многостороннее явление искусства, полное противоречий, которых не меньше, чем противоречивых верований и убеждений в нашем мире.

Во всей сложной проблеме современного романа есть только одна бесспорная истина (которую, конечно, будут опровергать и оспаривать): если и существуют пути для эволюции и преображения эпического жанра литературы, то такая перемена окажется возможной и благотворной лишь под влиянием вдохновляющей силы социализма.

Против темной поэзии

Буржуазная литература, и особенно поэзия, обнаруживает все более заметное стремление стать «темной», непонятной, загадочной.

Мы должны бороться с этой тенденцией в литературе, ясно отдавая себе отчет в том, что́ поставлено здесь на карту.

Неопределенная, разорванная, заикающаяся форма, которую с восторгом приемлет современная буржуазная поэзия, не может содействовать раскрытию конкретного содержания и служит только для затуманивания истины.

Нам не следует культивировать мертвые формы и давно устаревшие поэтические эмоции только ради того, чтобы поддерживать традиции,— нет, социалистическая поэзия должна быть в первую очередь наполнена ясно осознанной реальностью, ее элементы должны слагаться из нового опыта и боевого духа. Я думаю сейчас о Маяковском, о Неруде, о Незвале, о Хикмете.

Упадок и утонченность

Буржуазные философы искусства, не отрицая одряхления и упадка западной капиталистической цивилизации, часто заявляют, что этот упадок имеет одну положительную сторону: благодаря ему появляются совершенно новые образчики художественной утонченности.

Мне кажется, ставить знак равенства между предельным упадком и предельной утонченностью — большая ошибка. Так, современная дисгармоничная или электронная музыка, расцветом которой отмечен период упадка музыкальной культуры на Западе, являет собой убедительный пример отнюдь не высшего развития музыки, а наоборот — все большего притупления слуха и восприятия. Засилье абстракционистской живописи отвратительно для всех, кто видит в способности человека к творчеству связь с окружающей его реальностью и с присущей ему способностью мыслить.

Сравнивая гуманизм умирающего общества и общества новорожденного, мы несомненно придем к заключению, что так называемые утонченность и изысканность одряхлевшей половины мировой цивилизации представляют собой лишь маску, под которой прячется животная жестокость и варварство, в то время как за иной раз неотшлифованной формой юных социалистических книг откроется внутреннее богатство огромного разнообразия положительных человеческих чувств.

Экспериментальная поэзия 1960 года

Современная буржуазная поэзия выбрала себе новое имя: теперь она называет себя экспериментальной. На моем письменном столе лежит антология современной голландской поэзии — сборник произведений наших поэтов младшего поколения. Озна-

комившись с его содержанием, я тем самым ознакомился с особенностями всех современных стихов, написанных от Неаполя до Тромсё, от Парижа до Бонна (не говоря уже о США), ибо все национальные черты вытравлены из них и заменены набором стандартных литературных приемов — точно так же молодые поэты между упомянутыми широтами носят одинаковые свитеры, рубашки и брюки.

Многие стихи отмечены чернейшим ужасом перед жизнью. Молодежи словно кажется, что она живет в воронке от бомбы. Впрочем, ее винить нельзя: старшее поколение ведет бешеную гонку вооружений, а силы мира в этих странах еще недостаточно активны.

Боясь, что их сочтут нормальными, здоровыми людьми, многие молодые поэты ломаются на все скверные литературные лады, вызывая лишь ощущение невыносимой аффектированности и неестественности. Они претендуют на разнообразие, а демонстрируют только унылую бедность ума и воображения.

Все человечное, любая гуманистическая тенденция ставятся в этих стихах под сомнение. Любая моральная проблема остается смутной и нерешенной. Молодые поэты жалеют, что родились, и изнывают от страха перед жизнью. И вот уклончивость и бегство от жизни заменяют надежду на будущее и твердые убеждения. Бесконечное повторение одних и тех же жалоб напоминает мне бормотание дряхлых жрецов, которые, впав в детство и потеряв все зубы, продолжают упорно шамкать свои заклинания.

Простое искреннее чувство сброшено со счетов; поэзия в этой своей экспериментальной стадии превратилась в насмешку над жизнью, в пародию. Все логические и социальные связи, все психологические отношения между внешней и внутренней жизнью беспощадно разорваны. Каждый одинок, отъединен от окружающего. Мир делается чужим, темным и враждебным.

Так жизнь мстит искусству за пренебрежение к ее элементарным законам.

Единственные стихи, при чтении которых испытываешь какое-то грустное удовольствие, посвящены осени, осенней красоте и осенней печали. В них неожиданно чувствуется что-то подлинное.

Ну конечно же: впереди зима!

Следует ли пожалеть этих поэтов и их поколение? Конечно. И лучший способ выразить такую жалость — это изменить мир, в котором они живут.

Сумерки религии

Я некоторое время вел бурную переписку с моим старым другом С. Ф.*, который недавно написал книгу о будущем религии. Это — одно из его странных заблуждений, и я почувствовал, что обязан указать С. Ф. на его ошибку.

В длинном письме он доказывал, что религия — неотъемлемая часть человеческого разума и поэтому до скончания века будет влиять на жизнь, а тем самым и на литературу.

Он подверг критике описание древней жреческой касты в Шумере в моем историческом романе «Пастух, убивай волков!», где религия показана как темная сила, подавляющая стремление эксплуатируемых масс к свободе и независимости. С. Ф. указывает, что многие из этих древних жрецов были учеными, астрономами и математиками. Он утверждает, что христианские монахи в средние века несли Европе образование, агрономию, многие ремесла. Разумеется, он прав в частностях, но в главном он ошибается.

Основная цель и сущность религии заключается вовсе не в том, чтобы способствовать просвещению (даже когда она ему и способствовала, это делалось исключительно в интересах правящих классов), а в том, чтобы поддерживать веру в нематериальный и сверхъестественный мир. Она облекает в формы и символы самые мрачные образы нашего смутного и встревоженного воображения, наши страхи и наше невежество. Она направляет усталость и отчаяние многих угнетенных поколений в тупик мистики. Она создает железный авторитет церкви, чтобы, сотрудничая с правящими классами, подчинить себе народные массы и, если понадобится, погнать их на братоубийственную войну. Она, словно отупляю-

---

* Я имею здесь в виду одного из наиболее одаренных голландских писателей, который, оставив медицину ради литературы, написал много стихотворений, романов и очерков и творческий путь которого чрезвычайно неровен и прихотлив.

щий наркотик, применяется против стольких человеческих горестей и страданий, что ее по праву называют опиумом для народа.

Человек развил науку — от простейшей ремесленной сноровки до поразительнейших достижений техники. Он летает над землей и погружается в глубины океана. Он стал сознательным владыкой всего сущего и продолжает уверенно идти по этому пути. Но подлинная власть человеческого разума наступает тогда, когда исчезает деление на классы, когда кончается период владычества слепых сил не только в природе, но и в обществе.

С. Ф. готов даже признать, что неизбежным результатом происходящих в нашем мире процессов явится коммунизм. Но при этом он уверен, что и коммунистическое общество тоже не сможет обойтись без религии.

Человечество не найдет разума вне себя, ибо его разум заключен в нем самом. При социалистическом образе мышления смысл жизни заключается в восприятии человеческой жизни как основы бытия. Человек создан так, что он всегда стремится вновь и вновь переделывать мир. Человек социалистического общества сознательно творит историю и так изменяет мир, что он, наконец, становится разумным и оправданным.

Социалистическое сознание характеризуется еще одной чертой, несравненно более важной, чем все грезы о будущих религиях или утопиях. Это — ясное ощущение хода развития жизни и общества в нашей будничной работе, в трудовом подъеме каждого дня, ощущение, помогающее революционизировать и переделывать окружающую нас действительность.

С предубеждением, характерным для стольких — даже великих — художников, живущих при капитализме, С. Ф. упрямо недооценивает разум масс. И вот тут-то, наконец, выясняется, зачем ему понадобилась его религиозная утопия: даже если христианство, буддизм и другие крупнейшие вероучения со временем устареют, трудящимся массам все равно будет нужно нечто метафизическое и мистическое, иначе им грозят духовная опустошенность и неудовлетворенность.

Буржуазное воображение не в силах представить себе трудящиеся массы, которые взяли власть в свои руки. Оно не в силах постигнуть тот факт, что «великим» массам, после того как они победят старый мир и начнут переделывать его в новый, после того как из рабов они станут господами, прежние наркотики будут уже ни к чему.

Творческое величие

Писателя в конечном счете делают великим не его творческие приемы, не его манера обрабатывать материал, даже не его эстетика, а та глубина и проникновенность, с которой он (через свою «эстетику») выражает сумму опыта своих современников, то есть весь многосторонний исторический процесс, сформировавший его эпоху, определяющий характеры людей и ход событий.

Еще раз: старое и новое

Одна из причин общего уныния, господствующего сейчас в буржуазной литературе Запада, заключается в том, что писатели не могут сказать ничего нового о человеке.

Только новый подход к человеку, к его будущему может пробудить сочувственный интерес у тех читателей, которые еще сохранили какую-то непосредственность, какое-то желание узнавать больше и понимать глубже.

А то, что сейчас возникла потребность в чем-то новом, наши деловитые писатели, конечно, сообразили уже давно. И вот они принялись искать этот новый подход, копаясь в сенсационных преступлениях и в пороках и делая вид, что таким способом они обнаруживают в человеке новые качества, хотя на самом деле они только вытаскивают на свет старые гнусные свойства империалистического строя, которому служат.

О красоте

Представление о красоте в социалистическом искусстве и литературе качественно отлично от представлений предыдущих эпох, потому что социалистическое творчество славит иной тип человека — его герой трудится, борется и побеждает, но не ради себя, а вместе со всем новым классом, как

первооткрыватель грядущих разумных норм жизни.

В отличие от классического культа красоты, прославлявшего хорошо сложенное тело, и от современного буржуазного культа безобразного, социалистическое понятие красоты включает и духовную красоту — не просто «богоподобных людей», но и людей с твердыми нравственными принципами.

Социалистической литературе присущи ясно выраженные этические поиски пока еще неведомых прекрасных взаимоотношений между людьми.

Красота не может быть неизменным, неразвивающимся качеством и тем более — чисто внешним, декоративным атрибутом. Ее создает творческая энергия человека, ее создают люди, которые посвящают свои силы тому, чтобы переделать общество, добиться победы мира, разрешить проблему страдания, утвердить гуманизм как норму нашего социального поведения

Стоит подумать об этом, и становится ясно, что новая эпоха в искусстве не только нужна, но и возможна и что толчок к ее развитию даег социалистическая мысль.

Социальное или социалистическое искусство

Некий голландский критик назвал одну из моих книг «попыткой создать доброкачественный социальный роман». По его мнению, попытка оказалась неудачной. Не буду спорить с ним. Остановлюсь только на самом термине, которым он определяет мою книгу.

Что такое социальный роман? В известном смысле всякий роман, повествующий о человеке и условиях его существования, будет «социальным» романом. Однако в данном случае критику следовало бы назвать мой роман социалистическим, так как одно дело — произведение, просто затрагивающее социальные вопросы, и совсем другое — книга, которая старается вскрыть тайные пути развития эпохи и видит в теме человека отражение и определенный этап куда более крупных революционных изменений.

Если бы социалистическое искусство было всего только «социальным», оно не пошло бы дальше былого натурализма, бесстрастно иллюстрирующего различные явления жизни, причем чаще всего — отвратительные и убогие. Писатель-социалист должен ставить перед собой более важную и возвышенную цель: он стремится показывать жизнь как силу, способную обновить человека и общество благодаря борьбе трудящихся классов против прошлого во всех его формах.

Социальный роман может оказаться сильным человеческим документом, если данное в нем изображение несчастий и зол пробудит в нас сочувствие или негодование; он может даже внушить читателю уверенность в необходимости восстания. Социалистический же роман рисует «анатомию» восстания, преодоление и ниспровержение (тем или иным путем) старого порядка или утверждение нового строя. Социалистический роман живет дыханием правды. Если социалистический роман является подлинным произведением искусства, то он несет в себе нечто гораздо большее, чем «просто тенденцию», мы чувствуем в нем убедительнейшую реальность самой жизни — таковы произведения Фадеева и Зегерс, Андерсена-Нексе и Леонова, Федина и Арагона. Социалистический роман не только критикует действительность, но и утверждает положительный идеал; он может изобразить болезнь какого-нибудь общества, но обязательно укажет и средства ее излечения.

Разумеется, социалистическому искусству обязательно присуще социальное чувство. Однако если авторы социальных романов ограничиваются только этим чувством и нередко склонны к сентиментальности, а иной раз попросту упиваются изображением несчастий, писатель-социалист ищет в людях гордость. Одним из первых среди писателей нашего времени понял это Горький, который сумел, кроме того, воплотить свои прозрения в великолепные произведения искусства. Он преодолел ограниченность «социального» романа, прославив величие людей, борющихся с темными сторонами жизни и уверенно идущих к социализму.

Советская литература — замечательное достижение

Успехи Советского Союза заставляют нас снова задуматься над принципиально новыми достижениями этой великой страны и в

том числе — над ее вкладом в мировую литературу.

Советская литература обладает свойством опережать развитие своей страны. Она помогает народу находить путь по неведомым областям жизни. Советское искусство и советская литература взяли на себя ответственнейшую миссию — воспитывать в своих читателях все более высокую сознательность, раскрывая стоящие перед ними задачи. Споры писателей и критиков (пусть порой и кажется, что критики чересчур много ворчат, словно их обязанность — ворчать и ничего больше) всегда завязываются по поводу действительно важных проблем, по поводу вопросов, куда более существенных, чем чисто внешние вопросы формы, стиля или изобразительных средств.

Подобная новаторская и вдохновляющая литература со столь высокими гуманистическими и нравственными нормами не потерпит неудачу только в том случае, если будет опираться на смелые таланты. Опасность, грозящая советской литературе, заключается в следующем: если провозглашаемые ею принципы станут пропагандироваться малоодаренными писателями, им будет не хватать убедительности. Плохие писатели противопоказаны социализму. (Это, разумеется, относится к любой великой идее или идеалу, которые из-за слабого своего выражения легко могут превратиться в схоластическую пропись.) Но подлинно одаренные советские писатели, чье число столь велико, что невозможно их всех назвать, всегда, подобно орлам, высоко взмывали над опасностями и трудностями.

Недостатки советской литературы объясняются слабостями, свойственными любому творению рук человеческих; однако присущая ей сила, взыскательность, энергия и миролюбие поведут ее все дальше и дальше и так поднимут, что весь мир убедится в ее высшей правоте.

Спутник и новое сознание

Советский спутник положил начало принципиально новой эре, вдохновляющей все человечество: он дал нам новое великолепное осознание пространства, изменив тем самым все былые представления о земных масштабах. И речь идет не только о физических явлениях, но и обо всей совокупности идей и убеждений.

Завоевание космоса, проводимое ныне советскими учеными и космонавтами, означает решительную революцию во всех наших привычных взглядах на мир, куда более значительную, чем та, которую произвели открытия Колумба в мировоззрении людей XV века. Его открытие окрылило человечество, уже созревшее для новых верований и идеалов. Но то были крылья, скованные характерным для раннего капитализма завоевательским духом.

Достижения советской ракетной техники, запуск межпланетных кораблей и увенчавшие эти усилия смелые космические полеты советских майоров Гагарина и Титова не могут не изменить мировоззрения современного человечества — и не только в области науки, но и идеологии и в политике.

Победа социализма в стольких странах нашла свое символическое выражение в первом спутнике. В сознание людей неотвратимо проникает убеждение, что капиталистическая система одряхлела и обречена. Все острее ощущаются ограниченность капитализма и неисчерпаемые возможности социализма. «Космическое сознание» молодого поколения, как в самом Советском Союзе, так и за его пределами, будет неразрывно связано с конкретными успехами социализма.

Трудно предугадать, как именно это «космическое сознание» будет влиять на культуру, искусство, литературу. Я убежден, что мы увидим его воздействие уже в ближайшем будущем; оно ускорит гибель окостеневших представлений, покончив с буржуазным декадансом во всех областях искусства и приблизив полную победу социалистического человека.

Прорыв в будущее

Новая Программа Коммунистической партии Советского Союза может быть названа Великой хартией вольности трудящихся классов — и не только одержавших победу трудящихся классов Советского Союза, но также и всех пока еще эксплуатируемых на всем земном шаре — рабочих, крестьян, колониальных народов и даже интеллигенции капиталистических стран, которая считает себя такой «свободной» и которая так жалко повинуется прихотям кучки имущих.

Советская Хартия вольности указывает направление, по которому идет советский народ, и тем самым намечает общий курс современной истории.

Коммунисты Советского Союза, дети Ленина, сегодня имеют право гордиться. Это они сделали в 1917 году первый, самый трудный шаг к победе 1961 года. Они страдали и боролись ради всего страждущего и борющегося человечества, они победили в страшной мировой войне, и вот они снова мобилизовали все свои духовные и материальные силы и сделали новый замечательный шаг вперед.

Советские люди — авангард человечества, и они первыми достигнут стадии коммунизма — и они заслужили это,— но тем самым они прокладывают путь к светлому будущему для всех, кто следует за ними.

Подлинный гуманизм, полное осуществление бесклассовой демократии и всеобщего процветания, то есть завершение предыстории человечества, будет завоевано благодаря тем, кто берет на себя задачу сделать явью эту Хартию вольностей 1961 года. Планы советских людей никогда еще не оставались невыполненными, и на этот раз они тоже претворят их в жизнь. Неверующим и клеветникам придется почтительно умолкнуть, но, что гораздо важнее, во всех странах земного шара те трудящиеся, которые пока еще не могут постигнуть всего значения проекта новой Программы КПСС, убедятся в ее реальности, узрев поднимающееся здание коммунизма; они увидят, какая система лучше, и с ужасом отвергнут отжившую систему, которая держит их в рабстве и каждодневно грозит вовлечь в третью мировую войну.

Поистине поразительно, как упрямо отказывается буржуазный мир извлекать уроки из неопровержимых фактов. Он продолжает проводить свою политику, о чем свидетельствуют провокации и убийства в Алжире, Тунисе и Анголе, грязные происки вокруг западноберлинского вопроса, истерические вопли во имя увеличения производства еще более смертоносного оружия, истощение материальных ресурсов народов ради гонки вооружений.

Провоцировать новые войны на нашей маленькой планете — это безумие, как доказали круги, описанные вокруг нее вторым советским героем космоса майором Германом Титовым. Как и его предшественник, Юрий Гагарин, он вернулся на землю целым и невредимым, чтобы поведать миру о своих впечатлениях, которые в 1961 году все еще поражают воображение. В 2000 году дело будет обстоять иначе.

Подвиг майора Титова начертал в небесах новое поражение капитализма. Покорение космоса еще раз доказывает, что взаимное уничтожение и войны для крошечных земных существ — это глупость, пережиток средневековья. Только безумцы, обреченные уйти с подмостков истории, могут ратовать за это мрачное наследие прошлого.

Ну а как же писатели, художники, как вся творческая интеллигенция мира?

Можем ли мы отныне писать, думать, творить, забывая о том, что будущее человечества раз и навсегда связано с коммунизмом? Поняли ли мы, наконец, что коммунизм, находящийся в процессе своего становления, является единственной социальной силой, которая будет определять наше отношение ко всему сущему на земле и на небе?

От правильного ответа каждого художника на этот вопрос зависит будущее культуры.

НОВАЯ ЖИЗНЬ, НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГОЛОС НАРОДА

(Коммунистическая партия Чехословакии в борьбе за социалистическую культуру)

15 мая 1921 года на съезде левых социал-демократических групп была создана Коммунистическая партия Чехословакии. С тех пор прошло сорок лет — четыре десятилетия борьбы против власти капитала, буржуазного режима, против фашизма, за осуществление социалистической революции. Сороковую годовщину своей партии народы Чехословакии встретили в условиях победившего социализма.

Boje a ciele. Komunistická strana Československa a socialistická literatúra. Bratislava, 1961. Редакторы и составители: М. Розенбаум, Т. Слоука, М. Томчик, К. Трухлик. Автор послесловия — М. Томчик.

Достойную лепту в эту победу вложили лучшие деятели чешской и словацкой культуры, делившие вместе с партией и народом и радость успехов, и горечь временных поражений. Под непосредственным влиянием партии, под ее прямым воздействием и руководством росли и крепли творцы новой литературы, вдохновленной идеалами социалистической революции.

К сорокалетию Коммунистической партии в Чехословакии вышла книга, в которой собраны важнейшие документы борьбы за чешскую и словацкую литературу социалистического реализма. В этом сборнике, названном «Борьба и цели», мы встречаемся со статьями и высказываниями руководителей партии — Б. Шмераля, К. Готвальда, А. Запотоцкого, А. Новотного, В. Широкого, В. Копецкого, К. Бацилека, критиков-марксистов — З. Неедлы, Б. Вацлавека, Ю. Фучика, Э. Уркса, Курта Конрада, Л. Штолла, крупнейших писателей, зачинателей и основоположников литературы социалистического реализма в Чехословакии — С. К. Неймана, И. Волькера, И. Ольбрахта, М. Майеровой, П. Илемницкого, В. Незвала, М. Пуймановой, Я. Поничана, Ф. Краля и других.

Перелистываешь страницу за страницей — и перед глазами встают вехи большого, трудного, но славного пути.

Книга открывается разделом, в котором представлены статьи и высказывания В. И. Ленина по вопросам культуры и литературы («Партийная организация и партийная литература», «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение», «О национальной гордости великороссов» и др.) Труды В.И. Ленина имели сильнейший общественный резонанс в Чехословакии уже в двадцатые годы. Первой книгой Ленина, переведенной на чешский язык в 1920 году, была «Государство и революция», выпущенная накануне образования КПЧ издательством «Червен», которым тогда руководил виднейший поэт и один из основателей Коммунистической партии Станислав Костка Нейман. «Перевод этой книги Ленина,— писал в 1950 году Л. Штолл,— был в то время, бесспорно, самым большим событием в чешском духовном мире. И не только потому, что она закладывает теоретический, программный фундамент революционного рабочего движения, но и потому, что она указывает всем честным и мыслящим представителям чешской культуры, чешской поэзии новые необозримые горизонты осуществи-

мого счастливого будущего человечества, указывает реальный выход из капиталистической пустыни. Произведение Ленина в этом смысле разжигает чистое пламя исторического оптимизма... без которого немыслима сколько-нибудь устойчивая, идейная, большая поэзия».

Быть революционером — таков был зов времени. В начале двадцатых годов, выражая мысли и чувства передовой творческой интеллигенции, Иржи Волькер писал: «Индивидуалистическое искусство для искусства пало. Художник хочет не только творить, но главное — быть услышанным. Сегодня он должен быть услышан *рабочим-борцом*». Рабочий-борец — это был новый читатель и новый герой пролетарской литературы. «Речь идет о том,— говорил на I съезде КПЧ руководитель партии Богумир Шмераль,— чтобы творчество новых, великих ценностей, нравственных и эстетических, перешло из рук отдельных индивидуумов и незначительного, обеспеченного частной собственностью меньшинства в руки народных масс... Мы пойдем к рабочему... которому мы хотим отвоевать право на все дары жизни. Мы — больше чем политическая партия. Мы — авангард новой жизни. Творя новые отношения, мы хотим творить и новых людей». То, что еще лишь брезжило в сознании многих художников, тянувшихся к передовым идеалам времени, партия ясно и отчетливо сформулировала уже на своем первом съезде. Это была программа нового, социалистического гуманизма, программа воспитания нового поколения людей, творцов будущего счастливого общества. Коммунистическая партия, выразительница интересов революционного пролетариата, носительница новой идеологии, стала притягательным центром, вокруг которого собирались лучшие представители чешской и словацкой интеллигенции.

В развитии всей «литературы двадцатилетия» (1918—1938 — годы существования буржуазной Чехословакии) отчетливо прослеживается одна общая закономерность. Очень точно ее определил Антонин Запотоцкий: «Те, кто примирился с буржуазной республикой, деградируют не только политически, но и творчески. В них умирают запал и вдохновение. Они превращаются в филистеров и отстают. Напротив, те, кто встал на сторону народа и его борьбы за лучшее будущее, растут и творчески крепнут... Борьба за новое искусство была нелегкой... Революционных художников и поэтов преследовала не только политическая реакция — на них обрушивались представители всех художественных направлений, которые своими корнями были так или иначе связаны с буржуазным строем. Одиночкам было очень трудно разбираться во всех проблемах, выдерживать атаки и твердо идти по правильному пути. В этой борьбе в конечном итоге могли устоять лишь те, кто теснее всего примкнул к революционной партии, кто сумел удержать органичную связь с народом».

Молодая пролетарская литература Чехословакии рождалась не в экспериментальных лабораториях отрешенных от жизни отшельников — она отвоевывала право на существование в жестокой борьбе с реакционной охранительной литературой всех оттенков: от узколобого мещанского прагматизма до махрового национализма. Она прошла сквозь горнило многочисленных дискуссий с представителями модных модернистских школ (прежде всего «поэтизма» и сюрреализма), которые пытались подменить принцип целеустремленного, идейного творчества «революцией формы», стихийной игрой образов и воображения. Она переболела и «детской болезнью» молодого социалистического искусства — подчеркнутым, полемическим преувеличением агитационной, чисто идеологической функции искусства. Творцами новой литературы стали те художники, для которых связь с коммунистической партией была не пустой формальностью, не позерством бравирующего «левизной» интеллектуала (таких попутчиков было предостаточно в среде мелкобуржуазной интеллигенции), но делом совести и сердца. Они шли непроторенными путями, история не заготовила точных рецептов для создания социалистического искусства. Главное они видели в том, чтобы не изменить «чистоте пролетарского взгляда, что важнее всего» (С. К. Нейман), не покривить перед своей художнической совестью. Так создавалась разнообразная по жанрам и стилистическим средствам литература социалистического реализма в Чехословакии: призывные строфы боевых стихов С. К. Неймана и его словацкого последователя Я. Поничана, прозрачная и самоотверженно гуманистическая лирика И. Волькера, уничтожающая антибуржуазная сатира Я. Гашека, проникнутая новой,

социалистической моралью психологическая проза И. Ольбрахта и М. Майеровой, словацкого писателя П. Илемницкого и Ф. Краля Каждый из этих пионеров социалистического искусства шел своим путем, но общим для всех было одно — последовательное отстаивание интересов трудящихся. В этом они видели основную задачу, смысл своего творчества; в коммунистической тенденциозности, партийности — основное качество пролетарской литературы.

Стремясь всеми силами уменьшить воздействие произведений пролетарских писателей на массы, сбить с верного пути самих писателей, буржуазные критики изощрялись в выдумывании оскорбительных ярлыков, порочащих творчество Неймана, Майеровой, Илемницкого... «Пролетарский натурализм», «красные агитки», «литература партийного диктата»... «Чистое искусство не печет хлеба»,— вторил им апологет модернизма в чешской литературе К. Тейге. Общими усилиями они старались вывести социалистическую литературу за пределы искусства, посеять сомнения в искренности ее творцов.

«Вполне возможно,— писала Мария Майерова,— что в моей прозе дает себя знать моя кровь, кровь моего пролетарского происхождения и жизни, заполненной работой, моя любовь к трудовому люду, ненавидящему паразитов. И если я за что-нибудь борюсь в своем творчестве, а любое творчество — это борьба, то борюсь за революцию, потому что вижу в ней единственную возможность новой социальной организации жизни и основу новой культуры, нового искусства... Художник, который не пишет своей кровью, бежит от своей эпохи... А потому я не могу писать иначе, чем пишу».

О том же говорил Иван Ольбрахт: «Художники, которые вышли из рядов пролетариата или прочно срослись с ним, которые живут его жизнью, чаяниями, борьбой и перспективами, не могут создавать иную литературу, нежели пролетарскую». И наконец: «...Решает не содержание, не форма, а социалистический «дух», честная, искренняя, здоровая, социалистическая личность, которая стоит за ним» (С. К. Нейман). В этих ярких высказываниях выражено кредо творцов социалистической литературы. В них надо искать объяснение больших успехов, достигнутых чешскими и словацкими писателями на пути социалистического реализма уже в двадцатых и тридцатых годах.

Важной особенностью развития социалистического искусства в Чехословакии было тесное содружество художественной практики с марксистской критикой. Глубоко творческий подход Коммунистической партии Чехословакии к литературе и искусству, постоянное внимание, которое уделяли ЦК КПЧ и руководящие деятели партии вопросам идеологической работы на культурном фронте (особенно после исторического V съезда КПЧ в 1929 году, на котором были окончательно разгромлены оппортунисты и завершена большевизация партии), имели исключительное значение в воспитании и закалке кадров марксистской литературной критики. В рядах партии выросли такие талантливые теоретики нового искусства, как Ю. Фучик, Б. Вацлавек, Э. Уркс, Курт Конрад, Л. Штолл и другие. Пламенные революционеры, яркие публицисты, редакторы основных периодических изданий партии, знатоки марксистской философии и эстетики, люди, любившие и понимавшие литературу, они вслед за мастерами социалистического искусства З. Неедлы и С. К. Неймном своими острыми полемическими статьями внесли существенный вклад в общую теорию социалистического реализма. Именно на них легла основная тяжесть боев с реакционной критикой, с модернистствующими литераторами. Однако при всей остроте полемики, громя буржуазных идеологов и писателей, «смотрящих на мир сквозь дырку в эммментальском сыре» (Ю. Фучик), партия проявляла максимум выдержки и терпения по отношению к заблуждавшимся, но честным и искренне ищущим истину художникам. Метод убеждения, само развитие жизни, подтверждавшее правоту партии, помогали многим из них рано или поздно выйти на дорогу подлинного социалистического искусства.

В своем ярком выступлении на VI съезде КПЧ в 1931 году Юлиус Фучик так говорил об отношении к этим слоям интеллигенции: «Привлечь ее на свою сторону, и при этом не только организационно, нам необходимо завоевать ее совершенно конкретно для дела пролетарской революции... Мы должны начертить топографические знаки, по которым мелкобуржуазная интеллигенция сумела бы выйти из глухого леса своего душевного кризиса, должны помочь

мелкобуржуазной интеллигенции уяснить себе, что ее интересы тесно связаны с интересами пролетариата... что коммунизм и только коммунизм не чурается культуры и предоставляет интеллигенции все возможности для проявления своих способностей на благо подавляющего большинства общества».

В те годы, когда на границах республики стали собираться фашистские полчища, курс коммунистической партии на создание широкого народного антифашистского фронта встретил горячую поддержку представителей всей демократической культуры. «Мы ценим всех тех,— говорил на VII съезде КПЧ в 1936 году А. Запотоцкий,— кто симпатизирует борьбе рабочего класса. Проявления этой симпатии свидетельствуют о том, что мыслящие головы мира науки, искусства и культуры в самом деле понимают, что единственным носителем прогресса является рабочий класс, единственным борцом за прогресс является революционная рабочая партия. Мы заверяем, что вместе с товарищем Неедлы будем бороться за то, чтобы освободить науку, искусство и культуру от реакции и угрозы фашизма». Претворяя в жизнь эту программу партии, писатели коммунисты создают в те годы антифашистский блок представителей чешской и словацкой культуры. «Мы приветствуем литературу,— писал один из руководителей блока критик и теоретик-марксист Бедржих Вацлавек,— которая является подлинным выражением современности, которая не отдаляется от ее живой струи. Но при этом нам чуждо всякое сектантство и узколобость. В момент массированного наступления на культуру, в момент, когда решаются судьбы страны, мы убеждены, что должно осуществиться сосредоточение сил и товарищеское сотрудничество».

В дни тяжелых испытаний, когда над древним Пражским Градом развевалось ненавистное знамя со свастикой, за партией коммунистов, единственной партией, не капитулировавшей перед оккупантами, пошли все патриоты, честные представители культуры. Когда в 1940 году рейхс-министр Геббельс, стремясь отколоть чешскую интеллигенцию от народа, в специальном обращении призвал ее к сотрудничеству с гитлеровским режимом, ему от имени всех деятелей чешской культуры в страстном негодующем письме, распространявшемся в виде листовки, ответил Юлиус Фучик: «Мы, «идейно руководящий отряд народа», как вы нас называете, действительно связаны глубокими и нерушимыми узами с народом всей страны. Но не потому, что мы внушаем народу свои взгляды, а потому, что мы выражаем взгляды своего народа. Мы, люди культуры, связаны не на жизнь, а на смерть с самыми прогрессивными силами своего народа, и мы знаем это». Многие талантливые деятели чешской и словацкой культуры отдали жизнь в борьбе с фашизмом, но не изменили этой торжественной клятве. Среди павших борцов — светлые имена Ю. Фучика, Э. Уркса, в качестве членов подпольного ЦК КПЧ руководивших движением Сопротивления в стране, Б. Вацлавека, В. Ванчуры, Курта Конрада, замученных в застенках гестапо и в концлагерях, и многие, многие другие. Свыше 20 000 коммунистов, лучших сынов и дочерей народа, погибли в борьбе за освобождение своей родины.

В мае 1945 года открылась новая страница в истории Чехословакии. Искусство, наука и культура переживали вместе со всей страной период исторических перемен. И хотя вплоть до февраля 1948 года, до разгрома сил реакции, еще шла острая борьба с представителями реакционных политических и эстетических группировок, однако уже в первые годы существования народной демократии был заложен прочный фундамент новой, социалистической культуры. Коммунистическая партия Чехословакии, ставшая ведущей правительственной партией сразу же после освобождения, взяла ленинский курс на осуществление культурной революции. На первом ее этапе (до 1949 года) партия выдвинула программу борьбы за углубление национального и народного характера современной культуры на основе прогрессивного демократического наследия прошлого. Выступая на Съезде национальной культуры в 1948 году, Клемент Готвальд определил задачу первого этапа культурной революции как задачу «национализации культуры»: «И это, я думаю, путь почетнейшего участия нашей культуры и искусства в строительстве нового общества и в воспитании нового человека. Это путь, достойный наших национальных традиций, путь к новому расцвету и славе нашей культуры. Пойти этим путем — значит, снискать сердце и благодарность народа». Идея широкого культурного фронта, с успехом осуществлявшаяся парти-

ей еще в тридцатые годы, получила свое дальнейшее развитие.

При ее проведении в жизнь Коммунистическая партия Чехословакии творчески использовала опыт строительства социалистической культуры в Советском Союзе. В этом смысле особое значение для выработки общей линии партии в культурной политике имела известная резолюция ЦК КПСС 1925 года «О политике партии в области художественной литературы», полностью приведенная в сборнике.

«Ставится вопрос,— говорил на IX съезде КПЧ в 1949 году один из руководителей партии Вацлав Копецкий,— насколько широким должен быть писательский фронт при этом новом курсе, ведущем к социализму. В ответ мы можем снова подчеркнуть, что представители социалистического реализма должны составлять определяющую силу писательского фронта, но вместе с тем этот фронт должен быть как можно более широким, в него должны быть включены все писатели, которые положительно относятся к народной демократии и к социалистическим усилиям трудящихся... Было бы неправильно сужать фронт писателей и остальных работников культуры каким-либо узкополитическим принципом или принадлежностью к партии... Нужно ясно сказать: мы как партия приветствуем всех прогрессивных писателей, всех прогрессивных художников и ценим все их достойные творения. Мы не вторгаемся в литературный и художественный процесс в том смысле, чтобы, например, утверждать что та или иная группа литераторов говорит от имени партии... Наша принципиальная марксистско-ленинская линия в области искусства вообще заключается в том, что мы побуждаем художников стать своими произведениями на службу народу, включиться в строительство новой жизни, сделаться вдохновенными провозвестниками счастливого будущего. Нашей принципиальной марксистско-ленинской линией в области художественного творчества является последовательное отстаивание социалистического реализма...»

Выдвигая на втором этапе культурной революции лозунг превращения метода социалистического реализма в основной метод всего искусства и литературы Чехословакии, партия не торопила, не подгоняла художников, сознавая всю сложность процесса такой перестройки. Партия твердо верила, что сама жизнь, вся атмосфера высокого творческого подъема в стране побудит всех честных представителей национальной культуры искать путей, чтобы включиться во всенародный процесс созидания новых ценностей. А социалистический реализм был не только самым верным и надежным, но и самым благодарным, обещающим путем для художника. «Никогда я не работала с такой охотой, как в последние десять лет,— призналась в 1955 году Мария Пуйманова.— Меня вдохновляло сознание того, что я делаю не напрасное, напротив, нужное и ответственное дело, что наша республика, устремившаяся к социализму, нуждается в работниках слова. Ведь есть люди, которых судьба живых героев или лирическое стихотворение убедит лучше, чем доводы чистого разума».

Это сознание нужности и важности писательского труда, эта «потребность в поэзии», помогающей людям жить и творить (о чем любил говорить Витезслав Незвал), была могущественным стимулом перестройки всей литературы на социалистический лад. Именно этим объясняется торжество принципов социалистического реализма в чешской и словацкой литературе уже в начале пятидесятых годов.

Чего стоят в свете конкретных фактов утверждения зарубежных «борцов за свободу художественного творчества» об «искусственном насаждении социалистического реализма» в странах народной демократии, о «декретированной Советами литературе» и т. п. Конечно, социалистическому искусству чужда национальная замкнутость. Сам международный характер движения за социалистическую литературу, новаторскую по своей природе, литературу интернационального, общечеловеческого звучания, прямо предполагает взаимный обмен завоеванными ценностями. Но эти завоевания могут быть достигнуты только на основе своих национальных традиций, в соответствии со спецификой своей национальной литературы, проведены сквозь неповторимую творческую индивидуальность каждого подлинного художника.

Недобросовестность буржуазных и ревизионистствующих эстетов, твердящих об «экспортированной» литературе социалистического реализма, особенно очевидна, когда речь идет о литературе Чехословакии, в двадцатые и тридцатые годы выдвинувшей

такой мощный творческий отряд мастеров культуры, борцов за социалистическое искусство.

Уже тогда, в 1938 году, подобным хулителям социалистического реализма весомо, исчерпывающе и с огромным чувством собственного достоинства ответил старейший поэт-коммунист Чехословакии Станислав Костка Нейман: «Мы так же, как и все наше международное движение, приняли это сумарное название (социалистический реализм.— *Ю. Б.*) именно в силу принципов, которые много старше этого слова и за которые мы боролись на свой страх и риск, исходя из своих условий и своими средствами раньше, нежели это слово возникло... Мы охотно приняли это название... так как оно достаточно ясно выражало смысл наших усилий».

На всех этапах развития новой литературы Чехословакии неоценимую поддержку ей оказывала и оказывает партия. Богатый опыт, накопленный Коммунистической партией Чехословакии в борьбе за народную культуру, позволил ей оказать действенную помощь в преодолении современной литературой элементов догматизма и начетничества, в разоблачении ревизионистских тенденций, проявившихся в отдельных произведениях литературы и искусства после 1956 года. Партия постоянно ориентирует писателей на новые завоевания в области художественного творчества, предупреждает об опасности схематизма и упрощенчества в изображении современности. «Для создания социалистического искусства недостаточен даже самый большой опыт художественного мастерства прошлого,— говорил на Съезде социалистической культуры в 1959 году выступивший от имени ЦК КПЧ секретарь ЦК Иржи Гендрих.— Нужен опыт борьбы трудящихся за социалистическое общество. А этот опыт, который рождается у нас сегодня ежедневно и ежечасно, нельзя вычитать из книг, невозможно придумать, художник должен черпать его из жизни и не как сторонний наблюдатель, не свысока, но как один из его внимательных участников и творцов».

Партия учит художников не останавливаться на достигнутом. Социалистический реализм не есть нечто раз навсегда данное, только ремесленник может смотреть на него, как на готовый эталон для своих поделок. Быть подлинным художником социалистического реализма — значит, шагать в ногу со стремительно идущей вперед эпохой, со своим народом-творцом. Об этой прекрасной черте социалистического искусства, о его вечном стремлении к совершенству очень хорошо сказала старейшая чешская писательница, народный художник Чехословакии Мария Майерова: «Социалистический реализм в искусстве является прекрасным плодом революции. Он и в будущем будет иметь свои весны, постоянно его обновляющие».

Ю. Богданов

ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РЕАЛИЗМА

В проекте Программы Коммунистической партии Советского Союза сказано: «В искусстве социалистического реализма, основанном на принципах народности и партийности, смелое новаторство в художественном изображении жизни сочетается с использованием и развитием всех прогрессивных традиций мировой культуры».

Труды советских ученых, пропагандирующих этот принцип, служат важному партийному делу. К ним относится и недавно вышедшая книга А. Иващенко «Заметки о современном реализме». В ней собраны различные по содержанию статьи, затрагивающие ряд теоретических проблем марксистско-ленинской эстетики и опирающиеся на широкий материал.

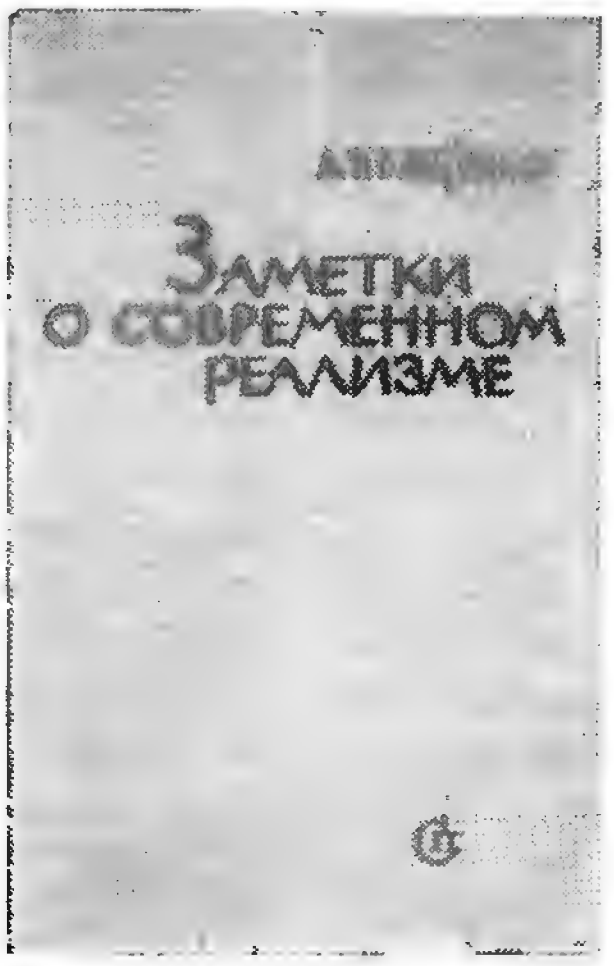
За статьей о реалистическом мастерстве Л. Толстого следует статья о неореализме в литературе и киноискусстве Италии. Романы Грэхема Грина и Альберто Моравиа, стихи Иоганнеса Бехера и Назыма Хикмета, теоретические работы Луи Арагона и вьетнамского поэта Нгуен Дин Тхи, как и многие другие примечательные явления современной литературной жизни самых разных стран, использованы автором в качестве фактического материала для обобщающих выводов о специфических чертах и путях развития реализма в наше время.

В вводной статье автор пишет: «Предлагаемые вниманию читателя «Заметки» не претендуют на то, чтобы дать более или менее полное представление о современном

мировом реализме. Я поставил перед собой задачу остановиться лишь на некоторых интересных, на мой взгляд, явлениях, связанных с литературой нашего времени».

Тем не менее книге А. Иващенко присуща большая внутренняя цельность и собранность.

Сборник открывается статьей «Социалистический реализм — всемирного масштаба явление», и эта проблема является основным стержнем всех включенных в него статей. Говорит ли автор о классиках прошлого или о писателях-современниках, о разнообразных формах проявления гуманизма и народности в произведениях критических реалистов или о реакционной сущности буржуазного декаданса — все это рассматривается и оценивается им в сопоставлении с литературой социалистического реализма. «Теперь уже невозможно, беря любое явление современной литературы, не соотносить его с замечательным явлением художественной культуры — реализмом социалистическим, как невозможно серьезно не считаться с ним, задумываясь о путях, которыми пойдет развитие современной мировой литературы»,— пишет А. Иващенко в начале книги. В заключительной статье сборника «Что делает литературу современной» он доказывает, что, лишь по мере приближения к овладению методом социалистического реализма, современные писатели могут создавать произведения, правдиво отображающие динамику жизни с ее конфликтами, и быть подлинными новаторами в области художественного творчества.



А. Иващенко. «Заметки о современном реализме». М., «Советский писатель», 1961, 204 стр.

«Углубленное исследование проблем социалистического реализма нам обязательно нужно связывать с явлениями, *стоящими за его пределами»,*— справедливо пишет А. Иващенко. Ставя вопрос об этих связях и взаимоотношениях, он в первую очередь уделяет внимание проблеме творческого освоения классического наследия (статьи «О традициях и новаторстве», «Наследие Л. Толстого и современный реализм»). Проблема эта в течение последних лет снова приобрела остроту и злободневность. Некоторые литературоведы и искусствоведы решают ее в узком, ограничительном плане, призывая деятелей советской культуры учиться мастерству исключительно у реалистов девятнадцатого века, отображавших действительность в ее непосредственном, конкретно-бытовом обличии. При этом реалистическое искусство семнадцатого — восемнадцатого веков с характерным для него использованием гиперболы и гротеска, фантастических элементов и других условных, иносказательных форм оказывается как бы отмежеванным от искусства социалистического реализма. То же самое происходило и с критическим реализмом двадцатого века. Заслугой А. Иващенко является то, что он спорит с таким решением вопроса.

В советском литературоведении в течение длительного периода (особенно в работах двадцатых и тридцатых годов) была распространена трактовка западноевропейского критического реализма как выражения буржуазной идеологии. Тем самым, наперекор очевидности, этот реализм считали чисто негативным, лишенным идеала, не способным создавать положительные характеры. По контрасту с ним основным признаком социалистического реализма считалось обязательное выдвижение на первый план положительного героя. В связи с переходом буржуазии в течение девятнадцатого века с либеральных на реакционные позиции критический реализм рассматривался как деградирующее явление: он, теряя свою обличительную силу после революции 1848 года, еще больше деградирует после Парижской коммуны, а в двадцатом веке, если писатель решительно не переходит на сторону коммунистического движения, окончательно вырождается.

В советской периодике за последние годы появилось немало полемических статей, критикующих эту тенденцию. На страницах «Литературной газеты» Ю. Нагибин, например, выступив против опубликованной в газете «Советская культура» статьи Б. Иогансона, заявил, что советская живопись не должна себя ограничивать освоением традиций передвижников.* Статьи аналогичного содержания появились и в других газетах и журналах, причем отдельным участникам спора случалось в запальчивости перегибать палку в противоположную сторону — в сторону неоправданного принижения роли тех реалистических принципов в искусстве девятнадцатого века, которые их оппоненты столь же неоправданно канонизировали. Эти принципы объявлялись «старомодными». Порочность такой точки зрения несомненна, тем более что при этом некоторые защитники критического

* Юрий Нагибин. «Об одной несостоявшейся дискуссии». «Литературная газета», № 124, 8 октября 1959.

реализма на его современной стадии произвольно включают в число представителей этого направления писателей и художников с явно модернистским уклоном и готовы пропагандировать антиреалистическую манеру письма как проявление «современного стиля» в искусстве.

Действительно, нельзя отрицать того, что представителям критического реализма двадцатого века случается в большей или меньшей степени сближаться с литературой модернизма. Однако это не избавляет нас от необходимости отличать произведения реалистические в своей основе, хотя и зараженные в какой-то мере декадентским влиянием, от произведений декадентских по своему существу и глубоко нам чуждых. Смешение современного реализма с модернизмом нередко сбивало с толку и противников проникновения чуждых влияний в советскую культуру, заставляя их проявлять крайне недоверчивое отношение к критическому реализму нашего времени.

Критический реализм двадцатого века, отдельным представителям которого у нас посвящено много статей, монографий, диссертаций, до сих пор не изучен в обобщенном плане, как явление, имеющее свои специфические качества и закономерности, как это, например, сделано по отношению к литературным направлениям девятнадцатого века или к реализму эпохи Возрождения и эпохи Просвещения (работы А. Елистратовой, Б. Реизова, В. Гриба, Л. Пинского и др.). Без основательного исследования этого вопроса с привлечением самого широкого, многонационального материала невозможно правильно установить те границы, которые отделяют метод современного критического реализма от внутренне опустошенного декадентского всеотрицания, и прийти к четким выводам о соотношении этого реализма с реализмом социалистическим.

А. Иващенко в ряде своих предыдущих работ очень много сделал для того, чтобы внести ясность в этот вопрос В своей монографии о Флобере * и в вводной главе к II тому «Истории французской литературы» (изд. Академии наук СССР) он убедительно доказал, что в методе критического реализма отражено не буржуазно-либеральное, а демократическое отношение к действительности и что в силу этого критический реализм как литературное направление не переживал и не мог переживать никакой деградации ни во второй половине девятнадцатого века, ни в двадцатом веке, когда народное сознание обогащалось революционным опытом. Большую теоретическую ценность представляет также статья А. Иващенко «К вопросу о критическом реализме и реализме социалистическом», опубликованная в сборнике «Проблемы реализма в мировой литературе». В этой статье, так же как и в книге «Заметки о современном реализме», автор дает обобщающую характеристику критического реализма наших дней, отмечая, что хотя он некоторыми качествами и уступает методу писателей-классиков, но отдельными сторонами превосходит его, знаменуя собой не упадок и не топтание на месте, а известную ступень его дальнейшего художественного развития.

«Современный критический реализм не следует рассматривать как некую ущербную, неполноценную форму искусства. Он нуждается во взыскательном и уважительном к себе отношении, как явление, которое живет и будет жить и развиваться»,— пишет А. Иващенко на последней странице «Заметок». В статье «Об итальянском неореализме» он критически оценивает характерные стороны этого направления; например, пессимистическое и пассивное отношение писателя к жизни, стремление изображать конкретное социальное зло как некую фатальную необходимость, черты натуралистического увлечения мелочами быта, подчеркнутую примитивность психики персонажей — все то, что в известной мере приближает отдельных итальянских романистов и кинорежиссеров к декадентскому мировосприятию. Но тут же он говорит и о таких чертах неореализма в Италии, которые позволили другим его представителям вплотную подойти к социалистическому реализму или даже перейти с течением времени к постепенному овладению этим методом,— о его демократическом содержании, о его стремлении противопоставить лжи голливудских фильмов неприкрашенную и горькую правду жизни, о теме братской солидарности обездоленных перед лицом враждебного буржуазного мира.

Итальянский неореализм привлекает к себе сейчас большое внимание советской общественности и критики * и нередко чрезмерно превозносится или чрезмерно осуждается. А. Иващенко, включивший характеристику этого направления в общий план анализа современного критического реализма в его соотношении с реализмом социалистическим, нашел тот критерий оценки, который позволил ему избежать той и другой крайности, показать сложные и противоречивые пути развития современной итальянской литературы. Он показал тесную зависимость возникновения неореализма от той освободительной борьбы, которая объединила демократические силы Италии в период антифашистского Сопротивления, и объяснил противоречивость дальнейшего его развития послевоенным расколом этих сил, часть которых встала на путь последовательной социальной борьбы, а часть — по-

* А Иващенко. «Творчество Флобера». М, 1955.

* Монография З. Потаповой «Неореализм в итальянской литературе», М, 1961. Г. Богемский. «Итальянское прогрессивное киноискусство» — вводная статья к книге «Сценарий итальянского кино». М, 1958. К Зелинский и Г. Брейтбурд. «Социалистический реализм и неореализм». «Литературная газета», № 126, 13 октября 1959 г. и др.

шла на примирение с существующим режимом. Противопоставив итальянский неореализм реализму социалистическому, А. Иващенко в то же время показал, что такие, свойственные литературе и кинофильмам этого направления, черты, как гуманизм, народность, утверждение нравственных принципов, делают его в то же время более близким советскому искусству, чем искусству реакционно-буржуазному с его аморализмом и пренебрежением к человеку, с его антиреалистическими тенденциями.

В «Заметках о современном реализме», так же как и в других работах А. Иващенко, выражается решительное несогласие с утверждением, будто бы произведения критического реализма сильны только своей социальной критикой, будто бы их положительные устремления, если они и есть, обязательно относятся к области беспочвенных, лишенных всякого прогрессивного значения буржуазных и мелкобуржуазных иллюзий. Он придает большое значение творчеству писателей-гуманистов, даже если их гуманизм и не лишен абстрактного характера, и проявляющимся в их творчестве демократическим симпатиям, даже если они звучат приглушенно и далеки от революционной народности. Он указывает при этом, что такие качества многих представителей критического реализма, как гуманистическая защита человека, правдоискательство, интерес к жизни обездоленных, не только не ослабевают в двадцатом веке по сравнению с прошлым столетием, но, напротив, усиливаются — в связи с необходимостью отстаивать гуманистические принципы в обстановке империализма, мировой войны, фашистской агрессии, в связи с ростом демократических сил за рубежом и возрастающим влиянием советской социалистической культуры. «Для многих писателей того времени защита основ реалистически правдивого искусства стала одной из важных дорог, которые вели их к гуманизму социалистического типа»,— пишет автор, характеризуя тенденции творческого развития лучших представителей критического реализма двадцатого века. Но если такие писатели, как Арнольд Цвейг, Роже Мартен дю Гар, Теодор Драйзер, Генрих Манн, многое восприняли у молодой социалистической культуры, она, в свою очередь, должна относиться к творчеству этих писателей, бережно и внимательно.

«Заметки о современном реализме», таким образом, активно включились в развернувшуюся сейчас дискуссию о том, какие литературные традиции следует считать прогрессивными и плодотворными для метода социалистического реализма, и посредством солидно обоснованной научной аргументации подкрепляют и развивают наиболее рациональное решение этой проблемы. С одной стороны, автор, естественно, отказывается считать «старомодным» реализм Бальзака и Стендаля, поскольку свойственная их романам эпическая широта, стремление органически связать «судьбу человеческую» с «судьбой народной» является одним из главных принципов и современного реалистического искусства. Он доказывает, что ни один из писателей-классиков не подошел к методу социалистического реализма так близко, как Л. Толстой в своих романах, отображающих современную ему жизнь с народных позиций, с точки зрения «глубочайших низов человечества». Он пишет: «В творчестве Л. Толстого с небывалой еще силой отразилась *бессознательная социалистическая тенденция*... После автора «Воскресенья» стал возможным автор «Матери» и «Врагов».

С другой стороны, через всю книгу проходит мысль о том, что современный критический реализм близок социалистическому реализму многими своими чертами, что вполне закономерно, поскольку они оба, хотя и в разной степени и по-разному выражают прогрессивные, демократические тенденции нашей эпохи. «Таков живой литературный процесс. И если обратиться к прошлому, то увидим, что критический реализм девятнадцатого века в пору его победоносного утверждения не был отделен глухой стеной от принципов искусства классицизма и Просвещения, от завоеваний романтической литературы. И Бальзак и Диккенс не были свободны от тенденций романтизма. Талант, возможности творческого метода позволили великим мастерам прошлого вобрать и освоить эстетические завоевания предшественников и современников своих».

Широкий диапазон книги, рассматривающей социалистический реализм в сопоставлении с рядом других явлений международной литературной жизни, позволил автору прийти к выводу, что создателями положительных образов героев-правдоискателей, которые наделены «более или менее активно выраженным чувством ответственности за окружающее», могут быть и представители критического реализма нашего времени. Но гуманизм и народность социалистического реализма имеют иное, революционное звучание, в нем по-иному, гораздо глубже раскрываются взаимоотношения личности и общества. «Метод социалистического реализма открывает перед писателем безграничные творческие возможности овладения *законами течения времени*. Владение ясной исторической перспективой, умение видеть действительность в процессе революционного изменения, осознанный социалистический идеал помогают художнику стать современным мастером «человековедения».

Совсем не обязательно, чтобы герой романа был положительным, «идеальным». Он может быть просто «человеком в пути», рядовым участником общественной жизни и борьбы. Не обязательно, чтобы он обладал ясным пониманием законов исторического развития в той мере, в какой обладает им сам автор. Но необходимо, чтобы каждый персонаж прямым или косвенным, опосредствованным образом был «включен в

систему необозримо широких общественных, культурных и государственных связей», чтобы читатель видел, как «сквозь конкретные связи человека просвечивают перспективы неоглядного, широкого мира».

Поскольку метод социалистического реализма в большей степени, чем какой-либо другой, позволяет отображать действительность в поступательном развитии и во всей ее сложности, раскрывая человеческие характеры и действия в широком и многогранном социально-историческом аспекте, для художественного воплощения этого метода необходимо разнообразие жанров и стилей.

В то время, когда литература социалистического реализма находилась на ранней стадии своего развития, когда она не возникала еще в столь многих национальных литературах, как в наши дни, можно было, обобщая ее небольшой еще опыт, предполагать, что социалистический реализм обладает одним определенным стилем. Тогда еще не составляло труда перечислить характерную для него тематику, свойственные ему художественные особенности. В наши дни, когда сама жизнь поставила перед строителями коммунистического общества, перед борцами за мир, демократию и национальное освобождение множество новых задач и целей, подчиненных единой великой цели свободы и братства, литература социалистического реализма в каждой стране, при всей своей идеологической цельности, приобретает все большее и большее тематическое и художественное многообразие. Плохую услугу оказывают ей те теоретики, которые пытаются установить для нее какое-то единое стилевое русло, канонизируя одни литературные жанры и недооценивая другие.

У нас в разное время появлялось немало книг и статей, в которых то жанр романа-эпопеи провозглашался единственно достойным социалистического реализма жанром повествовательной прозы, то делались попытки установить определенные эталоны в области драматургии или поэзии. Одни критики стремились доказать, что интимные чувства в лирике, картины природы не могут якобы выражать внутренний мир советского человека. Другие полагали, что психологический роман с такими свойственными этому жанру художественными приемами, как внутренний монолог и так называемый «поток сознания», несовместим с принципом партийности литературы, так же как условность, иносказание, непривычное нарушение последовательности событий во времени, ассоциативное художественное мышление и использование подтекста в диалогах будто бы всегда, во всех случаях совершенно чужды социалистическому реализму и свойственны только модернистской литературе.

Нет никакого сомнения в том, что этот страх перед отдельными творческими приемами, которые совершенно по разному используются писателями разных творческих методов ничем не оправдан

«Заметки о современном реализме» принадлежат к числу таких, уже многочисленных, к счастью, современных работ, в которых подобные регламентирующие представления подвергнуты справедливой критике. «Сила социалистического реализма и залог его несомненно блистательного будущего в том, что он является самым прогрессивным методом современной художественной культуры и условием развития любых видов и жанров литературы и искусства»,— пишет А. Иващенко. С другой стороны, полемизируя с формалистами, готовыми признать и принять любые, хотя бы и несовместимые с реалистическим методом, современные стилистические приемы, он утверждает: «Для подлинного поэта важно не многообразие художественных форм ради них самих, оно подсказывается *многообразием жизненного содержания и необходимо именно для того, чтобы его отобразить*».

Отмеченное выше стремление автора решать в самом широком плане вопрос о творческом использовании в социалистическом реализме различных традиций — в том числе и художественных достижений современного критического реализма — органически связано с его борьбой за многообразие литературных жанров и стилей. То обстоятельство, что социалистический реализм рассматривается в его книге как «всемирного масштаба явление», также помогает автору показать, какие неисчерпаемые возможности раскрываются перед социалистическим искусством разных народов. В наши дни, когда не только европейские страны, но и страны Азии и Африки со своей самобытной национальной культурой принимают активное участие в мировом освободительном движении, когда крепнет и растет культурная взаимосвязь народов, искусство социалистического реализма, развивающееся на всех континентах, становится не только самым передовым, но и самым художественно богатым реалистическим методом.

«Заметки о современном реализме» — актуальная книга; в центре ее стоят те вопросы, которые в настоящее время являются предметом оживленных творческих дискуссий. Говоря о всемирном расцвете литературы социалистического реализма, о ее художественном богатстве, автор наносит удар ревизионистам, пытающимся утверждать, что социалистический реализм искусственно насаждается в зарубежных странах и ведет литературу к утрате художественных качеств, к однотипности и схеме.

«Заметки о современном реализме» не дают исчерпывающего ответа на затронутые в них большие вопросы, которые ждут дальнейшего изучения. Начатый в них разговор далеко не закончен и, безусловно, должен быть продолжен с привлечением гораздо более широкого фактического материала.

М. Яхонтова

ЛЕТОПИСЬ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

Современная китайская литература тесно связана с жизнью. Сооружение плотин-гигантов, преобразования в деревне, освоение Великой Северной пустоши — китайской целины, покорение гор и рек, формирование нового человека, его мораль, понимание им смысла жизни, новая жизнь национальных меньшинств — таковы проблемы, которые привлекают и волнуют мастеров слова Народного Китая. Не забывая ни на минуту о сегодняшнем дне, о современности, китайские писатели немало внимания уделяют и революционной теме, героической борьбе, которую китайский народ вел многие годы под руководством коммунистов. Историко-революционная тема сейчас, пожалуй, одна из ведущих в китайской литературе.

Возьмите любое значительное произведение современной китайской литературы — героем его непременно будет коммунист. И в этом глубокое отражение правды истории, правды жизни. Литература показывает, что коммунисты Народного Китая сегодня, так же как и в период недавней вооруженной борьбы, всегда в авангарде, в первых рядах.

Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить хотя бы некоторые уже знакомые нашему читателю романы — такие, как «Песнь молодости» Ян Мо, «Три поколения» Лян Биня, «Красное солнце» У Цяна, «Моя семья» Тао Чен. О том же говорит трилогия «Перемены за 60 лет» старейшего писателя-коммуниста Ли Лю-жу, многоплановое произведение, посвященное событиям всего двадцатого века.

Недавно вышла в свет первая часть трилогии Лю Цина «Начало» — книга о первых революционных преобразованиях в китайской деревне.

Перед жителями деревни Сябаоцунь встает вопрос: каким путем идти? Аграрная реформа, только что осуществленная, утолила извечную жажду китайского крестьянства — дала землю. Под руководством коммунистов начинается создание бригад трудовой взаимопомощи. Но далеко не все, даже те, кто вчера был бедняком и гнул спину на помещика, осознают преимущества предложенного коммунистами пути. Таков крестьянин старик Лян Лао-хань, мечта которого — богатая усадьба. Предстоит упорная борьба, пройдет немалый срок, прежде чем он начнет мыслить по-иному, оценит преимущества коллективного труда. Многие жители деревни Сябаоцунь пойдут тем же путем, и в этом заслуга бывшего батрака, а теперь руководителя движения за кооперацию Гао Цзэн-фу и молодого коммуниста Лян Шэн-бао.

В один ряд с книгой Лю Цина можно поставить роман Лю Цзяна «Облака клубятся над Тайханшанем», в котором описаны события периода антияпонской войны и создания первых партийных организаций в деревне. Автору удались образы посланцев партии Чжэн Хун-цюаня и Фан Чжэн-куя, помогающих многим жителям деревни найти свое место в жизни.

В новеллах Ма Фына, вышедших недавно в русском переводе отдельной книгой, шаг за шагом отражены перемены в китайской деревне за последние десять лет. Действие первого рассказа сборника «Вражда деревень», помеченного сентябрем 1949 года, происходит до Освобождения. Волчьи законы господствовали в то время, всем заправляли помещики, они властвовали, пользуясь нуждой бедняков, натравляя их друг на друга. Острый конфликт в рассказе связан с борьбой за воду.

Итак перед нами последний рассказ, вошедший в книгу,— «Вот и солнце взошло». Ноябрь 1959 года. Здесь та же проблема — вода. Теперь ее вдоволь, необходимо лишь наладить ее доставку на поля. Ма Фын рисует честных людей, кровно заинтересованных в успехе общего дела, теперь они прекрасно понимают, что успех всех — это успех каждого.

Автор-рассказчик выступает то как корреспондент районной газеты, кем, кстати, долгое время был и сам Ма Фын, то как молодой специалист, только что получивший назначение на свое первое место работы (рассказ «Мое первое начальство»). Здесь он сталкивается с подлинными героями — людьми не очень приметными, но умеющими в трудные моменты проявлять мужество.

В самой гуще революционных событий оказывается юноша Чжоу Сяо-чжэн — герой нового романа Чжоу И-ляна «Мы сражались в подполье». Автор рассказал о полной опасностей борьбе пекинских студентов под руководством коммунистов в период «событий 7 июля» 1937 года — начала вторжения японцев в Китай, показал, как коммунисты-подпольщики Сяо Юань, Пань Юнь и другие поднимали массы на борьбу с японцами.

Заметное событие в литературной жизни Китая — поэма Ли Цзи «Жизнь Ян Гао».

С первых шагов творчество Ли Цзи было тесно связано с жизнью. Поэт никогда не перестает учиться у нее. Он сам говорит, что для него утратить связь с жизнью — значит, потерять почву под ногами. Начиная с первой поэмы «Ван Гуй и Ли Сян-сян», где он широко использовал форму народных песен, распространенных на севере провинции Шэньси, в каждом его стихотворении, в каждой поэме в той или иной степени можно проследить влияние народного песенного творчества. Его поэзию питают и песни Северной Шэньси, и народные песни Хунани, он пользуется и формами песенно-повествовательной литературы, такими, как гуцы, то есть сказ под барабан, таньцы — сказ под струнный инструмент и др.

Поэма «Жизнь Ян Гао» — самое крупное из всех произведений Ли Цзи. Повествование ведется от лица рассказчика — шошуды. Автор начинает поэму словами:

Я сказитель-шошуды,
Не о древности, а о наших днях поведу
я рассказ
С детства любил я мелодии народных
песен,
Двадцать лет учился искусству
рассказчика книг.

Неторопливо льется повествование о деревенском мальчонке, пасущем овец богатого помещика. Ли Цзи сохраняет основные приемы народного рассказчика — много места занимает введение читателя в обстоятельства дела, вступление посвящено личности самого автора, и т. д.

...Мало радости в жизни сына бедняка Ян Гао, которого в деревне зовут Ягненком. Вырастает Ян Гао и видит: надо бороться! Он включается сначала в подпольную работу. а потом уходит в китайскую Красную армию.

Героическая линия поэмы тесно переплетается с лирической. Ли Цзи трогательно и взволнованно описывает любовь Ян Гао к девушке Дуань-ян, которая становится его женой. Во второй части поэмы герой возвращается в родные края на партийную работу. У него большое горе — враги замучили его семью. Но Ян Гао стойко переносит испытания. Цель его жизни — самоотверженный труд на благо народа.

Новый роман известного писателя Чжао Шу-ли «Волшебный источник» задуман им в двух частях и должен по времени охватывать период почти в двадцать лет. События, описанные в первой части, недавно вышедшей в свет, относятся к началу сороковых годов — периоду японского нашествия и гражданской войны. В глубоком тылу японских войск, в районе Тайханшаньских гор под руководством коммунистов идет борьба с захватчиками. Одновременно приходится отражать предательские удары. которые гоминьдановцы наносят в спину сражающимся бойцам китайской Красной армии

Среди героев книги — молодой паренек Тянь Цзинь-ху. Автор рисует его медлительным и простодушным. Но за этой внешностью скрываются здравый смысл, мужество, крестьянская смекалка, отчегливое понимание, кто друг и кто враг. Возмужание и формирование характера Тянь Цзинь-ху, становящегося вожаком восставших крестьян,— одна из основных сюжетных линий романа.

По своей форме эта книга близка китайским героическим романам. Автор-рассказчик излагает ход событий, словно ведя задушевную беседу. Иногда отвлекаясь, он сообщает отдельные подробности о характере своих героев, попутно дает оценки происходящему, посвящает нас в особенности быта жителей деревни. Затем, словно спохватившись, что слишком увлекся второстепенным, автор восклицает: «Поменьше будем говорить о постороннем»,— и возвращается к основной сюжетной линии рассказа. Иногда, казалось бы, случайно оброненное слово рождает целый рассказ-притчу. В этом случае автор заявляет: «Раз уже об этом зашла речь, то следует подробнее порассказать тем, кому никогда не приходилось возделывать в горах земляную грушу, об одной из тонкостей этого дела...» После этих слов следует нечто вроде агрономического совета, который отнюдь не воспринимается как нечто лишнее, разбивающее сюжет.

Так автор вводит нас в круг событий, происходивших в это время в районе Тайханшаньских гор. Гоминьдановцы наносят предательский удар по освобожденным районам. В деревне воцаряются прежние порядки. Семья помещика Лю снова оказывается у власти, снова, как и прежде, зерно бедняков рекой течет в закрома Лю, а крестьяне голодают...

Язык романа Чжао Шу-ли прост и естествен — это живая и образная народная речь. Мы можем сравнить его с языком китайских классических романов, близким к устной речи того времени. Создавая тот или иной характер, автор отбирает языковые выразительные средства, исходя опять-таки из традиционного подчеркивания одной какой-либо доминирующей черты характера.

В романе Цюй Бо «Через леса и снега» показаны события на северо-востоке Китая после 1946 года. Разбитые гоминьдановские части, скрывающиеся в горах и лесах, совершают набеги на мирные селения, пытаясь сорвать проведение земельной реформы. Цюй Бо рассказывает о героизме и стойкости бойцов маленького отряда, оказавшихся в трудном положении, лицом к лицу с более сильным противником.

Этот небольшой отряд упорно идет через леса и снега, преследуя остатки разбитых гоминьдановских банд. Ни голод, ни жестокий мороз не могут остановить смельчаков. В конце концов они выходят победителями из неравной схватки с гоминьдановцами.

В этой книге легко обнаружить приемы характеристики действующих лиц, свойственные устному творчеству. Традиционен для китайской литературы прошлого образ девушки-героини — умной, смелой, самоотверженной в любви и отважной на поле битвы. Образ девушки-воина Бай-жу чем-то напоминает отважную Му Гуй-ин, о подвигах которой в Китае известно каждому, или образ героини Му-лань — китайской Жанны д'Арк, двенадцать лет сражавшейся в рядах защитников родины. Бойцы ласково называют ее Голубком. Женственная и хрупкая, она в моменты опасности проявляет неожиданное мужество и стойкость.

Есть в романе Цюй Бо и элементы фантастики, связывающие его с лучшими образцами китайского «рассказа о необычайном». Корни этой художественной формы также восходят к устному рассказу, с элементами активного вымысла, с описаниями необычайных похождений, с сюжетом, полным непредвиденных случайностей и совпадений.

Романам Чжао Шу-ли и Цюй Бо, поэме Ли Цзи, так же, как роману Лю Лю «Закалка стали», посвященного героической борьбе в прошлом, присуща одна особенность, которая их сближает,— они созданы под влиянием традиционных форм народной литературы, в частности, под влиянием такого издревле популярного в Китае вида искусства, как устный сказ. В них нашли развитие старинные национальные формы повествования, присущие произведениям китайской классической литературы,— романам Ло Гуань-чжуна «Троецарствие», Ши Найаня «Речные заводи», У Чэнь-эня «Путешествие на Запад» и другим. Как и Ли Цзи в своей поэме «Жизнь Ян Гао», Чжао Шу-ли широко пользуется приемами устного творчества. Эта доходчивая, народная форма произведений современной китайской литературы говорит о тесной связи писателей с многомиллионными читательскими массами, об их стремлении жить и творить вместе с народом. Она говорит и о плодотворной связи новой литературы с многовековой национальной традицией.

В наши дни, как и сотни лет назад, на дорогах Китая, около людных мест, на рынках и перекрестках можно услышать из уст шошудов истории о событиях героической борьбы, о подвигах современников.

В истории Китая записано немало имен знаменитых шошудов, чье творчество пользовалось большой популярностью у современников. К числу таких мастеров сказа принадлежал, например, Лю Цзинь-тан, шошуды семнадцатого века, которого в Китае принято считать основоположником искусства рассказывания книг, хотя первые упоминания о рассказчиках встречаются еще у древнекитайского философа Моцзы, жившего в V—IV вв. до нашей эры. Искусство шошудов, несомненно, оказало заметное влияние на развитие письменной литературы, в том числе и на классический роман в Китае.

Наряду с ассимилированием фольклорных произведений в китайской художественной литературе шел и обратный процесс. На эту взаимопроникающую связь китайской устной и письменной литературы указывал в свое время академик В. М. Алексеев, когда писал о подлинной демократичности произведений китайского писателя семнадцатого века Пу Сун-лина. Автор-рассказчик обогащает оригинал, творчески его перерабатывает в соответствии с законами устного творчества, привнося многое из личного опыта.

Рассказывая о своей работе над текстом одного из популярнейших в Китае сказов об У Суне, известный современный шошуды Ван Шао-тан пишет, что источником сказа на темы классического романа «Речные заводи» послужил не только текст самого романа, но и традиция устного пересказа, передававшаяся из поколения в поколение. В результате такой работы устных сказителей текст эпизодов о подвигах героя У Суна, занимающий в романе 800 тысяч иероглифов, вырос до миллиона иероглифов. «Трудно даже представить себе,— говорит Ван Шао-тан,— какому количеству людей обязан этот сказ своим развитием и обогащением, сколько народных талантов вложили в него свою мудрость и свое сердце».

Пример книг Чжао Шу-ли, Ли Цзи, Лю Лю, Цюй Бо показывает, что и ныне в китайской литературе идет процесс взаимовлияния устной поэзии и литературы, что и сегодня эти встречные потоки обогащают литературу. Такие произведения сегодня можно услышать в Китае повсюду, они прочно входят в репертуар народных сказителей, изустно расходятся по всей стране, становясь достоянием тысяч слушателей.

Успех этих книг говорит о том, что их авторы, глубоко изучая и широко пользуясь традиционными формами народного творчества, создают новаторские произведения современной китайской литературы, сегодняшнюю художественную летопись жизни своей страны.

Р. Белоусов

НЕ БЫЛО БЕЗЫМЯННЫХ ГЕРОЕВ

Книга, которая лежит передо мной, вряд ли оставит кого-нибудь равнодушным. Она порождена великим и простым героизмом, героизмом таких людей, как Фучик, и ей не к лицу громкие восхваления. Эта книга написана в камере смертников мелким девичьим почерком, но рука ее автора была тверда и не дрожала. Молодая коммунистка Мария Кудержикова в свои неполные двадцать два года была вполне сложившимся, глубоко сознательным человеком. И письма, которые она писала перед казнью своим родителям и ближайшим друзьям, посвящены размышлениям не о близкой смерти, а о будущем. И они по праву названы «Фрагменты жизни» *.

* Дневник Марии Кудержиковой был опубликован в сокращенном виде в журнале «Иностранная литература» № 1, 1961.

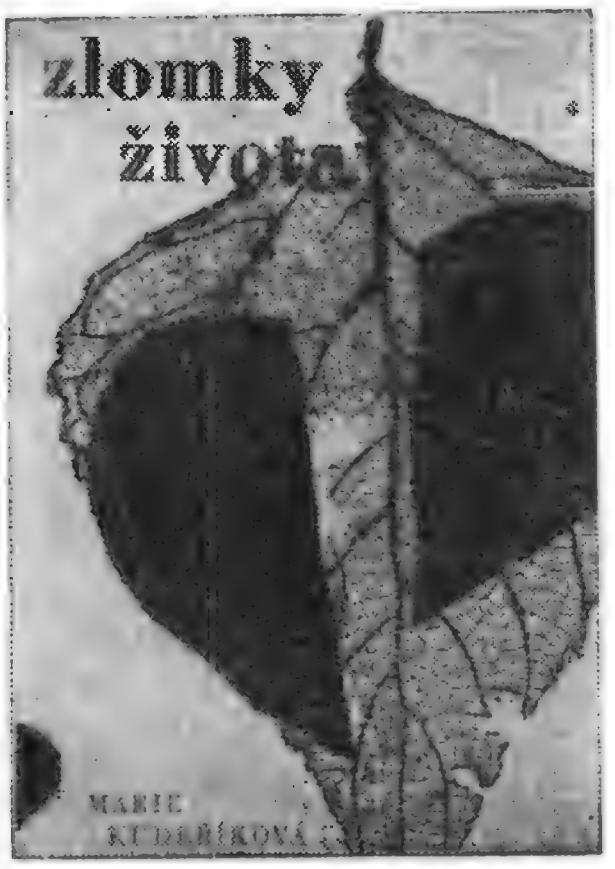
Как раз это поражает нас больше всего и в то же время позволяет понять, какие идеи сформировали душевный облик этой девушки, какой верой она жила и за что сражалась. В книге есть места, над которыми с удивлением задерживаешься при чтении: так близки они даже по способу выражения мыслям Фучика: «Пусть будет, что будет. Я не грущу и не боюсь, действительно не боюсь. Если поразмыслить, все так естественно и ясно... Я готова ко всему и ни о чем не жалею».

Особенно бросается в глаза близость к Фучику тогда, когда в последние минуты жизни Мария Кудержикова говорит о том, какую память она хотела бы о себе оставить, о том, что она завещает живым. «Прошу вас, не ходите горевать на могилу в па-

мять обо мне. Пусть всегда цветут на ней радость, улыбка, спокойствие. Прошу вас, пусть память обо мне не отнимает у вас радость жизни, но поддержит и усилит ее. Каждое воспоминание, каждая мысль обо мне!.. Храните обо мне память во всем, где слышится биение жизни. Я буду с вами, буду оберегать, вести вас. Буду радоваться с вами, поддерживать вас».

Она думала о жизни и ее радостях. За жизнь шла на борьбу, за нее погибла. Она думала о будущем, потому что, как и все герои антифашистского Сопротивления, прокладывала путь этому будущему.

Не удивительно поэтому, что мысли и слова коммуниста Юлиуса Фучика так близки мыслям и словам коммунистки Марии Кудержиковой.



M. Kudeřiková. Zlomky života. Praha. Ceskoslovenský spisovatel. 1961.

Попав в лапы к фашистам, девушка не питала никаких иллюзий насчет того, какую судьбу они ей уготовили. Но она не отчаивается, верит, надеется и мечтает.

«Я хотела бы вырастить своих детей, как мне хочется иметь детей!» Перед ее глазами все время будущее, жизнь. Даже в тюрьме она не утрачивает способности радоваться. Наступает весна. Девушка чуть ли не прыгает от счастья, радуясь ей. Она пишет письма, проникнутые светлым, веселым настроением И в тюрьме она осталась такой же, какой была на воле. И самое главное, она ни на секунду не поколебалась в своих убеждениях, потому что в великой войне классов она всегда чувствовала себя бойцом. Мучительную боль причинило, например, Марии сознание невозможности утешить мать, стремившуюся вернуть ей утраченную веру в бога: «Ты понимаешь, мамочка, что всего тяжелее для меня видеть, как ты, как все вы страдаете. И все-таки я не могу решиться предать истину, в которой уверена. Потому что это не только мое личное дело, это касается взглядов, убеждений и может иметь важные последствия. Ты меня поймешь. За свои убеждения люди отдают жизнь, и я не могу отдать жизнь за идею и одновременно предать эту идею... Ты понимаешь?»

Как хорошо мы ее понимаем! Слова эти сказаны человеком, для которого убеждения значат больше, чем жизнь. И еще одна характерная особенность обращает на себя внимание в этих записках: интерес к литературе и искусству. Мы снова убеждаемся, читая эту книгу, какую большую роль играла прогрессивная и социалистическая литература в процессе пробуждения сознательности у молодежи в годы войны, что для них значила поэзия. Мария Кудержикова пишет о своих любимых книгах: о «Матери» Горького, о «Прекраснейшем мире» Майеровой, о «Пятидесяти двух горьких балладах» Незвала. Стихотворение Неймана «Благодарность Советскому Союзу» она читала, как «утреннюю молитву»... Можно ли привести более убедительные доказательства роли литературы в жизни?

Глубоко прав был Юлиус Фучик, когда писал, что в антифашистском движении не было безымянных героев!..

Благодаря изданию записок Марии Кудержиковой еще один неизвестный герой обрел свое имя. Погибли тысячи таких, как Мария. Пожертвовав своей жизнью, они помогли рождению нашей новой жизни. И мы знаем, что партия, на идеалах которой были воспитаны эти чистые и благородные люди, непобедима, для такой партии нет ничего невозможного!

Тюремные записки Марии Кудержиковой вышли к 40-летию Коммунистической партии Чехословакии. Они напоминают о том, как сражались коммунисты в годы войны, какую мужественную борьбу против фашизма вели они в оккупированной стране.

М. Юнгман
(«Литерарни новины»)

БОЛГАРСКИЕ ПОДСНЕЖНИКИ ЧЕЛОВЕКУ-ЗВЕЗДЕ

Не прошло и месяца после эпохального подвига Юрия Гагарина, как в Болгарии вышел поэтический сборник «Человек-звезда». Это не просто «литературный факт». Это нечто большее, что сейчас трудно точно определить и что можно выразить одним словом — любовь. Любовь, которую теперь дарит болгарский народ не только Юрию Гагарину, но и Герману Титову.

В сборнике «Человек-звезда» собраны стихи 33 болгарских поэтов. Почти все эти стихи появились на страницах газет 12 апреля 1961 года или несколько дней спустя. Они — частица сокровенных чувств болгарского народа, пережитых им в великий день первой победы человека над космосом.

Поэты различных поколений — от сверстников Смирненского и Вапцарова до самых

молодых — сплели венок из песен о легендарном, беспримерном подвиге Гагарина, о великой победе советского народа, о коммунизме.

В «Приветствии» Елисаветы Багряны (этим стихотворением открывается сборник) мы чувствуем самые задушевные, я бы сказал, материнские интонации ее лирики. С какой нежностью и тревогой ждет она возвращения героя-космонавта — «так мать ждет сына»,— с какой силой выражено необыкновенное ощущение полета: «время словно исчезло, и мир затаил дыхание».

«Это похоже на вдохновенное безумство, но это трезвая мысль, сочетающаяся с дерзостью!» — восклицает Христо Радевский.

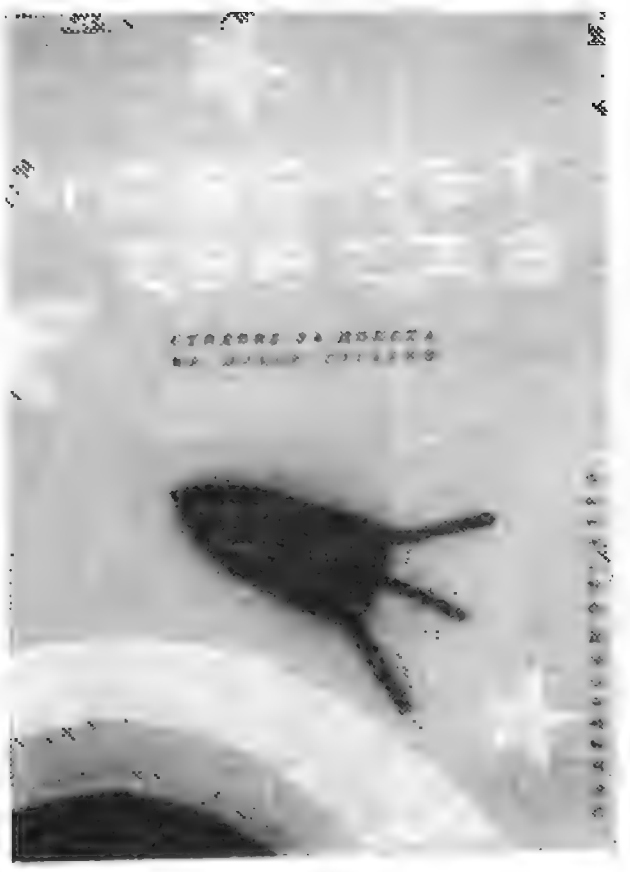
12 апреля поэт вспомнил Гоголя и озаглавил свое стихотворение «Куда ты летишь, Русь?», взяв к нему эпиграфом слова писателя: «Русь, куда ж несешься ты...»

Поэт непоколебимо верит, что «нет земной крепости, которую не взял бы красный воин», но это событие превзошло границы фантазии, изумление огромно, все — и действительность, и чувства — становится невероятным по масштабам, величию, красоте.

В течение последнего времени Людмил Стоянов редко выступал со стихами, но в этот день он не мог не послать поэтического приветствия Гагарину, и «стране, которая вдохновила его, великого избранника, приветствовать вселенную от имени века коммунизма».

Никола Фурнаджиев ясно сознает,— «что мысль еще не может объять все свершившееся», но «сердце стучит, как колокол», и рождаются простые слова привета. Мы слышим, как произносит эти слова простой болгарский крестьянин. Прикрывая ладонью глаза от солнца, он всматривается в небо, словно ждет, не появится ли на смену долгой засухе туча, несущая дождь, словно после долгой войны встречает мирной весной перелетных птиц: «Доброго пути в космосе, майор!»

Двенадцатого апреля даже звезды кажутся иными. Это не холодные, бездушные светила, не просто привычные образы и рифмы в романсах и канцонетах, это даже не звезды народных сказок, которые крупными вишнями зреют на Млечном Пути. Звезды двенадцатого апреля иные. «Ленинская правда проходит по неведомым космическим путям, и ее победу увенчивают своим блеском близкие звезды» (Павел Матев). Это — «дневные звезды», о которых рассказывает Ольга Берггольц.



Человек-звезда. Стихове за полета на майон Гагарин. Предговор, съставителство и редакция Божидар Божилов. София, Български писател. 1961.

Двенадцатого апреля и Земля кажется иной. Она тревожится за своего сына: «Среди стольких планет в космосе ему может полюбиться и другая!» «Поэтому еще пышнее, еще быстрее все расцветает», поэтому «благоухают цветы и леса» (Лиана Даскалова). В дивной своей красоте Земля нежно-голубая, лучезарная, как «глаза простой женщины», которая по-матерински целует космонавта (Станка Пенчева).

Нелегко писать стихи об этом дне. Молодой поэт Александр Шурбанов хотел сказать «трудно, как Колумбу», но говорит точнее: «как Гагарину трудно».

Долго еще люди будут учиться измерять все «гагаринской меркой». Поэты в этом смысле не составляют исключения. Вот почему нам так дорого предвосхищение той «истинной, космической» поэзии, которая, как и первый, а за ним и второй полет в космос, несомненно, будет делом коммунистов!

Вот почему стихи сборника «Человек-звезда» нужно принять за «два подснежника», которыми по старинному обычаю болгарский народ украшает своего самого любимого брата, украшает коммуниста-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

Вот почему эти стихи просто еще несколько кадров уже знакомой советским людям кинохроники, которая рассказывает о том, как болгарский народ встречал на своей земле первого космонавта.

София *Петко Тотев*

МОЛОДОСТЬ ПОБЕЖДАЕТ

Herbert Nachbar. Die Hochzeit von Länneken. Berlin, Aufbau-Verlag. 1960.

С Гербертом Нахбаром я познакомился несколько лет назад в Берлине. Стройный, светловолосый, светлоглазый, с четко очерченным, будто выточенным лицом, он напомнил мне русских юношей из наших старых северных городов. Нахбар родом из немецкого поморья — он сын рыбачьего племени, выносливого, трудолюбивого, своевольного, до сих пор сохранившего самобытные черты,

отличающие его от населения других областей Германии. О жизни и быте рыбаков написаны и обе лучшие книги Нахбара — «Дурная примета» (так перевели у нас название романа, которое по-немецки звучит «Der Mond hat einen Hof») и «Свадьба на Лённекене».

Нахбар просто и интересно рассказывал мне о годах ученья в медицинском институте, о том, как тяга к писательскому труду победила в нем врача, о любимых книгах — «Тихом Доне» и «Мартине Идене», об Эрвине Штриттматтере, чьи произведения Нахбар особенно ценит. Тогда молодой писатель еще только начинал работу над «Свадьбой на Лённекене», и разговор шел преимущественно о «Дурной примете». Эта книга произвела на меня глубокое впечатление своим трагизмом и мужественностью. Она повествует о тяжком прошлом рыбацких поселков, о том, в каких кабальных условиях приходилось добывать пропитание смелым труженикам моря, постоянно рисковавшим жизнью. В книге много подлинной поэзии: суровая действительность рыбацкой жизни переплетается в ней с поверьями и сказками приморья.

— Но теперь я пишу другую книгу, книгу о сегодняшней жизни в родных краях,— сказал мне Нахбар. Он провел все лето среди своих будущих героев, выходил с ними в море, обсуждал их производственные дела, вместе с ними любовался гигантским зрелищем «Баллады о Штертебекере» — пьесы известного поэта Кубы, поставленной летом 1959 года под открытым небом на острове Рюген с участием рыбаков и их семей.

И вот книга Нахбара «Свадьба на Лённекене» вышла в свет — свежая, чистая, сильная. Лённекен — рыбачий островок, он «связан с сушей только паромом. Здесь не ходят ни поезда, ни автомашины. И даже после переправы паромом путник должен пять часов добираться до железной дороги А деревушки Холленбек, Вик, Неттельмин и Поггендорф полны покоя...» Но отнюдь не в патриархальной тишине старого рыбачьего гнезда видит Нахбар поэзию Лённекена. Нет, она в том, что и сюда пришла новая жизнь, что и здесь растут новые люди, своим скромным трудом воплощающие вековую мечту о счастье и справедливости. После упорной и отчаянной борьбы победоносной силе нового уступают богатые рыбаки и их подпевалы — Иоганнес Грабе, по прозвищу Адмирал, и его кровный враг и конкурент — Генрих Прёппинг, по прозвищу Король Забыв старые распри, они объединяются, чтобы отстоять свои интересы,— и все-таки терпят поражение. Для старика Грабе это и моральный крах: он сам судит себя за попытку повредить делу рыбачьего кооператива, успехам которого он так завидует.

Конфликт между старым и новым тем более драматичен, что сын старого Адмирала, Хеннинг Грабе, объявляет войну отцу, уходит в отстающую бригаду, беспощадно разоблачает опасные, хотя и неуклюжие козни отца. Хеннинга поддерживает дочь старого Короля — Бербель Прёппинг: как и Хеннинг, она — представительница того поколения немецкой молодежи, которое самоотверженно и упорно борется за победу нового в жизни

Молодые герои книги Хеннинг и Бербель — большая удача Нахбара; в этих обаятельных образах схвачены важные черты молодых строителей социализма в Германской Демократической Республике. От них так и веет силой, душевным здоровьем, верой в будущее. Они обходятся без громких фраз, без речей, без назидательных тирад. Это не только молодой рыбак — мастер своего дела и не только образцовая медсестра. Они целуются и говорят милые глупости, иногда совершают необдуманные поступки, и читатель всем сердцем привязывается к ним и готов верить, что он их видел где-то в торжественный день в синих блузах со значками «Свободной немецкой молодежи» или в самый обычный рабочий день в замасленном комбинезоне или больничном халате. И когда враги Хеннинга, желая досадить ему, называют его «большевиком», он считает это почетным для себя.

Роман заканчивается свадьбой Хеннинга и Бербель и переходом кооператива к более высокой форме обобществления собственности, за которую боролись молодые люди. Но это не банальный «счастливый конец». Читатель понимает, что это только первая победа, что Хеннингу и его друзьям предстоит немало столкновений с теми, кто насмешливо и злобно следит за первыми успехами их детища.

Талант писателя, показавшего процесс развития новых общественных и личных отношений, привлекает оригинальным сочетанием реализма и романтического начала. Нахбар любовно описывает жизнь рыбаков, полную труда и опасностей, их вековые традиции, приобретающие в наши дни новый смысл, своеобразный бытовой уклад старых рыбачьих поселков — пристани, у которых покачиваются фамильные рыбачьи лодки и сохнут огромные сети, старые дома, пахнущие жареными угрями и закипающим кофе, танцы в кабачке

Но, конечно, сила книги Нахбара — прежде всего в утверждении социалистического образа жизни, в той неколебимой уверенности, с которой автор говорит о молодой Германии — ее буднях, ее дерзаниях и успехах. Славя мирный труд и показывая, как нелегко бывает преодолеть упрямую силу предрассудков, цепкость вековых пережитков, Герберт Нахбар создал произведение, которое всем своим духом, противостоит книгам о молодежи, выходящим в Федеративной Республике. Уверенно движутся вперед Хеннинг и Бербель: они знают, что в трудную минуту им помогут, они верят и в свои силы, и в правоту своих взгля-

дов и исканий. Отсюда — высокое моральное звучание книги «Свадьба на Лённекене».

Книга Герберта Нахбара — заметное явление современной немецкой литературы, развивающейся под знаком социалистического реализма. Она опирается на богатейшие национальные традиции — читая ее, вспоминаешь, не только Эрвина Штриттматтера, но и очарование прозы Теодора Шторма, и старого Фрица Рейтера.

Р. Самарин

РОМАНТИКА СОЗИДАНИЯ

Barbara Seidler. Worek z miltardami. Warszawa, Czytelnik, 1960.

Книга Барбары Зайдлер «Мешок с миллиардами» невелика: в ней одиннадцать небольших очерков. Но, начав читать, уже не можешь оторваться, пока не прочтешь ее до конца. О тех переменах, которые принесла индустриализация Польши, Зайдлер рассказала ярко и убедительно.

В очерках Зайдлер нет и намека на парадность. Ее интересует, как люди работают и как отдыхают, ее волнует плохое обслуживание в магазинах, нехватка детских садов, она радуется вместе с семьей, въезжающей в новый дом. Автор видит жизнь во всех ее проявлениях — хороших и дурных. Но она сумела увидеть самое главное — то, вначале слабое, биение нового, что в короткие сроки позволило в прошлом аграрной Польше создать крупные промышленные центры. А этот процесс был нелегким.

Вот з Турошове, небольшом местечке, обнаружены залежи бурого угля. Волнуются крестьяне окрестных деревень — что станет с ними, когда придут люди с измерительными треногами и произнесут приговор их жалким домишкам, и там, где сейчас курятники и колодцы, где колосится рожь, начнут добывать уголь.

Нелегко живется и строителям. Кто эти люди? Как бывает обычно, здесь не только энтузиасты, сюда хлынули и любители легкого заработка — летуны. Они работают месяц-два, потом исчезают. С ними исчезают спецодежда, посуда, одеяла. Но не они составляют большинство. Основная масса строителей все свое будущее, все свои надежды связывает с комбинатом. Пусть пока еще неважно с жилищем, плохо работают магазины, нет библиотек, процветает хулиганство — все равно сюда едут со всех концов страны. Людей влечет романтика созидания, радость борьбы, которая особенно остро ощущается здесь, где истинная цена человека определяется конкретными результатами его работы. Пройдет немного времени, наладится жизнь, исчезнут переполненные общежития, появится много детских колясок, а на крышах — телевизионные антенны.

Самыми значительными в книге являются очерки, посвященные металлургическому комбинату имени Ленина в Нова-Гуте — гордости польской индустрии. Этот комбинат возник в послевоенные годы, производственная мощность его превышает мощность всех вместе взятых металлургических заводов, существовавших в Польше до войны.

С первого дня внимательно следит Барбара Зайдлер за возникновением этого гиганта, и не как сторонний наблюдатель, а как человек, кровно заинтересованный в происходящем. «На карте есть такие места, в которые мы, очеркисты, охотно ездим снова и снова, места, которые нам близки, которые знаем лучше других. В Нова-Гуту я приезжаю регулярно, с самого начала строительства. Я помню, как на полях, где сейчас стоят огромные печи, убиралась рожь, а на центральной площади цвели яблони и вишни...»

Основная тема — перемены социальные, какие несет с собой быстрая индустриализация страны,— проходит через все очерки. И действительно, за пятнадцать послевоенных лет в Польше выросло множество промышленных предприятий. На новостройки из городов и деревень стали прибывать огромные массы людей. Менялся уклад жизни, менялось сознание.

С мягким юмором описывает автор такой случай. Строительство целого района Нова-Гуты вынуждено было приостановиться, потому что одна крестьянская семья ни за что не хотела съезжать со своего участка. Краны нависли над их плетнем, газовые трубы пригнули к земле мальвы, растущие под окнами. Хозяйка же повесила под соломенной крышей образ Иисуса и проклинала антихриста. Крестьяне были упрямы, привязаны к земле, боялись высоких лестниц в городских домах. Но когда эту семью перевезли в новый дом, женщина, проклинавшая антихриста, стала потом активисткой жилищного комитета, приходила на собрания, возмущалась, что не работает электрическая прачечная, что дети портят зеленые насаждения.

Сейчас Нова-Гута уже не царство бараков и неразберихи — это благоустроенный современный город. Тот, кто хочет жить здесь, должен работать и учиться, обязательно учиться.

Очень высоко оценивает очерки Барбары Зайдлер известный польский писатель Мариан Брандыс: «Книжка Барбары Зайдлер совершенно лишена схематизма. В

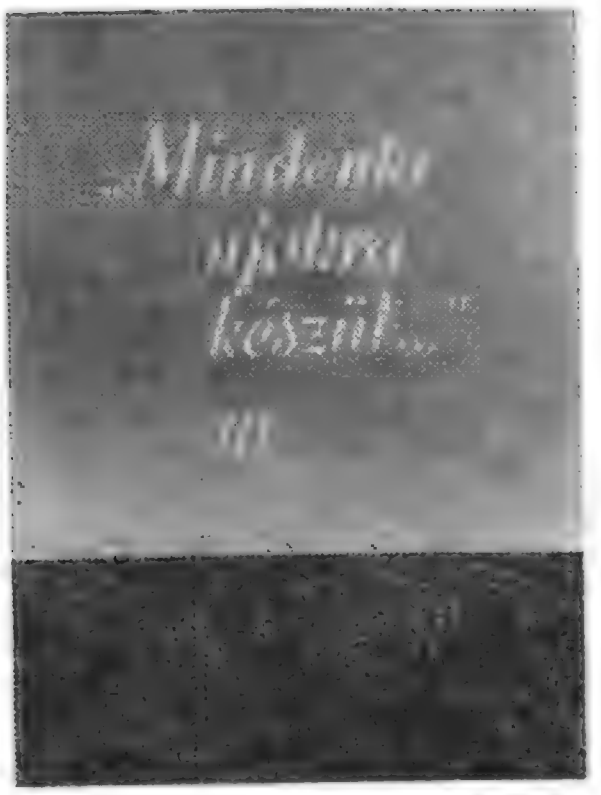
«Мешке с миллиардами» статистические данные исключительно удачно сочетаются с великолепной журналистикой... Язык репортажа простой, ясный, скупой и свежий. Это журналистика высшего класса. Поэтому очерки Б. Зайдлер читаются как хорошая литература... И только опытный журналист поймет, сколько вдумчивого изучения, сколько труда вложено в эту небольшую и так легко написанную книжку».

Н. Соколовская

ГЕРОИЧЕСКОЕ НАЧАЛО

Современность — вот что привлекает к себе внимание писателей народно-демократических стран. Живая социалистическая современность с ее людьми: рабочими, крестьянами, интеллигенцией.

И вместе с тем человека сегодняшнего дня не может не волновать и то время, когда были заложены первые камни в фундамент нового общества. Это понятно: ведь нынешнее поколение испытывает острое чувство преемственности и ответственности за дело отцов Подобно тому, как в нас живет глубокий интерес к Великой Октябрьской революции, к событиям, связанным с рождением нашего советского государства, в Венгрии сейчас все чаще обращаются к социалистической революции 1919 года, к тем дням, когда власть в стране впервые взял в свои руки рабочий класс.



"Mindenki ujakra készül..." Az 1918—1919-es forradalmak irodalma. III. kötet (a Tanácsköztársaság szépirodalma). Szerk. József Farkas. Budapest, Akadémiai kiado, 1960.

Одно из свидетельств этого — издание будапештским Институтом истории литературы Венгерской Академии наук художественного и публицистического наследия Советской Венгрии и предшествовавшей ей буржуазно-демократической республики. Это — большое, четырехтомное издание, носящее общее название «Все готовятся к новому...» (оно заимствовано из стихотворения поэта Эндре Ади, написанного незадолго до революции). К настоящему времени вышел как раз третий том, посвященный Советской Венгрии и воскрешающий множество очерков, рассказов, стихов, прежде погребенных в старых газетах и журналах и большей частью известных лишь специалистам. Эти вновь открытые десятки, сотни произведений, которые старое венгерское литературоведение старалось замолчать, забыть (и не случайно), оказывается, имеют прямое отношение к сегодняшней венгерской литературе и сохраняют значение известного художественно-эстетического примера.

О чем же говорит современному читателю — литератору и литературоведу в том числе — художественное наследие Советской Венгрии, отстоящее от нас уже почти на полвека?.. Прежде всего хотя бы о том, что в Венгрии (вопреки довольно распространенному старому представлению) в недолгие 133 дня пролетарской диктатуры ключом била литературная жизнь. Красноречив уже сам объем: в третьем томе больше 60 листов, а ведь он еще не включает литературной критики и собственно публицистики. Среди писателей, которые в те бурные дни пережили настоящий творческий подъем, были Жигмонд Мориц. Дюла Юхас, Лайош Надь, Фридеш Каринти, Деже Костолани, Шандор Броди, Жени Варнаи, Золтан Шомьо и другие — имена, небезызвестные в венгерской литературе!

При знакомстве с книгой становится ясно, что художественное наследие Советской Венгрии — это не отдельные, случайные отклики на злобу дня, а целая *литература*, обладающая определенным единством и общими признаками.

Невозможно, конечно, во всех подробностях рассмотреть три с половиной сотни рассказов, стихотворений, очерков. Но одно, во всяком случае, явствует с полной очевидностью: прогрессивные венгерские писатели по глубокому внутреннему убеждению, по логике своего развития приняли венгерскую советскую власть, которая несла освобождение трудящимся, раскрепощение личности, подъем культуры — все то, что раньше оставалось лишь мечтой.

Сочувствие прогрессивных писателей новой, рабочей власти, которое вытекало из всего их предшествующего творчества, еще не означало, конечно, что в литературе Советской Венгрии не было борьбы (вспомним националистическую демагогию Деже Сабо, наскоки некоторых экспрессионистов на идею коммунистической партийности), что в ней не было внутренних слабостей (идейной незрелости, схематичности). Ведь и сама политическая история Советской Венгрии очень сложна и противоречива: трудности ее развития достаточно известны. Однако эти трудности, ошибки не могут умалить значения самоотверженной борьбы венгерских коммунистов за рабочую

власть, за свободу народа и революционную культуру. И в литературе тоже нельзя не видеть главного, положительного, что не менее поучительно, чем слабости и противоречия. Это главное — естественно складывавшееся содружество писателей критического реализма (например, Морица, Юхаса) с формирующимся революционным направлением (от А. Комьята до Л. Надя).

Нельзя не видеть, что социалистическая идеология, ставшая господствующей в Венгрии, новые общественные отношения и сама жизнь, народная борьба оказывали многообразное влияние на все мироощущение прогрессивных писателей, вызывая глубокие изменения в их творчестве. Бросается в глаза, например, быстрый расцвет в Советской Венгрии новых жанров: сатирического фельетона, высмеивавшего буржуазные нравы и предрассудки (Ф. Каринти, Л. Надь), художественного очерка, возникавшего по горячим следам событий (очерки Морица о земледельческих кооперативах), революционной оды и песни (З. Шомьо).

Это развитие очень «мобильных» и общественно-активных жанров — лишь одно из выражений того поворота венгерской литературы к жизни, к более действенному и глубокому обобщению ее, который начался в 1919 году. О нем говорят и пристальное внимание Круди, Морица к новым людям, новым героям — хозяевам своей судьбы, и пролетарская гражданственная тенденция в рассказах Л. Барты, Л. Надя, и тяготение поэтов к героико-романтической патетике (Юхас, Ташш, Шомьо), и — забегая вперед, предвосхищая содержание четвертого тома — драматически острый агитационный стиль коммунистической публицистики... В Советской Венгрии происходит *демократизация* литературы — не поверхностная, ложная (в смысле снижения художественного уровня), а внутренняя, подлинная, связанная с повышением ее общественной роли и гражданской ответственности, с ее гражданским возмужанием.

Победа венгерского рабочего класса в 1919 году сделала и венгерскую литературу активной участницей социальных преобразований, заронив в нее искру революционного сознания, которая ярко разгорелась потом, в годы борьбы с хортистской реакцией.

Художественное наследие Советской Венгрии было частью исторического творчества венгерского народа, который сверг в 1919 году помещиков и капиталистов, а в 1956 дал отпор контрреволюционерам, пытавшимся сорвать строительство социализма.

Вот почему венгерские писатели с гордостью обращаются к этой славной странице своей литературы. Как говорит венгерский поэт Йожеф Фодор, эта книга «...напоминает о великом, героическом начале. Это документы первых, пионерских боев за нашу сегодняшнюю жизнь».

О. Россиянов

ОНИ НАШЛИ СВОЕ СЧАСТЬЕ В БОРЬБЕ

Ом Хын Соб. Перед рассветом. Часть первая. Пхеньян. Издательство Союза корейских писателей. 1960. (На корейском языке).

Борьба за национальное воссоединение родины находит отражение в целом ряде произведений, созданных писателями Корейской Народно-Демократической Республики за последние годы. К их числу следует в первую очередь отнести роман Хан Сер Я «Любовь», драму Ли Дон Чуна и Цой Гона «Так больше жить нельзя», сборник стихотворений ведущих корейских поэтов «Голос мира». Недавно этот список пополнился романом Ом Хын Соба «Перед рассветом».

Действие романа развертывается в Южной Корее в наши дни. На примере судьбы главного героя книги, художника Чан Су, автор показывает, какими путями приходит интеллигенция Южной Кореи к мысли о необходимости активной борьбы за независимость и объединение родины.

Дирекция одной из сеульских женских гимназий «поставляет» учениц старших классов для развлечения американским офицерам из штаб-квартиры войск ООН. За честь одной из девушек, Ён Ок, вступился преподаватель рисования, молодой художник Чан Су. Его обвиняют в оскорблении американского офицера и бросают в тюрьму. Выйдя на свободу, Чан Су перебивается случайными заработками. Однажды он получает заказ на роспись комнат загородной дачи видного корейского коммерсанта, сотрудничающего с американцами. Там Чан Су сталкивается с офицером, от которого он спас Ён Ок. Офицер приказывает ему расписать стены непристойными рисунками, оскорбляющими национальные чувства корейцев. И когда художник отказывается выполнить это требование, взбешенный американец стреляет в него.

Еще не оправившийся от ранения, Чан Су вынужден скитаться по стране — полиция преследует его как «неблагонадежного» И все, что он видит — волнения крестьян, доведенных до отчаяния голодом и нищетой, борьба портовых рабочих за повышение заработной платы, возмущение учащихся поведением американцев,— все убеждает его в том, что только мирное объединение родины может изменить жизнь народа и спасти национальную культуру. Но «объединение не придет само, если сидеть сложа руки. Мы должны приближать его собственными усилиями. И первое, что нужно сделать,—

выгнать оккупантов»,— говорит Чан Су в конце романа.

К такому выводу Чан Су приходит не один. Повествуя о чистой и искренней любви Ён Ок к своему учителю, автор показывает, как эта девушка из наивной и робкой школьницы вырастает в стойкого борца за независимость своей страны. И хотя роман заканчивается арестом Ён Ок и ее товарищей, читателя не оставляет уверенность, что темные тучи, нависшие над Южной Кореей, рассеются и долгожданный рассвет обязательно наступит.

Книга Ом Хын Соба не лишена недостатков. К их числу следует отнести растянутую композицию, смехатичность, которой страдает изображение отдельных персонажей. Однако в целом роман «Перед рассветом», встреченный с большим интересом корейскими читателями, представляет собой значительное явление молодой, развивающейся литературы народной Кореи.

Д. Приемский

НА ВСЕХ языках

«Донские рассказы» М. Шолохова выпущены албанским Государственным издательством. Газета «Зери и ринис», сообщая об издании перевода этих рассказов, печатает биографию советского писателя и дает краткий анализ его творчества. Напоминая о том, что на албанский язык уже переведены «Тихий Дон», «Поднятая целина» и «Судьба человека», газета отмечает, что в недавно проведенной среди албанской молодежи анкете имя Шолохова приводилось как имя одного из самых любимых писателей.

□

Издательство «Дейчер милитерферлаг» (ГДР), как сообщает журнал «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель», выпустило роман Федора Гладкова «Цемент».

□

Издающийся в Марселе (Франция) журнал «Аксьон поэтик», который публикует произведения молодых французских поэтов, напечатал стихи Леонида Мартынова, Евгения Евтушенко, Игоря Кобзева, Евгения Абросимова и краткие био-библиографические сведения об этих советских авторах. Стихи представлены в переводах Антуана Витеза, Франсуа Керела, Шарля Добжинского, Денизы Мьеж и др. В небольшом вступлении Антуан Витез пишет, что выбор стихов не претендует на то, чтобы быть своего рода маленькой антологией советской поэзии, но своей целью ставит лишь первое знакомство с ней.

□

На венгерском языке издан сборник рассказов киргизского писателя Чингиза Айтматова под общим названием «Джамиля».

□

Библиографический бюллетень «Тайекозтато» сообщает, что в Венгрии вышли в свет вторая часть романа Михаила Шолохова «Поднятая целина», «Сентиментальный роман» Веры Пановой, повесть Александра Грина «Бегущая по волнам».

□

Под названием «Горячая голова» французское издательство «Галлимар», как сообщает еженедельник «Леттр франсез», выпустило в свет повесть Николая Тихонова «Рискованный человек» в переводе Владимира Познера и с его предисловием.

□

Новый румынский журнал «20-й век» опубликовал киносценарий Леонида Леонова «Бегство мистера Маккинли», а также стихи Евгения Евтушенко (в переводе поэтессы Н. Кассиан).

□

В берлинском издательстве «Культур унд фортшритт» (ГДР) вышел перевод на немецком языке романа Михаила Бубеннова «Орлиная степь». Газета «Нейес Дейчланд» называет это произведение «главой из хроники нашей эпохи». Писателю удалось создать реалистическую картину жизни в степи с ее трудностями и романтикой.

По словам газеты, это «первое большое произведение в советской литературе об освоении целины».

□

Венгерское издательство «Гондолат» выпустило в свет роман украинского писателя Натана Рыбака «Ошибка Оноре де Бальзака». Книга Натана Рыбака, пишет рецензент бюллетеня «Тайекозтато», свидетельствует о высоком художественном мастерстве ее автора.

□

«Повесть А. Рекемчука «Время летних отпусков» прежде всего пленяет своей эмоциональностью, живым юмором и романтикой жизни севера»,— пишет еженедельник «Народна култура», сообщая о выходе в свет перевода этой книги на болгарский язык.

□

В рецензии на повесть Владимира Войновича «Мы здесь живем» болгарский еженедельник «Литературен фронт» отмечает: «В последние годы наша критика мечтает о «положительном герое». В повести «Мы здесь живем» перед нами настоящий герой — водитель машины ЗИЛ-5 Гошка со всеми своими достоинствами и недостатками, чувствами и со своей такой целомудренной и робкой любовью к Саньке, что ему даже неловко и страшно говорить о «ней», и с его юношеской непримиримостью и мужественной твердостью».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРИЯ

ЧИТАТЕЛЬ ЖДЕТ РОМАНОВ

«В ожидании романов» — под таким заголовком венский журнал «Форум» опубликовал статью Гумберта Финка о литературной молодежи Австрии. Автор статьи задался целью проанализировать перспективы австрийской беллетристики, будущее которой находится в руках молодых литераторов. Дают ли молодые писатели основание рассчитывать на оживление австрийской прозы? — спрашивает критик. «Запечатлевают ли они все то, что происходит в государстве и вокруг него и что в будущем будет называться историей? Или же они справляются лишь с тем, что лежит перед самыми глазами... и вместо истории пересказывают лишь историйки? Дают ли они австрийскому роману шансы завоевать ту мировую репутацию, какую ранее имел, или они предпочитают уют и довольство провинциализма?» На все эти вопросы есть лишь один ответ, пишет автор, и это — грустный ответ...

Можно назвать немало авторов, которым удалось опубликовать свой роман или сборник новелл. Но, перечисляя эти имена (Артман, Бек, Фридль, Леберт, Вавра, Фогель), пишет Финк, «мы начинаем смущаться, если надо говорить о новой австрийской прозе...»

Одним из лучших современных иллюстраторов газета «Фольксштимме» называет австрийского художника-коммуниста Акселя Лескошека. Выполненные им для книг рисунки, гравюры по дереву захватывают читателя, переносят его в атмосферу литературного произведения. Лескошеку это удается потому, что его творчество реалистично и отражает эпоху, социальные отношения и конфликты иллюстрируемых произведений. Как большую заслугу дрезденского издательства газета отмечает появление в свет тома избранных иллюстраций Акселя Лескошека. Здесь воспроизведена иллюстрация Акселя Лескошека к сборнику бразильских рассказов.

(Газета «Фольксштимме»)

Какое же объяснение «малокровию» австрийской литературы дает журнал? Писатели, по мнению автора статьи, оказывается, лишь «физически» живут в XX веке. Думают и пишут они, однако, с оглядкой на XIX. «Великие темы нашего времени проходят мимо них, не оставляя в их трудах ни малейшего следа». Народ, идеология — эти понятия, как свидетельствует журнал, чужды «литературной молодежи сорокалетнего возраста».

«Итак, хотя такой представитель молодой смены не в состоянии проанализировать в своем творчестве истинную трагедию австрийца, он сам поражен в большой мере этой трагедией».

И автор статьи приходит к пессимистическому выводу: «...нового австрийского романа не существует, и в ближайшее время он не появится. Интересные и выделяющиеся отдельные достижения еще не составляют литературы».

ДЛЯ ДЕЛА МИРА

Вторично в Австрии объявлен конкурс имени Фрица Иенсена на лучшие художественные репортажи.

Как пишет газета «Фольксштимме», в свое время первую премию заслуженно получила Хильде Рёдер — ее репортаж «Внутри и снаружи» наглядно и убедительно показал возрождение нацизма и милитаризма в Западной Германии.

В сообщении о конкурсе говорится, что премия за

1962 год будет присуждена тому австрийскому автору, который представит жюри произведение, написанное в духе творчества талантливого австрийского писателя Иенсена. Как известно, продолжает газета, его перу принадлежат произведения, служащие делу мира. Преимущество будет отдано произведениям, которые в художественной форме затрагивают австрийскую тематику.

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ СТЕФАНУ ЦВЕЙГУ

В Зальцбурге, где Цвейг прожил пятнадцать лет, была устроена выставка, посвященная его творчеству. Наряду с новыми изданиями книг Стефана Цвейга на выставке экспонировалась коллекция первых изданий произведений, рукописи и фотографии писателя.

АНГЛИЯ

ПРИСТЛИ О СЕБЕ

Видный английский писатель и публицист Дж. Б. Пристли выступил на страницах газеты «Санди таймс» с серией очерков, которые фактически являются его литературной биографией. Очерки эти, охватывающие последние тридцать лет жизни и творческой деятельности автора, объединены общим названием — «У меня было время».

«Существуют две причины, почему я выбрал название «У меня было время»,— пишет Пристли.—Во-первых, на протяжении последних тридцати лет сотни людей говорили мне, что они были бы способны написать хороший роман или пьесу, книгу очерков, если бы только у них было время. Что ж, у меня время было.

Вторая причина коренится глубже. Часто нам кажется, что мы находимся как-то вне своего времени, будто со стороны наблюдаем происходящее, однако все же единственное, чем мы действительно располагаем, так это временем. Всегда можно что-то не успеть, что-то не доделать, что-то не выполнить, и все-таки каждый из нас — это то, что он сумел сделать со своим временем. От этого никто не может уйти».

Пристли рассказывает о том, с каким трудом началась его литературная карьера, с какими материальными невзгодами ему пришлось бороться, хотя писатель считает, что тогда, в двадцатых годах нашего века, начинающему литератору было легче, чем теперь. И это так, пишет он, несмотря на наличие нынешних, «таких совершенно новых возможностей литературного труда, которые предоставляют нам радио, телевидение и кино».

Много имен и фактов литературной жизни приводит Пристли в своих воспоминаниях.

СПОР О ДЕТЕКТИВАХ

Еженедельник «Таймс литерари сапплмент» выпустил специальное приложение с высказываниями разных авторов по вопросу о детективной литературе.

В статье Нормана Шрапнела говорится, что четыре великих европейских писателя—Достоевский, Конрад, Кафка и Честертон — создали романы, в которых речь шла о преступлениях, приключениях и погоне за преступниками. По словам автора, ни Эдгара По, ни Уилки Коллинза никто не считал плохими писателями за интерес к криминалистике. Кстати, Диккенса тоже интересовали проблемы борьбы с преступностью, и он не считается из-за этого менее великим писателем. Конан-Дойль создал образ Шерлока Холмса, который воспринимается даже как на самом деле существовавший человек.

Энтони Стор пишет, что детективы, как правило, считаются второстепенной литературой, хотя зачастую они пишутся людьми науки и поэтами, доставляя удовольствие как прелатам, так и премьер-министрам. Много раз, пишет Стор, предсказывали гибель этого жанра, а он все развивается, увеличивается поток детективных романов. Почему же эти романы читают?

Детективный рассказ, объясняет Стор, не просто хитроумная загадка, но и интересная фабула, психологический этюд. Если он художественно написан, то доставляет такое же наслаждение, как любой другой литературный жанр. Однако многие детективы потакают самым низменным вкусам и не являются ни интеллектуальными, ни художественными, ни занимательными. Стор приводит любопытный пример: «Один епископ сказал мне недавно, что любит рассказы, не требующие никакого интеллектуального напряжения, но в которых зато льются реки крови» (!). Оставив в стороне кровожадность епископа, автор с сокрушением признает, что

Витрина книжного магазина в Глазго с рекламой книги «ужасов».
(Еженедельник «Таймс литерари сапплмент»)

Действие романа Грэхема Грина «Власть и слава», инсценированного для кино и телевидения, развертывается в Мексике в 30-е годы, когда по стране прокатилась волна антиклерикального движения. Главную роль играет известный английский актер и режиссер Лоуренс Оливье. На снимке: Лоуренс Оливье в роли католического монаха.

(Газета «Нью-Йорк таймс»)

немало читателей в Англии разделяют тягу епископа к крови. Именно для таких любителей сильных ощущений печатаются призывные супер-обложки с обезглавленными трупами, делают рекламу в витринах книжных магазинов.

БРИТАНСКАЯ КИНОЦЕНЗУРА ЗАЩИЩАЕТ ГЛОБКЕ

Джон Осборн как-то написал, что «вся история существования совета киноцензуры является демонстрацией предубеждения и поощрением тупости и посредственности». Недавно английская киноцензура вновь подтвердила характеристику Джона Осборна. Совет киноцензуры отказался разрешить демонстрацию в Англии фильма «Операция Джэй», показывающего мрачную карьеру нациста Ганса Глобке, ныне являющегося членом правительства ФРГ.

Английские цензоры взяли под защиту Ганса Глобке, военного преступника, подвизавшегося в министерстве внутренних дел при Гитлере. Они боятся «обидеть» показом фильма того Глобке, который, по признанию Эйхмана, «любезно расширил» в свое время «полномочия» подведомственного Эйхману «отделения», иными словами, предоставил Эйхману еще более широкие возможности для уничтожения миллионов людей.

Заслуживает внимания объяснение совета киноцензуры, почему была запрещена демонстрация фильма:

«Этот фильм, по-видимому, был сделан с целью повредить репутации отдельной личности. По этой причине совет считает, что демонстрация фильма в коммерческих кинотеатрах будет противоречить интересам общественности».

Следовательно, «в интересах общественности» Англии полезно забыть о развалинах Ковентри, Бирмингема и Лондона, о зверских бомбардировках гитлеровской авиацией английских городов, о погибших во второй мировой войне английских солдатах?

АНГОЛА

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЭТА МАРИУ ДИ АНДРАДИ

Анголезский поэт Мариу ди Андради, активный участник борьбы Анголы за свою независимость, был принят в Дакаре президентами Сенегала Сенгором и Диа. На состоявшейся затем пресс-конференции, как сообщает газета «Монд», Мариу ди Андради заявил о своем намерении посетить все независимые африканские государства для того, чтобы получить их политическую поддержку.

На вопрос о программе националистической партии Анголы, лидером которой он является, ди Андради ответил: «Эта программа совершенно определенна: образование национального фронта и завоевание независимости. А в будущем — единство нашей страны, которое будет строиться на уважении исторически сложившихся группировок». Ди Андради считает, что добиться этих целей путем переговоров вряд ли будет возможно, пока Салазар находится у власти, поскольку он наверняка будет продолжать войну до конца. Но ясно также, что эта война приведет к падению Салазара.

Ди Андради сообщил о том, что он всегда поддерживал связь с португальской оппозицией и в момент восстания на «Санта Марии» послал капитану Галвао, автору известного доклада о каторжных работах в Анголе, телеграмму с выражением своей солидарности. «Должен, к сожалению, сказать, что я не согласен с его последними заявлениями, в которых он утверждает, что мы не готовы к принятию независимости, потому что в Анголе девяносто процентов неграмотных. Разве Галвао забыл о том, что в самой Португалии сорок два процента неграмотных? И что в Анголе среди белых тоже тридцать процентов неграмотных?!.»

Мариу ди Андради заявил корреспонденту газеты

«Монд»: «Французский народ, верный своим революционным традициям, не может не знать о нас. Излишне говорить о том, что во Франции существует давняя антиколониалистская традиция... Я хотел бы призвать все антиколониалистские организации к решительным действиям, направленным к тому, чтобы французское правительство более определенно высказалось против войны, которую ведет с нами Португалия. Пусть будут организованы митинги, которые дали бы широкой французской общественности представление о том, что такое португальский колониализм. Международное общественное мнение должно сыграть важную роль в деле изоляции Салазара».

БОЛГАРИЯ

ПИСАТЕЛИ В БОРЬБЕ ЗА МИР

Важнейший вопрос нашего времени — борьба за сохранение мира.

Во имя этой идеи редакция болгарского журнала «Септември» организовала международную анкету писателей балканских стран и Италии. Цель анкеты — выяснить, что думают балканские писатели, а также их итальянские коллеги по вопросам мира и культурного сотрудничества, каковы их конкретные предложения по созданию мирных Балкан, расширению культурного обмена.

Ответы на вопросы анкеты прислали многие писатели и литературные критики Албании, Болгарии, Румынии, Югославии, Турции, Греции, Италии. Все они высказываются за сохранение мира, за расширение личных контактов балканских писателей.

«Конечно, в быстрейшем осуществлении политики мира и понимания между всеми балканскими народами серьезную помощь могут оказать писатели балканских государств,— пишет первый секретарь Союза болгарских писателей Георгий Караславов.— Бороться за мир — всегдашний долг литераторов. А теперь, в тот момент, когда война может превратить в пепелище всю планету, этот их долг приобретает первостепенное значение. В борьбе за мир писатели имеют могучее оружие — перо, слово, печать».

Греческая поэтесса Рита Буми Папа в своем письме заявила:

«Балканский полуостров, эта привилегированная область Европы, так щедро одаренная природой, поистине может превратиться в зону, которая явилась бы примером мирного сотрудничества... Наши страны взаимно дополняют друг друга и могут, используя свои природные богатства и обмениваясь художественными произведениями, превратить Балканский полуостров в благоденствующую часть Европы. Обязанность балканских писателей и деятелей культуры во всем мире — быть приверженными к идеалам мира, гуманизма, улучшения условий жизни, освобождения от рабства на нашей планете».

«Лучше спорить, чем не знать друг друга! — пишет Джанкарло Вигорелли, главный редактор журнала «Эуропа леттерариа» и секретарь Европейского сообщества писателей.— Сотрудничество писателей должно существовать всегда, даже тогда, когда, к сожалению, отсутствует сотрудничество политиков. Важно, чтобы мы сели за «круглый стол» и нашли вместе «точки, которые разделяют», чтобы вместе же честно найти «точки, которые объединяют».

Поэтесса Мира Алечкович (Югославия) пишет в редакцию «Септември»:

«Забота о мире не только дело правительства той или иной страны, она стала заботой большого числа людей, многих сообществ и организаций. Именно писатели своей профессией предназначены быть активными пропагандистами борьбы за мир, за мирное сосуществование, потому что мирное сосуществование — наилучший путь укрепления мира, потому что мир — условие в борьбе за социализм, предпосылка творческой деятельности и всего того, что называется счастливой жизнью и которое так безгранично, как мечты человека...»

ЛУЧШИЕ РОМАНЫ

Еженедельник «Литературен фронт» сообщает о состоявшемся в Союзе болгарских писателей обсуждении романов, изданных в 1960 году. С докладом выступил известный критик Яко Молхов, разделивший произведения этого жанра на три группы: исторические, романы на тему борьбы против капитализма и фашизма и современные.

Из второй группы произведений докладчик уделил внимание роману молодого писателя Виктора Баруха «Поставленные вне закона», действие которого развертывается в царской Болгарии периода 1941—1944 годов, когда фашизированный парламент проголосовал за специальный расистский закон «о защите нации».

Из произведений на темы современности докладчик отметил вторую часть романа Камена Калчева «Семья ткачей», романа «Сноп» Б. Обретенова, «Смерти нет» Т. Монова, «Большой расчет» Д. Добревского.

КРЕПНУТ СВЯЗИ ПИСАТЕЛЕЙ

По сообщению софийской печати, подписан договор о культурном сотрудничестве между Союзами болгарских и польских писателей, заключенный с целью широкого ознакомления с жизнью братских народов, литератур и культур Болгарии и Польши, развития связей между болгарскими и польскими писателями во имя прогресса и сохранения мира.

В договоре предусмотрены поездки писателей и переводчиков, ознакомление с материалами болгарских и польских издательств, оказание помощи болгарскому

культурному центру в Варшаве и польскому в Софии.

Такого же рода договор был заключен между писателями Болгарии и ГДР.

ВЕНГРИЯ

«СОВРЕМЕННОСТЬ — ДУША НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

«Современность должна стать душой нашей литературы» — под таким девизом состоялся пленум правления Союза венгерских писателей. С докладом на пленуме выступил генеральный секретарь Союза Имре Добози.

— Наша страна,— сказал Добози,— уже приближается к тому моменту, когда будет положен последний кирпич фундамента социализма. Изменилась страна, изменились люди. Как же отражают писатели в своих произведениях то, что волнует наших людей, что является предметом их дум и забот? Ведь дум много. Изживаются и уходят в предание такие человеческие пороки, как карьеризм, эгоизм, стремление к наживе. И многие люди чувствуют еще себя, как больной, нетвердо стоящий на ногах после тяжелой болезни. Как жить, каким быть — вот вопросы, на которые они ждут ответа. И этот ответ должна им дать наша современная литература. Наша действительность является художественным материалом более богатым, более сложным и волнующим, чем любые фантазии писателя, равнодушно проходящего мимо сегодняшнего дня.

В подтверждение своей мысли Добози подробно говорит о таких произведениях на современную тему, как драма Йожефа Дарваша «Пожар на рассвете», пьеса Лайоша Мештерхази «Одиннадцатая заповедь» и его повесть «Собака о четырех лапах», новеллы Шандора Татаи и стихи Михая Ваци.

Резкой критике подверг Добози те произведения, которые хотя и созданы на темы современности, но написаны серо, слабо, без души. Эта критика, как сообщает еженедельник «Элет эш иродалом», вызвала оживленные споры, однако лейтмотивом всех выступлений было: за современность, за высокое художественное мастерство, за ответственность писателя перед народом.

ОСТРЫЙ, АКТУАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Уже несколько месяцев на сцене будапештского Национального театра идет пьеса Йожефа Дарваша «Пожар на рассвете». И интерес к ней, по сообщению журнала «Кортарш», не ослабевает. В чем же притягательная сила спектакля? Дарваш сумел показать, как кооператив рождается в борьбе с классовыми врагами, с собственнической психологией. Ярко и правдиво рисует драма всю сложность человеческих отношений в трудный, переломный период жизни.

...Ожесточенная борьба разгоралась между Йожефом Бонишем — управляющим кооператива — и его братом Лайошом Бонишем. Борьба братьев создает напряженную атмосферу во всей деревне. Страшно терзается в сомнениях и сын Лайоша Бониша, Геза, которого разум тянет в кооператив, а сердце — к отцу. В конце концов, боясь потерять сына, Лайош Бониш вступает в кооператив, но, подписывая заявление, в душе он по-прежнему против коллективизации. Ночью он поджигает дом, в котором был устроен банкет по поводу создания кооператива...

Однако слишком сильны новые силы, чтобы над ними могли одержать победу мелкие происки врагов, и новое торжествует победу над старым.

Оценивая спектакль, журнал «Кортарш» пишет: «Пожар на рассвете» — драма, рассказывающая о важных проблемах переходной эпохи, она показывает, как в сельском хозяйстве рождаются новые, социалистические производственные отношения».

ГАНА

«АФРИКАНЕЦ»

Действие романа, вышедшего под таким названием, происходит в вымышленной стране Сонгхае. Однако африканскому читателю ясно, что автор — директор одной из ганских средних школ Уильям Контон — описывает недавнее прошлое Сьерры-Леоне.

Сложный путь исканий приводит главного героя произведения — юношу Кисими Камара — к осознанию необходимости борьбы за независимость своей родины.

Он получил образование в английском университете и там же почувствовал на себе весь ужас расовых предрассудков, разъединяющих его с любимой девушкой из Южной Африки. Возвратившись к себе на родину, Кисими Камара основывает политическую партию, ставящую своей целью освобождение страны от колониального гнета.

В конце книги Кисими Камара вырастает в видного политического деятеля, премьер-министра родной страны, осуществляющего на практике свою давнюю мечту о создании федерации свободных африканских народов.

По мнению журнала «Уэст Африка», Уильям Контон «пишет хорошо. Его образы живы и умны. Он объективен и мудр, рисуя расовые отношения или касаясь политики». Отмечая отдельные недостатки произведения, журнал вместе с тем высоко оценивает его, напоминая, что это — первый роман писателя.

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Общество писателей Ганы выпустило первый номер нового литературного журнала «Окайеаме» («Лингвист»), который будет выходить раз в три месяца.

В журнале широко даны прозаические произведения и стихи ганских писателей, представителей различных национальностей страны, ли-

тературная критика. Наряду с произведениями таких известных в стране писателей, как Эфуа Сазерлэнд, в журнале представлены молодые талантливые литераторы, как, например, Г. Авунор-Уильямс, впервые с большим успехом выступивший в печати.

В целях создания произведений крупных форм журнал объявил открытый конкурс на лучший роман.

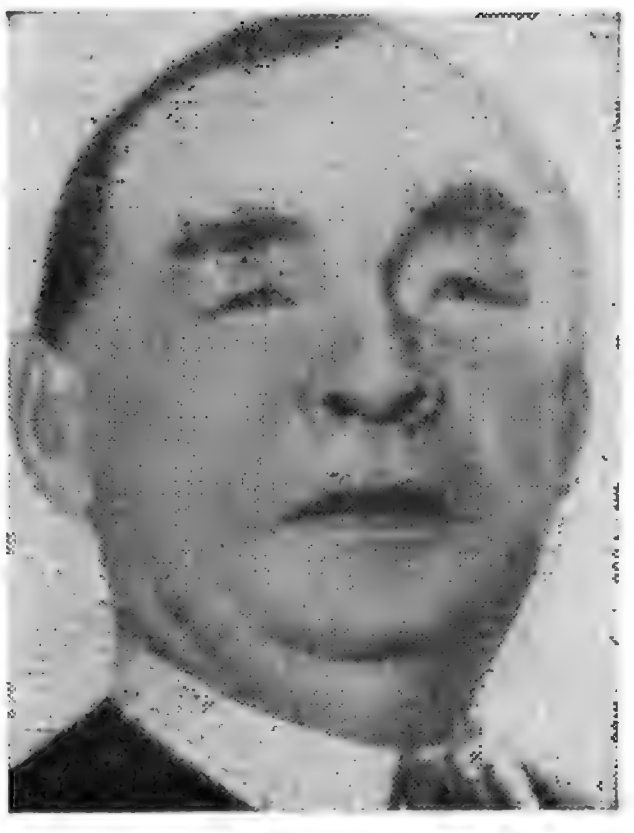
ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПИСЬМО Л. РЕННА Э. М. РЕМАРКУ

Людвиг Ренн направил следующее письмо живущему в Швейцарии Э. М. Ремарку:

«Дорогой Эрих Мария Ремарк! Ты, наверно, слышишь — так же, как и я,— выступления по радио западногерманских министров и генералов, которые призывают к захвату чешских, польских и немецких областей и готовятся к тому, чтобы бросить атомные бомбы. Они снова хотят, чтобы Германия разожгла огонь войны. Одну из своих книг ты назвал «Время жить и время умирать». Так это было, но должно ли это так быть всегда? Должно ли новое — третье—



Эрих Мария Ремарк.
(Газета «Нейес Дейчланд»)

Людвиг Ренн.
(Газета «Нейес Дейчланд»)

поколение также бессмысленно умирать, вместе со своими стариками, женами, детьми?

Нет, все они должны жить! Можем ли мы что-нибудь сделать для их жизни?

Да! Если мы, немецкие писатели, пишущие о войне, потребуем демилитаризации и нейтрализации Германии, мир прислушается к нам.

Подумай только о Японии, которая так болезненно относится к вопросу об атомной бомбе! Если мы выдвинем свое требование... все скажут: «Эти слова должны были произнести именно эти два немецких писателя. Время настало. Это — их моральный долг».

Поэтому я прошу тебя: скажи и ты «да» мирным переговорам. Скажи «нет» войне!

Сейчас и этого было бы уже много. И скажи это так, чтобы весь мир услышал.

По-прежнему твой, Людвиг Ренн».

Это письмо опубликовано в газете «Нейес Дейчланд».

«В ПОИСКАХ ПРЕКРАСНОГО»

«...Этого многообещающего заголовка нет, но его можно было бы дать роману «Воля человека — его небесное царство», принадлежащему перу одного из молодых авторов — Анны Метце-Кирхберг»,— пишет еженедельник «Вохенпост».

По сообщению еженедельника, этот роман, написанный мастерски и с большой душевностью,— первое крупное произведение писательницы — бывшей ткачихи, которая до сих пор выпустила лишь небольшой томик рассказов.

Героиня романа — Берта, дочь безземельного крестьянина, в других условиях могла бы стать художницей, музыкантом или балериной. Она мечтает о прекрасном, у нее недюжинный талант, но ей приходится выполнять тяжелую крестьянскую работу. Берта ищет настоящей любви. У нее рождается внебрачный ребенок. В ее судьбе принимает участие старый учитель, социал-демократ. Он внушает мысль о том, что на земле человек может создать себе «царство небесное» только в борьбе Она поселяется в доме сына учителя — Георга, одного из руководящих деятелей рабочего движения, и под его влиянием становится решительным и умелым борцом за дело рабочего класса. Но семья Георга выселяет ее из дома — и снова Берта обманута в своих мечтах о прекрасном. Несмотря на удары судьбы, она продолжает борьбу за счастье народа.

«Писательнице удалось показать стремление человека завоевать себе «царство небесное» в борьбе против сил реакции и в этой борьбе видеть прекрасное. В ее романе отражен целый период истории рабочего движения Германии»,— так оценивает еженедельник это произведение Анны Метце-Кирхберг.

ВО ИМЯ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО

Немецкий драматург-антифашист Георг Кайзер создавал свои последние произведения в эмиграции, в Швейцарии. Оторванность от родины, безнадежное одиночество — все это нашло отражение в его творчестве тех лет. Однако драма «Музыкальная шкатулка», поставленная Берлинским театром имени Максима Горького, пронизана верой в лучшее будущее, ко-

торое тогда — в момент создания пьесы в 1942 году — казалось еще очень далеким.

На первый взгляд, сюжет пьесы самый обычный, использованный в литературе: муж, которого считали убитым на войне, возвращается домой, а жена, получив извещение о смерти, обручена с другим. Однако у Георга Кайзера такого рода конфликт достигает чрезвычайной остроты: на жизненном пути столкнулись отец и сын. Причем вернувшийся с фронта сын в результате контузии ничего не помнит из своего прошлого. И, наконец, лишь звуки музыкальной шкатулки, которую он некогда подарил своей невесте Ноэли, возвращают ему память. Из ревности он убивает своего отца. Свою вину он искупает позднее, спасая жизнь десяти заложникам-французам, приговоренным гитлеровцами к расстрелу за убийство немца. Он выдает себя за «виновника».

Против войны, против капиталистического насилия на земле выступает в этой драме Георг Кайзер, веря, что новое поколение будет жить в лучшем мире.

шагом к воссоединению Германии,— заявил Иоганнес Тралов на страницах газеты «Берлинер цейтунг».— Это было бы спасением не только для Германии, но, пожалуй, и для всего мира. Покой и мир были бы обеспечены на многие десятилетия».

Как сообщает «Берлинер цейтунг», Иоганнес Тралов уже много лет неутомимо и смело выступает за объединение Германии. С 1951 года писатель является президентом немецкого «ПЕН-клуба Запад—Восток».

ПАМЯТИ ЛЕОНГАРДА ФРАНКА

В ФРГ скончался один из виднейших писателей Германии Леонгард Франк. В некрологе издательства «Ауфбау-ферлаг» (ГДР), опубликованном еженедельником «Зонntаг», выражена глубокая скорбь общественности Германской Демократической Республики по поводу этой большой утраты, понесенной немецкой литературой.

«С Леонгардом Франком,— говорится в некрологе,— от нас ушел еще один из тех «великих стариков», которые за последние 50 лет строили большое и богатое здание прогрессивной немецкой литературы... С самого начала своего творчества Леонгард Франк был пророком в своем отечестве. Двадцать один год он провел в эмиграции, изгнанный в 1914 году кайзеровским, в 1933 году фашистским империализмом. В последние годы жизни он думал о третьей эмиграции — на этот раз, правда, из Германии в Германию...

В государстве Аденауэра и Глобке Леонгарда Франка только терпели — его, настоящего гражданина и патриота, всю свою жизнь стоявшего «слева, где сердце». В нашей республике Леонгард Франк нашел свою духовную родину. Наша республика наградила его Национальной премией, у нас его книги выходили и выходят огромными и все еще недостаточными тиражами, у нас издано единственное полное собрание его сочинений. В нашей республике его наследие обретет родину».

Леонгард Франк.

(Еженедельник «Зонntаг»)

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

«НУЖЕН МИРНЫЙ ДОГОВОР»

Отвечая на международную анкету журнала «Зонntаг», известный западногерманский писатель Иоганнес Тралов заявил о необходимости разрядки атмосферы в Германии.

Рост напряженности, чреватой опасными для дела мира последствиями, устранim только при окончательном мирном урегулировании в Германии, отметил Иоганнес Тралов. Еще теперь может быть устранена милитаризация, являющаяся причиной напряженности. Нужен мирный договор, и только он послужит установлению мирного сосуществования между Западом и Востоком.

«Заключение мирного договора было бы решающим

ПРИЗЫВ К МОЛОДЕЖИ

Группа писателей, общественных и культурных деятелей ФРГ обратилась с «Открытым заявлением по поводу процесса Эйхмана» к западногерманской молодежи.

Авторы заявления, опубликованного еженедельником «Ди андере цейтунг», подчеркивают, что перед судом предстал не Адольф Эйхман, а германское прошлое. Мы не выполнили бы своих моральных обязательств, заявляют далее они, если бы именно в дни этого процесса не указали бы юношам и девушкам на то, что «в нашей стране во все более опасном виде проявляются тенденции реставрации старого». О преодолении прошлого в Федеративной Республике не может идти речь до тех пор, пока государственным секретарем федерального канцлера является Ганс Глобке, до тех пор, пока в депутатах бундестага числится такой человек, как Оберлендер, пока бывшие видные нацисты задают тон в государственном аппарате, в судебных органах, армии и промышленности.

БЕНТЕ ИЩЕТ ПРЕДАТЕЛЯ

В своем новом романе «Преследователь» Гюнтер Вайзенборн еще раз обращается к теме Сопротивления во время гитлеризма.

Герой романа — Даниэль Бенте, от лица которого ведется рассказ, ищет человека, предавшего группу Сопротивления. Даниэль Бенте — единственный, кому посчастливилось выжить,— поклялся, что отомстит за погибших товарищей.

Ему удается напасть на след предателя. Не признавая индивидуальной мести, Бенте хочет, чтобы предателя покарал закон. Однако надежды на законное возмездие рушатся, так как у Бенте нет формальных доказательств.

Прогрессивная западногерманская печать отмечает, что появление этой нужной и важной книги, поднимающей тему вины «третьей империи»,— большое событие, тем более что она вышла во время процесса над Эйхманом.

ЗОЛОТЫЕ ЛАВРЫ И СКОРОСПЕЛЫЕ «ГЕНИИ»

Поток литературных премий — «больших», «малых», «специальных» и прочих — стал буквально бичом для художественной литературы в ФРГ. Чуть ли не каждому, пусть самому незначительному, городку не стоит особого труда основать собственные премии и раздавать их тем, кого он считает «самым достойным»...

Со страниц газет и журналов раздаются жалобы на всевозможные надуманные почести и награды, создающие лишь видимость «золотого века» в культурной жизни Западной Германии, а в действительности засоряющие, развращающие настоящую литературу и плодящие скороспелых «гениев».

На съезде биржевого союза книготорговцев в Констанце главной темой дискуссии оказалось засилие литературных наград в стране.

Принято решение основать солидную литературную премию — еще одну! — и назвать ее «Большой литературной премией немецкого языка». Эта премия (в размере 50 тысяч марок) должна ежегодно присуждаться автору романа, драмы, стихов или очерка, проживающему в Западной Германии, Австрии или Швейцарии. Сообщая о новой премии, еженедельник «Театер-рундшау» иронически спрашивает: «Вопрос лишь в том, найдется ли для золотых лавров достойная голова»...

«Один миллион семьсот тысяч томов ценнейшего для человеческой культуры собрания бывшей прусской государственной библиотеки гибнут в городе Марбурге (Земля Гессен, ФРГ). Этот вклад немецкого народа в мировую культуру поспешно в конце войны был перетащен из Берлина. Только в 1946 году книги были как-то прибраны, т. е. в беспорядке свалены в подвалы полуразрушенного замка. В таком состоянии библиотека находится и по настоящее время»,— сообщает немецкая демократическая печать. Недавно «библиотеку» в Марбурге посетил председатель комиссии Нобелевских премий по литературе, крупный шведский специалист библиотечного дела доктор У. Виллерс. «То, что мне довелось увидеть,— рассказал Виллерс,— потрясло меня до глубины души Более двухсот тысяч томов от сырости, грязи и плесени в своем большинстве пришли в полную негодность. Здесь гибнут неоценимой стоимости редчайшие рукописи, труды научного наследия, первые издания знаменитых музыкальных произведений, коллекция географических карт и многие другие ценности мировой культуры прошлых веков»

(Газета «Нейес Дейчланд»)

ИНДИЯ

ГЕРОИ ПРЕМ ЧАНДА НА СЦЕНЕ

Всеиндийская ассоциация народных театров (ВАНТ) родилась еще в годы второй

мировой войны в знак протеста против чуждого индийцам коммерческого искусства английских колонизаторов и их приспешников. Объединившись, лучшие актеры страны искали новые формы театра, близкие и понятные широкому зрителю. Они верили, что истинное искусство поможет народу в его борьбе за национальное освобождение. Один за другим, в разных городах и селах Индии создаются театральные коллективы, которые входят в Ассоциацию.

Филиал ВАНТ в городе Агра возглавляет один из его основателей, талантливый актер и организатор Раджендра Рагхуванши. Свою деятельность эта труппа начала со спектаклей теней. Но с 1948 года деятельность театра неразрывно связана с творчеством крупнейшего индийского классика Прем Чанда. Труппа систематически упорно работает над драматизацией его наиболее значительных произведений, посвященных жизни беднейшего индийского крестьянства. На сцене театра получили второе рождение романы Прем Чанда «Жертвенная корова», «Приют», «Обитель любви» и известный рассказ «Саван».

На очередной Всеиндийский театральный фестиваль в Симле труппа привезла свою новую работу — драму «Глаза слепого», поставленную по роману Прем Чанда. Спектакль рассказывает печальную историю жителей одного индийского села. Их земли приглянулись некоему промышленнику. Подкупом, шантажом и другими махинациями он пытается выселить крестьян с их родной земли. В главной роли слепого крестьянина выступил известный талантливый актер Гьян Шарма. За исполнение этой роли он получил на фестивале звание лучшего актера года.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ ПИСАТЕЛЯМ

Исполнительный комитет «Сахитья академи», собравшись в Дели под председательством своего президента, премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, принял решение об очередном присуждении государственных премий в области литературы по каждому из главных языков, на которых создают свои произведения индийские писатели.

Среди произведений, удостоенных премий, как сообщает журнал «Индиэн информейшн»,—написанный на английском языке роман Р. К. Нарайана «Гид» (под названием «Святой Раджу» этот роман опубликован в «Иностранной литературе» №№ 6—7, 1960 г.), роман В. С. Кхандекара «Яяти» (на языке маратхи); сборник стихотворений Сумитранандана Панта (на языке хинди); две поэмы В. К. Гокака (на языке каннада).

ПРАВДИВЫЙ ФИЛЬМ

Молодая тамильская киностудия «Кумари филмз» выпустила на экраны свой первый фильм «Смотри, вон дорога!». «Следует сказать,— пишет кинокритик еженедельника «Нью эйдж»,—что в своей первой работе постановочный коллектив «Кумари филмз» несомненно добился успеха, создав произведение, правдиво отражающее жизнь тамильского народа».

...Фабричный город. Население вынуждено покупать продукты втридорога, в основном у спекулянтов. Возглавив борьбу рабочих, профсоюз обращается к предпринимателям с требованием наладить снабжение, открыть кооперативные магазины. Принятое наконец решение об организации государственной торговли не меняет положения — барышники продолжают тайно отправлять продукты на черный рынок. Рабочие узнают об этих махинациях и перехватывают грузовики с продовольствием.

На фоне этих общественных событий развивается вторая линия сюжета — рассказ о типичной буржуазной семье бухгалтера Сундарама Пиллэя, который в результате длительного и мучительного процесса начинает понимать необходимость борьбы за лучшую жизнь рабочих.

Фильм поставлен по рассказу Р. П. Паннана, написавшего сценарий.

В индийской печати картина заслужила высокую оценку. Газета «Индиэн экспресс» писала, что «благодаря высокому техническому уровню постановщики достигли единства диалога и актерского исполнения, сю-

Сцена из спектакля «Глаза слепого» по роману Прем Чанда.
(Фото Бишана Капура)

Кадр из фильма «Смотри, вон дорога!»
(Газета «Нью эйдж»)

жета и музыки, света и звука».

Популярная ежедневная газета «Динамани» отмечает, что «новая работа «Кумари филмз»—зеркало жизни тамильского народа».

ИНДОНЕЗИЯ

МОЛОДЕЖЬ — ЗА НОВУЮ КУЛЬТУРУ

На состоявшемся в Джакарте конгрессе молодежи, как сообщает журнал «Заман бару», обсуждался вопрос о роли молодого поколения в борьбе за новую передовую культуру Индонезии, о тех больших задачах, которые стоят в настоящее время перед индонезийскими литераторами и деятелями культуры вообще по борьбе с остатками феодализма и элементами колониализма в области культуры. Эта борьба затрудняется тем, что кино, грамзаписи, радио, низкопробная литература Запада по-прежнему продолжают отравлять сознание юношей и девушек Индонезии.

Порочной культуре империализма, говорится в решениях конгресса, мы должны противопоставить здоровую национальную культуру, воспитывающую молодежь в духе патриотизма и гуманизма, в духе солидарности с борющимися народами всех стран. Вместе с тем следует уделять больше внимания изучению и пропаганде памятников древней культуры народностей архипелага.

ПРОТИВ АНТИНАРОДНЫХ ФИЛЬМОВ

Индонезийские газеты сообщают о новом цензурном законодательстве для фильмов иностранного происхождения. Согласно этому закону, в частности, не допускаются к показу фильмы, принижающие национальное достоинство какого-либо народа, проповедующие расовую вражду, а также фильмы, восхваляющие капитализм, империализм и колониализм, противоречащие идеям братства народов Азии и Африки и солидарности народов всех стран.

Гангстерские фильмы, по закону, не должны попадать на экраны индонезийских кинотеатров.

Во всех случаях закон отдает предпочтение фильмам, в которых отражена революционная борьба народов против политического или социального гнета.

ИТАЛИЯ

«ОПАСНОСТЬ, КОТОРОЙ НАДО ИЗБЕЖАТЬ»

Под таким предостерегающим заголовком газета «Унита» сообщила о присуждении премии «Стрега» 1961 года неаполитанскому писателю Раффаэле Ля Каприа за его роман «Смертельно раненный»

Процедура присуждения этой премии — одной из крупнейших в Италии — довольно своеобразна: вместо обычного жюри из 5—7 или 9 человек решение принимают несколько сот представителей так называемой «интеллектуальной элиты», и в этом году было 380 членов жюри. Голосованию предшествовала острая борьба, так как из большого числа выдвинутых на соискание премии произведений выделилось три книги, имевшие примерно равные шансы. Это роман талантливого молодого писателя Джованни Арпино «Преступление во имя чести», интересная, оригинальная книга писательницы Фаусты Чаленте «Левантинская баллада» (см. «Иностранную литературу» № 9, 1961 г.) и, наконец, роман Раффаэле Ля Каприа, получивший большинство... в один голос.

Что представляет собой роман Ля Каприа, почему ему отдано преимущество? Еженедельник «Фиера летерариа», характеризуя книгу, пишет: «Название «Смертельно раненный» символично, так как смертельно ранен и сам автор, и поколение, к которому он принадлежит». Строго говоря, это даже не роман в точном понимании слова, в нем нет ни ярко очерченных персонажей, ни оформленного сюжета. Это — роман воспоминаний, в котором все смутно, зыбко и условно».

Литературный критик газеты «Унита» Микеле Рако дает роману Ля Каприа в целом отрицательную оценку, указывая, что верх одержали коммерческие соображения. Книга Ля Каприа принадлежит к так называе-

Либеро Биджаретти.
(Газета «Унита»)

мой экспериментальной литературе и является подражанием французским формам «нового романа». Раго пишет, что автор ничего не предлагает своим романом, а «толкает итальянскую беллетристику на путь, ведущий в тупик, или же к провинциализму и подражательству, или, еще того хуже, к усталости».

Более значительны два романа, авторы которых считались самыми вероятными кандидатами на получение премии «Стрега»: роман Джованни Арпино «Преступление во имя чести» и «Левантинская баллада» Фаусты Чаленте.

Другая литературная премия — премия имени покойного писателя Марио Пуччини — была присуждена в городке Сеннигаллия. Эта премия была учреждена четыре года назад и присуждается за лучшие произведения в жанре повести и новеллы. Жюри, в которое входят видные писатели, присудило премию этого года известному прогрессивному писателю Либеро Биджаретти за сборник рассказов, вышедший недавно в издательстве Валлекки. Присуждение Биджаретти премии имени Пуччини, как отмечает печать, является признанием его заслуг не только как романиста и публициста, но и как талантливого новеллиста.

РОМАН АНОНИМНОГО АВТОРА

Известна сенсационная история появления романа «Леопард», найденного и опубликованного после смерти автора,— до тех пор никому не известного как писатель,— князя Томази ди Лампедузы. Теперь внимание литературных кругов Италии привлечено к другому произведению, история появления которого еще более загадочна. Издатель Джулио Эйнауди устроил в салоне при книжном магазине своего издательства в Риме большой прием для римских писателей, критиков, литературоведов, в ходе которого было сообщено о выходе в свет романа, написанного анонимным автором-триестинцем. Название романа «Тайна» вполне соответствует обстоятельствам его публикации.

С сообщением об этой книге выступили писатель Карло Леви и критик Чезаре Казес, давшие роману самую высокую оценку.

Роман получен издательством от Линуччи Саба, дочери покойного крупнейшего триестинского поэта Умберто Саба. Ей это произведение вручил автор, тоже триестинец, с условием, что она опубликует рукопись только после его смерти и никому не откроет его имя. Вскоре после этого пожелавший остаться неизвестным писатель умер, и Линучча Саба передала рукопись в издательство Эйнауди. При жизни автора ни она, ни кто-нибудь другой рукописи не прочли и не смогли поэтому высказать свое восхищение создателю романа. В римских литературных кругах, как сообщают газеты «Унита» и «Паэзе сера», строят самые смелые предположения по поводу авторства этого высокохудожественного произведения, написанного с большим профессиональным мастерством.

ПИСАТЕЛЬ — ФАШИСТСКИЙ ДОНОСЧИК

Издательство Паренти выпустило в свет любопытную книгу, показывающую истинное лицо известного во время фашизма писателя Питигрилли, являвшегося платным агентом фашистской охранки — ОВРА. Книга так и называется — «Письма Питигрилли в ОВРА». Автор пользовавшихся успехом эротических романов, написанных в духе бульварной французской литературы, Питигрилли в некоторых своих книгах допускал какое-то подобие критики фашистских порядков, что содействовало его популярности. В то же время он состоял штатным осведомителем ОВРА, войдя в доверие к наивным конспираторам из буржуазной антифашистской организации «Справедливость и свобода». В донесениях Питигрилли полиции фигурируют имена Карло Леви, Альберто Моравиа и многих других антифашистски настроенных писателей и общественных деятелей.

Когда его в 1939 году разоблачили как провокатора, он прекратил активную деятельность в антифашистских кругах. В 1944 году была окончательно подтверждена служба Питигрилли в фашистской охранке. После падения фашизма он укрылся в Аргентине, где подвизался в католических изданиях и постепенно приобрел репутацию «защитника» католицизма. Ныне произведения этого фашистского провокатора и восторженные рецензии на них печатаются в итальянских католических изданиях, а кое-что появляется и в некоторых буржуазных журналах.

Публикация доносов Питигрилли в полицию, пишет газета «Унита», надо полагать, воспрепятствует его возвращению на арену литературной жизни Италии также и в качестве «католического писателя».

КАНАДА

БЕСПОЛЕЗНАЯ ДИСКУССИЯ

Тяжелое время переживает канадская литература. Большинство ее представителей оторвано от жизни, от насущных интересов народа. Дискуссии и конференции по вопросам литературы и искусства чаще всего даже не делают попыток изменить создавшееся положение. Об этом лишний раз свидетельствует проведенная недавно в Торонто конференция по вопросам литературы и искусства Канады. Одним из главных вопросов, обсуждавшихся на конференции, был вопрос о том, имеются ли национальные границы в литературе.

Все ораторы, выступившие по этой теме, убедительно показали, что они смотрят на литературу лишь как на источник доходов. Как замечает газета «Кенэдиен трибюн», «весь процесс создания романов им кажется довольно скучным, не имеющим никакого отношения к обычной жизни. На конференции не было никакого обсуждения книг, не было и намека на то, что чтение книг важно и увлекательно для читателя».

«Если бы устроители конференции,— продолжает газета,— стремились бы к тому, чтобы путем жаркой дискуссии влить новые силы или, по крайней мере, свежую струю в канадскую литературу, они поступили бы совершенно иначе».

СБОРНИК ПЕСЕН ПИТА СИГЕРА

В печати уже сообщалось о позорном судилище, устроенном американскими властями над исполнителем народных песен Питом Сигером за его отказ отвечать на вопросы пресловутой комиссии по расследованию антиамериканской деятельности о своих политических убеждениях (см. «Иностранную литературу» № 9, 1961 г.). Его песни о мире и дружбе между народами стали широко популярными среди простых людей США, Канады и других стран.

Недавно вышел в свет сборник песен Пита Сигера. Песни Пита Сигера, как и сам певец, по отзыву газеты «Кенэдиен трибюн», не нуждаются в комментариях: они хорошо известны всем любителям американских народных песен. Приветствуя выход этого сборника, газета призывает читателей оказать Питу Сигеру материальную поддержку.

КИТАЙ

ВЕЧНО ЖИВОЕ ИСКУССТВО

В китайской прессе печатается много статей, посвященных памяти Мэй Лань-фана. «Ты не уснул, нет, не уснул! — пишет Го Мо-жо в газете «Жэньминь жибао».— Твое прекрасное искусство принадлежит народу Китая и будет вечно живым для его новых и новых поколений».

«Мы должны собрать все труды, оставшиеся после товарища Мэй Лань-фана, обобщить весь его жизненный и творческий опыт, чтобы сохранить для потомков его образ полным и всеобъемлющим»,—пишет в той же газете драматург Тянь Хань. «Мэй Лань-фан как артист,— продолжает Тянь Хань,— воспринял славные традиции сценического искусства нашей родины. Но он был вместе с тем талантливым созидателем, творившим новое блестящее искусство, опирающееся на традиции.

В своих поездках за границу — в СССР, Японию, Америку,— он в полной мере представил высоты нашего искусства. Его смерть— тяжелая утрата не только

«Мэй Лань-фан говорит о театре» — рисунок Цзян Чжао хэ.
(Газета «Жэньминь жибао»)

для деятелей китайского театра. О нем скорбят люди искусства всего мира».

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ...

«Гимном, проникнутым революционным пафосом», назвал китайский литературовед Вэй Чуань-тун сборник «Воспоминания об освободительной войне». В этот недавно изданный сборник вошли очерки и публицистические статьи, посвященные третьей гражданской революционной войне в Китае (1946—1949 гг.). Авторы — солдаты и офицеры Народно-освободительной армии, старые революционеры, принимавшие непосредственное участие в войне. Поэтому очерки и статьи читаются, по мнению Вэй Чуань-туна, опубликовавшего свою статью о сборнике в журнале «Вэньи бао», с неослабевающим вниманием. В них много живых примет времени, метких зарисовок, острых характеристик. Книга по-настоящему эмоциональна и правдива.

«По этой книге,— пишет рецензент,— можно ясно представить себе, какой путь прошел китайский народ в период Освободительной борьбы. Это был путь победы, но путь нелегкий, чреватый опасностями...»

По словам Вэнь Чуань-туня, в статьях и очерках сборника содержится богатый фактический материал,

раскрывающий особенности революционной борьбы китайского народа.

Рецензируя воспоминания «Бои за Хэйшань», Вэй Чуань-тун пишет: «Читатель знакомится с тем, как китайский народ всем сердцем и душой поддерживал фронт. Жители городов и деревень заявляли бойцам: — Друзья! Мы все для вас сделаем. Вы сражаетесь за нашу свободу, мы готовы поддержать вас в любую минуту.— Раз за армией стоял такой народ, разве мы могли проиграть войну?»

В очерке «Трехдневный бой за Шанхай», по словам рецензента, ярко показано, что одним из важнейших факторов победоносного завершения войны было мудрое руководство Коммунистической партии.

Каждая статья и каждый очерк рассказывают о великой революционной эпопее китайского народа.

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР О ПРОБЛЕМАХ СЮЖЕТА

«Проблемы сюжета» — так называется дискуссия, развернувшаяся на страницах журнала «Вэньи бао». В дискуссии приняли участие такие известные китайские писатели и драматурги, как Чжоу Ли-бо, Ху Кэ и другие.

Приветствуя начатый журналом большой разговор о проблемах сюжета, Чжоу Ли-бо делится с читателями своими мыслями. По его мнению, мастера художественного слова зачастую не соблюдают принципа типичности литературных образов, о котором не раз говорил Мао Цзэ-дун. Писатели стараются даже небольшой рассказ «насытить» большим количеством героев. Это приводит к тому, что образы получаются расплывчатыми, невыразительными, и в конце концов читатель остается неудовлетворенным. В традициях китайской литературы и искусства — разрабатывать как можно тщательнее и полнее характеры героев. В подтверждение своих доводов Чжоу Ли-бо ссылается на такую традиционную музыкальную драму, как «Юй Тан-чун». В ней действуют всего лишь два персонажа. Зато когда они уходят со сцены, зритель все знает о них, об их характерах, мыслях, переживаниях.

Даже Лу Синь, продолжает писатель, и тот старался в своих произведениях рассказывать о немногих персонажах. Так, например, в его «Родном селе» внимание автора целиком сосредоточено на одном персонаже — темном, забитом крестьянине.

Чтобы художественное произведение удалось, говорит Чжоу Ли-бо, необходим не только литературный материал — костяк произведения,— но и авторская фантазия, авторский домысел, ни в какой мере не расходящийся с художественной правдой. Читатель сразу же отличит ложь от правды, так же как отличит искусственный цветок от живого, выросшего в саду.

«Честность»—так называется новый художественный фильм, идущий на экранах Китая. Он повествует о замечательном начинании молодой китайской учительницы, которая организовала школу где преподавание велось на общественных началах. Много труда, заботы, энергии отдала молодая учительница делу воспитания подрастающего поколения. Фильм поставлен режиссером Линь Яном по сценарию писателей Жу Чжи-цзюаня и Ай Мин-чжи. Здесь мы помещаем кадр из этого фильма, слева — артистка Ша Ли в роли учительницы Гу Сань-цзань.

(Журнал «Шанхай дяньин»)

НИГЕРИЯ

НИГЕРИЙСКИЙ ФИЛЬМ «СВОБОДА»

Газета «Уэст африкен пайлот» высоко оценивает вышедший на экраны страны фильм «Свобода», отмечая, что он весьма актуален для современной Нигерии.

В фильме разоблачаются те политические деятели, которые готовы во время избирательной кампании пообещать избирателям все что угодно, но едва лишь окажутся избранными, быстро забывают о своем долге перед народом.

«Некоторые наши политические деятели,— замечает газета,— которые в настоящее время думают больше всего о собственном благо-

получии, могут из этого фильма вынести для себя полезный урок».

В фильме с успехом снимались многие нигерийские артисты.

НОРВЕГИЯ

«БУДИТЬ НАРОД — ЗАДАЧА ПИСАТЕЛЯ»

В беседе с корреспондентом газеты «Фрихетен» известный норвежский писатель Юхан Фалькбергет заявил: «Будить народ, чтобы он не засыпал, не переставал мыслить самостоятельно,— такова главная задача писателя».

Фалькбергету пошел 83 год, но он неутомим. По его мнению, писать — это значит работать, это значит учиться, это значит развиваться. Он знает людей, о которых пишет. Они — его друзья, его родственники, его товарищи, среди них он вырос.

Но Фалькбергет, пишет газета, не удовлетворяется только этим. Он хочет больше изучить, больше знать. Он роется в архивах, часами просиживает в библиотеках и читальных залах. Трудолюбие, энергия и любознательность старого писателя просто поразительны.

Романы Фалькбергета широго известны в Норвегии. Его перу принадлежит роман из жизни шахтеров «Четвертая ночная смена», шеститомный роман «Кристиан шестой». В 1959 году, как раз в день его 80-летия, вышел роман «Пути любви», явившийся заключительным звеном эпоса о шахтерах «Хлеб ночей», над которым романист работал более двадцати лет. Эпос этот проникнут большим поэтическим реализмом, теплотой и любовью к людям, огромной верой в добро.

На вопрос корреспондента «Фрихетен» о том, имеет ли литература шансы на существование в век техники, Фалькбергет заявил, что она будет иметь шансы всегда, пока на земле будут жить люди.

Юхан Фалькбергет.
(Газета «Фрихетен»)

Телевизионный театр в Варшаве осуществил постановку «Анны Карениной» Льва Толстого (режиссер Адам Ханушкевич) В роли Анны выступает известная польская драматическая актриса Нина Андрич, в роли Вронского — Станислав Зачик.
(Журнал «Экран»)

ПОЛЬША

«ПОЛВЕКА» ЕЖИ ПУТРАМЕНТА

Издательство министерства национальной обороны недавно выпустило книгу воспоминаний Ежи Путрамента «Полвека» — первую часть дилогии, в которую вошли воспоминания автора с детских лет до 1939 года— года гитлеровского нападения на Польшу.

«Это биография парнишки, вырастающего в деятеля, который сознательно переходит на радикально-левые позиции,— открытая и полная биография»,— пишет газета «Жице Варшавы».

«Полвека» представляет собой картину общественно-политической жизни польского общества накануне 1939 года. Книга, по оценке рецензента газеты, читается с неослабевающим интересом «не только потому, что сама фигура полного темперамента писателя, поэта, публициста, деятеля, да еще спортсмена, рыбака и туриста в течение многих лет привлекает внимание поляков. И не только благодаря всегда боевой, на редкость выразительной прозе, но благодаря... сочетанию идейности с чувством юмора, юмора — со здравым смыслом, а последнего — со здравым духом...»

В настоящее время еженедельник «Пшегленд культу-

ральны» печатает продолжение воспоминаний Путрамента, которые составят вторую часть дилогии.

РУМЫНИЯ

ХУДОЖНИК РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Литературный стаж Николая Цика — не более десяти лет, но он уже занял прочное место среди румынских прозаиков. За книгу очерков «Профили» Цик был недавно отмечен премией Академии РНР. Положительную оценку критики получил новый роман писателя «Молодые годы».

Достоинство этого романа Цика, как отмечает «Газета литерарэ», заключается в глубоком раскрытии психологии героя, его жизни. Писатель овладел мастерством развертывания сюжета, Цик продолжает свои поиски в области наиболее точной передачи мышления, психологии рабочего. Он действительно стал художником рабочей среды.

ДРАМАТУРГИ И САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В последние годы любительские театральные коллективы Румынии стали играть большую роль в воспитании широких масс населения страны. Вопросу дальнейшего развития театральной самодеятельности и расширения репертуара был посвящен пленум секции драматургии Союза писателей РНР.

По словам докладчика Н. Нистора, директора Центрального дома народного творчества, во время последнего фестиваля любительских театров выступало десять тысяч коллективов театральной самодеятельности. В их репертуаре 160 пьес румынских и зарубежных авторов.

Регулярно проводятся республиканские конкурсы на лучшую пьесу для самодеятельных театров. В конкурсах наряду с маститыми драматургами участвуют не профессиональные авторы.

О результатах конкурса имени пионера румынской драматургии, известного классика Василе Александри на пленуме выступил с докладом театровед Думитру Соломон. В числе лучших одноактных произведений на конкурсе отмечены пьесы «Черная роза» М. Давидоглу — о новой этике и формировании социалистического сознания рабочего, «Родичи» Теофиля Бушекана, действие которой происходит в коллективном хозяйстве. Премией была отмечена и пьеса Констанцы Брату «Путаница передников».

США

ПЕВЕЦ СВОБОДЫ НЕГРОВ

«Я мечтаю о мире, где
все люди — братья,
Где труд — не рабство,
как ныне,
Где война — это
ушедшее в прошлое
проклятье,
А мир обеспечен
навсегда и всем...»

— так поет негритянский певец Америки Билл Мак Аду. Он не только исполнитель, но и автор своих песен, песен борьбы за свободу и равноправие негритянского населения в США. В Америке такие песни называют «песнями протеста» — протеста против сегрегации, расизма и изуверства.

Билл Мак Аду — негритянский бард; нет ни одного острого события, касающегося негров в США, которое не получило бы отражения в его творчестве.

Сами названия песен, написанных им за последние два года, являются как бы исторической хроникой борьбы негритянского народа за свои права. Вот характерные названия его произведений: «Шагай вперед, Алабама!» (по поводу организованного в Монтгомери, штат Алабама, бойкота автобусов с местами «для белых» и «для негров»); «Я буду бродить по стране и говорить о свободе» (в связи с негритянскими «сидячими» демонстрациями). Очень много у Билла Мак Аду антивоенных сочинений, в том числе широко известная в стране песня «Я не хочу, чтобы была война».

Билл Мак Аду.
(Еженедельник «Сэтердей ревью»)

В основе сочинений Билла Мак Аду всегда лежит фольклор, отражены традиции народного искусства. Молодой негритянский поэт и певец говорит: «Призыв нынешних лидеров негритянского народа к борьбе за свободу свидетельствует о непоколебимой воле моего народа сделать демократию фактом, а не словесным сиропом, капающим с уст бесчестных политиканов».

Билл Мак Аду родился в 1936 году в бедной семье рабочего-строителя. «Мои детские воспоминания безрадостны,— вспоминает он,— мне всегда было голодно и холодно. Отец работал много, но прокормить четыре рта было трудно». Мальчик работал, чтобы иметь возможность учиться в школе, был на побегушках, судомойкой, механиком, рабочим. Позднее ему удалось пробиться и в университет, на историческом факультете которого он занимался три года.

Попав после университета в Нью-Йорк, он брался за самую разнообразную работу. Как-то он исполнил свои песни перед специалистами по фольклору — так началась его активная творческая деятельность в качестве народного певца — борца за лучшее будущее негритянского народа.

«ВЕСЕЛОЕ МЕСТЕЧКО» УИЛЬЯМА БРАММЕРА

Тема политической коррупции и предвыборного жульничества в США — неиссякаемый источник для американских писателей еще со времен Марка Твена. Печать сообщает о выходе в свет первого романа молодого писателя Уильяма Браммера под названием «Веселое местечко», в котором описан вымышленный штат (очень напоминающий, по отзывам литературных критиков, Техас).

Роман Браммера получил от издательства Хоутон-Миффлин литературную премию как лучшая книга 1961 года.

Рецензент литературного еженедельника «Сэтердей ревью» пишет, что Браммер «прекрасно разбирается в характерах, пороках, образе жизни и стремлениях политических карьеристов».

В трех новеллах, составляющих роман,—«Блошиный цирк», «Место, где можно развернуться» и «Сельские удовольствия» — выведены «герои», которые стремятся к власти, богатству, влиянию и удовольствиям, притом любой ценой. Как определяет еженедельник, автор показал «потерянные души, стремящиеся найти себе веселое местечко в жизни». В какой-то мере это определение отражает настроения и устремления определенных кругов американской молодежи, связанной с политической деятельностью.

«Сэтердей ревью» критикует писателя лишь за то, что он сам как бы остается в стороне, не осуждая описанный им порочный круг коррупции, протекционизма, взяточничества, судебных трюков, избирательных подлогов. «Его голос,— пишет журнал,— отсутствует». Так или иначе, роман Браммера, как видно,— красноречивое свидетельство.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА БРОДВЕЕ?

Американская печать уже давно сигнализирует о бедственном положении театрального Бродвея. Познакомившись поближе с Бродвеем, английский еженедельник «Нью стейтсмен» также высказался на эту тему. Однако в противоположность американским газетам, пытающимся найти «вежливое объяснение» бродвейским бедам, еженедельник назвал вещи своими именами, указав, что в основе кризиса театра лежит стремление к наживе в ущерб художественным и эстетическим целям.

Автор статьи в «Нью стейтсмен», Роберт Бендинер, пишет: «На Бродвее теперь вдвое меньше театров, чем было тридцать лет назад. Многие из этих театров настолько катастрофически пустуют, что, несомненно, в скором времени их преобразуют (как это произошло со многими театрами) в более доходные для владельцев «центры культуры»: в стоянки для автомашин или в лучшем случае — в кинотеатры!»

В 1928 году, вспоминает автор, на Бродвее состоялось 264 новых постановки, а в этом году лишь 46, из которых едва ли шесть или семь принесли доходы постановщикам. Что же касается качества постановки, то уже через месяц после окончания сезона зритель вряд ли вспомнит что-либо из содержания пьесы или об игре актеров.

Пикеты музыкантов и артистов встали у тех детройтских театров, где исполнение музыкантами заменено граммзаписью.

(Газета «Уоркер»)

ФИНЛЯНДИЯ

ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ В СССР

Возвратившись из поездки по Советскому Союзу, председатель Союза писателей Финляндии Мартти Сантавуори заявил в финской печати: «Делегация посетила Москву, Грузию и Ленинград. Мы имели возможность встретиться с советскими писателями, а также побеседовали с советскими издателями...

Писатель Ларни, произведения которого изданы в Советском Союзе почти двухмиллионным тиражом, смог посмотреть в Ленинграде блестящую инсценировку своего романа «Четвертый позвонок». Можно констатировать, что финская литература пользуется в Совет-

Спустя семь лет после появления на свет роман известного финского писателя Вяйне Линна «Неизвестный солдат» получил свое третье «рождение» (вторым была экранизация романа). Авторы инсценировки романа — Вяйне Линна а также сценарист одноименного фильма Эдвин Лайне и Олави Вейстяя Премьера пьесы состоялась в театре Пююникки в городе Тампере. Премьера «Неизвестного солдата», прошла с огромным успехом. На снимке· Сцена из спектакля.
(Газета «Кансан уутисет»)

ском Союзе хорошей славой, но пока ее переводят недостаточно. С другой стороны, существует возможность переводить в больших масштабах такие произведения советской литературы, которые вызовут интерес у финских читателей»...

В заключение Сантавуори, как сообщает газета «Кансан уутисет», отметил сердечный прием, оказанный делегации.

ФРАНЦИЯ

БЕСЕДА С ПЬЕРОМ ГАСКАРОМ

Последний роман Пьера Гаскара «Беглец», вышедший из печати весной этого года, вызвал во французской прессе многочисленные отклики; по единодушному признанию критики, это наиболее сильное и зрелое произведение писателя.

Еженедельник «Леттр франсез» недавно опубликовал беседу Пьера Дэкса с Гаскаром, посвященную обсуждению этого романа и творческим планам писателя в свете проблем современного романа.

В центре сюжета романа «Беглец» — судьба французского солдата, который воевал с фашистской Германией, попал в плен и после освобождения из концлагеря, по окончании войны, многое пережил, блуждая по городам и селам полуразрушенной страны. Пьер Гаскар сам был участником войны и военнопленным. С точки зрения писателя, «Беглец» — произведение, завершающее тот период его творчества, который отмечен автобиографичностью, стремлением осмыслить изменения в жизни и сознании людей в связи со второй мировой войной.

В дальнейшей беседе Пьер Дэкс спросил Гаскара, какую роль в его творчестве сыграли путешествия по Китаю, Индии, Юго-Западной Азии и Африке, связанные с деятельностью писателя как представителя Международной организации здоровья, а также его известные исследования.

— Путешествие становится в нашу эпоху, больше чем когда-либо и особенно для меня, поисками человека и связанных с ним больших проблем,—говорит Гаскар.— Я видел, как устанавливаются новые режимы и исчезают старые, как рушится колониализм и другие формы жизни занимают его место... Я стремлюсь определить, до какой степени человек страдает от теперешних условий существования и в какой мере можно было бы улучшить эти условия.

Писатель намерен в своих произведениях вскрыть причины, которые приводят людей к преступлениям, таким, как фашизм и дух «ультра».

— Я начал,— заявил Гаскар,—писать книгу, которая открывается портретом фашиста нашего времени.

Пьер Дэкс спрашивает Гаскара, верно ли, что несмотря на все великие перемены — политические, научные, технические — наше время благоприятно для искусства романа?

— Да, конечно,— отвечает Гаскар.— Так или иначе, у нас есть потребность выражать определенные истины, и роман, несмотря ни на что, остается для этого лучшим средством... Роман в самых разнообразных его формах необходим, и я думаю, что он будет еще долгое время необходим Писатель, особенно романист может быть, сумеет объяснить, почему у нас люди сегодняшнего дня находятся в со-

стоянии нравственного смятения, и предложит им такое изображение жизни, которое поставит ее немного над ней самой, восстановит скрытую музыку жизни.

Гаскар отметил значительную роль других средств художественного выражения — кино и особенно телевидения — в усугублении того кризиса, который переживает роман. Задачу романиста писатель видит в том, чтобы, возможно больше участвуя в настоящей жизни и применяя как самые современные средства выражения, так и традиционные, помочь людям понять современную действительность.

ПРЕДСМЕРТНАЯ ИСПОВЕДЬ СЕЛИНА

Незадолго до смерти французский писатель Луи-Фердинан Селин, автор человеконенавистнической книги «Путешествие на край ночи», завоевавший печальную известность позорным сотрудничеством с фашистскими оккупантами во время войны, дал интервью корреспонденту еженедельника «Ар».

К каким же итогам пришел на закате жизни Селин, признавшийся когда-то, что верит лишь в ненависть и смерть?

— В моих книгах нет места любви и дружбе,— заявил Селин в интервью.

— Вы пишете потому, что любите писать?

— Ничего подобного. Если бы у меня были деньги, я никогда бы не писал.

— Была ли хоть одна ваша книга написана не ради денег?

— Нет. Я говорю об этом откровенно.

— Интересуют ли вас ваши современники?

— Нет, абсолютно... Меня не должна была заботить судьба людей. Я должен был заниматься только собой.

— Вы разочарованы в жизни?

— Нет... Для того чтобы разочароваться, надо на что-то надеяться. Я ни на что не надеюсь... Только на безболезненную смерть.

— Вы ненавидите жизнь?

— Да, я не могу сказать, что люблю ее.

Так автор «Путешествия на край ночи» завершил, по словам писателя Мориса Клоделя, свое «путешествие на край ненависти».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ РЕДАКЦИИ

Редакция журнала «Словенске погляды» недавно собрала за круглым редакционным столом известных словацких писателей, критиков, литературоведов разных поколений и попросила их высказаться по вопросам современной литературы Чехословакии.

Отчет об этой дискуссии напечатан в одном из номеров журнала со вступительной статьей Станислава Шматляка. В дискуссии приняли участие известные писатели Татарка, Минач, Карваш, критики старшего поколения Мраз, Матушка, литературоведы Кусы, Розенбаум, Бакош и молодые критики Штевчек и Ноге. Были затронуты вопросы о методологическом подходе к современной литературе, о том, что такое критика — наука или искусство, о роли поэзии в наши дни, а также о традициях и отношении к классическому наследию.

Во время дискуссии произошел горячий обмен мнениями между критиками старшего и молодого поколений. Как выразился в ходе дискуссии критик Матушка, молодые литераторы Словакии «пишут только стихи и критические статьи. Я подчеркиваю, это очень критически настроенное поколение. Такого никогда не было в нашей жизни...».

Журнал выражает удовлетворение по поводу того, что молодые критики ощутили крепкую почву под ногами, обрели себя, создали стройную систему взглядов — в этом важное значение дискуссии за круглым столом журнала «Словенске погляды».

ШВЕЙЦАРИЯ

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

У швейцарской социальной литературы трех последних десятилетий трудные судьбы, отмечает журнал «Нейе дейче литератур». Годы войны явились суровым испытанием для писателей старшего поколения: «Мороз второй мировой войны убил не успевшие распуститься почки современной социальной литературы».

О проблемах, волнующих в наши дни молодое поколение швейцарских писателей, пишет цюрихский журнал «Вельтвохе».

Минувшей весной на книжных полках появились четыре новинки, которые, по мнению «Вельтвохе», свидетельствуют, что «Швейцария снова располагает солидным молодым поколением рассказчиков». Не все они еще окончательно нашли себя, не все обрели твердый почерк и ясность взглядов. Особые надежды возлагаются на Вальтера Маттиаса Диггельмана. Его новую книжку «История вокруг Абеля», выпущенную издательством «Бенцигер-ферлаг», даже «считают шедевром».

«У Диггельмана есть многое, о чем он может рассказать,— пишет журнал,— он неустанно занимает читателя и никогда не наскучит ему». Родившись в 1927 году, Диггельман жил бедно, во время войны работал в Германии, а вернувшись домой, служил рассыльным в отеле, трудился на фабрике, на стройке. Этими же чертами биографии наделил он и Абеля — героя своего романа. У того тоже нелегкая жизнь. Но никакие испытания не иссушили душу героя. Принимаемый всеми за холодного циника, он остается человеком, не потерявшим оптимизма и веры в жизнь.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Флоренца Албу — Florența Albu — румынская поэтесса. Публикуемое стихотворение «Program komunist» взято из еженедельника «Контемпоранул», № 35, 1961 г.

Петр Караангов — болгарский поэт, автор лирических сборников «Времена года и наша улица» («Сезоните и нашата улица», 1960), «Следы на дороге» («Следы по пътя», 1957). Его стихи публиковались в периодической советской печати. Печатаемое стихотворение взято из еженедельника «Литературен фронт», № 31, 1961 г.

Лайош Галамбош — Lajos Galambos (род. в 1929 г.) — венгерский журналист и писатель. Роман «Терпкая лоза» («Gonoszkátyú») — первое крупное произведение писателя, вышел в 1960 году.

Гу Гун — китайский поэт. Автор стихотворного сборника «Пора, когда все созревает» («Чжэ ши чэншуды цзидзе а», 1957 г.).

Го Сяо-чуань — китайский поэт. Автор ряда поэтических сборников: «Начнем упорную борьбу», («Тоужу хожэды доучжэн», 1956), «Молодым гражданам» («Чжи цинянь гунминь», 1957), «Под луной» («Юеся цзи», 1959) и сборника статей о литературном творчестве — «Чжэньфэн цзи», 1958 г. Публикуемое стихотворение взято из журнала «Шикань».

Вэй Вэй — китайский поэт. Автор поэтических сборников «На рассвете» («Лимин фэнцзин», 1955) и «Цветы счастья расцвели для человека» («Синьфуды хуа вэй юнши эр кай», 1956), а также сборника статей по вопросам воспитания молодежи Публикуемое стихотворение взято из журнала «Шикань», № 1, 1961 г.

Янь И — молодой китайский поэт. Автор поэтических сборников: «Песни на горе Хэйшань» («Хэйшаньчжи гэ») и «Звезда победы» («Шэнлиды хунсин»), оба сборника вышли в 1957 году. В 1958 году вышел еще один сборник его стихов — «Букет цветов» («Хуньбай хухуа»). Публикуемое стихотворение взято из газеты «Жэньминь жибао», 18.8.61.

Ходжа Ахмад Аббас — Khwaja Ahmad Abbas (род. в 1914 г.) — индийский писатель, автор романов «Завтра принадлежит нам» («Tomorrow is Our's», 1946), «Сын Индии» («Son of India»), а также многих сценариев.

Публикуемый рассказ «Черное солнце» («Black Sun») прислан автором в рукописи.

Мухаммед Диб — Mohammed Dib (род. в 1920 г.) — алжирский писатель, поэт, журналист. Автор трилогии «Алжир» («Algérie»), в которую входит роман «Большой дом» («La grande maison», 1952), напечатанный в журнале «Иностранная литература», №№ 5, 6, 1955 г., романа «Африканское лето» («Un été africain», 1959), а также поэтических сборников. В № 6 нашего журнала за этот год был опубликован его рассказ «На холмах» («Sur les collines», 1961). Публикуемое стихотворение взято из антологии стихов «Тень-хранительница» («Ombre gardienne». 1961)

Джеймс Олдридж — James Aldridge (род. в 1918 г.) — английский писатель. В 1952 году ему была присуждена Золотая Медаль Мира. Автор романов: «Дело чести» («Signed with Their Honour», 1942), «Морской орел» («The Sea Eagle», 1944), «Дипломат» («The Diplomat», 1949), «Герои пустынных горизонтов» («Heroes of the Empty Views». 1954), сатирической комедии «49-й штат» («The 49-th State», 1946) и других произведений. Его роман «Не хочу, чтобы он умирал» («I Wish He Wouldn't Die», 1957) был напечатан в № 11, 1957 г., нашего журнала.

Ли Голд — Lee Gold — молодой американский писатель и сценарист. Один из авторов сценария известного советскому зрителю фильма «Таманго», по одноименному рассказу Проспера Мериме Публикуемые журналом статья и письма Джона Рида присланы в рукописи.

Карл Фридрих Кауль — Karl Friedrich Kaul (род. в 1906 г.) — видный немецкий адвокат, романист, очеркист, автор много-

численных радиопостановок. Его перу принадлежат три книги очерков: «Юстиция становится преступлением» («Justiz wird zum Verbrechen», 1953), «Барыш с большой буквы» («Verdienen wird groß geschrieben», 1954) и «Балки трещат» («Es knistert im Gebälk», 1961), объединенные под общим названием «Питаваль в Веймарской республике» («Der Pitaval der Weimarer Republik»); роман «Убийство в Грюневальде» («Mord im Grunewald», 1953) и пьеса «Голубая папка» («Die Blaue Akte», 1960).

Публикуемая статья прислана для журнала «Иностранная литература».

Джон Питтман — John Pittman — американский общественный деятель. Публикуемая статья взята из нового журнала «Фридом-уэйз».

Тойн де Фрис — Theun de Vries (род. в 1907 г.) — голландский писатель, поэт и журналист, автор романов: «Рембрандт» («Rembrandt», 1931), «Анна Каспарий, или Тоска» («Anna Casparii, of het heimwee», 1952), трилогии «Крещение огнем» («De vuurdoop», 1948—1954) и многих других произведений. Некоторые из них были опубликованы в нашем журнале Печатаемая статья прислана автором в рукописи.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, В. И. Верховский (отв. секретарь), **Б. Г. Гафуров, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов** (зам. главного редактора), **Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.

Телефон: В 3-51-47.

Художеств. редактор *М. М. Милославский* Технический редактор *В. Л. Шачнев*

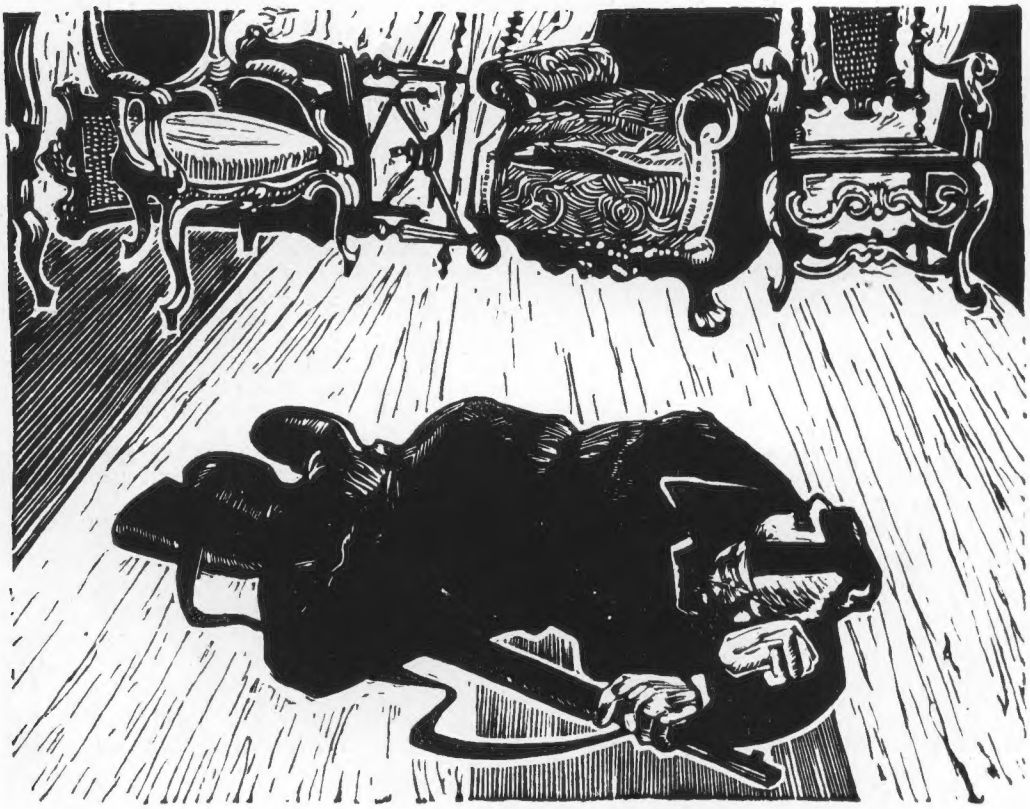
А 03419 Сдано в производство 9/VIII 1961 г. Подписано к печати 27/IX 1961 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.; печ. л. 24,66 +1 вкл. Зак. 1428

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова Москва, Пушкинская пл., 5.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

«ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР»

Иллюстрации **ЖЮЛЯ ПЕРАХИМА**
к книге Джона Рида



К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

в 1962 году
журнал «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
предполагает
напечатать следующие произведения:

Жак Стефен Алексис «Деревья-музыканты» (Роман)
Жоржи Амаду «Старые рыбаки» (Роман)
Людвик Ашкенази «Ночной гость» (Пьеса)
Франц Кафка «Отчет для Академии» (Рассказ)
Эрскин Колдуэлл «Женщина по природе» (Роман)
Тодор Монов «Смерти нет» (Повесть)
Дитер Ноль «Приключения Вернера Хольта» (Роман)
Джеймс Олдридж (Новый роман)
Джон Стейнбек «Зима невзгод» (Роман)
Янош Фюлеп «Ботонд» (Повесть)
Леонардо Шьяшья «Тень совы» (Повесть)
Филипп Эрриа «Золотая решетка» (Роман)

Кроме того, редакция намерена напечатать новые произведения:

Луи Арагона, Генриха Бёля, Монго Бети, Грэхема Грина, Фридриха Дюрренматта, Ярослава Ивашкевича, Халлдора Лакснесса, Альберта Мальца, Альберто Моравиа, Яна Отченашека, Ивайло Петрова, Зденека Плугаржа, Титуса Поповича, Марина Преда, Ежи Путрамента, Виктора Рида, Жан-Поля Сартра, Людмила Стоянова, Андре Стиля, Митчела Уилсона, Фрэнка Харди, Оуяна Шаня и других зарубежных писателей.

В 1962 году на страницах журнала будут регулярно публиковаться статьи, посвященные важнейшим проблемам развития зарубежных литератур и творчеству выдающихся современных писателей Запада и Востока. Систематически будут рецензироваться новинки зарубежной литературы.

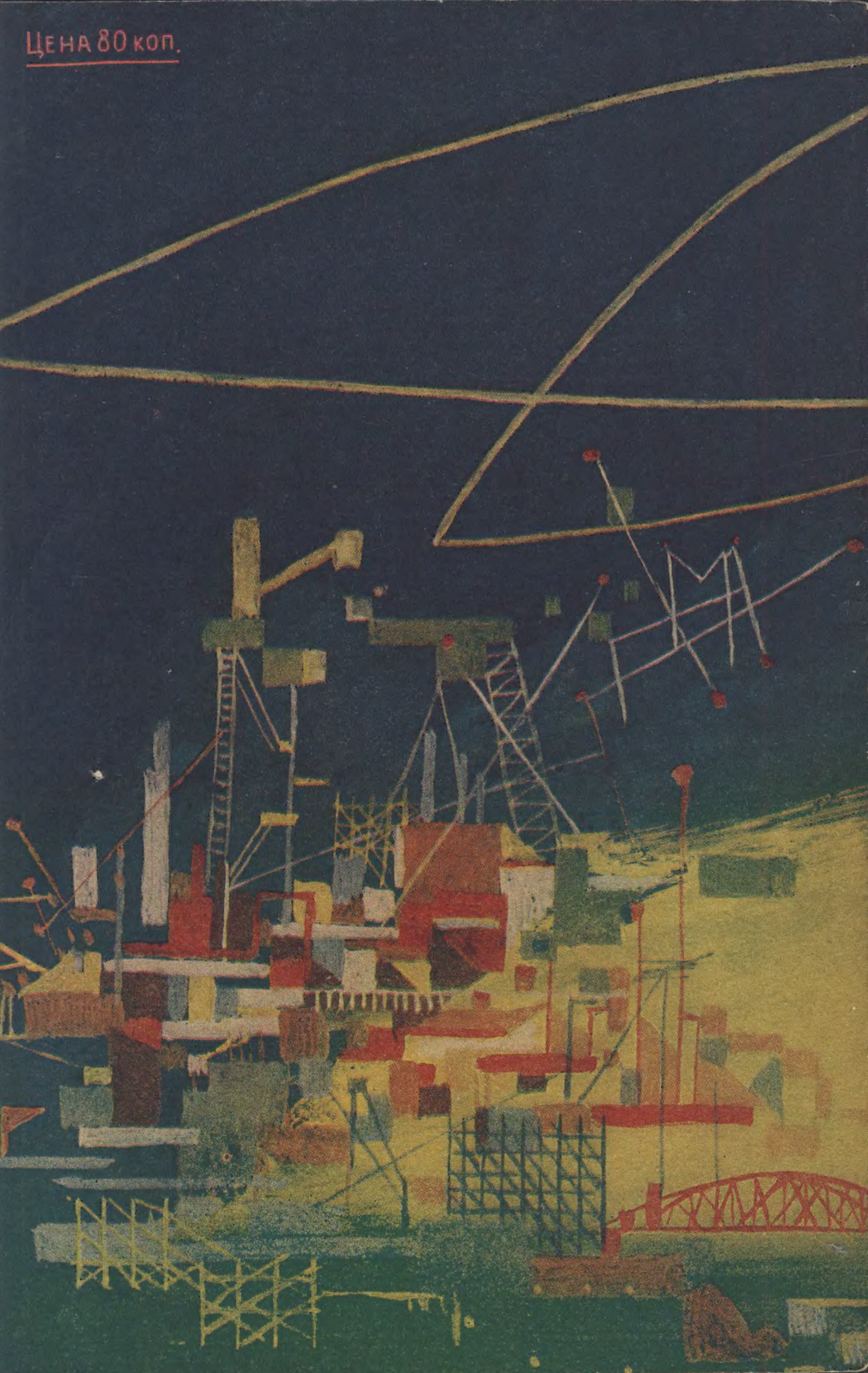
Читатели смогут познакомиться с высказываниями зарубежных и советских писателей, деятелей культуры, науки и искусства по актуальным вопросам международной жизни, со статьями и обзорами о значительных явлениях театра, кино и изобразительного искусства.

В разделе «Из месяца в месяц» журнал широко информирует читателей о событиях культурной жизни за рубежом.

Журнал выходит с иллюстрациями.

Подписная цена на 1962 год:

на год — 9 руб. 60 коп.
на 6 мес.— 4 руб. 80 коп.,
на 3 мес.— 2 руб. 40 коп.

Подписка принимается всеми отделениями «Союзпечати», конторами и отделениями связи, почтальонами и общественными уполномоченными по подписке.

Цена 80 коп.